

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

4

НОВЫЙ МИР

1998

4

1998

# Н[О]ВЫЙ М[И]Р

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 4(876)

Апрель, 1998 г.

Учредитель — редакция журнала «Новый мир»

## СОДЕРЖАНИЕ

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР — Поэт, повесть	3
СЕРГЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ — Сгустился снег, стихи	79
ОЛЕГ ЖДАН — В небеса, за счастьем. Путешествия	84
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ — Зверь, рассказ	98
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВСКАЯ — Ни днем, ни ночью, стихи	107
ОЛЬГА ДМИТРИЕВА — Крыша и окно, стихи	109
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН — Клуб Вольных Долгожителей, рассказ	111
ЕЛЕНА ЕЛАГИНА — Вечер детских вопросов, стихи	125
ВЯЧЕСЛАВ КУПРИЯНОВ — Исчезновенья, стихи	128
ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ — Переулоч, рассказы	132

### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ТАТЬЯНА БРАТКОВА — Русское Устье	143
----------------------------------	-----

### ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ЕКАТЕРИНА КРАШЕНИННИКОВА — Этюд о Юдиной. Предисловие Евгения Пастернака. Приложение: письмо М. В. Юдиной к Е. А. Крашенинниковой. Публикация и послесловие А. Кузнецова	162
--	-----

### МИР ИСКУССТВА

СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ — Внимающий молчанию	176
-------------------------------------	-----

### ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — Четыре современных поэта. Из «Литературной коллекции»	184
---	-----

### ОПЫТЫ

МАРИНА НОВИКОВА — «Мы» и «я»	196
------------------------------	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА — Я самый обаятельный и привлекательный. Беспристрастные заметки о мужской прозе	202
---	-----

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

### *Борьба за стиль*

АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ — Две часовни 207

### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Елена Ознобкина. ...на край возможности человека 213

Валерий Липневич. Ночная правда 216

Юрий Кублановский. Социальное веховство Петра Струве 219

---

Ирина Сурат. — Пушкин в прижизненной критике. 1820 — 1827 223

Владимир Коробов. — Крымский альбом. Историко-краеведческий  
и литературно-художественный альманах 224

Андрей Углицких. — Сын Гипербореи. Книга о поэте 227

Олег Ларин. — Александр Соболев. Русский дом. Книга-альбом 228

### ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ЧИТАТЕЛИ — О «НОВОМ МИРЕ» 230

### ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

ЕВГЕНИЙ ДОБРЕНКО — «Скромное обаяние» ранней советской  
культуры 235

### БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко) 239

Периодика (составитель Андрей Василевский) 241

SUMMARY 256

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ АВТОРОВ  
ИГОРЯ ИВАНОВИЧА ШКЛЯРЕВСКОГО  
и ФАЗИЛЯ АБДУЛОВИЧА ИСКАНДЕРА  
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ИМ ПРЕМИИ  
«БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ», УЧРЕЖДЕННОЙ  
К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. С. ПУШКИНА!**

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 2350 экземпляров журнала «Новый мир»

---

---

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

\*

## ПОЭТ

*Повесть*

### ВСЕМ ИЗВЕСТНЫЙ И НИКОМУ НЕ ВЕДОМЫЙ

**Ю**рий Сергеевич Волков был романтическим поэтом, и притом очень талантливым. Однако стихи его редко печатали, и в сорок пять лет у него не было ни одной книги. Речь идет о блаженных временах блаженного Брежнева. У Юрия Сергеевича было хроническое свойство раздражать начальство. Раздражать всем — голосом, стихами, внешностью.

Начнем с голоса. Как известно, с глупыми говорят, как с глухими, громким голосом. Возможно, наш поэт бессознательно убедился, что этот мир глуп и в нем надо очень громко говорить.

У него был голос громовержца. Даже во время застольной беседы он говорил яростно и громко, как революционный оратор с трибуны. Если друзья делали ему замечания, он с некоторой самоиронией рассказывал о том, что в юности над ним шефствовал последний поэт-акмеист. Старик был так глух, что приходилось кричать ему в ухо. С тех пор он привык так говорить.

Когда он читал стихи в ресторане, а обычно он там их и читал, немедленно являлся метрдотель и пытался выяснить, чем вызван скандал. Если он до его прихода успевал прочитать стихи. А если не успевал, то, что бы ни говорил метрдотель, он продолжал их читать, пока они не кончались. Мощь его голоса и могучая внешность производили неотразимое впечатление, особенно на незнакомых людей.

Однажды в жаркий летний день мы сидели с ним в незнакомом ресторане.

— Официант! — крикнул он. — Виски с айсбергом!

Официант был так потрясен его уверенным голосом, что растерянно отвел:

— Извините, айсберги еще не завезли.

Его стихи раздражали литературное начальство тем, что не были ни советскими, ни антисоветскими. Они были написаны так, как будто социальная жизнь вообще не существует. Это злило еще и тем, что невозможно было конкретно указать на какие-то строчки, которые надо убрать или переделать, чтобы стихотворение было достаточно приемлемо для советской власти.

Кое-как все это можно было бы простить, если бы поэт был какой-то божий одуванчик, далекий от действительности. Изливаясь мощной энергией, стихи его были полны примет места и времени, примет всех краев России, где он побывал, и — неслыханная наглость — примет всех краев Европы, где он явно не бывал. Это уж они знали точно. Кроме того, там были всемирные названия сигарет, напитков, гостиниц, городов и даже бесчисленных островов Средиземноморья, словно он на яхте с другом-миллионером, лениво прилебявая джин с тоником, пришвартовывался к ним, точнейшие названия предметов интимного женского туалета и так далее и тому подобное.

А язык! Словарь филологов и шпаны, фальцовщиков и астраханских рыбаков, староверов и физиков, тюркизмы, украинизмы, с размаху вброшенные им в русскую речь, где они, мгновенно русея, свободно плавали, как в родном море!

Да, язык у него был богат, но он терпеть не мог выдуманные слова. Он считал Маяковского великим поэтом за его любовную лирику, но изображал преувеличенный ужас, когда речь заходила о его словотворчестве. Он считал это безумным кривляньем. Из всех словообразований Маяковского признавал только одно — «выжиревший»:

Как выжиревший лакей на засаленной кушетке.

— Здесь это слово уместно, — говорил он. — Оно хорошо передает длительность пребывания лакея на кушетке. Но с другой стороны, какой барин позволит лакею долго лежать на кушетке? Разве что Обломов.

Да, его богатый язык никогда не поворачивался против советской власти, но и никогда не пытался лизнуть ее.

Начальству было решительно непонятно, как с ним быть. В то же время он одинаково свободно общался с упертыми державниками и с непримиримыми диссидентами. Идея исторического величия России ему была не чужда, и державники ждали, когда он дозреет до мысли, что за это величие надо драться закатав рукава. Но он закатывать рукава не спешил, ибо под величием России подразумевал ее культуру.

Точно так же ошибались и диссиденты. Видя обилие примет западной жизни в его стихах, они считали, что он вскоре дозреет до западничества и станет диссидентом. Но и этого не случилось.

По поводу подозрений в нелояльности он написал шутивную эпиграмму, которую действительно нельзя было напечатать:

Подсолнух следит за солнцем.  
Ромашка следит за подсолнухом.  
Я слежу за ромашкой.  
Цензура следит за мной.

Наконец рукопись его стихов в одном издательстве передали критику, известному — да что известному! — главнейшему расшифровщику антисоветского подтекста! Тот долго изучал стихи нашего поэта и наконец написал на них обширную рецензию, которую почему-то в редакцию прислал по почте. Этого с ним никогда не случалось. Обычно он свои расшифровки приносил сам, чтобы лично упиваться удивлением работников редакции своей безошибочной угадчивостью.

На этот раз работники издательства не успели удивиться его рецензии в виде письма, как вынуждены были поразиться ее содержанию.

Автор рецензии писал, что тщательный анализ стихов показал: антисоветский подтекст в них, безусловно, существует, но он так разросся, что отделился от текста и ведет автономное существование — по-видимому, там, где его хранит автор.

Пораженная редакция попыталась связаться с критиком по телефону, но услышала только истошный крик его жены, что мужа увезли в психбольницу.

— Что за стихи вы ему дали на рецензию! — визжала она. — Я по суду буду требовать уплаты штрафа за производственную травму!

Оказывается, в сознании критика стихи окончательно расщепились на текст и подтекст, что, в сущности, рано или поздно с ним должно было случиться. Через неделю ему удалось переправить из психбольницы коротенькую открытку, написанную второпях химическим карандашом. Он рекомендовал редакции, включив КГБ в поиски подтекста, обыскать квартиру автора в Москве и квартиру его родственников в Астрахани, откуда тот был родом. По словам критика, успех операции мог обеспечить только одновре-

менный обыск в обеих точках, при этом именно по московскому времени, а не по астраханскому. В последнем случае все может развалиться.

— Я свел с ума десять женщин и одного критика! — гремел по этому поводу наш поэт.

— Уполовинься! — с хохотом отвечали ему на это друзья.

— По-вашему, правдоподобней звучит, — невозмутимо гудел в ответ наш друг, — пять женщин и полкритика?

Однако книги его по-прежнему не печатались, хотя издательские начальники не решались назвать его антисоветчиком. Во-первых, этого действительно не было, а потом, политически было нецелесообразно подталкивать его в ряды антисоветских писателей, которых становилось все больше и больше по той простой причине, что их почти перестали арестовывать, хотя и не начали печатать.

Поэтому на рукописях его стихов, попадавших на глаза начальству, следовала бабья резолюция: «Надо годить». Вот и годили десятилетиями.

А если же он сам попадался на глаза начальству, годить приходилось еще больше. С одной стороны, огромный, как богатырь, а присмотреться — рыхловатый. С другой стороны, горящие, черные цыганские глаза под густыми черными бровями. Но цыганские ли это глаза, мучительно думали литературные начальники.

Сам он нередко с гордостью говорил, что в его русской крови есть цыганская примесь. Любил повторять стихи Дмитрия Кедрина, кончающиеся такой строфой:

В цыганкиных правнуках слабых  
Тот пламень дотлел и погас,  
Лишь кровь наших диких прабабок  
Нам кинется в щеки подчас.

Нет, в глазах нашего поэта тот пламень не дотлел и не погас! Однако патриотическое чувство начальства подсказывало: русскому народу не нужен рыхлый богатырь с черными цыганскими глазами. Некоторые наиболее рьяные патриоты, считая, что его псевдоцыганские глаза есть не что иное, как очередной еврейский обман русского народа, послали в его родную Астрахань небольшую делегацию, чтобы она там порылась в архивах и выяснила его истинное происхождение. Кроме того, они посоветовали делегации попутно присмотреться к носам его родственников. Посланцы для облегчения своей задачи решили начать с носов, но потерпели фиаско: носов не оказалось. В доме, где раньше жили его родственники, соседи сказали, что все они разъехались по разным городам, а один даже живет в Москве и пишет стихи.

— Про него знаем, — сдержанно согласились члены делегации.

Стыдясь прямо спросить о носах родственников, они якобы из праздного любопытства поинтересовались, не осталось ли у них фотокарточек разъехавшихся, особенно в профиль. Соседи почему-то на это страшно обиделись.

— Нет никаких фотографий! — ответили они и злобно добавили: — Особенно в профиль!

Однако в архиве посланцы выяснили, что наш поэт дворянского происхождения, а в девятнадцатом веке его прадед в самом деле был женат на цыганке.

— Посланцы говорят, что русский дворянин, — повздыхали пославшие. — Если их по дороге евреи не перекупили.

Тогда еще, при советской власти, на фоне некоторого изнурения большевиков в вопросе выяснения классового происхождения сограждан, несколько оживился интерес к их расовому происхождению и одновременно стало модным быть причастным к русскому дворянству. Многие ринулись в дворянство.

Возможно, некоторые наивные люди решили, что остаткам самого истребленного класса в России будут платить пособия, подобно тому как немцы, удивляясь своей неаккуратности, платят пособия своим случайно недобрым евреям. Ожидавшие пособия явно погорячились. Но всё еще ждут.

— Что ж ты молчал, что ты аристократ? — спросили у него державники.

— Запомните, аристократ и есть истинный демократ, — ответил наш поэт, чем немало смутил их. С одной стороны, было неприятно, что он причисляет себя к демократам, а с другой стороны, было приятно, что демократы-то наши липовые, поскольку они явно не аристократы.

Он вообще мог припечатать словом. Одного глупого популярного романиста, обладавшего бешеной еврейской энергией и в год ухитрявшегося выпустить два антисемитских романа, он назвал:

— Вулкан с головой цыпленка.

Слова его подхватили в литературных кругах. Злые языки говорят, что экспедицию в Астрахань снарядил, и притом за собственный счет, именно этот романист.

Несмотря на бедность, одет наш поэт был всегда франтовато. Какой-нибудь новый директор издательства, впервые увидев его в своем кабинете и попытавшись встретиться по одежке, принимал его за процветающего советского писателя, терпя неимоверный голос и объясняя его близостью к начальству и робея перед его богатырским сложением, рыхловатость которого несколько скрывала ловко пригнанная одежда. Но потом, выяснив, что этот седовласый господин хлопочет об издании своей первой книги, приходил в ярость, принимая его за авантюриста и графомана.

Когда он входил в кабинет начальника и голосом громовержца начинал говорить, начальник всей шкурой чувствовал, что этого человека слишком много, что он самим своим обилием делает кабинет тесным для двоих и тем самым выталкивает начальника, сдувает его голосом, что начальнику, естественно, не нравилось, и он спешил сам изгнать его, пока не оглох и силы его не оставили.

— Уполовинься, тогда, может, что-нибудь получится, — говорил ему его единственный доброжелательный редактор, двадцать лет перетасовывавший стихи его первой книги, которая, по существу, уже была пятой, но находилась среди рукописей начинающих поэтов.

Так он жил в литературе, всем известный и никому не ведомый. Он жил, как ледокол, застрявший в океане ваты. Какой-то рок витал над судьбой его поэтических книг.

Одно время появился довольно либеральный секретарь Союза писателей. Ему доверяли, потому что его либеральность уравновешивалась общенародной склонностью к алкоголю. Он стал опекать нашего поэта с тем, чтобы в дальнейшем помочь ему выпустить книгу. Это был действительно культурный человек и в силу своей культуры понимал, что в стихах нашего поэта нет ничего антисоветского и он ничем не рискует.

Их связывала любовь к поэзии и любовь к выпивке. Выпивая с нашим поэтом, он коллекционировал и одновременно заспиртовывал его остроты. Излишне говорить, что наш поэт был блестящим собеседником. Секретарь Союза писателей, сидя с ним в писательском ресторане, приучал издательское начальство, которое тоже не чуждалось ресторана, к тому, что наш поэт свой человек и только глупые рецензенты не могут привыкнуть к его оригинальности. И уже все было на мази, книга нашего поэта наконец попала в издательский план, и ему даже выписали аванс.

Но однажды секретарь Союза вместе с нашим поэтом сидел в большой компании в писательском ресторане. В какой-то миг секретарь Союза посмотрел на часы и, вставая, сказал:

— Мне пора в президиум.

Предстояло большое писательское собрание. И вдруг наш поэт (кто его дергал за язык!) громогласно сострил:

— Он сказал: изыди, ум! И ушел в президиум.

Все рассмеялись, в том числе и секретарь Союза. Однако, оказывается, он затаил деятельную обиду. Мало того что дружба на этом кончилась, главное, книга нашего поэта таинственно исчезла из издательского плана. Правда, аванс назад никто не потребовал, да он и не отдал бы.

— Мне надоел этот директор коммиссионного магазина культуры, — позже говорил про этого секретаря наш поэт.

Про одного малокультурного, но очень плодовитого прозаика он однажды сказал:

— Его надо немедленно внести в книгу рекордов Гиннеса! Он уникальный писатель! Первая книга, которую он прочел в жизни, была его собственная первая книга!

Слух о сказанном, конечно, дошел до плодовитого писателя. И тот, по видимому долго обдумывая, нашел злой ответ:

— Пусть он позаботится о внесении меня в книгу рекордов Гиннеса. А я позабочусь о судьбе его книг здесь.

И, видимо, позаботился, как и многие другие. Книга нашего поэта никак не могла пробиться в печать.

Я забыл сказать, что у нашего поэта был высокий шанс издать книгу еще задолго до либерального секретаря Союза писателей. Это было время, когда вероломно сняли Хрущева и назначили Брежнева. Начальники не без основания были уверены, что в скором времени Сталина реабилитируют. Об этом они жарким, влюбленным шепотом говорили друг другу. Да и многие обычные люди догадывались об этом. Но наш поэт ни о чем таком не догадывался.

В пику нескольким диким выступлениям Хрущева против художников и писателей, где тот топал ногами и кричал на них, и выступления эти были еще у всех на слуху, хотя самого Хрущева уже сняли, — так вот, в пику этим его выступлениям Союз писателей рискнул поддержать нашего поэта и издать его книгу. Мол, не топаем, не кричим, но выискиваем таланты и подымаем их.

А с Хрущевым, в сущности, вот что было. Друзья Хрущева прослышали, что номенклатура готовит против него переворот под кодовым названием «Атака на цыпочках». Они предложили Хрущеву упреждающий жест: мирно повесить на Красной площади пять-шесть интеллигентов, нет, не больше, и тогда номенклатура испугается и притихнет. А чтобы Запад не поднимал шум, оформив похвальных интеллигентов как добровольцев.

А наивный Хрущев вместо этого топал ногами и кричал на художников и поэтов, при этом делал страшные гримасы, дескать, не к вам это относится, а к номенклатуре: вы не бойтесь, а только делайте вид, что испугались.

Ничего себе — делайте вид! А тут еще кто-то стал распространять слух, что пять-шесть человек повесят.

— Но не больше! — оптимистично добавлял он. — Хрущев покричит, потопает ногами, а потом пять-шесть интеллигентов повесит.

— Кого именно? — пытались дознаться представители художественной интеллигенции у того, кто эту весть принес.

— В том-то и дело, что неизвестно, — отвечал он.

Что делать? Если точно знать, что тебя именно повесят, можно было бы героически выступить против выпадов Хрущева. Но точно никто ничего не знал. Деятели искусства, как люди исключительно нервные, мягко говоря, растерялись, чего никак нельзя сказать про номенклатуру, которая, слушая топанье и крики Хрущева, бормотала среди своих:

— Ну и что! Ну и что! Пусть топают! Мы топать не будем.

И потому все так получилось. Другое дело, если бы Хрущев тихо-мирно повесил на Красной площади (даже не обязательно на ней!) пять-шесть интеллигентов, нет, больше не надо было, тогда, конечно, и номенклатура



сильно призадумалась бы. И тогда вместо того, чтобы на цыпочках атаковать, она, скорее всего, на цыпочках разошлась бы. Да что теперь говорить об этом! Да мы о другом! Да не наше это дело!

Мы о нашем поэте. Для начала решили попробовать его на эстонцах. Союз писателей устроил в Таллине вечера московских поэтов. Для укрепления дружбы народов. Как всегда, на такого рода мероприятиях наше пролетарское государство проявляло купеческие гостеприимство, по-своему используя ленинский лозунг: мы не все старые ценности сдаем в архив. И как всегда, начальников приехало больше, чем поэтов.

Заключительный вечер состоялся в переполненном театре. Наш поэт имел бешеный успех. Впервые в жизни его голос естественно соответствовал размеру помещения.

Он читал стихи о России и о Европе. Чудные стихи о чудных, видимо средиземноморских, островах особенно понравились слушателям. Они дивились тому, что, сидя в Москве, можно восхищаться европейскими красотами и при этом не оказаться в районе Магадана с красотами его северных сопот.

Правда, говорят, небольшая наиболее консервативная часть местной публики решила, что Советский Союз так именно готовит почву для захвата этих теплых островов. Но таких было мало. Основная масса зрителей воспринимала его стихи как победу либерального направления в Кремле. А теплые острова — почти прозрачный символ потепления международных отношений.

Московскому начальству шумный успех нашего поэта тоже пришелся по душе. Пусть знают, думали они, и нам Европа не чужда, и мы не лаптем щи хлебаем. Наш поэт настолько им понравился, что они взяли его с собой на торжественный ужин, устроенный в доме видного эстонского поэта. Все остальные поэты ужинали и пили в гостинице за собственный счет.

Видный эстонский поэт, он жил недалеко от театра, ведя гостей к себе домой, позволил смелую шутку, над которой хохотали даже московские начальники, правда соразмеряя свой хохот с хохотом главного начальника.

Показав рукой на мусор, валявшийся на тротуаре, кстати, по российским меркам, вполне умеренно, этот эстонский поэт сказал:

— Эстонцы дураки. Они ждут, когда кончится советская власть, чтобы потом убрать мусор на улицах.

Шутка, конечно, прозвучала двусмысленно, но интонация была такова, что советская власть никогда не кончится. И потому начальство хохотало.

Но вот мы сегодня свидетели того, что советская власть в самом деле кончилась. Так что эстонцы в своих терпеливых ожиданиях оказались не такими уж дураками. Правда, надо сказать, что и мусора с тех пор скопилось порядочно.

Все было бы прекрасно, если бы не особенность местного национального обычая, о котором не знало не только начальство, но и наш весьма эрудированный поэт. Оказывается, в лучших домах Таллина принято сначала ужинать в столовой, разумеется с напитками, а потом переходить в другую комнату, где гостей уже строго испытывают на чистом алкоголе, без всяких закусок. Такая эстонская рулетка.

Но об этом из наших никто не знал. Никто не знал, что надо пить за первым столом, учитывая для равновесия предстоящий стол. Но о нем заранее никто ничего не сообщил. Поэтому наши начальники выложились за первым столом. Они действовали, как штангист, у которого единственный подход к снаряду.

Так вот, когда гостей перевели в другую комнату и усадили за второй стол, они были так пьяны, что чувствовали себя совершенно трезвыми. И они продолжали крепко пить. Тем более, что кто-то из них высказал остроумную догадку: согласно причудливым местным обычаям, предстоит еще один стол — в третьей комнате, где будут подавать уже одни закуски, а напитков не будет. Так что старались пить и в счет третьего застолья.

— Сколько же у него комнат, если на каждое застолье выделяется по комнате! — удивлялись московские гости.

Алкоголь, как известно, ускоряет движение времени. И наши начальники дружески, перебивая друг друга, стали ласково рассказывать о том, что Сталина в ближайшее время реабилитируют. Им, видимо, казалось, что эстонцы сильно соскучились по Сталину, и они в благодарность за гостеприимство решили их взбодрить. Однако хозяева и другие прибалтийские гости смущенно молчали. Но не промолчал наш аполитичный поэт.

— Значит, осуждение Сталина на Двадцатом съезде было аферой Хрущева? — громко, как всегда, спросил он с раздражающим оттенком глобального академизма.

— Нет, аферы не было, — отвечал главный начальник, глядя на нашего поэта и взглядом охотно соглашаясь с ним, что лично Хрущев, конечно, аферист, но об этом нельзя говорить при эстонцах, так как они еще не обладают достаточной политической гибкостью. Но наш поэт ничего в этом многозначительном взгляде не уловил. Он только уловил его слова.

— Выходит, реабилитация Сталина — афера? — спросил он в согласии с логикой, но в полном противоречии с диалектикой. Теперь он спросил с еще более раздражающим оттенком еще более глобального академизма.

И что тут началось! Начальники взвились!

— Мальчишка! Дурак! Астраханский эстет! Кулацкое отродье!

— Что ты можешь знать о великих заслугах товарища Сталина, киприот недоделанный! — в отчаянье выкрикнул один из начальников, забыв, что астраханский эстет никак не совмещается с киприотом, даже недоделанным.

Скандал! Скандал! Скандал! Выражая неподдельную ярость, начальники кричали на него, одновременно не забывая поглядывать друг на друга, чтобы обнаружить в ком-нибудь слабость выражения этой ярости. Поэтому никакой слабости никто не проявлял.

Эстонцы и остальные прибалты молча слушали, как бы изучая особенность славянского спора между собой, которая, оказывается, заключается в том, что все бьют одного.

Потом начальники повскакали с мест и стали дружно одеваться, гневно вбрасывая руки в рукава плащей, как шашки в ножны после кавалерийской атаки. Они уходили, демонстративно отмахнувшись от третьего застолья, которое, впрочем, сами же и выдумали. Все заспешили в гостиницу, и бедный наш поэт, понурившись, последовал за ними.

Самый маленький начальник, занимавший тот же номер, что и наш поэт, неожиданно наотрез отказался от своего места, ссылаясь на то, что больше не может дышать с нашим поэтом одним воздухом, отравленным его дыханьем. Однако по случаю заполненности гостиницы и, вероятно, невозможности достать противогаз в столь поздний час ему предложили рискнуть и занять свою кровать. Ночью, временами вскакивая на постели и что-то быстро лопоча, он, не просыпаясь, во сне продолжал искренне симулировать возмущение. В те времена искренне симулировать возмущение могли многие, но чтобы во сне искренне симулировать возмущение — и тогда было величайшей редкостью. Пусть психологи будущего изучают этот феномен.

После этого скандала книга нашего поэта на несколько лет потеряла даже отдаленный шанс быть изданной. Отсутствие более жестких санкций было вызвано тем, что Сталина и в самом деле не реабилитировали. Говорят, об этом взмолилось руководство европейских компартий.

— Я остановил реабилитацию Сталина! — позже грохотал наш поэт. По его словам, этот скандал проник в западную печать и Кремль вынужден был дать слово, что реабилитации не будет, потому что наиболее талантливая часть России против. Ну что ты ему скажешь!

...Однако мне поднадоело комментировать его жизнь. Я передаю ему слово. Думаю, он это сделает лучше.

## ОЗИМАЯ КУКУРУЗА

В юности, знаешь, меня по знакомству устроили работать в центральную молодежную газету. Скажем так, чтобы никого не обижать. Полгода я жил припеваючи и пропиваючи свой гонорар. Я писал рецензии на книги, в основном иностранных авторов, отвечал на письма читателей. Я работал в отделе культуры.

Единственная трудность, которую я не сразу одолел, — это эпистолярное, а главное, личное общение с графоманами. Самое упорное и злобное племя людей. Стоило мне в письме такому человеку дать легкие указания на тяжелые недостатки его стихов или рассказов и пожелать ему в дальнейшем творческих удач, как он разражался целым трактатом критики на мою критику и посылал этот трактат на имя главного редактора. Тот, разумеется не читая трактата, но стремясь к спокойной жизни, становился на его сторону и учил меня быть поласковой с молодыми авторами.

Еще упорней они бывали в личном общении, переходя от сентиментального предложения устроить загородный пикничок с шашлыком к прямым угрозам пожаловаться в ЦК комсомола или даже партии. Кошмар.

Один из них купил меня на эти шашлыки, за что я потом сполна расплатился. Он писал рассказы, и я чувствовал в них некоторое мерцание таланта и возился с ними, пытаюсь довести их до печатного уровня. Но пока не удавалось. Кстати, при этом он был удивительно одарен в практической области, зарабатывал достаточно много денег и уже тогда имел свою машину.

Согласие мое на шашлычный пленэр объяснялось еще тем, что мы оба жили в одном и том же подмосковном районе. Было удобно встретиться.

— Приведи с собой кого-нибудь из редакции, — щедро предложил он, — будет веселее.

Я предложил заведующему отделом приехать ко мне на шашлычный пикник, устроенный одним начинающим автором.

— Что ты, что ты! — всплеснул тот руками. — Я не поеду! Потом от него не отделаешься, прилипнет. И тебе не советую прикасаться к этому шашлыку!

Но я прикоснулся. До сих пор удивляюсь мудрости и прозорливости этого человека, а ведь он не намного был старше меня.

В назначенный день этот автор приехал на своей машине, с шашлыками, водкой и певцом, исполнявшим собственные песни. Мы развели костер и поджарили шашлыки. Потом пили водку, закусывая дымным мясом, и слушали певца. Певец оказался не только талантливым, но и высококультурным человеком, и я про себя удивился, что его свело с моим автором, которому сильно не хватало этой самой культуры, и он ее, кряхтя, заменял упорством. Неужели только возможность выпить? Одним словом, мы хорошо посидели.

После этого рассказы моего автора довольно густо посыпались на меня, и каждый раз мне казалось, что в них что-то есть, и я рылся в них в поисках неведомого призрака таланта, но никак не мог довести их до печатного уровня. Потом он перестал приходить, но, оказывается, затаил на меня обиду. Он, видимо, никак не мог понять, что, даже если бы я по доброжелательности пропустил его рассказ, другие работники редакции его непременно остановили бы. И я, чтобы не морочить ему голову, сам возвращал ему его творения, тем самым обращая его дальнобойную злобу на самого себя. Но этого я тогда не понимал.

Прошли годы и годы! Наступило новое время, вакханалия свободы, но при этом надо сказать, что мои книги стали печатать в России и за границей. Я стал известным поэтом не только в узких кругах, как было раньше.

И вдруг этот автор, про которого я давно забыл, уже красиво поседевший, уже на новенькой машине, приезжает ко мне и дарит мне свою первую книгу. При этом усиленно зазывает меня выпить с ним хорошего грузинско-

го вина, которое у него в багажнике, или, в крайнем случае, взять в подарок несколько бутылок.

Мистика! Какая-то божественная сила меня удержала! То ли смутное воспоминание, что мы перед расставанием несколько поссорились, то ли его какая-то новая, вкрадчивая манера разговаривать. Я даже нагло солгал ему. Я сказал, что бросил пить, и он, не вынимая своего вина, скромно уселся в свою дорогую машину и уехал. Из дальнейшего рассказа у тебя может возникнуть мысль, а не хотел ли он отравить меня своим вином. Я уже об этом думал. Отвечаю: нет! Первое его предложение было сразу — вместе выпить. В таком случае я, будучи отравленным, не успел бы прочесть его рассказы. А с этим он смириться никак не мог. Более того, если бы он просто оставил мне вино, у него не могло быть никаких гарантий, что я после его ухода примусь за его рассказы, а не за его вино.

Как же он теперь пишет, подумал я и, чтобы сразу выйти на самое зрелое произведение, начал читать книгу с последнего рассказа.

Боже, Боже! Это был рассказ о нашем шашлычном пикнике, где с патриархальностью летописца от всех, и меня в первую очередь, назвал собственными именами. Больше от летописца в рассказе не было ничего.

Меня в этом рассказе он вывел величайшим глупцом и коварнейшим хитрецом. Я выгляжу в нем редакционным павлином, ни на секунду не забывающим, что я работаю не где-нибудь, а в центральной газете. При этом он приплел бессмысленную ложь, что я якобы хвастался, будто вырос на коленях известного поэта и на этих же коленях написал первые свои детские стихи. Вершина юмора!

Я этого поэта не только не знал, но даже никогда не видел. Он уже давно умер. Не обращаться же к родственникам его со странной просьбой подтвердить, что я у покойника никогда не сидел на его выносливых коленях, учитывая, что и ребенком я был достаточно крупным.

Но еще сильнее меня раздражило, что он присвоил мне кавказскую привычку во время застолья хлопать ладонью в ладонь человека, сказавшего особенно острое словцо. Я терпеть не могу эту привычку, но получалось, что я же беспрерывно с размаху хлопаю кого-то в ладонь, и, конечно, в основном в его ладонь. По его словам, я прямо-таки отбил ему ладонь дня на два и он за это время не мог взять в руки пера. Намек на незримый траур читающего человечества. Сколько якобы скрытых комплиментов себе в одной фразе. С одной стороны, беспрерывный поток остроумия (хлоп! хлоп! хлоп!), а с другой стороны, затворническая жизнь истинного художника: ни дня без строчки. Ни дня — кроме этих двух дней.

Ну конечно, кое-что перепало и ладони певца после особенно задушевной песни.

Дальше началось полное безумие, возможно чуть-чуть основанное на факте. Когда он разжег костер для шашлыка, он несколько торжественно, чего я тогда не заметил, вручил мне кусок фанеры, чтобы я им раздувал пламя, а сам стал собирать поблизости всякие сухие сучья и ветки. И возможно, не видя возле костра никакого топлива, чтобы поддержать огонь, я сунул туда этот несчастный кусок фанеры. Возможно. Не отрицаю.

В этом месте рассказа он обрушил на меня рыдающую провокацию. Оказывается, эта фанера, будь она неладна, была крышкой от посылки, присланной его любимой мамой — да что значит присланной! присылаемой ему в течение уже десяти лет из далекой провинции! Оказывается, она уже в течение десяти лет присылает ему сухофрукты в одном и том же ящике с одной и той же крышкой, потому что в ответ он дорогой мамочке в провинцию шлет консервы не только в том же ящике, но с той же крышкой, только перевернув ее и написав мамин адрес. Оказывается, эта крышка от посылки, как знак близости с любимой мамой, была ему дороже всего на свете, даже дороже машины! Спрашивается, если уж эта крышка от посылочного ящика так тебе дорога, зачем ты ее притащил для вздувания шашлычного костра? Лучше бы уж из

дому веник принес, было бы куда размашистей раздуть костер! Но слушай дальше, ты умрешь!

Оказывается, я не случайно сунул эту крышку в огонь, отнюдь не случайно! Оказывается, я принял эту крышку от посылки за одну из крышек от посылок, которые регулярно получаю из-за границы, и не на московскую квартиру, где живет моя мама, а на этот районный адрес, где КГБ далеко не так тщательно, как в Москве, проверяет посылки. Оказывается, я, увидев на крышке написанный крупным почерком индекс хорошо знакомого почтового отделения, дальше не стал читать, приняв куриный почерк его мамы за почерк иностранца. Он так сурово и пишет — «куриный почерк мамы», что совершенно не вяжется с нежными признаниями в любви к ней. Тут сразу возникает несколько безответных вопросов. Почему он уверен, что я помахиал крышкой над костром именно той стороной к себе, где господствовал куриный почерк мамы, а не той, где царствовал его петушиный? Почему он уверен, что у таинственного иностранца, неустанно снабжавшего меня посылками, был такой же или почти такой же куриный почерк, как у его мамы, что я их мог спутать? Были еще вопросы. Забыл.

С ума сойти! Я никогда в жизни не получал из-за границы посылки! Вообще ниоткуда не получал посылки! В получении посылок из-за границы даже в те далекие времена не было прямого криминала. Но из контекста следовало: легко мне быть поэтом, далеким от политики, когда за граница так нежно заботится обо мне. Но с другой стороны — противоречие. Откуда такой панический страх: немедленно сжечь крышку! Что, в посылке лежали антисоветские книги или наркотики?!

Но, допустим, если я после долгих поисков нашел такое странное почтовое отделение, которое КГБ по рассеянности (ха! ха!) не проверяет, как же я сам эту крышку вынес? И зачем вообще я ее хранил? Не посылал же я своему иностранцу с куриным почерком консервы из Москвы, перевернув ту же крышку, как мой автор?

Но, допустим, я пришел в неимоверный восторг от предстоящего шашлыка и забыл про всякую опасность. Откуда я взял, что сейчас в России принято раздуть шашлычный огонь исключительно крышками от посылок? Тысячи вопросов! Ведь крышкой от посылки я раздувал костер еще далеко до всякой выпивки и, если обратил внимание на почтовый индекс, столь утраивший меня, мог бы прочесть и дальше, несмотря на куриный почерк его мамы. Хотя бы подобие психологической правды! Хотя бы указал, что я все это проделал, когда уже надрался водки. Так нет!

Кстати, почему он этот рассказ поместил в конце книги? Я думаю, он решил, что я, читая его искрометные рассказы, окончательно расслаблюсь — и тут он вонзит в меня свой кинжал!

Я посмотрел выходные данные книги. Весьма странно. Название какого-то издательства, каких сейчас тысячи, и я, разумеется, о нем ничего не слышал. Но там забавные редакционные приписки. Во-первых, книга издана на средства автора, во-вторых (слава Богу!), всего пятьсот экземпляров, а в-третьих, и это самое главное, неслыханное для издания художественных произведений предупреждение: продажа книги запрещена!

Зачем же вы издаете, если запрещаете продажу книги? При этом на обложке исполненный бодрой доброжелательности уговор читателей присылать отзывы о книге по адресу автора. Каких читателей, если книга запрещена для продажи? Очевидно, выкупив издание, автор сам будет рассылать книги избранным читателям.

Мне он уже вручил, и, если мое признание с твоей помощью когда-нибудь попадет в печать, это и будет читательский отзыв на ласковые уговоры.

Прочитав рассказ, я сначала пришел в бешенство и хотел подать в суд на издательство и автора за клевету. Ведь, скажем, если я получал из-за границы посылки, на почте должны оставаться какие-то данные об этих посылках. Но потом махнул рукой: черт с ним! Ему любой ценой нужна любая

слава, так что суд ему даже выгоден. По этой же причине я не называю его имя — и это ему было бы выгодно. Любой скандал!

В сущности, КГБ должен был подать на него в суд за клевету. Якобы они, сосредоточив свое внимание на посылках, поступающих в Москву, сквозь пальцы смотрели на те, которые приходили в районные почтовые отделения.

Но как это все могло случиться? Деньги, деньги, деньги сейчас играют роль всеильной идеологии.

Но я отвлекся и отвел душу. Пусть и тебе это послужит уроком. Я знаю, что ты слишком много уделяешь внимания так называемым подающим надежды. Они и тебе рано или поздно отомстят, если уже не отомстили. Молодой автор должен подавать талантливые рукописи, а не надежды.

Возвращаюсь к своей газетной молодости. Наконец, когда графоманы меня совершенно загнали в угол, нужда заставила найти выход.

«Ваши стихи или рассказы гениальны, но их поймут только в следующем веке», — говорил я или писал в ответ на присланные рукописи. И каждый графоман, как бы воркуя, после этого замолкал. И только один, и то весьма вежливо, сделал еще одну попытку напечататься.

«А нельзя ли все-таки попробовать в этом веке?» — деликатно спросил он у меня в ответном письме.

«К сожалению, нельзя, — отвечал я ему, — для этого века они слишком гениальны».

И он навсегда замолк, по крайней мере в этом веке. Но вот однажды меня вызвал к себе редактор и говорит:

— Наши сборкоры о комсомольской работе на местах пишут очень скучно. А у вас хорошее, легкое перо. Поезжайте в Вологодскую область. Мы вам выбрали большое, зажиточное село. Напишите, как там проходит комсомольская жизнь. Заодно можете прихватить и хозяйственную. Особенно обратите внимание на кукурузу, она теперь царица полей! Это сейчас революция в сельском хозяйстве! Покажите всем этим нашим замшелым сборкорам, как крылато можно писать о комсомольской жизни, когда за это берется настоящий поэт!

Я был юн и польщен оценкой редактора моей поэтической работы, хотя именно он, кстати говоря, ни разу не опубликовал мои стихи.

— Пока не так поймут, — говорил он, возвращая мои стихи, чем натолкнул уже меня на формулу о следующем веке. Нет, до следующего века он меня не отсылал, это я сам придумал.

И вот я впервые приезжаю в это действительно большое село и действительно по тем временам достаточно зажиточное. В каждом доме водопровод и электричество. Я поднялся в правление к председателю колхоза. Он выслушал меня, не переставая покрикивать на бригадиров, собравшихся там, а потом сказал:

— Зайдите в библиотеку. Библиотекарша — секретарь нашей комсомольской организации. А потом приходите ко мне. Я вас повезу по полям.

Я зашел в библиотеку, которая находилась при клубе. Библиотекарша оказалась молодой, худенькой, некрасивой и как бы вследствие всех этих причин навсегда притихшей девушкой.

На все мои наводящие, бодрые вопросы о комсомольской работе она отвечала грустным отрицанием. Никакого молодежного кружка по изучению марксизма, никакой оживленной дискуссии по поводу приближающегося коммунизма, обещанного Хрущевым, никакой театральной самодеятельности, никакой хореографии, никаких литературных вечеров, ничего.

Кругом книги. Сидим одни в тихой библиотеке, и я как бы все время домогаюсь комсомольской работы, а она как бы на мои домогания, скромно опуская глаза, тихо отвечает:

— Нет.

Кругом книги, тишина, мы с молодой девушкой одни в библиотеке, и я все время слышу, как она, скромно потупившись, говорит:

— Нет.

При этом ни малейшего желания солгать или как-то оправдаться. Такая беззащитная искренность порождает желание пожалеть ее. А тут книги, тишина и мы вдвоем. Она была так некрасива, что возбуждала желание лечь с ней и сделать ее красивой! Но это, конечно, было невозможно! Парадоксальный секс! Я его открыл.

— Так что же бывает у вас в клубе? — спросил я, уже в полной безнадёжности продолжая домогаться.

— Кино и танцы, — прошептала она, вздохнув, как бы наконец ответив на мои домогания в очень неудобной позе.

— А к вам в библиотеку ходят комсомольцы? — сделал я еще одну несколько извращенную попытку.

— Очень редко, — прошептала она после долгого молчания, видимо припоминая читателей. — В основном книги берут местный агроном и учителя.

Боже, какая печальная девушка и как мне хотелось приобнять ее и приласкать! А ведь мне предстояло по поводу слышанного написать гневную статью, в основном направленную против нее.

Я удрученно поплелся к председателю колхоза. Как я потом узнал, у него было прозвище Чапай. Он нервно набрасывался на всех, хотя, в сущности, был незлым человеком.

Посадив в свою машину, он с гордостью провез меня возле цветущих пшеничных полей. А потом мы подъехали к огромному, уходящему за горизонт кукурузному полю, где кукуруза, несмотря на середину августа, возвышалась над землей на двадцать, в рекордных случаях на тридцать сантиметров. Ждать от нее початков было бы все равно, что ждать ребенка от трехлетней девочки. А у нас под Астраханью, еще до всякой кукурузной кампании, я видел могучие заросли ее, с лихими метелками и иногда с несколькими початками на стебле.

— Нам приказали засеять под кукурузу лучшие земли! — кричал председатель бесстрашно, как Чапаев, нападая на Хрущева. — А я не знаю, стоит ли здесь косить или дешевле пустить скот, пока снег не выпал!

Потом он мне показал коровник, птицеферму и другие колхозные заведения. Кстати, когда мы подъехали к птицеферме, десяток женщин, лузгавших семечки у ее входа, вбежали в помещение, весело крича:

— Бабоньки, Чапай приехал!

После этого мы зашли в какую-то столовку, где обед плавно перешел в ужин. Председатель, ругая Хрущева, непрерывно жаловался на кукурузу, которая не дает и не даст разбогатеть хозяйству. Я был польщен его доверчивой руганью при мне в адрес высшего начальства, но позже убедился, что люди чем дальше от центра, тем откровенней.

Потом он повез меня ночевать. Мы вышли из машины возле какой-то скромной избы. Я с хищным восхищением решил отметить в будущей статье простоту председательского жилья. Но он стал стучать в дверь, и ее вдруг открыла та самая библиотечарша.

— Наташа, принимай гостя ночевать! — крикнул он и как бы для облегчения ее участи добавил: — Он уже со мной поужинал!

Он попрощался, и мы с ней вошли в чистую, пустую избу с русской печкой, на которой, оказывается, кто-то спал, но я этого не заметил. Сидя за столом, мы еще с ней немного поговорили, и к скудной информации о ее жизни прибавилось, что она заочно учится в каком-то институте. Изучает немецкий язык. Мне стало ее совсем жалко. Зачем немецкий язык посреди Вологодской области?

Наконец, не переставая грустить, она постелила мне постель, постелила себе постель, разумеется в той же избе, а где ж еще, погасила свет, и мы легли.

Мне ее было безумно жаль, тем более что мне неотвратимо предстояло писать о развале комсомольской работы в этом селе. И в этом развале главной виновницей должна была стать эта хрупкая, некрасивая, беззащитная девушка. Я много раз мысленно пытался, отталкиваясь от реального водопровода и реального электричества, нарисовать пристойную картину комсомольской жизни. Но понимал, что не могу. Не за что было зацепиться. Думая обо всем этом, я тяжело вздохнул.

Она, видимо, услышала мой тяжелый вздох и по-своему его поняла. Она вдруг тихо встала, подошла к моей кровати и, как обиженный ребенок, которого до этого изгнали из игры, а сейчас он сам в нее вступает (дважды обиженный!), грустно попросила:

— Подвиньтесь!

Я подвинулся, и она легла рядом со мной. Я обнял ее бедное тело. Было жалко, стало жарко...

В темноте я был уверен, что она похорошела. Мы разговорились в постели, и теперь ее голос был добрый и нежный. Никакой грусти. Мы договорились до того, что она после окончания института придет ко мне. Я был в восторге и забыл свойство собственного голоса. И она настолько забылась, что не предупредила меня.

Оказывается, это ее бабушка лежала на печке. И вдруг оттуда донеслось всхлипывание, переходящее в громкий плач. Я оцепенел от стыда и ужаса.

— Моя внучка блядь, моя внучка блядь! — доносилось сквозь рыданье старушки.

— Ну ладно, хватит, хватит, бабушка! — крикнула Наташа и ушла к себе в постель.

Старушка постепенно замолкла. Я лежал ни жив ни мертв! Как я утром встречусь с ней глазами! Уйти сейчас — но идет дождь, и куда? Не буду спать, подумал я, а на рассвете, пока они спят, уйду. Приняв твердое решение не спать до рассвета, именно из-за этого твердого решения я тут же уснул. Но на рассвете в самом деле проснулся. Я тихо встал, оделся и вдруг увидел на столе кружку молока и горбушку хлеба. А вечером на столе ничего не было. Значит, Наташа поднялась раньше меня и, поняв, что я не могу увидеться с ее бабушкой, оставила мне завтрак. Милая, чуткая девушка, кто бы кроме тебя догадался обо всем этом и позаботился обо мне! Я решил, что есть хлеб в этом доме и запивать его молоком после всего, что случилось, было бы слишком нахально. Но одно из двух — можно! Я одним махом выпил кружку молока и, взяв с собой хлеб, съел его на улице.

Не буду говорить о том, как я добирался до Москвы. Теперь после того, что случилось ночью, я тем более не мог написать горькую правду о комсомольской работе на селе. Но и дохлая полуправда меня не устраивала. Я понял, что меня спасет только вдохновенная фантазия.

И я написал! Я написал, что в этом селе, сияющем от электричества, как Москва, хоть по ночам иголки ищи по улицам (непонятно, кто и зачем их разбрасывал), жизнь прекрасна и удивительна. Повсюду, вплоть до автопоилок на фермах, щедро льется водопроводная вода. Местные комсомолки из литературного кружка неожиданно спросили у вашего корреспондента, как понимать строчки Пушкина:

Спой мне песню, как девица  
За водой поутру шла.

Они с хохотом поинтересовались:

— Как это так? Впереди идет вода, а за нею девушка?

Возможно, это была шутка. Но даже если это была шутка — то характерная. Каково же было мое изумление, когда я, слегка углубившись в этот вопрос, узнал, что никто из них не понимает значения слова «коромысло», они дружно называли его иностранным словом. И тут уже было не до шуток. Правильный ответ дал только один старик. Прости, бабушка, наворачивалось



у меня на язык, может быть, и ты дала бы правильный ответ, но я этого не написал.

Вина перед бабушкой не давала мне покоя и постоянно просилась в текст, куда я ее не впускал, и оттого утолить это чувство никак не мог.

Колхозные поля цветут, писал я. А бесконечная кукурузная плантация — это настоящие джунгли, готовые с головой укрыть всадника, если, конечно, ему удастся вогнать туда коня, что сомнительно. Прости, бабуля!

Я написал, что каждый кукурузный стебель держит на своей груди пять, шесть, семь початков. Я написал, что некоторые кукурузные стебли не выдерживают этой тяжести плодов и иногда опасно накреныются, но им не дают упасть мощные братские стволы рядом растущей кукурузы.

Эти кукурузные джунгли стали причиной, слава Богу временного, несчастья на селе. Оказывается, двенадцатилетний мальчик заблудился в них и не нашел дороги домой. И только на пятый день его отыскивали работники районной милиции с собакой-ищейкой. Перед походом в кукурузные джунгли собаке дали понюхать его личную любимую книгу «Как закалялась сталь» Островского. И собака взяла след и нашла мальчика в этих джунглях. Она нашла мальчика, мирно спавшего у подножия особенно рослого стебля кукурузы. Мальчик безмятежно спал, обняв недоеденный початок кукурузы, так он был велик. Оказывается, все эти четыре дня мальчик питался кукурузой молочно-восковой спелости, и у него даже не испортился желудок.

Как выяснилось впоследствии, мальчик, срывая эти початки, вскарабкивался на мощный стебель кукурузы. Даже если бы он захотел, он был не в силах согнуть стебель кукурузы, чтобы дотянуться до початка.

Впрочем, и в своем бедственном положении мальчик не мог допустить такого варварства, чтобы валить царицу полей на землю. И дело не в его несовершеннолетия, тут я тонко пошутил, а в исключительно уважительном отношении к царице полей. Но редактор выкинул эту шутку, ссылаясь на то, что некоторые могут понять ее как скрытую симпатию (непонятно — мальчика или автора?) к монархии.

Мальчика нашли, но это не обошлось без забавного курьеза. Оказывается, собака осторожно, чтобы не разбудить мальчика, взяла зубами из его рук недоеденный початок и с большим аппетитом доела его и даже разгрызла кочерыжку, как сладкую кость. (Я знал, что голодные собаки едят кукурузу. Правда, у нас на юге.) После этого она, поглядывая вверх на могучие початки и тихо подвывая, чтобы не разбудить мальчика, просила милиционеров сорвать ей еще один початок. Милиционеры, легко поняв желание собаки, угостили ее еще одним початком. И она его с таким же аппетитом слопала и с наслаждением разгрызла кочерыжку. После чего, наевшись до отвала, она брякнулась рядом с мальчиком, думая, что ее здесь оставляют сторожить все еще безмятежно спящего мальчика, и, видимо, довольная этим. Но милиционеры, посмеявшись ее наивной хитрости попытаться остаться вблизи кукурузы, подняли ее вместе с мальчиком. Надо же было искать дорогу обратно! Прости, бабуля, но я ж, в конце концов, был не первый!

Но мало всего этого! Местный агроном вывел новый сорт озимой кукурузы, и часть полей засеяна ею. Озимая кукуруза колышет себя под ветерком и для озимого сорта выглядит достаточно крупной.

Любимого председателя колхоза за смелый, атакующий стиль руководства народ здесь называет Чапаем, по имени знаменитого героя Гражданской войны!

Культурную жизнь села неизменно возглавляет секретарь местной комсомольской организации Наташа Богданова. Ее чуткость у всех на устах! Несмотря на невероятную занятость в селе, она успевает заочно учиться в Институте иностранных языков! Ваш корреспондент, услышав немецкую речь в селе, на миг подумал, что внезапно попал в Германию. Но оказалось, что чудес не бывает!

Наташа, сама заочно изучая немецкий язык в институте, организовала в селе кружок по изучению немецкого языка, и уже около десяти комсомольцев довольно сносно говорят по-немецки.

Под ее руководством создан хор, великолепно исполняющий русские народные песни. А также танцевальный кружок, преимущественно исполняющий испанские танцы, что отнюдь не означает примирительного отношения к генералу Франко! Прости, прости, бабуля, если можешь!

Более того! В селе есть комсомольский кружок по изучению философии. На наших глазах в клубе проводилась пылкая дискуссия между сторонниками «Анти-Дюринга» Энгельса и «Нищеты философии» Маркса. Но эта дискуссия не означала, что спорящие друг друга отрицают, они плодотворно дополняли друг друга.

Наташа Богданова, кроме всего, еще и библиотекарь села. Когда открывается библиотека, всегда выстраивается очередь комсомольцев, обменивающих книги. Комсомольцы, чтобы не терять время, в самой очереди устраивают летучие дискуссии по поводу прочитанных книг. При всем при том нам надо сказать правду, ибо правда превышает всего! И мы должны признаться, что все-таки на селе больше всего читают агроном, создавший неслыханный в мире сорт озимой кукурузы, и местные учителя. Комсомольцам и здесь есть на кого равняться!

Когда ваш корреспондент уезжал из села, его славный председатель по кличке Чапай просил меня, когда я буду в Москве, лично от его имени поблагодарить Хрущева за кукурузу. О, святая чапаевская наивность! Он думает, что обыкновенному сотруднику газеты легко встретиться с товарищем Хрущевым. Но заочно через газету мы эту благодарность передаем. О, прости-прощай, бабушка, я уже не все помню, о чем я там еще написал!

Редактор взял перепечатанную на машинке статью в свой кабинет и через час вызвал меня к себе. По-моему, великолепие статьи его слегка пришибло. По-моему, он испугался, что Хрущев может посадить меня на его место. Такие были причудливые времена. Но забраковать статью было еще опасней.

— Там комсомольцы в самом деле читают «Анти-Дюринг» Энгельса? Ты не путаешь? — спросил он у меня с заискивающей осторожностью. В том, что комсомольцы этого села читают «Нищету философии» Маркса, он почему-то не усомнился.

— Может, спутал с «Диалектикой природы» Энгельса, — небрежно ответил я, — но это маловероятно.

— Потрясающее открытие сделал местный агроном! — добавил он, радостно переходя к безукоризненным фактам. — Это же надо додуматься! Озимая кукуруза! Строго между нами говоря, в некоторых районах кукуруза плохо растет. И нам в печати приходится скрывать это, чтобы у крестьян руки не опускались. Может быть, будущее за озимой кукурузой! Меня тоже интуиция не подвела, когда я тебя послал именно в это село. Статью — в набор! Быть ей на Доске почета, а ты получишь гонорар по высшей ставке!

Так и случилось. Дней десять меня со всех сторон поздравляли. Я сделал великое открытие: коммунизм победил в отдельно взятом селе! Даже кличка председателя колхоза как бы подтверждала это. Лихая чапаевская атака — и коммунизм взят! Возможно, кое-кто и сомневался в этой победе, но вслух сказать об этом было страшновато.

Но вдруг редактору позвонили из ЦК комсомола. Ему сказали, что в это село на днях направляется немецкая делегация из ГДР для изучения опыта молодежной работы. У них статья перепечатана.

— Мы уже туда послали своего инструктора, — сказали из ЦК, — все вранье, кроме электричества, водопровода и Наташи Богдановой, чья бабка не слезает с печки. Но сотрудника нельзя наказывать. Статья — прекрасный вдохновляющий пример для сельских комсомольцев. Раз это написано, значит, это достижимо!

А с немецкой делегацией мы управимся. Срочно посылаем из Института иностранных языков десять комсомольцев, говорящих по-немецки, во главе с бойкой, красивой аспиранткой, которая на время пребывания немцев в селе будет выступать в роли местного комсомольского вожака. Наталья Богданова не годится — чересчур невзрачная. Аспирантка будет жить у нее дома, а Наташа будет ее дальней родственницей, приехавшей погостить.

Посылаем десять студентов философского факультета. Посылаем профессионалов, исполняющих народные песни, и танцоров с испанским уклоном.

...Все прошло почти блестяще! Были только две небольшие заминки, которые тут же утряслись. Бойкая, красивая аспирантка, оказывается, так хорошо говорила по-немецки, с таким берлинским прононсом, что немцы завопили:

— Панама! Панама!

Они заподозрили, что эта псевдостудентка на самом деле немка, тайно выписанная из Берлина. Но при помощи немецкой же переводчицы удалось доказать, что она для немки слишком хорошо говорит по-русски. Немцы почти успокоились, но потом попросили показать им кукурузные джунгли.

Однако к этой просьбе наши были готовы. Немцам объяснили, что, увы, кукурузные джунгли уже скосили, но можно показать огромные поля под озимой кукурузой. Немцы осмотрели поля под озимой кукурузой и остались довольны, особенно ростлостью озимой кукурузы. Им щедро пообещали зерна с будущего урожая, но они, посовещавшись между собой, сказали, что по климатическим условиям ГДР не нуждается в озимой кукурузе. Не хотите — не надо, наше дело — предложить!

Вечером в переполненном местном клубе давали концерт московские артисты, которых немцы принимали за представителей местной самодеятельности.

Сельчане с бешеным азартом аплодировали артистам. Молодежь, резвясь, забрасывала их бумажными самолетами.

Немцы совсем растаяли:

— Так встречают только своих!

На следующий день они уехали, оставив Чапая с его гамлетовскими раздумьями: стоит ли косить эту лилипутскую кукурузу или уж лучше прямо пустить скот на поля?

Все было хорошо. Но, оказывается, в личной беседе — кто бы мог подумать! — Вальтер Ульбрихт — или черт его знает, кто тогда был! — рассказал Хрущеву о моей статье и о немецкой делегации. Хрущев приказал одному из своих помощников достать и прочесть ему вслух эту статью. И она ему очень понравилась. Кроме всего, к этому времени он, видно, устал от придворных интриг.

— Хочу затеряться, как этот мальчик, в кукурузных джунглях, — сказал он, — едем туда!

Помощники всполошились. Они позвонили редактору. Бледнея, редактор заявил им, что кукурузные джунгли, согласно немецкому варианту, уже скошены, хотя их никогда не было.

— Как — не было? — рассердились помощники.

— Наш сотрудник кое-что напутал, — сказал редактор, — но была и есть озимая кукуруза.

Помощники Хрущева, побаиваясь его великой безответной любви к кукурузе, не признались, что джунглей и мальчика не было, но сказали, что, в согласии с планами сельских работ, кукурузные джунгли уже выкосили, а озимую кукурузу можно посмотреть.

— Послать туда делегацию во главе с Лысенко, — неожиданно приказал Хрущев, — пусть проверит кукурузу на озимость.

Пока все это происходило, пока собрали делегацию во главе с Лысенко, Чапай разом разрешил несвойственные его кличке гамлетовские сомнения.

Он пустил скот на кукурузные поля, и за две недели там не осталось и стебелька. Тут подъехала делегация во главе с Лысенко.

— Где же ваша озимая кукуруза? — спросил Лысенко у Чапая.

— Какая там еще озимая кукуруза?! — набросился на него Чапай. — Ты что, немец, что ли?

— Нет, я не немец, — ответил Лысенко, — но где же ваша озимая кукуруза?

— Да не было никакой озимой кукурузы! — рявкнул Чапай. — Мы ее сеяли в мае, а она, сволочь, в августе до колен не дотянула! Озимая кукуруза! Я думал, это для политики, для немцев нужно было так говорить!

— У нас не было озимой кукурузы, — торжественно заявил Лысенко, — но у нас будет озимая кукуруза, потому что я ее создам!

С этим делегация Лысенко и уехала. Когда Хрущев узнал, что и озимой кукурузы не было, он совсем рассвирепел.

— Да что ж это у вас: куда ни кинься — ничего не было! — заорал он. — Ну хотя бы мальчик был, который в кукурузных джунглях заблудился?!

— Был, — подтвердили окончательно оробевшие помощники, — мальчика можно найти.

— Не надо его искать, — приказал Хрущев, — пусть в следующем году заблудится в кукурузных джунглях, а я поеду его искать. Может, вообще, к трепаной матери, уйду навсегда в кукурузные джунгли! А озимую кукурузу вам Лысенко создаст!

Не знаю точно, то ли перепуганные помощники Хрущева предложили меня выгнать из редакции, то ли, когда все стихло, редактор это решил сам.

— Знаешь что, Юра, — сказал он, вызвав меня к себе. — Иди-ка ты на вольные хлеба. А за идею озимой кукурузы — спасибо!

И я ушел на вольные хлеба, и как там развивалась эта идея — не знаю. То ли Лысенко умер, то ли Хрущева сняли.

— А с Наташей ты больше не встречался? — спросил я.

— Нет, — сказал он грустно, — тогда второпях я забыл ей дать свой адрес, а написать в редакцию после всей этой бучи она, видно, постеснялась. Но плач бабули — моя рана на всю жизнь. Прости, бабуля, хотя бы с того света — прости!

## СПАСЕННЫЙ СПАСЕТ

Иногда он о поэзии говорил оригинальные вещи. Так, однажды сказал, что все поэты делятся на прирожденных и переимчивых, как некоторые птицы. Прирожденный поэт отличается от переимчивого тем, что он все свои стихи, и хорошие, и слабые, создает из единого поэтического материала.

Переимчивый поэт изобличается тем, что его хорошие стихи — продолжение музыки хороших стихов другого поэта, а слабые стихи созданы из совершенно другого материала. У переимчивого поэта ярких стихов может оказаться больше, чем у самобытного поэта, но это не меняет сути дела.

Согласитесь, свежая мысль: единство материала у хороших и плохих стихов как признак самобытности, то есть разница в творческой силе, а не в органичности материала.

Я никогда ничего такого не слышал. Сам себя он, конечно, относил к самобытным поэтам. Он даже признавал, что у него есть слабые стихи, чтобы показать, что они из такого же органического материала, что и хорошие.

— Есть поэты, — сказал он как-то, — мысль которых заключается в самой музыке стихов. Таковы Верлен, Блок, Есенин. Такие поэты могут писать стихи в пьяном виде. В пьяном виде им музыка стихов даже ярче слышится. Но такие поэты, как Пушкин, Тютчев, Ахматова или, допустим, я, — добавлял он без ложной скромности, — не могут писать в пьяном виде. Мы — смысловики, у нас музыка все-таки играет подчиненную роль.

Было совершенно непонятно, жалеет он или гордится тем, что не может писать стихи в пьяном виде. Но с другой стороны, сколько горячего даром пропадает! А мог бы пить еще больше, оправдывая это потребностями стихотворной музыки!

Он носил крест и считал себя христианским поэтом. Но навряд ли некоторые его стихи укладывались в рамки христианских заповедей. Так, у него были ураганные стихи под названием «Баллада о непрощенной обиде». Там каждая строфа кончалась рефреном:

Прощенная обида и не была обидой,  
А коль была обидой, она не прощена!

К счастью, наши державники не пронюхали, что такой образ мыслей имеет отношение скорее к Ветхому Завету. Молодежь с восторгом читала эти стихи.

Он знал тысячи стихов наизусть. Однажды, когда я с друзьями сидел в ресторане, он неожиданно подсел к нам и прочел пять совершенно незнакомых нам тогда гениальных стихов Мандельштама. Между чтением стихов он выпил всю нашу водку. С нами сидела единственная женщина, которая пришла в восторг и от стихов Мандельштама, и от его манеры чтения.

Прочитав стихи и выпив всю водку, он, по-видимому, решил, что теперь, кроме этой женщины, за столом не остается никаких ценностей, осторожно взял ее под руку, чтобы не расплескать ее восторг, и ушел вместе с ней, как раз в тот момент, когда в сторону нашего стола двигался метрдотель. А мы с любовью смотрели вслед нашему поэту. Скажите после этого, есть ли в мире другая страна, где так любят поэзию? Нет в мире такой страны!

Про смысл своего творчества он повторял:

— Энергия стиха и никаких идей! Энергия стиха вливает в читателя энергию жизни, а дальше пусть он двигается сам! Зайдешь ко мне, я тебе покажу неотвратимое доказательство своей правоты.

Вскоре я зашел к нему. Тогда он жил на Тверском бульваре, в коммунальной квартире. Жил один. Последняя жена ушла, а новая еще не подросла. Он показал мне письмо читателя. Этот еще явно молодой человек писал о том, что он со своими двумя самыми близкими друзьями решил заняться бизнесом. С разрешения отца он продал его машину и вложил все свои личные деньги в дело. Но друзья его обманули, и он остался ни с чем. Он был так потрясен вероломством друзей, что решил уйти из жизни. Накупил снотворных в разных аптеках с тем, чтобы на ночь выпить чудовищную дозу и покинуть этот жестокий мир, где никому нельзя доверять. На ночь перед тем, как выпить таблетки снотворного, он решил последний раз просмотреть «Литгазету». И тут наткнулся на стихи нашего поэта. Произошло чудо! Прочитав их и даже несколько раз перечитав, сам не зная почему, он пришел к выводу, что будет жить и не будет поддаваться панике. Он благодарил автора и просил редакцию передать ему свое письмо.

Я прочитал письмо и повертел в руках конверт. Письмо было прислано откуда-то из Северного Казахстана. Не скрою, что я и на штамп обратил внимание.

— Мистика! — громыхнул Юра, глядя на меня горящими глазами. — Я получил письмо, когда находился в невероятно тяжелой депрессии. Пытаясь вывести себя из нее, я перечитал свою любимую книгу — «Мастер и Маргарита» Булгакова. Но и она не помогла. Я перечитал ее ни разу не улыбнувшись. О самой смешной сцене с Котом на люстре я подумал: теоретически смешно, а так нет. Я был один. Жены разбежались. Изредка печатаю стихи, а книги в сорок семь лет нет и не предвидится. Вся жизнь псу под хвост. Может, я был не прав, может, писать надо было совсем по-другому? Поздно меняться, но не поздно полоснуть бритвой по венам! Спускаюсь к почтовому ящику — и вдруг это письмо, любезно пересланное мне из «Литгазеты».

Я спас человека, а он спас меня! Спасенный спас! Я уже оправдал свою жизнь, я спас этого молодого человека, а он меня спас — и тоже оправдал свою жизнь! И самое главное — значит, я был прав, писать надо только так: энергия стиха и никаких идей! Я воспринял к жизни! Обойдусь без книги! Я спас человека, теперь вся моя остальная жизнь — чистый доход!

— Ты ему ответил? — спросил я.

— А зачем ему отвечать? — загудел он. — Я спас ему жизнь, а он спас мне жизнь. Мы квиты!

Ну что ты ему скажешь? Впрочем, я не исключаю, что он просто постеснялся пафоса случившегося: спаситель пишет письмо спасенному!

## ПРОФИЛЬ

— Я сейчас тебе расскажу самый потрясающий случай из моей жизни, — сказал он однажды, сидя со мной за столиком в ресторане. — Этот случай отразился на всей моей личной жизни. В молодости, как, впрочем, и сейчас, я легко знакомился с женщинами. Однажды взял билет на последний киносеанс. Шла иностранная картина.

Захожу в кинозал, и меня вдруг охватывает необычайной силы волнение. Мне было двадцать три года! Я, как и все молодые люди, мечтал о единственной, неповторимой любви. И вдруг я чувствую не только всей душой, но и всем телом, что здесь, сейчас я встречу девушку, которая на всю жизнь будет мне незаменимой подругой! Не подумай, что я был пьян, я был совершенно трезв! Испытываю невероятное волнение и чувствую невероятную уверенность, что эта встреча именно сейчас с минуты на минуту состоится.

Я, лихорадочно озираясь, прохожу между рядами, вглядываясь в лица девушек, ища ее, но ничего подходящего не замечаю. Все не то! Однако продолжаю волноваться и продолжаю быть уверенным, что такая встреча ждет меня здесь.

Я усаживаюсь на свое место. А девушки все нет и нет. Что случилось? Где она? Кстати, замечаю, что рядом со мной два кресла пустуют. А зрители уже сидят на своих местах. Гасят свет. Начинается картина. Но где же моя девушка? Она должна быть! Уже минут пять идет картина, а ее все нет.

И вдруг я в полутьме замечаю, что кто-то неуклюже пробирается к месту рядом со мной. Садится! Девушка! Я в полутьме разглядываю ее профиль. О, этот чуть вздернутый носик и чуть вздернутая верхняя губа! Сердце у меня останавливается. Я вижу нежнейший профилек нежнейшей девушки! Боже, Боже! Я ни жив ни мертв! Предчувствие сбылось! Вот оно, мое счастье на всю жизнь!

Я делаю вид, что смотрю кино, но ничего не вижу и не слышу, только изредка украдкой кохусь на этот профиль. Время идет, но я почему-то не спешу с ней познакомиться. Уверен: все само собой получится, когда кончится картина. Ведь главное — предчувствие не обмануло и девушка сама явилась.

Картина кончается. Зажигается свет. И ты представляешь! Я не только не знакомлюсь с ней, у меня даже не хватает духу посмотреть в ее сторону! Я как сомнамбула иду к выходу, помнится, не спеша, чтобы, если судьба опаздывает, дать ей нагнать нас. Я ухожу, но при этом до идиотизма уверен, что какая-то сила вот-вот нас сведет. То ли общий знакомый окликнет и представит меня ей, то ли она сама подойдет и попросит ввиду позднего часа проводить ее до дому. Абсолютно уверен, что мы не можем пройти мимо друг друга!

Однако зрители разошлись. И я один стою перед опустевшим кинотеатром. А девушки нет, как не было. Я даже ее не видел при свете! Но я еще час простоял возле кинотеатра, надеясь, что она почему-то вернется и мы познакомимся. Но, увы, чуда не случилось. Она исчезла навсегда, и я поплелся домой.

Ночью я не спал, я проклинал себя за малодушие. Я полгода потом ходил в этот кинотеатр, и всегда на последний сеанс, с гаснувшей надеждой встретить ее там. Если было возможно, я даже брал билет на прежнее свое место, но ничего не помогало. Потом я потерял и эту надежду, жизнь пошла своим чередом. Но стоило мне закрыть глаза, как я видел этот ангельский профиль.

Я тысячу раз анализировал случившееся. Я ясно понимал, что судьба не только обеспечила мне встречу с этой девушкой, но и всем моим неслыханным волнением предупредила меня об этом. Но в таком случае, почему та же судьба не дала мне сил даже взглянуть в ее сторону, когда зажегся свет? Или она испытывала меня: действуй! Перешиби стыд и познакомься с ней, иначе ты навсегда упустишь свое счастье! Я хотел понять философию своей вины, но не мог.

А жизнь продолжалась. Я, как ты знаешь, был много раз женат и неизвестно по чьей вине расходился. Иногда мне кажется, что тот ангельский профиль изгонял их. Моя поэтическая судьба была трагична, но я верил, что я истинный поэт, и это держало меня на плаву.

Прошло с тех пор двадцать пять лет. Я тогда жил один. Поздно ночью возвращаюсь домой из одной компании. Конечно, подшофе. И вдруг вижу возле троллейбусной остановки молоденькую женщину, которая, прикрыв лицо платком, плачет. Внезапно она оторвала платок от глаз, и волосы на моем затылке зашевелились! У нее был тот самый ангельский профиль! Это она! Но как это может быть! С тех пор прошло двадцать пять лет, а тут юная женщина горько плачет. Я сошел с ума! Нет, я не сошел с ума! Это ее дочь! Судьба шепнула мне: «Вот тебе вторая попытка — с дочерью! А до внучки ты не доживешь!»

Я подошел к ней и, боясь спугнуть ее своим голосом, прошептал:

— Милая женщина, почему вы плачете? Может, я вам чем-нибудь могу помочь?

И она доверилась мне. Она рассказала, утирая слезы, что вышла замуж за приличного человека из приличной семьи, но он оказался законченным алкоголиком, и она с этим ничего не может поделать. Вот и сегодня ночью ввалился в дом, избил ее за то, что в доме нет водки, и послал ее за выпивкой, сказав, что, если она придет без нее, он ее убьет.

— А где я возьму водку, уже час ночи! — сказала она и снова горько расплакалась.

— Идемте со мной, милая женщина, — обратился я к ней, — я поэт. Я вам дам бутылку водки, и вы пойдете к своему мужу. Но если он такой изверг, можете остаться у меня. Вас никто не тронет. Я буду целовать только тень вашего профиля!

— При чем тут профиль! — вздохнула она и, подумав, добавила: — Но мне некуда деться...

Мы сели в троллейбус и через полчаса были у дверей моей квартиры. Чудовищное волнение не покидало меня! Перед исполнением мечты всей жизни должно случиться что-то страшное! Сначала я испугался, что потерял ключ. Но ключ оказался на месте. Я вынул ключ и понял, что сейчас случится позорная катастрофа и я от волнения не смогу открыть дверь! И в самом деле! Ключ тупо скрежещет в скважине, а я паралитическими движениями пытаюсь его повернуть. Я думал, через секунду умру.

— Давайте я, — вдруг говорит она мне. Берет у меня ключ и преспокойно открывает дверь.

— Это Божий знак, — говорю я, — это ваш дом. Дом небогатый, но вас всегда здесь будут любить!

— Чудачище! — отвечает она, с улыбкой оглядывая меня и входя в комнату.

Она сняла плащ и оказалась стройной, чуть полноватой, очаровательной женщиной. Не успел я прийти ей на помощь, как она легко сама нашла вешалку, словно когда-то здесь бывала.

Я достал бутылку водки из холодильника и молча вручил ей, показывая, что, несмотря на свой восторг от нее, я честно и мужественно выполняю свое слово.

— А знаете что, — сказала она, взяв в руки бутылку и улыбаясь, — вы такой большой, добрый чудак. Вы мне нравитесь. Давайте мы с вами разозьем эту водку ради нашего знакомства. Мой муж сейчас спит как свинья. И я завтра приду домой, пока он еще будет спать.

Пьянящая легкость разлилась по моему телу. Вдохновение вздымало меня под потолок. Я усадил ее и приготовил еду, пустив в ход все свои припасы. Начался ужин. Я недолил ей первую рюмку, но она вдруг сказала, что будет пить со мной наравне. Меня это несколько удивило, но я вспомнил: муж-пьяница приучил! Мы выпили всю бутылку.

Я подсел к ней, чтобы чаще видеть ее профиль, а потом посадил ее на колени и стал нежно и страстно ее целовать. Она созревала в моих объятиях, как плод! Я был снова потрясен, когда узнал ее имя — Джульетта. Это был величайший намек судьбы, что сорвавшийся было мой юношеский роман сбывается!

— Я всю жизнь ждал вас, — бормотал я, целуя ее.

— Вот этого мне не хватало всю жизнь, — пылко отвечала она мне. — Вот этого! Ласки! Ласки!

Конечно, я заметил, что у нее несколько примитивный язык. Но это меня даже восхищало. А что она знала, видела в этой жизни, кроме своего пьяницы мужа? — думал я. Я займусь ее духовным воспитанием, я отшлифую ее, как алмаз! Теперь это главная задача моей жизни, думал я, стихи временно отойдут на второй план.

Мы провели бурную ночь: я — стареющий Ромео и она — все еще молодая Джульетта. Я исцеловал все ее тело, и она мне отдавалась бесконечно. Я только просил при этом лежать профилем ко мне, и она с улыбкой подчинилась моей просьбе. Уже к утру во время близости я вдруг почувствовал, что она уснула. Я удивленно замер.

— Трахайте, трахайте, я все слышу, — вдруг прошептала она не открывая глаз и все еще повернутая ко мне своим ангельским профилем.

Я оцепенел от вульгарности ее слов. Но потом взглянул на ее невинный, ангельский профиль, и истина осенила меня: ее пьяница муж других слов никогда и не употреблял! Святая наивность! Она думает, что так и надо говорить!

Я еще более вдохновенно подумал: надо работать, работать над ней! Надо заново лепить ее, оставив только профиль! И тут сам провалился в сон.

Проснулся я раньше ее. Почти не веря своему счастью, я взглянул на ее профиль. Он был на месте. Я тихо встал, принял душ, оделся, приготовил завтрак. Я разбудил ее поцелуями в оба профиля, и она, открывая глаза, улыбнулась и обняла меня.

Мы сели завтракать. Она была свежа, как ландыш. Она так кокетливо вертела головой, дразня меня то одним, то другим профилем, что я чуть не прервал трапезу. Я предложил ей слегка опохмелиться. Она не отказалась.

Мы договорились, что она будет приходить ко мне, пока не уговорит мать этого пьяницы перейти жить к нему. Мне показалось бесконечно трогательным, что она даже этого изверга пьяницу не может оставить без присмотра. Она вынула из сумочки записную книжку и вписала туда мой телефон.

Я был счастлив как никогда! Я догнал судьбу, уцепился за ее хвост и притянул к себе через двадцать пять лет! Я очень хотел спросить о ее матери, о ее отце, но мне все стыдно было, потому что она их дочь, а я с ней спал. Мне было очень любопытно поговорить с ее отцом и иносказательно выяснить, не преследует ли его чувство мистической вины за то, что он всю свою жизнь провел с чужой женой.

И уже когда она надела свой плащ и я ее выпускал из дверей, я все-таки с замирающим сердцем спросил:



— Мама жива?

— Да, слава Богу.

— Познакомишь нас когда-нибудь?

— Конечно, если она приедет.

— А где она? — спросил я почему-то гаснущим голосом. Я что-то почувствовал.

— Как — где? — удивилась она. — В Казани. Разве я вам не говорила, что я оттуда.

— Она всегда жила в Казани? — спросил я, чувствуя, что дух из меня выходит.

— Всегда. А что?

— И она никогда не жила в Москве?!

— Она даже никогда не была в Москве! А что?

Дух из меня вышел вон.

— Ничего, — ответил я и, как говорят женщине, когда нечего ей сказать, добавил: — Звоните.

Так она и ушла. Оказывается, она не ее дочь! И профиль ее, оказывается, сам по себе мне не нужен! Крылья моей души повисли. Я вспомнил ее ночные слова и почувствовал, что не в состоянии забыть эту грубость. Сам я нередко бываю груб, но вот как я устроен — не выношу женской грубости.

Сейчас я вспомнил, что вечером, когда мы пили и целовались, она, подбежав к большому зеркалу, висевшему на стене, оглядела себя во весь рост и лихо сказала:

— С такими ножками не пропадешь!

Странно, что тогда меня не передернуло от этой пошлости! Но в тот миг, когда она говорила это, она стояла профилем ко мне, и я, замороженный им, не придал значения ее словам.

Я вдруг ясно понял, что она шлюха и, разумеется, к той девушке, которую я когда-то встретил в кино, не имеет ни малейшего отношения. Но этот нежный, незащитный профиль... Проклятье! К тому же я никогда до этого не имел дело с проституткой...

— И я никогда не изменял своим женам, — добавил он зачем-то с вызовом неизвестно кому.

— Имея столько жен, ты не мелочился, изменяя им, — сказал я, поддразнивая его. — Ты сразу изменил всему институту брака.

— Кстати, ты когда-нибудь ударил женщину? — вдруг спросил он.

— Не помню, — ответил я.

— Как такое можно не помнить! — удивился он. — Я ни разу в жизни не ударил женщину!

— А мужчину? — спросил я.

— И мужчину! — ответил он.

— В таком случае, достоинство того, что ты ни разу в жизни не ударил женщину, сильно снижается, — сказал я. — У тебя, видимо, принцип: не бить двуногих.

— Четвероногих тем более! — с очаровательной поспешностью ответил он и продолжил свой рассказ: — С тех пор она мне целый месяц звонила, а я, ссылаясь на занятость, но не грубя, отказывался от встречи. В конце концов она поняла, что я больше не хочу с ней видиться, и внезапно сказала в трубку:

— Вы сильно пожалеете об этом.

Я не придал значения ее словам. И вдруг однажды кто-то позвонил. Резкий мужской голос спросил у меня:

— Это ты, поэт?

— Да, — говорю.

— Верни Джульетке ее пять тысяч баксов! — грозно приказал он. — Иначе получишь пять пуль!

— Ты с ума сошел! — заорал я. — Какие баксы, какие деньги! Она никаких денег у меня не оставляла! И больше не смей звонить сюда!

Видно, я своим мощным голосом на минуту осадил его.

— Слушай, ты, — сказал он после некоторой паузы, — я серьезный человек. И не дурак, в отличие от тебя. Она мне соврать никак не могла, потому что знает, что я ее за это убью. Итак, через неделю пять тысяч баксов. Не сможешь, через две недели — семь. А если будешь дурить -- смерть!

Кстати, скитаясь по стране, я давно заметил, что партийные работники, к которым я обращался с той или иной просьбой, всегда сразу заговаривали со мной на «ты». То же самое и этот уголовник. Что их объединяет? Все остальные люди классом ниже, и это немедленно надо подчеркнуть.

Я был потрясен. Я даже заново убрал постель, заглянул под кровать, думая, что, может быть, у нее эти деньги были и случайно вывалились. Но нет, там ничего не оказалось.

По голосу я понял, что этот человек не шутит. Он явно уголовник. Пять тысяч долларов! А я еще, хотя настали новые времена, в глаза не видел ни одного доллара! Что делать? Я уже знал, что с наездом уголовников можно бороться только при помощи других уголовных авторитетов. Я уже знал, что все бизнесмены только так и поступают.

У меня был хорошо знакомый джазовый певец, для которого я в свое время писал тексты песен. Я знал, что он якшается с людьми уголовного мира. Я поехал к нему и все рассказал.

— А у тебя ее телефон есть? — спросил он у меня.

— В том-то и дело, что нет.

— Я постараюсь тебе помочь, — обнадежил он меня. — Жди моего звонка в ближайшие дни.

Через два дня утром он звонит мне.

— Пляши, — кричит он мне в трубку, — пляши! С тобой сегодня встретится знаменитый человек. Вор в законе по прозвищу Еж. Сегодня в три часа он тебя ждет в своем черном «мерседесе» с затемненными стекламиazole... — Он назвал один из главных универмагов Москвы. — У него там дело. Но он тебе уделит полчаса.

И вот я к трем часам являюсь к этому универмагу и, сильно волнуясь, приглядываюсь к машинам. В самом деле, ровно в три подъехал черный «мерседес» с затемненными стеклами. Остановился. Я подошел к нему. Не решаюсь постучать в окно, но дверца сама открылась, и я услышал:

— Поэт?

— Да.

— Садись.

Я сел рядом с хозяином на переднее сиденье. Это был модно одетый, на вид тридцатипятилетний человек. Волосы на хорошо стриженной голове в самом деле торчали ежиком.

— Джазист мне сказал, — объяснил он свое появление, — что ты поэт, не работающий на государство. Уважаю. Рассказывай все, как было, ничего не скрывая.

И я стал ему все рассказывать, как было, хотя, конечно, о романтической предшественнице этой Джульетты не стал ничего говорить. И вдруг во время рассказа вижу, что голова его упала на грудь, глаза закрыты и он даже слегка посасывает. Я остановился. Думаю: кому я это все рассказываю? Он, видно, колотый, а теперь уснул.

— Говори, говори, я все слышу, — вдруг произнес он не открывая глаз.

Я вспомнил ночные слова Джульетты. Мистика параллелей преследует меня всю жизнь, подумал я, и продолжил свой рассказ. И вдруг — чудо! Оказывается, он действительно все слышал и, как ястреб, стал выклеивать точные вопросы.

— Она у тебя один раз ночевала? — спросил он, позевывая.

— Да, только один раз.

— Понятно, — сказал он уверенно, — ни одна телка не оставит деньги мужику, с которым только раз переспала.

Я продолжал рассказ.

— А у тебя богатая квартира? — спросил он у меня через минуту.

— Какое там богатство! — ответил я. — Разбитая машинка да книги. Никакой современной аппаратуры. Я ее презираю.

— Или она тебя презирает? — вдруг жестко уточнил он.

— Мы друг друга презираем, — сказал я примирительно.

— Вот так будет лучше, — согласился он. — Значит, она не наводчица. Но что ей надо?

Я продолжал говорить. Его голова опять упала на грудь.

— Нет, — сказал он через несколько минут, поднимая голову. — Ты мне что-то недоговариваешь. Ты что, ей в любви признался, что ли?

— Да, так получается, — согласился я, чтобы не вовлекать его в мистику профилей.

— Тогда все ясно, — сказал он. — Проститутки любят завести мужика для души. Ты должен был всколыхнуться, когда она у тебя денег не взяла за ночевку. Она уже настроилась, что ты будешь ее ласковым лохом, а потом, когда поняла, что ты не хочешь с ней встречаться, решила тебе отомстить. Мужику, который тебе звонил, передай этот телефон.

Он продиктовал мне телефон.

— Запомнил?

— Конечно, еще бы не запомнить! Это твой телефон? — спросил я, что показалось ему крайне наивным.

— Ты в самом деле лох, — рассмеялся он. — Мой телефон через два телефона после этого. Но по этому телефону его свяжут со мной, и я скажу ему пару слов.

В это время кто-то забарабанил по стеклу с той стороны, где он сидел. Он мгновенно подобрался, спружинился. Никакой вялости! Хищная настроенность! Он открыл окно.

Возле машины стоял попрошайка.

— Дяденька, дайте денег!

И вдруг он психанул.

— Иди работай! — гаркнул он с такой силой, что мальчик отпрянул. И вдогон ему, не поленившись высунуться в окно, рявкнул: — Воруй!!!

Возможно, он уточнил, что имел в виду под работой. Мы распрощались.

В назначенный день позвонил тот бандит. Слушаю его.

— Сейчас отдашь баксы или поживешь еще неделю? Запомни: третьего звонка не будет, третий звонок будет с того света.

— Я встречался с Ежом, — сказал я нарочито спокойным голосом. — Я ему все рассказал. Он дал телефон и повелел тебе позвонить. Записывай!

В трубке тяжелое молчание.

— Откуда ты знаешь Ежа? — спросил он, явно сбавляя тон.

— Знакомы, — сказал я. — Катался в его «мерседесе» с затемненными стеклами. Развлекал его историей с Джульеттой... Так записываешь телефон?

— Не будем беспокоить Ежа, — ответил он дружелюбным голосом. — Прости, браток! Вышла ошибочка. Видно, эта дура по пьянке сама не помнит, где оставила деньги.

— Только не убей ее, — сказал я.

— Кто же убивает дойную корову, — ответил он и положил трубку.

Позже мой неутомимый джазист рассказал некоторые подробности этой истории, которые ему удалось выведать чуть ли не у самой Джульетты.

Она целый год регулярно встречалась с крупным азербайджанским коммерсантом. И именно в ту ночь, когда я ее встретил, она доконала его своим любвеобилием. После третьего пистона, когда он мирно засыпал с чувством исполненного долга пожилого коммерсанта, она пыталась растормошить его для новых утех. И тут мирный коммерсант взорвался.

— Что, я эти пистоны в кармане держу, что ли?! — крикнул он, как бы философски доказывая, что у карманов имеется бóльшая склонность к бесконечности, чем у человеческого тела. После этого он крепко ударил ее несколько раз и выгнал из квартиры. Правда, дав одеться вплоть до плаща.

Тогда-то я ее и встретил, плачущую возле троллейбусной остановки. Как видишь, у меня она могла бы заснуть и пораньше.

— И вот после всего этого ты мне скажи: почему некоторые шлюхи надеются ангельским профилем?

— Потому что мужчины, гоняясь за ангельским профилем, делают их такими, — ответил я.

— Мне теперь не на кого молиться! — взревел он.

— Ну почему же? — пытался я его утешить. — Ведь тот юношеский профиль девушки остался незапятнанным. Молись ему!

— Я теперь никому не верю, прости Господи, — отвечал он и капризно добавил: — А почему она одна пришла в кино на последний сеанс?

— А кинотеатр был заполнен? — спросил я. — Ты помнишь?

— Да, — сказал он, — я хорошо помню! Только два места возле меня были пустыми.

— Это лишний раз говорит о чуде, которое ты сам ощутил, — подсказал я ему. — Девушка явно должна была прийти в кино со своим парнем, но под действием чуда она его отвергла и пришла к тебе одна.

— Опять я виноват?! — снова взревел он.

— Нет, — попытался я утешить его, — чудо, вероятно, сорвалось по какому-то космическим причинам.

— От всей этой истории, — мстительно громыхнул он, — у меня наворачиваются стихи о Нефертити, обладавшей лучшим профилем древнего Египта. С нее все началось! И она за все ответит! Вот набросок первых строк:

Была ли сукой Нефертити,  
Скажите прямо, не финтите!

— Вот и напиши, — посоветовал я ему.

Что-то в моем голосе ему не понравилось. Вероятно, он ему показался слишком благостным, вероятно, он решил, что я так и не осознал всю глубину его внутренней трагедии.

— Больше всего меня раздражают, — вдруг сказал он, — так называемые светлые люди темного царства. Они как нагудренные негры.

Впрочем, никаких уточнений по поводу того, к кому именно относятся эти слова, не последовало. Возможно, он думал о чем-то своем.

## ПОСВЯЩЕНИЯ

Однажды я его встретил, и он, о Боже, говорил еле слышным голосом.

— Что с тобой?!!

— Ты знаешь, — просипел он, — я женился на необыкновенной красавице! Она прочла мои стихи в журнале и сама меня нашла, так ей стихи понравились. Представляешь, приехала ко мне из Владивостока, так ей стихи понравились! Но она почти глухая, как учитель моей юности. И все время умоляет меня читать ей стихи. При этом из женского кокетства она, красавица, не хочет пользоваться слуховым аппаратом. Мистика! Повторение истории с моим учителем! Это великий знак, что я должен остановиться на ней навсегда. Когда я умру, только она толково разберется в моем литературном наследии. Вот первые стихи, посвященные ей:

Его признание навзрыд  
Ее внезапно отшатнуло,

Потом в слезах к нему прильнула,  
Откинув волосы, как стыд.

С улыбкой сверху Бог глядит.  
Там дуб, обугленный от страсти,  
Там ива, мокрая от счастья,  
Откинув волосы, как стыд,  
В слезах стоит.

Поздравим иву, мокрую от счастья! Кстати, при внешней нередко грубой напористости наш поэт на самом деле обладал деликатнейшей душой. Он пять раз был женат, и каждый раз жены уходили от него, а не он от них. Он не мог решиться отнять у них такую драгоценность, как он. Но это была боевая хитрость его деликатности.

Если он чувствовал, что со своей женой больше не может жить, или влюблялся в другую женщину, он начинал регулярно напиваться и всю ночь вслух читал свои стихи, грузно похаживая по комнате.

В конце концов полуконтуженная жена не выдерживала этого и сама уходила, предварительно скрупулезно собрав стихи, посвященные ей, иногда прихватывая и стихи, посвященные другим женщинам.

Я случайно оказался у него дома, когда от него уходила, кажется, четвертая жена. Тогда он жил в Химках, в отдельной двухкомнатной квартире. Он пригласил меня, уверенный, что к моему приходу жена уйдет и мы выпьем по поводу этого мрачного события. Но жена задерживалась, и он нервничал. Из другой комнаты доносились голоса спорящих людей.

— Да это же Люськины стихи, — гудел он, — куда ты их берешь! Что я ей скажу!

— Какая там еще Люська! — визжала в ответ жена. — У тебя от пьянства совсем вышибло память! Ты же при мне их написал, скотина!

— Да это же Люськины стихи, — продолжал он гудеть, — что я ей скажу, если она узнает?

— С Люськой я сама разберусь! — крикнула жена. — Лучше вызови мне такси!

Дело в том, что все его жены, считая его чудовищем, одновременно были уверены в его гениальности. И каждой было важно перед тем, как уйти от него в бессмертие, запастись достаточно солидным багажом стихов, посвященных ей. Оставленные жены, то есть, что я говорю, ушедшие жены, вели между собой бесконечные арьергардные бои по поводу тех или иных стихов, якобы самовольно присвоенных женой, которой они не причитались.

Иногда по этому поводу они изматывали его истерическими звонками, и он порой, не находя выхода из тупика, писал дополнительные стихи, выдавая их за стихи периода звонящей женщины, до этого случайно затерявшиеся в бумагах. После чего неблагодарная бывшая жена говорила:

— Неряха! Как следует поройся в старых бумагах, я уверена, там еще кое-что затерялось!

Уже в гораздо более поздний период, когда выход книги нашего поэта стал неотвратимым фактом, бывшие жены загудели, как растревоженный улей. Они снова стали донимать его бесконечными звонками, пытаясь наново перераспределить посвященные им стихи, каждая, разумеется, в свою пользу.

Отчасти в этой путанице был виноват и он сам. Дело не в том, что нумерации посвящений он путал с нумерациями жен. Кстати, очередность жен он действительно иногда путал. Но над стихами он вообще никогда не ставил никаких посвящений, как, впрочем, и под стихами не указывал не только дату написания, но и год.

— Столетие и так известно, — говорил он с богатырской неряшливостью. — А все остальное мелочи.

Бухгалтерия посвящений начиналась, когда он расставался с очередной женой. Это был своеобразный дележ имущества, учитывая, что никакого другого имущества почти не было.

И вот однажды при мне, когда одна из его бывших жен начала по телефону качать права по поводу каких-то стихов, он взорвался и заорал в трубку:

— Я сниму в книге все старые посвящения в пользу Глухой, если вы не уйметесь!

Но они не только не унимались, но по глупости, уповая на его рассеянность, стали претендовать и на стихи, посвященные последней жене, якобы припоминая, что они написаны в их бытность в качестве его жены.

Это было уже в новое, послеперестроечное время, когда стали публиковать его интимно-лирические стихи, которые до этого не печатали из пуританских соображений.

То, что дальше случилось, может быть следствием их наглых притязаний, а может быть и особенностью его поэтической фантазии. Скорее всего, и то и другое. Пусть литературоведы будущего это определят.

Он написал целый цикл великолепных стихотворений, посвященных своей последней жене, где в той или иной мере не слишком навязчиво, но определенно указывалось на ее глухоту. На эти стихи его бывшие жены никак не могли претендовать.

Здесь мастерство и его юмор, порой мрачноватый, достигли полного совершенства. Почему-то особенной популярностью пользовались стихи «С глухой женой в глуховатой стране». Стихи были замечательны, но разве мы знаем порой парадоксальные пути к сердцу читателя? Может быть, некоторые, прочитав эти стихи, самодовольно говорили про себя:

— Ну, у меня по крайней мере жена не глухая.

Я еще раз говорю: стихи отличные. Но другие стихи, исключительно виртуозные, где он, используя строчку Пастернака, чокается с ним, широкая публика не очень заметила. Он повторяет первую строчку стихов Пастернака «Глухая пора листопада». Он прямо с этой строчки начинает свои стихи, смело внеся в нее собственную пунктуацию:

Глухая, пора листопада,  
Но слышишь ли ты листопад?

Все стихотворение — любовно-иронический дуэт с Пастернаком, где скрипка сопровождает фортепьяно, порой сливаясь с ним в уморительном экстазе, а порой, между прочим, роль смычка принимает на себя дружеская рапира!

Сквозь насмешки и усмешки в стихах нового цикла было столько нежности к предмету любви, что последняя жена явно смирилась с упоминанием ее природного недостатка, тем более что по стихам получалось, что она именно благодаря этому недостатку лучше всего на свете слышит душу поэта, а не шум листопада. Бог с ним, с шумом листопада! Однако предыдущие жены на всякий случай притихли. Так он вышел из положения. В поэзии преодоление каждого нового барьера — лишняя (никогда не лишняя!) демонстрация свободы и мастерства!

Последняя жена, дай Бог не сглазить, уже шесть лет живет с ним и никуда уходить не собирается. Злые языки говорят, что она глуховата, как его учитель-акмеист, и этим все объясняется.

— Если вообще этот учитель-акмеист когда-нибудь был, — добавляют еще более злые языки.

Да, я забыл упомянуть, что голос вскоре к нему вернулся во всей первобытной силе и больше никогда его не покидал.

И вот я его встретил с его последней женой перед концертом в консерватории. Она действительно была интересной женщиной, но мне показалось

забавным, что он с глухой женой пришел на концерт, при этом утверждая, что она из кокетства не пользуется слуховым аппаратом.

Мы разговорились, и, к моему изумлению, оказалось, что его жена все слышит. Кстати, звали ее Ася.

— Что же ты говорил и писал, что она глухая! — расхохотался я. — Она же прекрасно все слышит!

— Он вечно клеветает на меня, — смеясь (вот умная женщина!), пояснила его жена. — Ну, у меня слышалка немного ослаблена. А он, дурак, не понимает, что в этом наше семейное счастье! Ничего себе глухая! Я расслышала его из Тулы!

— Во-первых, — загудел Юра, ничуть не смущаясь, — не забывай, что ты сам громогласен, почти как я. А во-вторых, посмотри на ее серьги! Это новейший слуховой аппарат, выписанный из Италии. Его нам подарил один итальянский дипломат за то, что я, ни разу не видя Сицилию, описал ее лучше всех итальянских поэтов!

Жена его снова расхохоталась.

— Слушайте его, — сказала она, — это серьги от моей мамы!

— Что же, я и про Сицилию выдумал? — обиделся наш поэт.

— Нет, насчет Сицилии правда, — серьезно подтвердила его жена. — Этот дипломат при мне хвалил его стихи о Сицилии. Но насчет подарков у них туговато.

Концерт прошел прекрасно. Наш поэт не поленился встать в очередь поклонников, чтобы поблагодарить пианиста.

— Я — что, жена потрясена! — прогудел он, обнимая могучими руками не менее могучего пианиста. Но, оказывается, поблизости в очереди стоял один злой шутник, знавший нашего поэта.

— Не слушайте его, — сказал он пианисту, когда поэт отошел, — у него жена совершенно глухая, и он об этом уже написал целый цикл стихов.

— Как — глухая? — растерялся пианист.

— Как теперь! — кратко пояснил злоязычник.

Но пианист был человеком с юмором.

— Глухая поклонница — триумф для музыканта! — сказал он и расхохотался.

Кроме стихов наш поэт знал огромное количество вещей, почерпнутых из книг и из жизни. Он любил поговорить обо всем, кроме политики. Он так объяснял свое отвращение к политике:

— Я родился в роковом одна тысяча девятьсот тридцать седьмом году. В этот год Сталин, окончательно отчаявшись воспитать своего хулиганистого сына Васю, решил воспитать страну в целом, а через нее и Васю. Для этого он полстраны поставил в угол, отправив в Сибирь. Кстати, на Васю это никак не повлияло. Не надо никого воспитывать. Каждый воспитывается сам. Политики пытаются воспитать человечество, забывая, что сами невоспитанны.

О политике он знал так же много, как и обо всем. Просто он не любил о ней говорить и не впускал ее в стихи. С фантастичностью его памяти могла соперничать только фантастичность его воображения.

— Юра знает все, но неточно, — сострил про него кто-то из друзей.

Я должен вмешаться и поправить неточность самой остроты. Дело в том, что наш поэт укрупнял явления жизни как явления самой поэзии. Он хотел, чтобы мир был поэзией в готовом виде.

Издатель, который двадцать лет не издавал его книгу, по каким-то его астрологическим выкладкам оказывался родным племянником Люцифера. Издание книги нашего поэта означало бы для издателя верную смерть. Что характерно, сам издатель не знал, что он родной племянник Люцифера, но почему-то знал, что издание книги нашего поэта означает для него верную смерть. Кто же добровольно пойдет навстречу собственной смерти?

Глубоко затаенную иронию в его словах не все замечали. Иногда даже он сам ее не замечал.

Однажды его крепко обсчитал один официант. Но наш поэт из гордости не сказал ему ничего. Но потом по зрелом размышлении он пришел к неотвратимому выводу, что этот официант — скрытый киллер и обсчитывает клиентов, чтобы смазать истинный источник своих доходов. На некоторых интеллигентных клиентов его логика произвела такое сильное впечатление, что они совершенно перестали проверять счет официанта, и он окончательно обнаглел, уже совсем не оставляя сомнения в том, что он скрытый киллер. По словам поэта, официанту удалось обдурить даже чекистов. Они долго следили за его работой и пришли к ложному психологическому выводу: официант, который постоянно обсчитывает клиентов, не может быть киллером. Но почему-то может оставаться официантом. Не исключено, что наш поэт, укрупняя явления жизни, боролся со скукой жизни. Даже преувеличение самой скуки есть форма борьбы со скукой.

### ДОБРО ПЕРВИЧНО, И ПОТОМУ РОЗА КРАСИВАЯ

Кстати, вот его высказывания по поводу литературы и жизни. Некоторые из них я записывал, некоторые сохранила память.

Странно, что до сих пор никому не пришло в голову определить, кто из евангелистов наиболее талантливый. А может, так и надо: равны в любви к Христу.

Когда я пишу и вдруг во время писания боюсь умереть, не закончив стихотворения, — это признак того, что стихи будут настоящими.

— Меня никак не назовешь легковесным поэтом, — грохотал он однажды, намекая на оба смысла слова. — Я работаю над стихами до упора, пока не почувствую, что вес строки равняется весу моего тела. Тогда, значит, гармония достигнута.

— Ты знаешь самую гениальную лирическую строку в мировой поэзии? — спросил он у меня однажды.

— Нет, конечно, — ответил я, уверенный, что он процитирует себя.

— А я знаю! — гаркнул он. — Она в Библии! Книга Бытия. Если ты помнишь, Бог велел Аврааму, чтобы проверить его преданность себе, принести ему в жертву своего любимого сына Исаака. Богопослушный Авраам взял нож, нагрузил дрова на ослика и повел с собой сына Исаака к месту жертвоприношения. А сын, конечно, ничего не знал. Мальчик только знает, что отец готовится к жертвоприношению. Но он не видит жертвенного животного и спрашивает у отца, не понимая, что он сам должен стать жертвенным животным:

— Отец мой, вот огонь, вот дрова, где же агнец для всесожжения?

Вот самая потрясающая строчка в мировой поэзии! Никто в мире не догадался, кроме меня, что Бог отменил жертвоприношение Авраама, побежденный наивностью мальчика. Бог понял, что святая доверчивость сына к отцу для него ценнее богопослушности Авраама. Это его и остановило, а не верность Авраама. Никто до меня об этом не догадался. В этот миг и был задуман Христос, который никогда так жестоко не мог испытывать человека на верность Богу. Через безгрешную доверчивость ребенка Бог догадался о возможности нового подхода к человеку. Потому и Христос так много говорил о детях: будьте как дети! Вот, кстати, новые стихи о Христе:

Духовный обморок Христа.  
В кровавой пелене — ни зги.  
Тогда Он возопил с креста:  
— Отец Небесный, помоги!



От боли крикнул небесам,  
Уже не помня ничего,  
Уже забыв, что Бог Он сам,  
Что пусто небо без Него.

И потому из века в век,  
Среди невзгод или тревог,  
По праву молвит человек:  
— Мои страдания знает Бог.

— Мой принцип, — говорил он, — энергия стиха и никаких идей! Если человечество выживет, этот принцип будет всеобщим. Вся моя жизнь — служение ему. В этом, как ты говоришь, сюжет моего существования. Уже Пушкин об этом догадывался. Когда он говорил, что поэзия должна быть глуповатой, он хотел сказать: подальше от идей, а не от мыслей. Это разные вещи.

Через двести лет, уничтожив компьютеры и всякую подобную дьявольщину, люди, чтобы поднять себе настроение, будут собираться и читать стихи моего направления. Так мы сейчас собираемся, чтобы выпить и повеселиться. Сердечник не будет в кармане носить валидол, а будет носить в голове стихи Пушкина. Сердце забарахлило? Остановится и вместо того, чтобы, шевеля губами, подсчитывать пульс, будет читать шепотом Пушкина: «Мороз и солнце — день чудесный! Еще ты дремлешь, друг прелестный?»

Глядишь, по мере чтения стихов и сердце отпустило. Кстати, вот шуточные стихи о Пушкине:

Смотритель-ангел Богу рек:  
— Взгляни на Пушкина, мой Боже,  
Над всеми этот человек  
Трунит — и над Тобой, похоже?

Бог не ответил ничего,  
А мог сказать слова такие:  
— Все знаю, но люблю его,  
Кого ж еще любить в России?

— Интересно заметить, — прогудел он однажды, — романтические герои Пушкина: Сильвио, Германн, да и лермонтовский фаталист, — все европейцы по происхождению. Почему бы это? Россия была тогда прочной, консервативной страной. Декабристы — прививка от революции. Мышление развитого русского человека представлялось здраво-реалистическим. Европа была взбаламучена и измучена революциями.

Люди эмигрировали в Россию, как в спокойную, уравновешенную страну. Так наши теперь бегут на Запад. Характеры Сильвио и Германна казались Пушкину для русского человека недостаточно правдоподобными, и потому он их сделал иностранцами по происхождению. И подумать только! Всего через тридцать лет у Достоевского русский человек был готов на самые безумные парадоксы, и это было правдиво. Есть над чем подумать нашим критикам! Да что о них говорить, когда они меня, живого, до сих пор не заметили!

О, Русь! Ни охнуть, ни вздохнуть  
Или вздохнуть и охнуть снова,  
Недолг оказался путь  
От Пушкина до Смердякова!

Юмор — осколки счастливого варианта жизни, хранящиеся в прапамяти человечества.

Мысль — единственное выражение умственного мужества.

Чтобы понять поэта, надо его полюбить. Потом ты можешь охладеть к нему, но то, что ты понял, когда полюбил, уже никуда не уйдет.

— Я ему не подам руки, — охотнее всего говорят те люди, у которых в глубине сознания подавлено желание сказать: не подам!!!  
Здесь коренное отличие христианства от либерализма.

Помню, мы как-то спорили по поводу соотношения поэзии и правды в стихах. Это было лет двадцать тому назад. Он шутливо симпровизировал на эту тему:

Это братья-близнецы —  
Только разные отцы:  
У того отец небесный,  
А у этого телесный.

Самое забавное: я недавно где-то прочел, что, оказывается, женщина в редчайших случаях может родить близнецов от разных мужчин, если имела с ними близость в течение одних суток. Поэзия обогнала науку. Он в своей шутке утверждал эту возможность.

Для поэта, говорил он, толковость в творчестве подразумевает бестолковость в жизни. Закон сохранения энергии. С этим надо иметь мужество примириться раз и навсегда. Многие поэты безуспешно пытались с этим бороться.

Маяковский сделал колоссальные усилия, чтобы преодолеть это естественное противоречие. Он хотел быть толковым в творчестве и стать толковым в жизни. Он даже гордо писал: «Надо, чтоб поэт и в жизни был мастак».

В результате он разладил толк в творчестве и не наладил в жизни. И тогда, потеряв сюжет существования, он застрелился.

Конечно, хорошо, когда жена, брат или друг ведут поэта по аду жизни, как Вергилий. Но где их взять? Это чистое везение.

Когда парикмахер, вымыв мне голову, сорвал с меня покрывало, я почувствовал себя памятником. Так вот кто нам делает славу!

— Визгливость — признак бессилия, — сказал он как-то и добавил: — Прошу не путать с громким голосом.

Однажды в застольном разговоре, как бы противореча своей знаменитой балладе, он выпалил тут же сочиненную эпиграмму:

Всех подлецов заочно  
Прошаю. Нет обид!  
Поскольку знаю точно,  
Что Бог их не простит.

Одному бывшему своему другу, который крепко продал его в молодости и с тех пор делал неоднократные напрасные попытки снова сблизиться с ним, он при мне сказал:

— Если ты человек, это твоя проблема с Богом, а не со мной. А если ты не человек, то на хрен ты мне сдался!

Идеальное стихотворение — это румяный с мороза ребенок, вбегающий в комнату и бросающийся тебе на шею!

Чем талантливее художник, тем ярче, отчетливее он видит образ того, что он хочет показать. И поэтому он намного больше работает над черновиками, чем ередний художник, ведь он стремится уподобить то, что он пишет, тому яркому, отчетливому образу, который он видит в воображении.

Средний художник не может столько работать над рукописью, сколько большой талант, потому что он достаточно расплывчато видит в воображении свой образ и создает его именно таким расплывчатым, как видит. Если бы он попытался большими трудами достигнуть больших результатов, он бы испортил и то малое, чего достиг. Он не видит отчетливо свой идеал и потому не знает, куда работать.

Воспоминание детства. Астрахань. Я сижу под деревом с кулечком ирисок, купленных мне дядей. Блаженство! Обожаю ириски!

Но от них у меня болят зубы, и одновременно эту боль зубов перебивает сладость ирисок. Особенно сильно я чувствую боль, когда одну ириску уже высосал, а другую еще не успел бросить в рот. Поэтому, высосав ириску, стараюсь следующую быстрее бросить в рот. Я чувствую какую-то таинственную связь между болью, которая вызывается сладостью, и ослаблением боли, которую я этой же сладостью заглушаю, иногда сразу две ириски бросая в рот. Но понять, хотя пытаюсь, таинство этой связи не могу. Мне лет шесть.

По-видимому, любопытство к мудрости дается некоторым людям от природы, как музыкальный слух.

Ум динамичен. Без улыбки  
Он с косностью вступает в бой.  
Его победы и ошибки  
Почти равны между собой.

А мудрости статичный разум,  
Он все сомнения души  
Как бы учитывая разом,  
С улыбкой шепчет: «Не спеши».

Маленькую, трехлетнюю, девочку, рассказывал он однажды, отправили в детский сад.

— Ну как, хорошо тебе там было? — спросили у нее дома вечером.

— Плохо, очень плохо, — ответила она.

— Но там же столько детей, столько игрушек! — удивились родители.

Девочка подумала и сказала:

— Дома светлей!

Даже если она имела в виду физический свет, она сказала очень важную вещь. Мы недостаточно отдаем себе отчет, как высветляет душу светлое помещение. И как притемняет душу тусклый свет. России климатически всегда не хватало света. Вот почему ей так необходима светоносная поэзия.

Тирану не дает покоя призрак убийцы. И чем тише вокруг него, чем меньше признаков существования оппозиции, тем подозрительней тишина. Ужас тишины, вызванной страхом перед ним, тиран воспринимает как ужас подготавливаемого в тишине заговора. Чем тише вокруг, тем явственней по ночам встает над ним призрак убийцы. Наконец, этот призрак делается невыносимым.

И тиран начинает убивать сам, разрушая, как ему кажется, зреющий заговор. Ухватившись пальцами за реальную, теплую глотку, он постепенно освобождается от видения невыносимого призрака, за глотку которого невозможно ухватиться. И чем больше реальных глоток хрустит под его пальцами, тем видение призрака делается все слабее и слабее. Реальность освобождения от призрака еще больше вдохновляет его удушать реальных людей. И чем больше он удушает реальных людей, пусть через мнимые суды, тем призрачнее делается призрак.

И наконец, в зависимости от страны, истории, от силы мании, убив сотни или сотни тысяч людей, он вдруг радостно ощущает, что призрак исчез.

И тогда он перестает убивать. Исчезновение призрака, мучившего его, он воспринимает как следствие своевременного подавления зревшего заговора. И он некоторое время живет нормальной жизнью, весело, бестревожно. А вокруг него полная тишина, никакого мышиного шороха оппозиции.

Но вот сама полнота этой тишины постепенно становится подозрительной. И ночами снова появляется призрак убийцы. И теперь тиран мучается, с трудом засыпая на рассвете. И тогда он с тоской вспоминает: отчего еще совсем недавно ему было так весело и спокойно и никакие призраки его не тревожили?

Оттого, с железной логикой отвечает он самому себе, что я в зачатке раскрыл заговор, уничтожил заговорщиков и их некоторое время не было. Оттого мне было весело и спокойно и призрак убийцы не являлся.

А теперь он снова появился. Вон покачивается в углу спальни. Почему? Ясно почему. Моя гениальная интуиция подсказывает мне, как и в тот раз, что снова появились заговорщики. А призрак мучает по ночам, мучает невыносимо, и так как призрак нельзя задуть, руки тянутся к реальной глотке. И снова начинается террор.

И как только начинают хрустеть реальные глотки, призрак бледнеет и бледнеет и в конце концов истаивает после какого-то числа переломанных теплых глоток. И в один прекрасный день тиран успокаивается, приходит в равновесие и лишний раз убеждается, что вовремя подавил заговор.

Через некоторое время все повторяется. И так до тех пор, пока действительно кто-то из приближенных к тирану, предчувствуя новый виток борьбы с заговорами и боясь стать его жертвой, в самом деле его не убивает или просто тиран не умирает своей смертью.

Он был так рассеян, что не заметил, как жена от него ушла. Через несколько дней, узнав об этом, жена из самолюбия вернулась. Она не могла смириться с мыслью, что уход ее не замечен.

— Ты что, у мамы была? — спросил он, увидев ее.

— Но ведь моя мама умерла, — ответила она в отчаянии.

— Извини, дорогая, — смутился он, — совсем замотался.

И снова погрузился в работу. И тут жена окончательно ушла, но он этого опять не заметил. Через день он вспомнил о прошлом уходе жены и стал соображать: раз она не была у мамы, значит, где-то была. Но где?

Он хотел спросить у нее, но ее опять не оказалось дома. Наверное, к маме ушла, подумал он, опять забыв, что мама у нее умерла. Очень уж давно она умерла.

Цветаева гениально сказала, что женитьба Пушкина на Наталье Николаевне — это стремление переполненности к пустоте. Но можно продолжить ее мысль. Пушкин на удивление друзьям нередко любил общаться с пустыми людьми. Электричество его переполненности требовало заземления, иначе он взорвался бы. Друзья этого не понимали, скорее всего, и сам Пушкин этого не понимал.

Тот, кто думает так, но не осмеливается сказать, что думает так, на самом деле только думает, что думает так, но думает иначе.

Все шлюхи в старости делаются ханжами. В чем дело? Жадность. Уже неспособная обжираться телом, старается как можно больше отожрать от добродетели.

Сплетня — сладость заговора без его опасности.

Пьяницами становятся в первую очередь люди с очень здоровой психикой. Они долгое время не испытывают похмельного ужаса. Потом, конечно, психика сдает, но уже отказаться от питья трудно — алкоголик. Я, к счастью, застрял на первой стадии.

Если ты дурак, то будь хотя бы флегматиком.

Лакей лучше всего узнается не в лакействе, а в дерзости.

Высокомерие — комплекс неполноценности в прочности своего положения. Через высокомерие человек убеждается в реальности своего высокого положения или представления о себе.

Шаблонные рифмы типа «любовь — кровь» не потому плохи, что сами стерты, а потому плохи, что тянут за собой избитый смысл строки. Если же поэт, пользуясь шаблонной рифмой, все-таки может освежить смысл строки, мы получаем дополнительное удовольствие от смелости поэта, и перешаблоненная рифма сама освежается, как бы иронически подмигивая своему шаблонному смыслу.

— У нас было потрудней, — сказал он, попав в ад и обустроиваясь в нем.

— Ты из какого лагеря, браток? — спросили у него обитатели ада.

— Планета Земля, — ответил он. — А у нас считают, что вселенная не обитаема.

...В самом деле, если есть тот свет, только там мы узнаем, обитаема ли Вселенная. Не может же Бог быть столь мелочным, чтобы для обитателей разных планет устраивать особый рай или особый ад.

Пьяный сунул в клетку с обезьяной палку и ткнул ее. Обезьяна взвизгнула.

— Интересно, что она этим хотела сказать? — удивился пьяный.

— Она хотела сказать, что человек еще не произошел от обезьяны, — пояснил я.

— Произойдет, куда денется, произойдет, — гениально утешил пьяный.

Бессонница — потеря простодушного отношения ко сну, навязчивость недопрожитого или перепрожитого дня. Боязнь бессонницы порождает бессонницу. Когда путается сознание, то есть начинаешь засыпать, — вдруг толчок, и сознание проясняется. Откуда этот толчок? Психика, не управляемая разумом, зафиксирована на сне. Вместо того чтобы разумно приказать организму: тише, тише, он засыпает, — она орет: он засыпает! — и ты вздрагиваешь и просыпаешься.

Бывает, хочешь припомнить нужное слово — и никак не можешь. Напрягаешь память, но ничего не получается. Плюнул, махнул рукой и стал думать совсем о другом, и вдруг нужное слово само всплывает в памяти. Значит, работа памяти по воспоминанию нужного слова продолжалась помимо воли? Но зачем ей нужен был этот перерыв? Или излишнее понукание сбивало память с толку, как излишняя строгость снижает сообразительность ребенка? Интересно, что об этом думает наука?

В чем дело? Чем хуже в стране идут дела, тем этот человек делается все веселее, размашистее, уверенней. Может, его доходы увеличиваются? Нет.

Может, его личная жизнь становится осмысленнее и богаче? Как была нелепой, так и осталась. Видимо, дело в том, что разложение внешней жизни все более и более совпадает с разложением его внутренней жизни. Внешний распад все более гармонизируется с его внутренним распадом, и это улучшает его настроение. Страшный сон: он с хохотом входит ко мне в дом, и я понимаю, что все кончено. Не дай Бог!

Жалоба современного Прометея:

— Мне не то обидно, что клюют мою печень. А то обидно, что попугаи, а не орлы клюют мою печень. При Зевсе было величественней.

У входа в метро подтаял лед. Очень скользко. Парень, шедший впереди меня, поскользнулся и долго извивался, чтобы удержать равновесие, героически приподняв над головой сумку, в которой виднелись бутылки с выпивкой. Было ясно, что он не столько пытается удержаться на ногах, сколько старается даже упав удержать сумку над головой. Наконец я его схватил и восстановил равновесие.

— Судя по звуку, бутылки уцелели? — заметил я.

— Уцелели! — радостно подтвердил парень и вошел в метро.

Кажется, все рекорды в беге на длинную дистанцию у африканцев. Родина страусов.

Человек, у которого большие полушария мозга работают с такой же интенсивностью, как большие полушария задницы.

Очаровательная строфа Фета:

В моей руке — какое чудо! —  
Твоя рука,  
И на траве два изумруда —  
Два светляка.

Очевидцы чуда — светляки. Их было два. Трезво-арифметическая цифра настаивает, утверждает, что чудо было реальным. Если бы поэт написал, что светляков было множество, чудо было бы не столь убедительным: мало ли, что показалось. А тут именно два. Два светляка — и две руки. Совпадение парностей. Чудо совпадения парностей делает еще более реальным первое чудо. При этом абсолютная непринужденность строфы, как выдох. Это уже мастерство.

Свободный человек — это человек, чуткий к свободе другого и потому непринужденно самоограничивающийся. Это непринужденное самоограничение и есть вещество свободы. Понимать свободу как вещь для собственного употребления — все равно что сказать: «Я щедрый человек. Я хорошо угостил себя».

Хочу написать статью «Байрон и Чехов». Байрон — певец мужества, но всегда при зрителях и для зрителей. Чехов — писатель деликатно и глубоко скрытого внутреннего мужества. Байрон внешне героичен, но внутренне прост и однообразен. Чехов внешне прост, но внутренне многообразен и скрыто героичен.

Понижение уровня всякой обсуждаемой проблемы прямо пропорционально количеству обсуждающих проблему людей. Двое, трое, четверо — еще можно удержаться на хорошем уровне. Дальше идет спад. Идеал тупости — толпа.

Забавный случай рассказал ему один его приятель, а он пересказал мне. Вот как было дело:

— Пришел к товарищу юности в гости со своим сыном, взрослым балбесом. Сидим за столом, слегка выпиваем, товарищ рассказывает, как его сын в наше трудное время помогает отцу, регулярно подбрасывая ему деньги. Во время рассказа случайно ловлю взгляд собственного сына со страстным укором, обращенным на меня. В чем дело? Сначала не мог понять, потом догадался.

В голове моего сына, вечно выклянчивающего у меня деньги, все перевернулось! Он вообразил себя отцом, а меня своим сыном. Его страстный, молчаливый укор означал: ты видишь, как сын помогает отцу? А ты? И тебе не стыдно?

Он сам не замечал лихого сальто собственного эгоизма.

Управляющий страстью — более страстный человек, чем тот, кто проявляет безумную страсть. Слаломист, неожиданно тормозящий, делающий резкие зигзаги и броски, производит впечатление большей страстности, чем лыжник, сломя голову летящий с горы.

Один из застольцев неожиданно вторгся в разговор.

— Ганди был китайцем, — взволнованно сообщил он, — его истинный отец — китаец! Я лично читал об этом!

Как — китаец? Откуда китаец? Почему китаец? Да ниоткуда! Оскорбленный невниманием к своей особе, он решил всех огорошить: Ганди был китайцем! И добился минутного внимания к себе. Это минутное внимание иногда длится годами, если вовремя крикнуть:

— Ганди был китайцем!

Звонит читатель:

— Я прочел ваши стихи в журнале! Мне они очень понравились!

— Спасибо!

— Я хотел бы приехать к вам домой и познакомиться с вами.

— Боюсь, что вы ничего в них не поняли!

— Как не понял? Я все понял!

Тогда откуда такое нахальство? — хотелось сказать, но не сказал.

Видел сон, и во сне было страшно. Во сне я видел родное море возле Астрахани. Море отошло от берегов метров на двести, и оголилось дно, из которого торчали острые, злые скалы. А ведь я все детство купался в этих местах, сотни раз нырял и никаких злых скал там не видел. Во сне было горькое и грозное чувство, что я всю жизнь не знал истинного состояния своего моря. Обнажившиеся острые, слизистые скалы предрекали какую-то беду. Думаю, что этот сон ткнул меня в мою излишнюю доверчивость к народу. Любому народу.

В англосаксонской литературе немало произведений, где герои соревнуются в благородстве. Например, «Запад и Восток» Киплинга. В нашей литературе я что-то не могу припомнить таких героев. У нас есть прекрасные, благородные герои, но им не с кем соревноваться в благородстве, они всегда в одиночестве.

Может быть, дело в том, что в нашей истории не было рыцарства? Чешутся руки написать стихи о состязании двух людей в благородстве. Но не могу найти сюжета. Может быть, не хватает благородства, чтобы найти сюжет?

Чем глупее человек, тем он дольше говорит по телефону: неиссякаемость отсутствующей информации.

Рука женщины, нежно глядящая больного ребенка и утешающего его этим. Рука фокусника, виртуозными пальцами выделяющая невероятно ловкие движения и этим развлекающая зрителей. И тут все понятно, все на месте: и рука женщины, и рука фокусника.

Но точно так же существуют два типа ума: один из них — рука женщины, а другой — рука фокусника. И рука фокусника часто изображает руку женщины, и ей чаще верят, чем истинной руке истинной женщины.

Анкетные данные. Человек надежный, в подозрительных уединениях с совестью не замечался.

Что это был за человек! Мы кружились вокруг его головы, как мотыльки вокруг лампы!

Иногда в хмельном состоянии лучше узнаешь человека. Не потому, что ты лучше сообщаешь, а потому, что он хуже маскируется.

Помню, как в студенческие времена после весенней сессии ехал в поезде из Москвы в Астрахань. В тот раз я был совсем без денег и без еды. Три девушки были со мной рядом в купе. Ехать надо было три дня. С небольшим опозданием в один день, заметив, что я ничего не ем, девушки стали подкармливать меня. Доехали весело. Позже, летом, я их несколько раз встречал в Астрахани, здоровался, но подойти не мог из глупого стыда. Мне казалось, что на их милую, скромную щедрость я должен здесь ответить пиршеством, но денег на это не было. А тогда казалось, что не ответить пиршеством — позор.

В те же годы в Астрахани справляли поминки по одному знакомому нам человеку. Столы по-южному устали во дворе под деревьями. Люди еще не успели рассестись. За одним из этих столов уже сидела необычайно красивая девушка, казавшаяся сказочно красивой здесь, в черной рамке смерти. Я обратил на нее внимание. Заметив это, она стала очень быстро есть. Видимо, кокетство вызвало в ней аппетит. Не ест, а исполняет какой-то сексуально-гастрономический танец. От былой за минуту до этого красоты ничего не осталось. Смерть, красота, пошлость.

В молодости один милый поэт время от времени читал мне свои новые стихи. Если я говорил, что стихотворение неудачно, он с комическим постоянством повторял:

— Опять перетончил!

Главный признак провинциализма в литературе — стремление быть модным.

Нужно движение, непрерывное трение о мир, чтобы задымилась искра мысли, а потом нужны тишина и одиночество, чтобы эту искру раздуть.

Чем богаче еда, тем вонючей дерьмо. У вегетарианца, надо полагать, благородный козий помет.

Современный, интеллигентный мальчишечка сказал женщине:

— Тамара Ивановна, будьте любезны, скажите мне, пожалуйста, вы не видели, где моя подушка-пердушка?

Этот человек свою трагедию пережил с таким деликатным мужеством, что никто не заметил этого мужества. Все решили, что он холодный человек.



Ночью в купе. Бессонница. Соседи по купе то дружно, то вразнобой храпят. Дискуссия глухонемых. У одного из храпящих аргумент иногда достигал такой хамской силы, что он перекрывал им храп обоих и, перекрыв, успокаиваясь на минуту, затихал. Потом он начинал скромно храпеть, как бы предлагая вести дискуссию в джентльменских тонах. На что один из двоих взрывался в храпе, укоряя за его предыдущий наглый выпад.

Что делать? Как заснуть, не убивая их? Я долго думал и наконец, догадавшись о чрезвычайной выгоде своего положения, успокоился и уснул. Я подумал, насколько же безопасней лежать в купе, слушая храп пассажиров, чем лежать в палатке в джунглях, слушая рыканье хищников возле палатки. Храп — признак близости цивилизации. Успокоившись на этом, я уснул. Но я не знал, что, уснув, ввязался в их дискуссию и разрушил ее под утро.

— Я из-за вашего храпа проснулся, — сказал мне утром как раз тот, чей храп достигал наибольшей хамской силы.

— А я под ваш храп уснул, — ответил я ему.

Мне показалось, что он остался очень доволен — то ли миролюбием своего храпа, то ли его исключительной музыкальностью.

Имя знаменитой шпионки Мата Хари звучит как псевдоним русского мата.

Обрывок разговора. Парень, стараясь занять девушку, рассказывает ей:

— Я тогда в горах попал под такой ливень, что получил сотрясение мозга.

— Град или ливень? — переспрашивает девушка.

— В том-то и дело, что ливень, — уточняет парень, — град — это неудивительно... В тот раз в горах был такой град, что на моих глазах убил лошадь.

— А ты как уцелел? — спрашивает девушка, не очень удивляясь, что явно огорчает парня.

— В дупло залез, — говорит он, — потому и уцелел.

— А дупло было большое? — спрашивает девушка.

— Огромно! — радостно подхватывает парень. — Вся наша туристская группа уместилась в нем.

Девушка опять не очень удивляется. Что же надо такое сказать, черт побери, чтобы удивить ее!

Мы знаем две истории человечества — античную и христианскую. Античная история имела огромные культурные достижения, но, не сумев создать гармоничный мир, рухнула. Христианская история создала грандиозную культуру и цивилизацию, но, не сумев создать гармоничный мир, видимо, приближается к своему концу. По законам мистики и спорта, уверен — будет третья попытка истории человечества. Но это будет последняя попытка. Если человечество и на этот раз не сумеет создать достаточно гармоничный мир, боюсь, оно будет навсегда дисквалифицировано.

Оскал старой красавицы — кокетливый призыв смерти. У всех старых городских красавиц источенные лица. Шутка ли? Лицо, как мотор соблазна, десятилетиями работавший бесперерывно, и чем гуще смазка, тем заметнее, как он источился.

Пьяный сидел на скамье электрички, закрыв глаза и уронив голову на грудь. Напротив него сидела его жена. Он время от времени клал руку ей на колени и быстрыми, умоляющими, призывающими движениями пальцев просил взять его руку в свою ладонь. Это было понятно. Но женщина не брала его руку в свою ладонь, а время от времени небрежно снимала его руку со своих колен. При этом всем своим обликом она как бы говорила: будешь знать, как пить!

Пьяный снова клал руку ей на колени и быстрыми, умоляющими, долгими, терпеливыми движениями пальцев призывал ее руку. Но женщина была неумолима. Через некоторое время она сбрасывала его руку со своих колен все с тем же выражением на лице: будешь знать, как пить!

Через некоторое время пьяный снова дотягивался рукой до ее колен и терпеливо призывал ее ладонь. Казалось, пальцы его стремились докарабкаться до ее руки и просили ее помочь ему. Видно, он чувствовал ужас похмельного одиночества. Но она была неумолима. Так продолжалось полчаса, пока я ехал в электричке.

Конечно, нехорошо, что он так напился. Но она стерва. Возможно, он и напился, потому что она стерва.

Если человек не тяжело болен, бестактно говорить: «Когда я умру...» Можно подумать, что те люди, которым это говорится, бессмертны.

В молодости на пароходе плыл первый раз в Одессу. На пароходе все девушки казались привлекательней и таинственней, чем на суше. Пароход, да еще летний, — новая жизнь, новая земля, новая любовь! Всеобщее желание обратить обычное путешествие в свадебное.

Играл на палубе в пинг-понг с китайскими студентами. Все они играли хорошо и ракетку странно для нас держали между пальцев. Возможно, привычка к палочкам для еды. После игры я решил угостить их пивом. Сказал им об этом. Они собрались в кучу и, некоторое время посоветовавшись по-китайски, смело приняли мое предложение. Видеть их совещание было смешно. Мы были на разных уровнях идеологизации. Они еще ползли наверх, а мы уже сползли с вершины.

Один из ускользящих и одновременно точных признаков гения — это ощущение: неужели он в самом деле жил? Ближайший пример — Осип Мандельштам. Неужели он был? По этой же причине гений редко при жизни признается гением. Мешает, что он живой. Даже если отбросить невежество и зависть, остается глубинный, хотя и неосознанный аргумент: живой, а поэт райские песни. Что, он там был, что ли? Откуда он их знает? Значит, песни только кажутся райскими. После смерти легче признать: как бы отчасти отсюда поэт.

Фокус — пародия на чудо с целью погасить ностальгию по оригиналу.

Он давал взятки чиновникам только для того, чтобы они действовали в рамках закона. Чиновники в этом случае брали взятки за дискомфортность ситуации, в которую он их ставил.

Этот человек, разговаривая с богатыми, неизменно впадал в какое-то неаполитанское сладкогласие. Ему ничего от них не надо было! Он готов был отдать им последнее! Пся кровь!

Однажды в брежневские времена в писательском ресторане я крепко выпил с друзьями. К нам за столик вдруг подсел один ничтожный писателишка. Явно заметив, что я сильно пьян, он, потеряв контроль над собой от радости, что я потерял контроль над собой, не сводил с меня умоляющего взгляда в ожидании, что я скажу. Я всей шкурой почувствовал, что он стучит. Впоследствии так и оказалось.

Мне решительно нечего было сказать. А он, явно понимая мою сущность, с жадным сладострастием ожидал, что я эту сущность выражу в нескольких фразах. Я этого не только не хотел, но и не умел, а он ждал, ждал, ждал, как ждут козырную карту. Я для них тогда был загадкой. Но что ска-

зять? Так, либеральная болтовня. За половиной столиков в ресторане занимались этим. Но он продолжал умолять меня своим взглядом: сейчас — или никогда, карьера висит на волоске!

Я знал, что я этого не могу, даже если бы захотел. И потому продолжал пить. В том числе и с ним.

Видел сон, как будто я после купания в море надеваю ботинок. Почему ботинок в купальный сезон? Я не думаю об этом. На мокрую ногу ботинок трудно влезает, я натягиваю его, он сопротивляется, огорчаюсь своей неловкости. К тому же, озираясь, не вижу второго ботинка. Куда он делся? Нельзя же в одном ботинке идти.

Просыпаюсь. Вспоминаю свой сон. За окнами холодная, зимняя Москва. В этот же день, выходя из троллейбуса, решил закурить. Вынимаю из пальто сигареты, зажигаю, закуриваю.

Покурив, чувствую, что голые руки озябли. Лезу в карман за перчатками. Одной перчатки нет. Огорченный, поворачиваю назад, надеюсь, что может, уронил перчатку, когда доставал сигареты. Одновременно вспоминаю свой сон и никак не припомню, нашел ли я тогда второй ботинок.

Прохожу метров пятьдесят до остановки троллейбуса. В самом деле, перчатка валяется там. Радуюсь своей догадливости (понял, где искать) и тому, что ее никто не подобрал. Надеваю перчатки и снова вспоминаю свой сон.

Кажется, что сон предупреждал о надвигающемся дневном событии, только получилась какая-то путаница в моем мозгу или в самой мистике сна: ботинок спутал с перчаткой. Или Там верхние и нижние конечности проходят по одной категории? Или бог сна со сна ботинок спутал с перчаткой? Однако, какая мелочность! Подумаешь, чуть не потерял перчатку! Во сне все было гораздо значительней и неприятней, особенно та неловкость, с которой нога входила в ботинок. Это была моя неловкость в обращении с жизнью, неумение к ней приспособиться. Вернее, слабое умение. Ботинок все-таки надел.

Евреи особенно любят поговорить на половую тему. Бессознательное отвлечение собеседников от антисемитизма.

За многие годы впервые ходил босыми ногами по траве. Шекочущее, слегка колющее, приятное прикосновение травы к ставшим девственными подошвам ног. Все это напоминало далекое первое прикосновение к женщине в далекой юношеской постели. А впереди зеленый шелковистый холм. Ходи себе, гуляй вдосталь! Всю жизнь перегуляешь за несколько часов!

Солнечный, морозный день. Озаренные солнцем, книги на полках разноцветно вспыхнули! Сияние мысли навстречу сияющему солнцу. Весело!

Храбрость — разгоряченность человека до степени равнодушия к своей жизни или охлажденность его до этой же степени.

Ни один самый великий мастер не может скрыть, что в том или ином стихотворении или прозаической странице его покинуло вдохновение. Хотя сам он этого мог не заметить. Скрыть отсутствие вдохновения невозможно.

Достоинство человека в кандалах — не размахивать руками.

Настоящий читатель — это не тот, кто прочел книгу, а тот, кто возвращается к ней. Но для этого и книга должна быть настоящей. Классика — это принципиальная неисчерпаемость книги.

Интеллигентному человеку кажется, что бритва тоже комплексует.

Умер на посту. Так и похоронили с недописанным доносом на груди.

Маленький, динамичный ум. Динамичный, потому что маленький.

В молодости пьют, чтобы почувствовать себя старше своих лет. В старости пьют, чтобы почувствовать себя молодыми.

Новые времена. В аэропорту стоял в очереди к пограничному контролю. Как всегда, волновался. Вечно к чему-нибудь придерутся: то неправильно заполнил декларацию, то почему столько книг в чемодане и тому подобное. Очередь двигалась. Я подхватывал свои чемоданы, а потом, когда очередь останавливалась, от волнения забывал их поставить на пол. Впереди меня стоял какой-то молодой иностранец с большим рюкзаком у ног. Он лениво жевал жвачку и по мере продвижения очереди ногой подпихивал вперед свой рюкзак. Ногой подпихивал рюкзак! Эпос свободы! Вот это свободный человек, подумал я, и ничего тут не поделаешь!

Чтоб тупости ее разжать замок,  
Он так кричал, что дребезжали стекла!  
Но ничего ей доказать не мог.  
Зачем же, Гамлет, ты связался с Феклой?

Когда я спросил, кому посвящено это четверостишие, он, по-моему, смутился и ответил, что не помнит. Неужели Глухой?! Бедная Ася, если это она!

Душа, в которой конь не валялся, но ослы бегали вперегонки.

Невозможно представить, чтобы Лев Толстой и Федор Достоевский могли дружить, хотя жили в одну эпоху и возвышались над всеми. Представить их дружбу — все равно что представить, что два действующих вулкана, продолжая действовать, договорились бы об условиях всемирной тишины.

Хорошо, что восстанавливают храм Христа Спасителя. Но надо было бы его назвать храмом памяти храма Христа Спасителя. Но этого никто не собирается делать. А надо внушать народу мысль, что святыни невосстановимы, чтобы он испытывал священный ужас перед мыслью разрушить их. Через сто лет только специалисты будут знать, что храм был разрушен, а потом его восстановили. А надо, чтобы народ всегда это помнил.

Говорят, Хлебников — гениальный поэт. Сомневаюсь. У Хлебникова есть прекрасные строчки. Иногда строфы. Но у него нет почти ни одного законченного прекрасного стихотворения. В чем дело? Он в стихах не может создать эмоциональный сюжет. Стихи — или сразу удар! — и постепенно звук затихает. Или чаще всего постепенно накапливается определенное настроение и взрыв в последних строчках. У Хлебникова — ни того, ни другого. Следствие его неполной нормальности. У него прекрасная строчка всегда в случайном месте случайно прихваченная словесным потоком. Но «Зверинец» — гениален! Тут звериная клетка стала формой, не дающей поэту растекаться.

Отгоняю от себя все виды жизни, чтобы не мешали думать о них. Если смогу создать для них корм — сами прибегут, как куры.

В Хьюстоне перед великолепным университетом памятник человеку, финансовая помощь которого помогла создать университет, и до сих пор его деньги поддерживают этот храм науки.

Организатор университета прожил восемьдесят пять лет и умер оттого, что, сговоровшись между собой, его отравили любовница и дворецкий. Они отравили его, зная, что он собирается вложить свои деньги в строительство университета. Надеялись, что деньги достанутся им.

Однако они не учли, что он своими планами поделился с другом. Друг заподозрил злодейство, обратился в суд, отравление было доказано, любовница и дворецкий получили по заслугам.

Возникает невольный вопрос: зачем восьмидесятипятилетнему человеку любовница? Скорее всего, она раньше с ним жила и достаточно давно перестала быть его любовницей и стала любовницей дворецкого. Но как горделиво звучит: в восемьдесят пять лет был отравлен любовницей! Может, потому что грозился в девяносто завести новую!

Картина юности в Астрахани. Перед лестницей, ведущей на второй этаж, стоит билетерша. Наверху танцы. Молодежь, показав билеты, весело подымается к музыке.

Хулиган несколько раз пытался прошмыгнуть мимо билетерши, но она его останавливала и отталкивала. Наконец она зазевалась, и он проскочил мимо нее.

— Назад! Назад! — кричала билетерша, спохватившись, но он ее не слушал, зная, что она не решится покинуть свой пост.

Но как раз в это время, на его беду, сверху по лестнице стал спускаться директор клуба.

— Не пускай его! Он без билета! — крикнула билетерша директору.

И тут хулиган заметался на месте, не зная, что ему делать. А молодежь весело проходит мимо него. Через три-четыре секунды директор клуба окажется рядом. Хулиган лихорадочно ищет решения, как эти последние секунды нахождения в запретной зоне использовать. И находит! Он смачно плюет на спину проходящей мимо девушки. Сорвал удовольствие! После этого спокойно идет вниз, как бы говоря: на большее я и не рассчитывал.

Много лет назад рассказывал мой родственник.

Вдруг стук в дверь на рассвете. Думаю: кого это несет в такую рань? Открываю дверь. Стоит высокий молодой человек в военной форме. Это был мой племянник, я его еле узнал! Но как страшно он изменился!

— Проходи! Какими судьбами?

— Я из Афганистана! Привез гробы солдат.

Позже за завтраком он мне много рассказал об афганской войне. Вот одна из его историй.

У нас было задание: с двух сторон подойти к кишлаку, где, по нашим сведениям, было много духов, окружить его и уничтожить их.

Наш отряд шел низиной, а другой — через горы. Строго рассчитали, что через шесть часов встречаемся в районе кишлака, окружаем его и уничтожаем врага.

И мы пошли. Идем, идем, идем, а кишлака не видно. Идем с предельной скоростью. Проходит шесть, семь, восемь, девять часов. Наконец вышли к кишлаку. Отряд, с которым мы там должны были соединиться, весь перебит, а кишлак пустой. Духи вместе с женщинами, детьми, стариками, скотом куда-то ушли.

Командира нашего арестовали за невыполнение приказа, судили, но судьи из Москвы оказались честными людьми. Они на практике убедились, что по нашей дороге за шесть часов дойти до кишлака было никак нельзя. В чем дело? Оказывается, мы воевали с неграмотными картами. Командира нашего отпустили.

...Вспоминая об этом рассказе, думаю: а были ли у наших командиров в Чечне грамотные карты?

В животном мире самцы бешено бьются за самку. При этом самка, чаще всего пощипывая траву, спокойно дожидается победителя. Насколько я знаю, только в человеческом мире женщины могут враждовать за обладание

тем или иным мужчиной. Идея равенства. Чем цивилизованней народ, тем чаще женщины активны. Возможно, при полной победе феминизма женщины будут яростно сражаться за мужчину, а мужчина в это время будет сидеть в сторонке и покуривать.

Если начальник шутит, хохочи — хохоча, взойдешь.

У человека в сумке яблоки. Мы попросили у него одно яблоко. Он нам дал одно яблоко. Но из искренней ли доброты он это сделал, трудно судить: он это мог сделать из приличия или других соображений. Но если на просьбу дать одно яблоко он нам протягивает два, то тут второе яблоко как бы свидетельствует об искренности дара и первого яблока. Щедрость — наиболее убедительный признак искренности. Точно так же, если человек на просьбу дать яблоко достал бы из сумки одно яблоко и, разрезав его пополам, дал нам пол-яблока, ясно было бы, что он очень неохотно расстается со своим даром. В искусстве высшим доказательством искренности тоже является щедрость. Пушкин на просьбу дать одно яблоко с хохотом сыплет из сумки яблоки, особенно в подол женщины. Щедрость в искусстве порождает искренность, искренность порождает обаяние автора. Щедрость и есть причина обаяния автора.

Иногда от долгого пьянства казалось, что эта рыхлая глыба отчаянья вот-вот рухнет. И ему уже ничем нельзя помочь. Было жалко его до безумия. Но ему всегда приходило на помощь вдохновение. Оно иногда длилось месяц, полтора, и в это время он испытывал отвращение к алкоголю и капли не брал в рот.

В такие времена он становился сильным, ясным и по-своему подтянутым. Именно таким я его однажды встретил.

— Написал лучшие стихи в русской поэзии о первой любви! — закричал он. — Если это не так, вот тебе крест, я их порву и выброшу!

И он мне прочел их.

### Баллада о первой любви

После похвальных трудов,  
Или законченной песни,  
Или наломанных дров  
Только рассядешься в кресле,

Хлопает смерть по плечу  
И призывает к ответу.  
— Несправедливо, — кричу, —  
Дай докурить сигарету.

Вновь припадает к плечу,  
Как парикмахер за стулом.  
— Та, что любила, — шепчу, —  
Только снежинку смигнула.

Только смигнула — и нет.  
Господи, это ли мало!  
В сессию, помнишь, студент,  
Ночки одной не хватало.

В библиотеке вдвоем.  
В книгу глаза опустила.  
Пальцев борьба под столом.  
Страсть или знание — сила?

День этот давний любя,  
В ночь погружается тело.  
Та, что любила тебя,  
Слово сказать не успела.

Та, что любила, во сне  
Свитер под лампой не вяжет,  
Словно из космоса мне  
Все еще варежкой машет.

Впрочем, не надобно слез,  
Даром ломаются копыя.  
Если об этом всерьез,  
Как не поверить в загробье?

Жить — это значит потом  
Думать. Сие непреложно.  
Жизнью наполненным ртом  
Мямлить о ней невозможно.

Вот и полярная ночь.  
Времени много, полярник,  
Мыслию мрак превозмочь,  
Коль не зарежет напарник!

Вот и полярная ночь!  
Для новобрачных удобно  
Ласкою лед протолочь,  
Долго любить и подробно.

Что нам Большая земля  
Или большие обиды?  
Мы позабыли не зря,  
Мы окончательно квиты.

К морю родному домой  
Нас никогда не потянет.  
Только из пены морской  
Сын мой стремительно глянет!

Милая, счастья нет.  
Разве что, нежно расслабься,  
Пылкий, патлатый студент  
Будет бубнить эту запись

В библиотеке. Вдвоем.  
Помнишь с верандою зальчик?  
Пальцы сплелись под столом.  
Крепче держи ее, мальчик!

— Это стихи о моей землячке. Мы с ней вместе учились в Москве. Я надеюсь, ты понял, что сын не от нее. У нас с ней ничего не было.

— Да, конечно, — сказал я, — пожалуй, про сына самые сильные строчки. А где он?

— Он сейчас в Америке, — был сумрачный ответ, — моя бывшая жена вышла замуж и уехала туда.

Конечно, я ему не мог дать право разорвать эти стихи, если бы он в самом деле был готов исполнить свою угрозу.

Если художник, стремясь к беспредельному совершенству своего произведения, подсознательно не надеется, что с достижением этого совершенства начнется кристаллизация гармонии в мире, начнется спасение мира, значит, это не художник!

В гостинице. Случайно задев рукой, сбросил с тумбочки хрусталеобразный стакан, из которого собирался выпить снотворное. Обычный стакан или остался бы цел, или раскололся бы на несколько кусков. Этот разбился вдребезги на сотню маленьких осколков. Казалось, идею разбиться вдребезги он радостно нес в себе и радостно ждал своего часа. Мистика, но таков материал, из которого он сделан.

И вдруг я догадался, что вся наша цивилизация такая же хрупкая и так же радостно разлетится на тысячи осколков при малейшем толчке. Таков материал, из которого она сделана.

Поэзия прочности сильнее, чем у всех писателей мира, выражена у Льва Толстого. Вот что надо бесконечно развивать в искусстве!

Мыслящий человек, не сумев воспитать собственного сына, без всякого смущения продолжал воспитывать человечество. Когда ему указали на это противоречие, он, пожав плечами, ответил:

— Ничего не попишешь! Привычка иметь дело с большими величинами!

Человек зачат в ярости сладострастия. Если, как утверждают атеисты, природа сама создала живую материю, можно представить извержение грандиозного вулкана, как половой акт.

Но нет доказательств, что неживая материя могла забеременеть жизнью. Чтобы забеременеть жизнью, неживая материя, как женщина, уже заранее должна нести в себе идею жизни. А откуда ей взять эту идею жизни? Вот гранитная глыба. Она стоит миллионы лет. Представить, что она идею жизни несет в себе, так же нелепо, как представить, что она несет в себе идею стать ласточкой. Идея жизни привнесена Богом. А зачем? Нам не дано знать.

Этот поэт претендует на роль Гамлета, но ужас заключается в том, что гамлетовский текст он сам себе пишет.

Я так туп в живописи, что понимаю только великие картины.

Подобно тому, как мы совершенно ясно сознаем, что ребенок не может стать разумным человеком без первоначального толчка взрослого человека, без родительства, подобно этому невысказанно, чтобы первичный человек-ребенок не имел этого первоначального толчка, родительства. Он, конечно, имел этот первоначальный толчок, и родителем ему был Бог, поскольку никого другого не было. Опыт? Но прежде чем воспользоваться опытом, нужен разум, диктующий нам мысль воспользоваться им. Однако современные дикари, которых иногда показывают по телевизору, смущают. Пожирают людей. Неужели Бог к ним прикасался? А если не прикасался, то почему?

Западный человек ближе к полицейскому мышлению, чем русский человек. Именно поэтому русское общество больше нуждается в полиции и больше ее производит. Но именно поэтому же полиция у него плохая. Нет дара полицейского мышления, и полиция не чувствует границы данного ей законом насилия.

Я однажды сказал ему:

— Странное дело. У меня почему-то путаются в голове все эти родственные обозначения: свахи, свояки, девери... Смешно, но не могу запомнить.



— Это потому, что ты с детства не слышал их, — ответил он мне, — но я тебе помогу.

— Как?

— Вот увидишь! — озорно улыбнулся он.

И в самом деле, через три дня он принес мне целую поэму, посвященную этому.

### Урок русского языка

— Что такое, братцы, шурин?  
 — Брат жены, запомни, дурень!  
 — А золовка — это кто?  
 — Вот башка, что решето...  
 Мужнина сестра — золовка...  
 Где с водярой упаковка?  
 Мы ж сюда не с ночевой —  
 Кто поближе там, открой!  
 — Деверь, деверь, как понять?  
 — Мужнин брат, ядрена мать!  
 Ну, разжамкал, кто они?  
 Сухота. Где стаканы?  
 — Что такое свояки?  
 — Закусь, закусь, мужики!  
 — Холодец забыл в пальто.  
 — Для начала грамм по сто!  
 — Что такое свояки?  
 — Дай ему, мне не с руки!  
 — Сваяки — мужья сестер.  
 Не допер или допер?  
 Две подушки, две сестры.  
 То-то вылупил шары!  
 — Видно, наш салам алейкум  
 Рвется в русскую семейку!  
 — Отметим кулаками —  
 После будем кунаками!  
 — Что за шум, а драки нету?  
 Помни русскую примету:  
 Кум болтает наобум,  
 А кума — бери на ум.  
 — На Востоке наших баб  
 Любят. Тут один араб  
 Взял соседку. Воблой вобла.  
 Пир — горой. Гуднула шобла!  
 Пишет письма из Алжира.  
 Потолстела от инжира.  
 Климат вроде как в Одессе.  
 При чадре, но в «мерседесе».  
 Но однажды — пых, как порох!  
 Навела в гареме шорох.  
 Разогнала восемь жен,  
 Каждой выдав пенсион.  
 И засела за Коран.  
 Муж притих, как таракан...  
 — Ша! Забулькали еще.  
 Хорошеет. Хорошо!  
 — Что такое, братцы, сват?  
 — Ухайдакал азиат!  
 — Что такое, братцы, братцы!

— Нам с тобой не вековаться!  
Развопился, словно выпь,  
Убирайся или выпь!

Мы, конечно, сели выпить по этому случаю. Смешно, но двусмысленно прозвучали строки:

Отметим кулаками,  
После будем кунаками.

Тогда шла чеченская война, и было совершенно не ясно, кто кого отметилил.

— Ты будешь смеяться, — сказал я шутливо, — но мне и теперь непонятно, кто такой сват. Тем более, что в стихах ты оборвал этот вопрос.

— Сват — это тот, кто идет сватать невесту по поручению жениха или его родителей. Считай, что ты пять раз был моим сватом — и все неудачно. А потом привез Глухую. Ура! Выпьем за нее!

Вот стихи, написанные в год смерти его матери. Весь этот год он прожил в полном одиночестве. Так он сказал.

Я ничего не боюсь  
Даже при слове: крах.  
Только порой взорвусь,  
Путаясь в черновиках.

Я ничего не боюсь,  
Ибо боюсь пустоты.  
Прожитой жизни груз  
Вылломал все мосты.

Чую ногами дно.  
Крепко стою теперь.  
Я потерял давно  
Даже список потерь.

Нежен запах айвы.  
Сладок запах детей.  
Вспомню людей, увы,  
Каждый второй — лакей.

Чуден родной простор.  
Через овраги и рвы  
Скачет во весь опор  
Всадник без головы.

Чтобы его поймать,  
Не щадя головы  
Рвется навстречу рать,  
Тоже без головы.

Ты говоришь: — Мираж,  
Лучше протри виски. —  
Я говорю: — Пейзаж  
Или его куски.

Впрочем, напрасен труд.  
Сам же теряю нить,  
Ибо в комнате тут  
Не с кем поговорить.

Воз и поныне там,  
Где призадумалась плеть.  
Каждый решает сам,  
Жалить или жалеть.

Я ничего не боюсь.  
Это приятно знать.  
Даже змеиный укус  
Брезгую отсосать.

Призраками пустынь  
Стыдно страшиться мне.  
Вместо любых святынь —  
Мамин портрет на стене.

Это ее плечо,  
Как там ни назови,  
Держит меня еще  
Силой своей любви.

Чувствую горячо:  
Руки ее в мольбе  
Держат меня еще  
И не пускают к себе.

Не уверен, что это стихотворение написано в трезвом виде.

### Привиденье

Увидев привиденье,  
Сказал я: — Ну и что? —  
Взглянувши на него.  
Краснея от смущенья,  
Забыв надеть пальто,  
Исчезло привиденье,  
Ответив: — Ничего!

Когда ко мне приходит вдохновение, прервав любую выпивку, я месяц или полтора работаю над стихами. Мне даже противно думать о выпивке. Но вот я иссяк, а вдохновение продолжается. Я чувствую, что могу впасть в безумие. И тогда выпивкой я гашу пожар вдохновения. Таким образом, вдохновение спасает от излишка выпивки, а выпивка спасает от излишка вдохновения. Но не грех ли? Вдохновение — дар свыше. С другой стороны, безумия боялся даже Пушкин.

Новые времена. В Крыму на рынке подошли к продавцу арбузов. Двое молодых парней в шортах и в майках с могучими, отовсюду выпирающими мускулами выбирали себе арбуз. Я все видел и слышал, но думал о чем-то своем.

У продавца был какой-то растерянный вид. Он кивнул на вторую кучу арбузов, побитых в дороге.

— Вон сколько испортилось, — сказал он, в чем-то оправдываясь.

Парни уже выбрали арбуз. Продавец дал одному из них какие-то деньги. Я думал — сдача.

— А что я скажу, если другие придут? — обратился к ним продавец.

— Скажи — Эдик уже был здесь, — ответил один из них, и они ушли.

Я и тут ни о чем не догадался. Мы купили арбуз и пошли к себе.

— Как обнаглели рэкетирь, — сказала жена на обратном пути.

Тут только я понял смысл увиденной картины. Поразила ее будничность. Среди бела дня на рынке спокойная обираловка. И унылая уверенность продавца, что защиты нет и не будет.

В саду Дома творчества шныряют машины. Раньше им въезд сюда был запрещен. Одна из них чуть не наехала на меня. Владелец машины притормозил, высунулся из окна и, кивнув на ресторан, гостеприимно сказал:

— Приглашаю на ужин в восемь вечера. Вместе с вашей спутницей, не знаю, кто она вам.

И поехал дальше.

То, что он не понял, что я с женой, почему-то охлестнуло чудовищным оскорблением. Мол, там, в ресторане, он выяснит, кто она мне. Редкостный сукин сын, редкостный!

В тот же день на пляже. Направо от меня шагах в пяти устроились двое: мужчина средних лет и молоденькая женщина. Видимо с похмелья, они время от времени лениво потягивали шампанское из одной бутылки. Молоденькая женщина, не стесняясь того, что на пляже много купальщиков, в том числе детей и подростков, была без лифчика, в одних трусах. Глаза ее, как и молодые крепкие груди, слегка косили. Можно сказать, что она четырьмя глазами оглядывала пляж.

— Сегодня вечером не пойдем в ресторан, — благостно сказал мужчина, потягивая шампанское, — съедим на берегу шашлычки...

— Нет, пойдем! — безжалостно перебила она, и он замолк. Косящие глаза и косящие груди продолжали исследовать пляж.

Все люди связаны универсальным стремлением к наслаждению. Если в исключительных случаях человек ненавидит наслаждение, он наслаждается своей ненавистью к наслаждению.

Но в обычной жизни один человек, скажем, получает наслаждение от чтения Евангелия, а другой получает наслаждение, пропустив рюмку водки и зажевав ее пупырчатым соленым огурчиком. Конечно, ценность наслаждения первого гораздо выше, чем ценность наслаждения второго. Но не надо преувеличивать примитивность наслаждения второго. Иногда он вправе сказать первому:

— Отложи Евангелие! Выпей с нами рюмку и захрусти ее этим пупырчатым огурчиком. Что, не хочется? Совсем? И ничего подобного?! И никогда?! И ни при каких обстоятельствах?! Тогда тебе и Евангелие ни к чему!

Моя покойная мама говорила:

— Человек, который украл, грешен перед тем человеком, у которого украл. Человек, у которого украли, подозревая многих невинных в воровстве, грешен перед многими.

Это стихотворение тоже написано в год смерти матери. Карабкающееся по обрыву отчаянье с удивительными ужимками юмора. Будем надеяться, что детская улыбка спасает. Может быть, затянута? Но и тема нешуточная.

### Разговор с жизнью

Дай отойти на три шага!  
Жизнь, ты такая, ты сякая,  
Течешь, сквозь пальцы протекая,  
Придурковатая слегка.  
Дай отойти на три шага!

Путана, путаница, стерва,  
Шалавая, в который раз  
То дергаешь за кончик нерва,  
То тычешь в ухо или в глаз.

Я, кажется, дошел до точки.  
Кричу в упор:  
— Прочь, твои клейкие листочки  
И прочий вздор!

От ран твоих себя врачуя,  
Хочу узреть твои черты.  
Со стороны взглянуть хочу я —  
Какая ты.

Людским страданиям не внемля,  
Течешь как есть.  
Но кто плеснул на эту Землю  
Тебя? Бог весть.

Что Бог? Вместить его обиду  
Не может наша голова.  
Он потерял людей из виду,  
Но мы его сперва.

И если человеку зелье  
Служило много тысяч лет,  
То, значит, в уровне веселья  
Самодостаточности нет.

Чем может нас твоя обуза  
Смягчить, привлечь?  
Увы, в жару ломоть арбуза,  
А в холод женщина как печь.

Без тяжести твоей и речи  
Мы слышать не хотим ничьей.  
А кто взвалил тебя на плечи,  
Тому, боюсь, не до речей.

Мысль о тебе всегда ошибка,  
Поскольку ты ее суфлер.  
Нас ожидает или сшибка,  
Или смирения позор.

Ты шепчешь: — Силе будь покорен,  
Подальше от грызни... —  
Все так. Но страшен общий корень  
У казни и казны.

Мысль о тебе трепещет зыбко.  
Хватя! Но монетой — в щель.  
И только детская улыбка —  
Намек на цель.

Тот же год. Видимо, вышел из отчаянья и поспешил упрекнуть нас в недостатке веры и мужества.

Вся земля, как тяжелый паром,  
Повернулася трудно.  
Безобразные крики ворон  
Обозначили утро.

Новый день, новый свет из окон  
Льется, льется — неясный.  
Но скрипучие крики ворон  
На рассвете опасны.

Безобразные крики ворон  
Сам я вырву и выскоблю слухом.  
Но любители правды: — Вор он! —  
После вымолвят глухо.

Этот день обернулся, как стон,  
Не охватишь умишком.  
...В безобразные крики ворон  
Вы поверили слишком!

Все эти стихи не вошли в его позже изданные книги, и потому я их здесь помещаю. Думаю, по свойственной ему неряшливости он о них забыл. А может, они недостаточно четко выражали его мысль: энергия стиха и никаких идей!

Сложен вопрос, но я все-таки склонен считать, что художнику в зрелом возрасте надо стараться избегать эпилогических мотивов. Молодых бездарных поэтов не читаю вообще. Читаю стареющих талантливых поэтов — и испытываю смущение. Как будто в больничной палате больные репетируют похоронный марш. Да, надо безжалостно стараться знать о смерти все, что может знать живой человек, но избегать мотивов угасания. Сам грешу. Но в высочайшем смысле эти мотивы бестактны.

Бывало в истории, что того или иного хорошего художника при жизни не признавали, признание приходило после его смерти. Но никогда и нигде не бывало, чтобы тот или иной художник создал свой шедевр не при жизни. Следовательно, все главное происходит при жизни, из которой сам художник случайно выпал, но жизнь продолжается. Та самая жизнь, в которой и был создан шедевр.

И при чем тут время признания? Если художник слишком озабочен временем признания, то он в иных случаях может его добиться, но не может одновременно создать шедевр. Первоначальным толчком может быть страстное желание быть признанным. Но сильная вещь получается только тогда, когда художник в процессе работы забывает обо всем на свете, кроме желания следовать художественной правде. В могучих произведениях искусства всегда проглядывает величавая особенность: равнодушие к нашему признанию. По равнодушию к нашему признанию, которое оно спокойно излучает, мы подсознательно и угадываем шедевр. Дело рук человека приобретает свойство природы: красивое дерево, гора, море равнодушны к нашему признанию.

Российский человек (независимо от национальности) не потому глуп, что глуп, а потому глуп, что не уважает разум.

Русский человек силен этическим порывом и слаб в исполнении этических законов. Могучий этический порыв, может быть, — следствие ужаса при виде этического беззакония. Результаты всего этого? Великая литература и ничтожная государственность.

Бродский в своей Нобелевской речи наряду с замечательными мыслями высказывает крайне наивную вещь. Он говорит, что эстетическое восприятие мира человеком старше этического. Ребенок начинает воспринимать мир сначала эстетически.

Все наоборот. Ребенок начинает улыбаться прежде всего матери и тянется к ней ручонками, как к источнику добра. Это совершенно очевидно. И уже позже источник добра воспринимается ребенком как источник красоты.

Известный анекдот. Ребенок, потерявший в толпе маму, называет как главный признак ее — самая красивая.

Тут нет никакого противоречия с тем, что я утверждаю. Это уже достаточно разумный ребенок, и он догадывается, что по признаку «самая добрая» его не поймут. Он сознает, что этот признак не наглядный. И он называет, как ему кажется, наглядный признак — самая красивая.

Первичность добра отражена и в самом языке: добро, добротню, то есть хорошо, то есть красиво.

Более позднее расщепление в сознании человека этики и эстетики — признак трагического падения человека.

Но и сейчас нравственно здоровый человек, глядя на изысканно окрашенную змею, не чувствует ее красоту, а чувствует отвращение к ее узорчатой красавице. Он воспринимает ее красоту как отвратительную маскировку зла.

Глаза как бы и видят ее красоту, но душа отказывается воспринимать ее таковой. И человек глазами души переокрашивает змею в ее зловещую сущность: подтягивает эстетику до этики.

Добро первично, и потому роза красивая. Если бы добро не было первично, мы бы не поняли, что роза красивая. Эстетика — дитя этики. Дитя, иногда восстающее против родителей.

У Бродского — самое бесстрашное и потому самое страшное описание смерти в русской поэзии. Возможно, это навязчивое видение смерти у человека с хронически больным сердцем. С ледяным мужеством он вглядывается в смерть. Пожалуй, именно это внушает ужас.

Здесь по тому, что скисло молоко,  
молочник первым узнает о вашей смерти<sup>1</sup>.

Ночью в гостинице:

Смерть — это та же тьма,  
только глаз, к ней привыкнув, не различает стула<sup>2</sup>.

У него постоянно холод смерти, космическая стужа проникает в жизнь и жизнь очень часто мало отличается от смерти. Как далеко от этого горячее отчаянье Есенина:

В зеленый вечер под окном  
На рукаве своем повешусь.

Все внутри жизни! Даже самоубийство! У Бродского все внутри смерти — даже жизнь!

<sup>1</sup> Точный текст И. Бродского:

Здесь утром, видя скисшим молоко,  
молочник узнает о вашей смерти.

(Примеч. автора.)

<sup>2</sup> Точный текст И. Бродского:

«Ты боишься смерти?» — «Нет, это та же тьма;  
но привыкнув к ней, не различишь в ней стула».

(Примеч. автора.)

Многие стихи Бродского покоряют обаянием ума, могучими образами, мрачным юмором. Но некоторые вызывают отчуждение и неприязнь. Кажется, так может думать только инопланетянин. Но это не вызывает никакого любопытства, хочется оттолкнуться, быть от них подальше. Нечеловеческое.

Если глупость влетает тебе в одно ухо, подставь второе. Что легче подставить — вторую щеку или второе ухо? Еще вопрос.

Познакомился со своим земляком-бизнесменом. Высокий, сухощавый, в сильных очках. Похож на преподавателя вуза. Сейчас живет в Париже. Объясняет это тем, что Париж в центре Европы, откуда проще ездить по всем европейским городам, с которыми связан его бизнес.

Очень богат. Все нажил сам, без всякой помощи со стороны. Образование — всего десять классов, но производит впечатление блестящего интеллигента. Достаточно свободно говорит по-французски, но дела ведет только на английском языке, который, видимо, знает в совершенстве. Неправильно понятый оттенок слова, говорит он, может вызвать большие деловые неприятности.

Репутация многих богатых людей, по его наблюдениям, часто оказывается фикцией: все знают об их виллах, машинах, предприятиях, но никто не знает об их долгах. Однажды это становится ясным. Иногда после смерти.

Рассказал о шутке в кругу французских друзей. Он посадил на стул посреди комнаты негритянского бизнесмена, вероятно как человека, который может судить о всех белых объективно.

— Какая нация хуже всех остальных? — спросил он у него.

Негр подумал, подумал и ответил:

— Французы.

Французские друзья дружным хохотом встретили это сообщение. Тогда он у него спросил:

— Но кто хуже: немцы или французы?

Негр подумал, подумал и сказал:

— Французы.

Тут французы протестующе завывли: хуже всех — они согласны, но хуже немцев — никогда. Конечно, все это шутка, но у каждого народа свои немцы и даже свои евреи.

Он блестящий самоучка. Прекрасно разбирается в литературе. Меня обрадовало совпадение наших взглядов. Он, как и я, считает Льва Толстого самым великим писателем планеты.

Зашла речь о «Хаджи-Мурате». Говорили о знаменитой сцене, где Хаджи-Мурат рассказывает о том, как он однажды струсил и с тех пор, вспоминая об этом случае, уже никогда ничего не боялся. К моему удивлению, бизнесмен всех героев этой сцены и предыдущих событий назвал по именам. Видно, великолепная память.

Несколько лет назад он обменивал свою квартиру в Москве. Дал объявление. Какой-то человек позвонил и сказал, что хочет посмотреть ее. Хозяин был дома с представителем квартирного агентства, когда явился этот человек. Внезапно этот человек распахнул портфель, вынул из него гранату и закричал:

— Ложитесь на пол! Мне нечего терять! Всех взорву!

Представитель агентства забился в угол, а хозяин квартиры стал подходить к человеку с гранатой, который стоял в каком-то квартирном закутке. Лицо его выражало невероятное отчаяние и злобу.

Бизнесмен подходил к нему, чтобы наброситься на него и обезоружить. При этом он говорил:

— Не делайте глупостей! Если у вас материальные затруднения, я вам помогу.

Говорил он это искренно или старался выиграть время, по интонации его



рассказа трудно было понять, а переспросить было неловко. Скорее всего, тогда у него в голове лихорадочно взвешивались оба варианта.

Но, видимо, нервы у человека с гранатой не выдержали. После того, как он несколько раз приказал ложиться и ему не подчинились, он кинул гранату! Граната взорвалась, но никого не задела. Бросивший гранату кинулся бежать. Бизнесмен — за ним. На каком-то лестничном марше бегущий обернулся, вынул вторую гранату из портфеля и швырнул в него. Граната перелетела через него, а так как он бежал вниз, осколки опять не задели его. Однако этому человеку удалось убежать. Потом — переполох, милиция. Портфель свой человек этот бросил. В нем оказалась только клейкая лента, которой он, видимо, собирался опутать тех, кто ляжет на пол.

Храбрости его подивились и милиционеры. Об этой истории я слышал еще до того, как познакомился с ним. Он добавил, что читал в газете: где-то на Украине бывший офицер взорвал гранатой себя и свою семью. Он подозревает, что это был тот же человек.

Бизнесмену сейчас сорок пять лет. Он рассказал, что в тридцать один год был страстно влюблен в одну женщину, у них был сказочный роман. Это было еще в России. Однажды приехал из командировки домой — ни любимой женщины, ни вещей, вся квартира очищена.

Возможно, потрясенный этим случаем, он до сих пор не женат, хотя, конечно, монахом не стал. Со смехом рассказал, что все мужчины, услышав от него эту историю, неизменно говорили одно и то же:

— Вот блядь!

И все женщины неизменно говорили одно и то же:

— А что она взяла?

Получил огромное удовольствие от знакомства с ним. Кстати, он высказал интересную мысль. Иногда, сказал он, очень сильный ум мешает быстроте и точности принятия деловых решений.

— Почему? — спросил я. — Слишком много ассоциаций?

— Нет, — ответил он и сравнил такой ум с чрезвычайной развитостью мускулатуры у культуриста, что делает его менее ловким и подвижным.

Маяковский по натуре был игроком. И в жизни он постоянно играл во все игры. Думаю, что игра отвлекала его от невыносимой тяжести трагического сознания, данного ему природой.

После революции он включился в игру «строительство социализма». Как он, с его огромным природным, к сожалению только природным, умом мог поверить этим людям?

Образование Маяковского. Главных поэтов России он знал прекрасно. Сильно сомневаюсь, что он знал прозу. Жуткая картина. Маяковский бреет-ся, а Брик в это время ему зачитывает что-то. Образовывает его.

Среди причин, смягчающих облик большевиков, мы часто забываем главную. Это грандиозное преступление всех буржуазных стран — Первая мировая война с миллионами смертей, неслыханными до этого. У большевиков нет и не было никакой вины за это преступление. И они утверждали: при нас это будет невозможно.

Он поверил им, как великий игрок — ставка жизнь. Думаю, что он никогда в жизни не читал Ленина, хотя славил его до умопомрачения. Допустим, он раскрыл Ленина и часа два, что маловероятно при его темпераменте, читал его. Что бы он сказал себе, отложив Ленина? Он сказал бы себе: видимо, это настолько гениально, что мне, необразованному человеку, кажется глупым. Надо верить в него, а не читать его!

И он верил. А как не поверить, когда ставка уже сделана — собственная жизнь.

Я буду последним рабом социализма, сказал он себе и служил социализму, как вдохновенный раб. Перевернутая гордость. Однако в тридцатом году он окончательно убедился: опыт с социализмом полностью провалился.

Ты был последним рабом социализма, а теперь станешь первым лакеем партии, шепнула ему судьба.

— Нет! — рявкнул он в ответ. — Я честный игрок!

И застрелился!

О, если бы вовремя кто-нибудь ему убедительно сказал:

— Поэт! Игрок! Играй во что хочешь, но никогда ни в какие игры — с государством! Здесь ты все проиграешь!

Легко сказать! В России с государством заигрывали и Пушкин, и Достоевский. Государство всегда было слабоумным, как же им, людям с великим умом, с великой любовью к Родине, не поделиться этим умом со своим же государством? Однако этот же ум подсказывал им осторожность: слишком далеко не заходить.

Они заигрывали, а он заигрался. Мероприятие — социализм — оказалось бесчестным, и он застрелился, как будто именно он его затеял.

Он совпал в одной части своего темперамента с большевиками:

— Крушить!

Грех немалый.

Но он не заметил, что большевикам отродясь не свойственна другая часть его темперамента:

— Жалеть!

Редко кто умел так жалеть, как он: лошадь упала, упала лошадь... Это он упал. Пал.

Психологический признак кризиса государственности — это когда средний гражданин страны чувствует себя умней правительства.

Умный человек, но вызывает брезгливость. С ним неприятно иметь дело, как с умным пауком. Что характерно: при всем его уме, когда я в разговоре с ним коснулся тонких нравственных проблем, он глядел на меня бараньими глазами, ничего не понимая. Технологический ум, и когда речь идет о культуре, он хорошо разбирается в ее технологической части.

Чем больше Бога, тем меньше полиции.

Поэт может быть каким угодно, но не может быть скользким.

Понятия «народ-богоносец», «народ-судьбоносец» долго и ревниво проповедовались русской интеллигенцией. Более трезвый, мужественный, критический подход ко многим явлениям народной жизни, выраженный у Чехова и Бунина, уже ничего не мог изменить. Правило хорошего тона интеллигенции — народ свят. Большевики неожиданно расщепили понятие «народ-судьбоносец», остался рабочий класс-судьбоносец. Слабое теоретическое и даже политическое сопротивление большевикам вызвано стыдливой традицией: нельзя критиковать что-либо, идущее от народа. Как ни относились к большевикам, все-таки всегда верили, что они идут от народа. Когда опомнились, было уже поздно. Сам же народ даже отдаленно не подозревал, что он богоносец или судьбоносец. Но в той своей части, которая соприкасалась с интеллигенцией, он оказался беспредельно развратен. Он понял, что ему по какой-то ученой причине все прощается, и плюнул на свои вековые нравственные устои, которые все-таки у него были когда-то.

Идеалист Маркс (тут Гегель, хоть и перевернутый) предложил материалистическое спасение мира, ибо ничего другого он не видел.

Глубочайший атеизм Достоевского привел его к мысли, что там ничего нет, там действительно ничего нет, и он делает со дна грандиозный рывок к Богу.

Парадокс. Маркс был недостаточным атеистом и потому не понял ошибочность атеизма.

Считается, что самозванство в России процветало из-за доверчивости народа. Но откуда эта доверчивость? Самозванство — тайная мечта подавленного человека. Когда в человеке подавлена личность, в нем вырабатывается тоска по личине, которую будут уважать. Народ полусознательно был рад самозванству: фокус получился, мог быть и я.

Теоретически говоря, лучшую статью о Моцарте после его смерти, даже если Моцарт умер своей смертью, должен был бы написать Сальери. Никто так не знает о достоинствах музыки Моцарта, как Сальери, потому что никого эти достоинства так не мучили, как его. Теперь, когда эти достоинства его больше никогда не будут мучить, он ему так благодарен, что скажет всю правду о них.

Мысль — это то, что вносит ясность. Мысль, которая вносит темноту, это так же нелепо, как сказать: зажгли лампочку, и стало темно.

Какая же это лампочка? Особенно у поэтов часто бывает: что-то забрезжило в голове — поспешил записать. Если то, что забрезжило, не вносит ясность, незачем это записывать. Никакое виртуозное рассуждение не может быть мыслью, если оно не вносит ясность. Никакая шахматная комбинация не может быть красивой, если она не учитывает ответных ходов противника. В двадцатом веке декадентское красноречие стали принимать за мысль.

Ехали в машине. Попали в пробку. Стоим. Вижу, впереди нищенка — старуха, правда довольно бодрая, обходит стоящие машины и просит деньги. Безуспешно. У меня в голове мелькнула слабая жалость к ней, но я подумал, что неловко опускать стекло, незнакомому шоферу это может не понравиться. Но вдруг сам шофер говорит: «Надо дать денег старушке». Сам открывает окно и дает. И я следом дал ей деньги, и все остальные пассажиры. И было явно, что, если бы шофер не захотел дать ей деньги, скорее всего, никто не решился бы открыть окно. Цепная реакция добра. Но бывает и цепная реакция зла.

Однажды в студенческие времена проходили практику в деревне. Вчетвером вскарабкались на стену давным-давно разрушенного монастыря. Только одна эта стена торчала. Самый старший из нас вдруг стал мочиться с этой стены вниз. За ним и остальные. Я был последним. Когда очередь дошла до меня, я почувствовал какой-то слабый укол совести, я почувствовал, что это нехорошо. Ни атеизма, ни религии тогда в душе моей не было. Душа заполнена была творческими мечтами.

Тогда откуда этот слабый голос совести? Скорее всего, всосанное с молоком уважение к предкам. Но стыд перед товарищами, боязнь, что меня сочтут смешным чистоплюем, заставили меня сделать то же самое, что и они.

С тех пор прошли десятки лет, и я со стыдом, еще до того, как стал задумываться о Боге, всю жизнь вспоминал этот поступок.

Совершенно ясно, что, если бы я, рискуя быть осмеянным товарищами и даже будучи осмеянным ими, не последовал их примеру, на третий день я начисто забыл бы дискомфорт от этого стыда перед товарищами. А вот стыд, пусть и слабый, перед голосом совести, к которому я тогда не прислушался, до сих пор ношу в себе. Из этого ясно, что любой стыд перед людьми надо преодолеть, если ему противоречит голос совести, даже очень слабый.

Глупому человеку в известных случаях можно разъяснить смысл умной шутки, и он рассмеется. Сделает шаг вперед.

Умному человеку никак невозможно внушить, что глупая шутка смешна. Он никогда не рассмеется глупой шутке. Не может сделать шаг назад.

Но эта же шутка или равная ей по уровню, высказанная младенцем, может вызвать искренний смех умного человека.

В чем дело? Можно сказать, что ребенок из двух фигур, которые только и есть на его умственной шахматной доске, создал комбинацию, равную по сложности комбинации взрослого глупого человека, у которого умственная доска по нашему естественному предположению полна фигур, но он может пользоваться только двумя, как ребенок. Остальными фигурами он сам без нашей помощи не может пользоваться. Характерно, что умную шутку, которую в иных случаях можно разъяснить глупому человеку, ребенку невозможно разъяснить. У него просто в голове нет других фигур, кроме этих двух. Но шутка ребенка при его бедных возможностях — шаг вперед, и потому умный человек искренне смеется этой шутке.

И когда ту же примитивную шутку придумывает взрослый человек, но при этом умственно поврежденный, и умный человек заранее это знает, он опять искренне смеется этой шутке, понимая, что взрослость данного человека — фикция, он младенец.

Но ведь и глупая шутка глупого человека для него может быть шагом вперед? Почему же взрослый, умный человек, зная это, все-таки не смеется? Теоретически действительно для глупого человека это может быть шагом вперед. Можно допустить, что до этой шутки он вообще пользовался только одной фигурой. Но умному человеку мешает это понять взрослая нормальность глупого человека: он пьет водку, говорит о политике и даже небезуспешно ухаживает за женщинами, иногда пуская в ход такого рода шутки. Правда, в данном случае, если женщина не глупа, ее смех означает не признание шутки умной, а признание его мужской привлекательности. Какой милый, наивный человек, думает она, восхищенная его мужской привлекательностью и придавая его уму детскую (еще один повод к восхищению), нормальную непосредственность. То же самое происходит и с мужчинами, когда в таком роде шутит женщина.

Каждый раз, когда удастся написать особенно смешную вещь, через некоторое время приходит особенно пронзительная грусть. Кажется, маятник для равновесия откачивается на столько же в обратную сторону и постепенно затихает. Но почему же мы не испытываем эту пронзительную грусть после того, как мы отсмеялись над чужими смешными страницами? За наше наслаждение уже уплатил автор? Бедный автор! Бедный Гоголь!

Разумеется, разумеется —  
В человеке разум имеется!  
Ну а счастье, коль разум имеется,  
Далеко не всегда разумеется.

«Как я ему в глаза посмотрю?» — пока еще мир держится на этой фразе. Но дьявол подшептывает: «А ты ему по телефону все скажи — и тебе не придется смотреть ему в глаза».

Бешенее всех взрываются терпеливые народы, как и терпеливые люди. Психологически это вполне естественно.

За спиной сентиментальности всегда топор. Отсутствию внутренних тормозов в размягченном состоянии соответствует отсутствие внутренних тормозов в ожесточенном состоянии.

Чем дар отличается от способностей?

Всякий дар в своем деле предполагает соучастие души, тогда как в деле даже очень способного человека соучастие души не требуется.

Настоящий поэт — это человек, который выхватывает из костра горящий уголек и пишет им ясным почерком. Уголек должен быть горящим, а почерк ясным. Третьего не дано.

При всей его тупости удивительней всего не то, что у него мозги всегда отторгали мысль, удивительней всего то, что они всегда правильно угадывали, что отторгаемое и есть мысль.

Человек сухой и крепкий; чуткий и четкий. Завидую, особенно с похмелья.

Население — бывший народ.

Вливаю в ненавистное тело ненавистную водку. Пусть выясняют там отношения без меня, хотя и за мой счет.

Когда перед тобой загадочная политическая ситуация, сделай наиглупейшее предположение, и ты окажешься прав.

Могучая шевелюра. Какая плодородная почва, во всяком случае для волос!

Каждый раз замечаю: чем больше народу в компании, тем больше я пью. Чем объяснить? Подсознательное отвращение к толпе. Опыянение, отупение помогает не замечать ее.

Заумь — халат психбольницы, прикрывающий банальность. Не всегда маскировочный.

- Перепрыгни через человека!
- Зачем?
- Будешь сверхчеловеком!
- Но перепрыгнуть через человека трудно!
- А мы его пригнем!

Обожаю детей и стариков. Духовно можно опереться только на тех, на кого физически опереться нельзя.

Умный человек отличается от глупого не тем, что он не говорит глупости, а тем, что он их говорит гораздо реже.

Поверил в Бога — и на трактор!

Но русский человек, поверивший в Бога, останавливает тракториста и начинает выяснять, верит ли он в Бога. Кончается тем, что тракторист выключает трактор, сходит с него и они, усевшись под кустом, под водочку продолжают выяснять проблему. И невозможно установить, что ему было важнее — Бог или напарник для выпивки.

## ВСАДНИЦЫ БЕЗ ГОЛОВЫ И МУСТАНГ

Но на что он жил? Он приспособился зарабатывать деньги, отшлепывая на машинке сценарии научно-популярных фильмов. Кроме того, или даже это самое главное, с коробками уже готовых фильмов по путевкам Московского бюро пропаганды литературы он ездил по стране и выступал в клубах, где сперва показывал эти вегетарианские фильмы, а потом с пылу, с жару извергал лавину своих стихов, которые провинциальная публика зачастую

принимала за комментарий к фильму. Однако она хорошо ощущала энергию, которая вместе со стихами обрушивалась на нее со сцены и взбадривалась из чистой благодарности. К тому же излишняя понятность фильмов уравновешивалась некоторой непонятностью стихов.

За такой вечер он получал шестнадцать рублей, не считая командировочных. Денег, конечно, мало, но он брал количеством таких встреч и был доволен романтикой гостинично-поездной жизни.

Вот случай, рассказанный им о его еще достаточно молодой жизни кинематографиста.

Я несколько лет писал сценарии научно-популярных фильмов для одного и того же режиссера. Написав сценарий, я уже не знал никаких забот, все усилия по проталкиванию моей работы через начальственные фильтры он брал на себя. Для меня это было очень удобно.

Правда, он настоял на том, чтобы всегда быть соавтором сценария, и половину гонорара за него получал он. Но и так мне это было выгодно, потому что я почти никогда не показывался на глаза начальству, которое всегда и везде при виде меня испытывало неприятное беспокойство за свое кресло. Он все сам улаживал.

Мы брали путевки в Дом творчества, где он всегда занимал двухкомнатный номер-люкс, потому что всегда приезжал с очередной любовницей и вообще обожал комфорт.

Я занимал обычный номер, за две недели иногда успевал написать два сценария, при этом безжалостно отбросив страницу или две его жалких поползновений действительно быть соавтором.

О чем бы я ни писал, он всегда ухитрялся на своих удивительно бездарных страницах внести какой-нибудь эротический элемент. Так, к моему сценарию о жизни дельфинов он ухитрился ни к селу ни к городу написать страницу, где в летний зной очаровательная полураздетая женщина, с полураскрытыми губками, легкой походкой, оставая в размягченном асфальте глубокие следы от своих модных каблучков, движется в сторону дельфинария. Интересно, как она ухитрялась сохранять легкую походку, вырывая каблук из сексуально размягченного асфальта?

— Ты, дельфин, — сказал я ему, выбрасывая в корзину его страницу, — твоя полураздетая женщина на острых каблучках движется в сторону дельфинария, а попадает в твой номер-люкс.

Он самодовольно рассмеялся, ничуть не жалея свою забракованную страницу, и, как бы подтвердив право быть соавтором, удалялся в свой номер, где целыми днями, валяясь на диване, читал детективные романы или занимался любовью со своей очередной пассией, надо полагать, по его неряшливости забыв вытащить из-под нее раскрытый детектив, что грозило удушением — он был довольно грузный мужчина — искомого убийцы, сыщика, невинно подозреваемых, которых было жалко, а заодно и автора — вот уж кого совсем не было жалко!

А между прочим, в застолье он бывал удивительно мил и удивительно остроумен. Трудно было поверить, что его человеческая речь на пути от головы к пишущей руке столь безнадежно глупеет, а на пути от головы к языку сохраняет очаровательную свежесть и остроумие.

Звали его Георгий Георгиевич. Он был голубоглазым евреем с идеальной внешностью славянина. Да не просто славянина, а пятидесятилетнего барина, уже полнеющего и благородно седеющего. Люди, мало знавшие нас, встречаясь с нами в застолье, принимали его за русского босса, а меня, учитывая мое черноглазие, за трудолюбивого еврея при нем.

Любовницы у него всегда были русскими. Это обстоятельство меня совершенно не трогало, но он считал необходимым по этому поводу объясниться и несколько раз это делал, забывая или делая вид, что такого рода объяснение уже состоялось.

— Что я могу с собой поделывать, — говорил он, сокрушенно пожимая плечами, — я половой антисемит.

И вот в последний раз мы вместе в Доме творчества. С ним была очередная любовница — высокая, стройная блондинка, которая была на целую голову и отчасти шею выше его. Приподняв собственную голову, он не без гордости оглядывал ее, словно многие годы выращивал ее и вырастил именно такой большой, как мечтал. Она же постоянно двусмысленно мне улыбалась, словно деликатно намекая, что по росту она больше подходит мне. Люди, видя нас втроем, вполне могли принять нас за молодоженов с папашей. И принимали иногда.

И вот я почти две недели тружусь в своем номере, дописываю второй сценарий, а он трудится у себя в номере-люкс, лежа на диване то с детективом, то со своей любовницей. Такой Обломов, деятельный в пределах дивана, как Штольц. За эти две недели он ни разу не вышел прогуляться на воздух. Иногда мне казалось, что он и свои картины снимает на диване, вынося его на съемочную площадку.

Каждый вечер после ужина мы выпивали в его номере, и он всегда был оживлен и остроумен. А любовница его даже на его остроты двусмысленно улыбалась мне: мол, мы бы славно обошлись и без всяких острот! Но я строго держался и не давал ей переходить границу. Кстати, откуда что берется! Этот пьяница и бабник чутко понимал мои стихи, и я ценил это.

И вдруг он однажды вечером врывается в мой номер, бросает исполненный непередаваемого комизма молниеносный взгляд на мою постель, словно пытаюсь поймать глазами женщину, пока она ловко не закатилась за кровать.

— Люду не видел?! — спрашивает он у меня тревожно и подозрительно.

Я представил себе, как эта несколько угловатая дудоня закатывается за кровать, и чуть не расхохотался.

— А куда она делась? — спросил я.

— Не знаю, — сказал он, — я заснул на диване. Просыпаюсь — ее нет. Думаю, может, в другой комнате. Окликаю — ее нет. Близких знакомых, кроме тебя, у нас здесь никого нет. Куда же она могла деться?

Как бы в состоянии задумчивой рассеянности он открыл дверь в туалет и заглянул туда.

— Может, гулять пошла? — предположил я.

— Пойдем поищем, — оживился он, — уже темно. К ней могут пристать хулиганы.

Он пошел к себе в номер и вернулся одетый. Я тоже оделся, и мы вышли наружу. Холодный осенний ветер слегка пронизывал мое пальто. Мы целый час слонялись вокруг Дома творчества, но ее нигде не было.

— Мы слегка поцапались, — вдруг припомнил он, — может, она разозлилась и уехала в город.

— Так позвони, — сказал я.

— У нее нет телефона, — сокрушенно ответил он, — но как я буду спать один!

Фантастическая личность! По его словам, он с двадцати лет ни одной ночи не спал один! Если бы за этот стаж платили! То, что я был верен жене, для него оставалось необъяснимой астраханской дикостью. Но его слегка примиряло со мной то, что за время нашего знакомства я успел развестись и заново жениться.

Мы еще целый час, уже прихватив шоссе, искали ее, и он иногда подходил к редким прохожим и спрашивал, не встречалась ли им случайно высокая, стройная блондинка. Нет, высокую, стройную блондинку никто не видел.

— Да, она уехала в город, — все уверенней говорил он каждый раз. — Слава Богу, что хулиганы ее здесь не побиили. Они терпеть не могут высоких, стройных блондинок. Их раздражает порода.

Однако мы продолжали ее искать. Я заметил, что чем дольше мы ее ищем, тем чаще он подходит к прохожим женщинам, чтобы узнать, не видел ли кто из них высокую, стройную блондинку. Я в таких случаях стоял несколько в сторонке. Потом он вообще перестал у мужчин спрашивать, видимо решив, что, если уж мужчина встретил высокую, стройную блондинку, он ее непременно умыкнул бы. А раз мужчина ее не умыкнул, значит, он и не видел ее. Потом мне показалось странным, что он, спрашивая у женщин о высокой, стройной блондинке, все больше и больше тратит времени, чтобы получить эту нехитрую информацию.

И наконец вижу, что он с одной небольшого роста, но тоже блондинкой вовсе заговорился о своей высокой, стройной блондинке. И вдруг он достает из кармана бумажник, отсчитывает деньги при свете фонаря и дает их этой маленькой блондинке. Она прячет деньги в сумочку. Только я подивился необычайной ценности информации о высокой, стройной блондинке, полученной им от маленькой, полненькой блондинки, как он вдруг взял под руку информаторшу и подошел ко мне.

— Да, — говорит он, — Люда, конечно, на меня обиделась и уехала в город. Но мы проведем время с этой милой девушкой. Скорее домой! Надо выпить! Замерзли! Я художник, я не могу спать без женщины!

Я с ума схожу, когда подобные люди называют себя художниками! Но чаще всего именно такие люди и называют себя художниками, хоть умри! И вот так странно завершились наши поиски высокой, стройной блондинки. Он, видите ли, художник!

У себя в номере он быстро и умело накрыл на стол, достал из холодильника бутылку водки, открыл ее, и мы уже весело ужинаем и пьем водку. Георгий Георгиевич в ударе, как всегда в присутствии новой женщины. Он беспрерывно шутит, а эта молоденькая пышечка беспрерывно хохочет. Да и я смеюсь, потому что он в самом деле необычайно весел, находчив и остроумен.

И вдруг раскрывается дверь второй комнаты — и оттуда выходит Люда в халате. Боже! Немая сцена. Георгий Георгиевич застыл с приоткрытым ртом, откуда почти явно торчала, извиваясь, недовыказанная острота.

— Что это вы расшумелись? — говорит Люда, позевывая. — Я тут прикорнула.

— Я тебя звал, неужели ты не слышала? — приобрел наконец дар речи Георгий Георгиевич.

— Значит, плохо звал, — отвечала Люда, присаживаясь за стол и оглядывая незнакомую девушку.

И тут бог застолья нашелся!

— Пока ты спала, к нашему другу приехала его подружка, — сказал он, толкая меня под стол. — Мы решили отметить это событие. Она завтра уезжает!

Люда, зловеще сверкнув рубинами в сережках, иронически улыбнулась мне: мол, неужели ради этой пигалицы ты не отвечал на мои призывные улыбки.

А эта пышечка тоже посмотрела на меня. До нее, видимо, не сразу дошло случившееся. А теперь дошло! И она стала, посматривая на меня, дико хохотать. Георгий Георгиевич явно испугался, что она своим смехом возбуждает в Люде какие-нибудь подозрения.

— Ну что вы, Танечка, так смеетесь, — с некоторым упреком обратился он к ней. — Ничего особенно смешного не случилось.

— С тех пор как я не видела своего друга Юру, он вырос! — кричит она сквозь смех и, взглянув на меня, снова заходится.

Тут все решили, что моя девушка большая шутница, хоть и несколько плебейского толка. Георгий Георгиевич рассказал, как мы втроем искали Люду в окрестностях Дома творчества и очень боялись, что какие-то хулиганы могли ее обидеть.



Оказывается, когда он проснулся и не увидел Люду, он несколько раз окликнул ее, но, не услышав ответа из другой комнаты, решил, что она вышла (ко мне!), и, не заглядывая туда, ринулся за ней.

Георгий Георгиевич на радостях открыл еще одну бутылку водки, и я налегал на выпивку, потому что мне впервые предстояло спать с женщиной в одной комнате и объяснять ей, что я не изменяю жене.

Труднее всего втолковать людям, что ты не изменяешь жене. Тебя после этого начинают презирать даже те, кто сами не изменяют своим женам, но никому не выдают этой якобы постыдной подробности своей жизни.

Я порядочно надрался, и уже во втором часу ночи мы с пышечкой, прихватив свои одежды, спустились в мой номер.

А Георгий Георгиевич, поняв, что ему удалось обмануть бдительность Люды, окончательно осмелел и, зная, что я из принципа не изменяю женам, с величайшим любопытством ждал этой ночью моего падения.

— Действуй, — шепнул он, провожая нас до дверей, — за все уплачено!

Уже у себя в номере, когда я стал на диване стелить постель щебечущей пышечке, она удивленно спросила:

— Мы что, отдельно будем спать?

— Да, — сказал я, — видите, как получилось. Оказывается, Люда не уехала. А я всегда верен своей жене.

— Совсем всегда? — поразились она.

— Когда женат, — объяснил я.

— А сейчас вы женаты? — спросила она.

— К сожалению, да, — сказал я несколько лицемерно, потому что, кроме принципа, я вообще не любил иметь дела со шлюхами.

— С кем же мы спим, — вслух задумалась она, — если мужчины верны своим женам?

— Ну, не все мужчины, — примирительно сказал я.

— Никогда в жизни этого не было, — произнесла она с пафосом, — что-бы я отдельно от мужчины спала в одной комнате! Подруги не поверят!

— Спокойной ночи, — сказал я и погасил свет. — Раздевайтесь и ложитесь.

В темноте мы оба разделись и легли.

— А если я к вам приду? — спросила она у меня через пять минут.

— Придется вас прогнать, — сказал я, чувствуя, что на меня наваливается сон.

— У меня никогда не было такого большого мужчины, — вздохнула она в темноте. И вдруг через некоторое время стала тихо и долго задыхаться от хохота.

— Что вас смешит? — уже сквозь сон спросил я.

— Мысли, — сказала она, стараясь заглушить смех.

Я провалился в сон. Утром, когда я проснулся, она уже была на ногах. Веселая, подвижная пышечка. Если б я не был женат, если б она не была шлюхой, хорошо было бы с ней побаловаться, подумал я.

— Отвернитесь, — сказал я, почему-то чувствуя, что это необычайно глупо звучит. Она отвернулась, многозначительно хохотнув. Я оделся, умылся, побрился. И тут в дверь раздался характерный стук Георгия Георгиевича. Я открыл дверь и вижу — он прямо умирает от любопытства. Отзывает меня в коридор.

— Ну как? — жарко шепчет.

— Никак, — отвечаю я, почему-то особенно раздражаясь именно его жарким шепотом. Если б шепот не был таким жарким, было бы терпимо.

— Как это? — удивляется он, слава Богу переходя на нормальный язык. — А она что?

— Я ей все объяснил, — сказал я, — она была очень удивлена, но примирилась.

Надо сказать, что Георгий Георгиевич был странно скуповат, когда дело не касалось женщин или застоля. Тут он был щедр, как король. Но, например, в жаркий летний день купить на улице мороженое он считал глупой и даже развратной тратой денег. Такой он был. Со своими строгостями.

— Но я же заплатил деньги за ночь, — сказал он обиженно, разводя руками, — так не годится. Нельзя без толку бросаться деньгами. Я сейчас с ней пересплю, а ты стой с этой стороны. Если вдруг появится Люда, скажи, что я к одному знакомому в номер зашел. Не подпускай ее к дверям.

— Хорошо, — согласился я, глотая его унижительное предложение, и он вошел в номер.

Минут через десять он вдруг открывает дверь и говорит:

— А ну-ка зайди!

Я захожу, удивляясь, что он так быстро справился со своим делом. Но не тут-то было!

— Она говорит, что спала с тобой в эту ночь, — раздраженно объяснил он мне, — поэтому не отдается мне!

— Да! — топнула ножкой пышечка, — я договаривалась спать с одним, а не с двумя!

— Но ты же со мной не спала, — говорю я.

— Спала, — твердо отвечает она, — спала!

— В одной комнате, а не в одной постели! — уже раздражаюсь я.

— В одной постели! — утверждает она.

— Ты что, с ума сошла? — говорю я.

— Ничуть, — отвечает она, — я пришла к тебе в постель, когда ты спал.

И все сделала, что надо!

— Но это же физически невозможно! — воскликнул я. — Когда мужчина спит!

— Очень даже возможно, — отвечает она, — спит-то он спит, да не весь!

— Но я бы проснулся! — воскликнул я.

— Ты был пьян, — ответила она достаточно разумно, — потому и не проснулся.

— Но чем ты докажешь, что это правда? — с величайшим любопытством спросил Георгий Георгиевич.

Она стыдливо потупилась.

— Ну? — строго настаивал Георгий Георгиевич.

— У него родимое пятно, — все еще стесняясь, тихо ответила она, — по-ниже пупка.

Георгий Георгиевич пронзительно посмотрел на меня — вероятно, взглядом одного из бесчисленных сыщиков, о которых он читал. Я кивнул. Это было правдой. Смутно вспомнил, что в ее словах есть что-то из какой-то восточной сказки. Шехерезада, что ли?

— Но как ты это заметила? — не унимался Георгий Георгиевич, видимо входя в роль своих проницательных сыщиков, — ты что, свет зажгла?

— Фонарь из окна светил, — призналась она, снова потупившись.

— Правда, я два раза в жизни спал со спящей женщиной, — вдруг ни с того ни с сего признался Георгий Георгиевич, как всегда ревнуя и боясь, что чей-то эротический опыт может оказаться богаче, — они были пьяны. Ничего особенного. Теплый труп.

— Ой! — испуганно воскликнула пышечка, — ничего подобного!

— А тебе ничего не приснилось? — вдруг спросил у меня Георгий Георгиевич, видимо переходя на роль психоаналитика.

— Ничего! — ответил я резко.

— Но что же это получается? — стал соображать Георгий Георгиевич. — Мужчина платит женщине деньги, чтобы получить удовольствие. А так ты сама и удовольствие получила, и деньги получила, а он остался ни с чем. Заплати ему за эту ночь деньгами, которые я тебе дал, а он их мне вернет. Иначе получается насилие!

— Мне это даже смешно слушать! — воинственно воскликнула пышечка. — А еще такие интеллигентные люди! Кино снимают! Это же позор, чтобы мужчина брал деньги за то, что с ним женщина спала. Я только слышала, что очень старые американки молодым итальянцам платят. А у нас в России это стыд!

— Ну, ладно, иди, иди, — примирительно сказал Георгий Георгиевич, — ты не виновата, что Люда спала в той комнате. Слава Богу, что она еще вовремя проснулась! Было бы крику, если бы мы пошли в ту комнату спать, а она бы тут проснулась!

— Скажите спасибо, что я все вовремя усекла и подыграла, — сказала пышечка, — другая дура по глупости раскололась бы!

— Да, ты молодец! Ты хорошо держалась, — важно заключил Георгий Георгиевич, — а теперь до свиданья, иди!

Она оделась и ушла.

— Любопытный случай, — сказал Георгий Георгиевич, — можно, я расскажу об этом Люде? Вот она посмеется! Я только расскажу, как тобой овладели во сне. Кстати, я попрошу Люду, чтобы она попробовала овладеть мной во сне. Интересно, что мне приснится, если я, конечно, не проснусь.

— Можешь сказать, — отвечал я. — Главное, я не могу решить философскую суть вопроса. Изменил я жене или нет?

— Думай! — весело ответил Георгий Георгиевич. — Я пойду и Люде все расскажу! Вечером по этому поводу надо как следует встряхнуться!

Я весь этот день с особой яростью работал над сценарием, не отрываясь ни на минуту. Я закончил его.

Вечером я занес Георгию Георгиевичу свою готовую работу. Люда, улыбаясь уже без всяких намеков, смотрела на меня. Она быстро и ладно накрывала на стол. Что-то непрерывно напевая, она летала по комнате. Мы крепко выпили с Георгием Георгиевичем, и Люда на этот раз была так добра, что не останавливала нас. Георгий Георгиевич всесторонне общувивал мое падение, а Люда, в свою очередь, хохотала до упаду. Мне показалось, что она на этот раз несколько превышает возможности его юмора, а ведь обычно она их сильно занижала. Я был рад, что она потеплела к нему.

Весьма пьяный, в прекрасном настроении вернулся я к себе в номер и заснул как убитый. Утром я еще был в постели, когда ко мне вломился Георгий Георгиевич.

— Людка у тебя была ночью? — вдруг спросил он, проницательно заглядывая мне в глаза.

— Что, опять пропала? — спросил я. Это уже становилось скучным.

— Да нет, не пропала, — ответил он, — но ночью я проснулся, и мне показалось, что она вставала и только улеглась, когда я проснулся.

— Ну и что? — сказал я. — Мало ли для чего человек может встать ночью.

— Да, конечно, — согласился он и с жаром добавил: — Но дело в том, что я ее после этого захотел взять, но она мне наотрез отказала. Первый раз за все время, как мы вместе! Очень подозрительно, очень! Неужели эти две всадницы без головы объездили дикого мустанга так, что он даже не заметил этого?

— Да пошел ты к черту! — крикнул я ему. — Не было, не было, не было здесь никакой Люды!

Он ушел не то довольный своей остротой, не то успокоенный моим негодованием. Я встал, умылся, побрился и уже готовился идти завтракать. Вдруг кто-то стучится в мой номер. Открываю. Улыбающаяся Люда. Молча подходит к моей постели, откидывает одеяло, роется в простынях и вдруг достает оттуда сережку с рубиновым камнем, словно землянику сорвала на лужайке.

Я офонарел. Еще ничего не понимаю. Она деловито вдвевает сережку в мочку уха, потом из кармана достает вторую сережку и вдвевает ее в мочку второго уха.

После этого она с хохотом прильнула ко мне и сказала:

— Прости, я бы никогда тебе в этом не призналась, но это фамильные серьги!

Она вышла. Я понял, что моя миссия здесь закончена. Если у меня была хотя бы тень подозрения, я бы запер дверь. И пьяный, и трезвый, если уж я заснул, то сплю как убитый. Признак дурацкого доверия к миру. Все животные спят чутким сном — признак недоверия к миру. И правильно делают!

В бешенстве я покидал вещи в чемодан и не прощаясь ни с кем уехал из Дома творчества. Гонорар за сценарий я все же получил, но больше никогда не встречался с Георгием Георгиевичем.

Было ли все это изменой жене в философском плане, я так и не решил, но из принципа с женой разошелся. Впрочем, я и так собирался с ней разойтись. Она благополучно вышла замуж, благополучно уехала с мужем в Америку, куда увезла моего единственного сына. Я по нему иногда безумно скучаю. Скучаю, как Наполеон по сыну, согласно легенде, если вообще эта скотина могла по чему-нибудь скучать, кроме славы.

## НА ЛОВЦА И ЗВЕРЬ БЕЖИТ

Итак, я уже говорил, что он ездил по стране и зарабатывал деньги выступая в клубах со своими фильмами, а потом читая стихи.

Но однажды у него с этими встречами случилась трагическая накладка. Он приехал в один туркменский районный город, где должен был, как обычно, показать фильм и почитать стихи.

До выступления он обязан был явиться в райком, где получал добро на эту встречу, и оттуда следовало распоряжение относительно киномеханика, афиши, а зачастую и явления публики, занятой на местном производстве.

В этом районном городе гостиницу заменял Дом колхозника, где он занял номер, умылся, побрился, приоделся, а потом отправился в райком. Он закрыл номер и зашагал к выходу.

Сейчас он выглядел так импозантно, что работники Дома колхозника с удивлением и подобострастием глядели на него, думая, что из Москвы приехал большой человек, который, скорее всего, займется ревизией работы райкома партии.

То, что столь яркий мужчина приехал в Дом колхозника без машины и без сопровождения райкомовских работников, подтверждало догадку о его инкогнито. Да и слыхано ли было, чтобы большой человек из Москвы станавливался у них! Для таких людей у райкома есть собственный удобный и уютный дом без вывески.

Да, он собирается неожиданно нагрянуть в райком, чтобы его работники растерялись и не успели спрятать концы в воду, видимо, ближайшего арыка. Когда он проходил по коридору, директор этого заведения стоял у окошка администраторши. Увидев нашего поэта, он понял, что это последний шанс в жизни.

— Крыш течет, — сказал он печально, но внятно, когда поэт поравнялся с ним, — райисполком не помогает...

Он успел все учесть. На случай гнева большого московского начальника за то, что к нему обращаются с такими мелочами, он это сказал в сторону администраторши, как бы обмениваясь с ней элегическими впечатлениями.

— Все образуется! — бодро гуднул наш поэт и победно вышел вон.

— Все образуется, сказал? — удрученно повторил директор. — Это как надо понимать? Образованья не хватает?

— Видно, уже решил этих всех отправить в партшколу, а прислать других, — подсказала бойкая администраторша.

— Уже решил? — удивился директор.

— Конечно, — уверила его администраторша, — видишь, какого прислали? Лев!

— Марусия! — оторопело окликнул директор уборщицу. — Быстро поставь в номер московского гостя горшок!

— Сейчас! — охотно откликнулась уборщица.

Дошатая уборная Дома колхозника была во дворе. Единственный, правда огромный, горшок этого заведения предназначался редким почетным гостям.

Наш поэт легкой походкой нес свое грузное тело в райком. Такими делами там занимался второй секретарь, фамилия которого была Кирбабаев. Но секретаря на месте не оказалось. Кабинет его был заперт. Какая-то женщина, проходившая мимо, сказала, что Кирбабаев обедает.

Наш поэт полтора часа шагал взад-вперед по длинному райкомовскому коридору, мысленно выбирая стихи, которые он будет читать местному населению, выбирая и привередливо отбрасывая стихи чересчур сложные. Он все шагал и шагал, удивляясь не только затянувшемуся обеду Кирбабаева, но и полному отсутствию признаков жизни в райкоме. Намаз творят, что ли? — думал он шутливо.

И вдруг, когда он был в одном конце коридора, в другом его конце, куда подымалась лестница с улицы, появился человек. Он был среднего роста, на нем был желтоватый чесучовый китель, а на голове соломенная шляпа.

И тут наш герой совершил свой первый промах, который неминуемо привел его к роковой ошибке. Как бы озаренный догадкой, не дождавшись приближения человека и тем более сам застыв на месте, он громовым голосом сотряс, впрочем, недряхлые своды райкома:

— Вы случайно не Кирбабаев?!

Это был Кирбабаев, и ему сразу стало обидно. Случайно? Нет, Кирбабаев случайно не мог оказаться Кирбабаевым! Он вздрогнул и с выражением крайней подозрительности оглядел сановитую фигуру поэта.

— Кирбабаев буду, — скромно согласился он и поспешил к сановитой фигуре. О, если бы не поспешил, все могло бы обернуться по-другому!

— На ловца и зверь бежит! — прогудел поэт, улыбаясь и распахнув руки, но все еще не двигаясь навстречу, превращая роковую ошибку своих слов в полный провал. Однако ничего этого не понимая.

Кирбабаев нахмурился и подошел к нему. Какой-то русский корреспондент газеты, подумал он, что-то хочет выяснить по поводу кляузы какого-то местного негодяя.

— А ви кто будете? — спросил он с несколько замороженным любопытством.

— Я из Москвы, — отвечал поэт, по привычке не соразмеряя свой голос с близостью собеседника, — у меня путевка! Я в вашем клубе покажу научно-популярный фильм и почитаю стихи!

Кирбабаев почувствовал, как, легко прожурчав, откатилась от сердца волна тревоги и тут же прикатила и залила его волна багровой ярости.

— Лектор будете? — уничтожающе обобщил он, оглядывая его и поражаясь наглому несоответствию огромности лектора его ничтожному занятию. Будь наш поэт заезжим фокусником-гиревиком, он бы не вызвал у него такой высокой степени ненависти.

— Можно считать, — мирно согласился поэт, привыкший в провинции к такого рода упрощениям.

— Как ви сказали, — прошипел Кирбабаев, — на ловца и зверь бежит? Выходит, Кирбабаев зверь? Шакал, лисица, волк?

— Да нет, — захотел наш друг, — я вас здесь жду полтора часа. Вижу — кто-то идет. Оказалось, Кирбабаев идет в мою сторону. Вот я и сказал: на ловца и зверь бежит. Такая русская пословица.

— Молчи, большой верблюд! — гневно воскликнул Кирбабаев. — Кирбабаев идет в твою сторону! Твоя сторона далеко отсюда! Значит, Кирбабаев как зверь бежит к тебе? Великорусский шовинизм не кушаем! Тем более от лектора!

— Вы меня неправильно поняли! Я хотел сказать...

— Ты все, что хотел, сказал! Теперь Кирбабаев будет говорить! Я твой засранный путевка подписать не буду! Сейчас — к первому секретарю! Я доложу! Если хочет, пусть он подпишет!

Потрясенный поэт последовал за обезумевшим, как ему показалось, Кирбабаевым. Когда они подошли к дверям первого секретаря, Кирбабаев приосанился, снял шляпу, пригладил свои поредевшие волосы и перед тем, как открыть дверь, оглянулся на поэта:

— Жди! Визовем!

Все это происходило в предбаннике кабинета первого секретаря. Юная секретарша сидела за столиком. Кирбабаев что-то по-туркменски сказал ей, зыркнув на нашего поэта. Секретарша кивнула головой. Поэту показалось, что слова Кирбабаева означают:

— В случае побега этого типа немедленно дай сигнал!

Поэт окончательно уверился, что Кирбабаев обезумел. Похоже, что я свел с ума одного критика и одного партийного работника, подумал он. Но сейчас он в этом не видел юмора. Опять мистика парности нагнала меня, вспомнил он угрюмо.

Минут двадцать он стоял и слышал из-за двери, обитой дерматином, голоса из кабинета. Было тревожно, но он все-таки был уверен — первый секретарь поймет, что никакого оскорбления не было.

Наконец дверь приотворилась, и Кирбабаев зловеще поманил его пальцем. Поэт понял, что Кирбабаев все еще полон враждебности, но смело шагнул в кабинет. За большим столом, уставленным телефонами, сидел первый секретарь райкома.

— Здравствуйте! — прогремел поэт в его сторону, почти по системе Станиславского, пытаясь своим голосом разогнать миазмы враждебности, внесенные сюда Кирбабаевым. Но, увы, ответного приветствия не последовало, по-видимому, система Станиславского в Азии не срабатывала.

Было тихо и решительно непонятно, что делать. Первый секретарь, не чувствуя никакой неловкости, перебирал янтарные четки. Поэт заметил, что шляпа Кирбабаева стоит на столе рядом со шляпой первого секретаря. Он подумал, что это плохой признак. Потом он заметил, что шляпа первого секретаря побольше шляпы Кирбабаева. Это внушало некоторые надежды. К тому же она была и поновей. Потом он заметил, что сам первый секретарь, как и Кирбабаев, в чесучовом кителе, но китель у него посветлей и поглаже. Потом он заметил, что и физически первый секретарь покрупней и поплечистей Кирбабаева.

Гениальная догадка, смутно напоминающая таблицу Менделеева, промелькнула в голове поэта. Постой! Постой! — сказал он себе, сильно волнуясь. Каков же третий секретарь, если пользоваться данными двух секретарей? Если моя догадка верна, третий секретарь должен быть ниже второго секретаря, а чесучовый китель его должен быть более мятым и темным, чем у второго. Не вполне исключена даже оторванная пуговица, но одна. Надо сейчас же проверить догадку! Сам понимая, что рискует вызвать яростную вспышку Кирбабаева, он, сверкая горящими черными глазами из-под черных бровей, уставился на Кирбабаева и властно произнес:

— Третий секретарь ниже вас ростом? Правильно?

Но гнева почему-то не последовало, последовал смех, и при этом довольно добродушный.

— Большой дурачок, — назидательно произнес Кирбабаев, — конечно, он ниже рост имеет. Он же третий секретарь, а Кирбабаев второй!

— Я все угадал!!! — с такой силой выдышал поэт и посмотрел на Кирбабаева такими горящими, пронзительными глазами, что тот на миг смутился, думая, что поэт намекает на взятки.

Как бы переждав мелкие технические разъяснения, первый секретарь с убийственной иронией спросил у поэта:

— Значит, у вас получается так: на ловца туркмен бежит?

— Да что вы, — возразил поэт, — я совсем не то сказал. Я ожидал товарища Кирбабаева...

— Кирбабаев тебе не товарищ! — поспешно перебил его Кирбабаев, как бы боясь, что грядущий суд примет по ошибке его за однодельца нашего поэта.

— ...и вдруг он идет в мою сторону. Узнав, что это Кирбабаев, я вспомнил русскую поговорку: на ловца и зверь бежит. Эта поговорка означает неожиданность встречи с человеком, которого ты хотел увидеть.

— Зверь при чем? — вдруг заорал первый секретарь и, схватив свою шляпу со стола, неожиданно ловко прихлопнул ею шляпу Кирбабаева. — Кирбабаев зверь?!

Поэт проследил за рукой первого секретаря и так понял его жест: несчастного Кирбабаева неожиданно прихлопнули, как зверя!

Кирбабаев стоял в почтительной близости к первому секретарю, а сейчас он совсем повернулся к нему, и они быстро заговорили по-туркменски. Поэт, конечно, ничего не понимал, кроме некоторых международных слов.

— Бзим партия хулум-булум, хулум-булум, хулум-булум — зверь бежит!

— Бзим Ленин хулум-булум! Хулум-булум! Троцкизм-бухаризм! Булум-хулум! Булум-хулум! Булум-хулум! — зверь бежит!

— Бзим интернационализм! Булум-хулум! Булум-хулум! Булум-хулум! Булум-хулум! Булум-хулум! — зверь бежит! Ничего не получается!

Наконец, отшлифовав на родном языке теоретические основы дружбы народов, первый секретарь обратился к поэту:

— Будь честным — и я тебе все пиروщаю! Кто из местных людей научил тебя оскорбить Кирбабаева? Кирбабаев прекрасный работник. Грамотный. Четыре раз бил в Москве. Если меня завтра возьмут в обком или ЦК, Кирбабаева могут назначить даже первым секретарем. Конечно, с моей рекомендацией.

Он посмотрел на свою шляпу, нахлобученную на шляпу Кирбабаева, что-то сообразил и, сняв свою шляпу со шляпы Кирбабаева, поставил ее рядом, что могло означать: не мешаем Кирбабаеву расти по партийной линии.

— Да я ничего не имею против Кирбабаева! — с воплем отчаяния отвечал наш поэт.

— Ты, глупый, не имеешь, но тебя научили враги Кирбабаева! Я все знаю, что в районе говорят. Кирбабаеву завидуют, потому что он работает рядом со мной. Говорят: а почему Кирбабаев поставил посередине своего села памятник своему дедушке? Отвечаю! А потому, что имеет право! На свои деньги поставил! Его дед бил великий скотовод! Двадцать тысяч овец имел! А эти босяки что имеют? Когда пришла коллективизация, он всех своих овец сдал в колхоз. Добровольно. Потому что умный бил, знал — все равно отнимут. А другие, дураки, держались за курдюк своего овца и в Сибирь попали. Так кто бил умный, кто помогал советской власти?

— Да я ничего не имею против Кирбабаева! Поймите меня! — уже в полную мощь голоса, сорвавшись, закричал наш поэт.

— Молчать! — неожиданно пискляво-пронзительным голосом взвизгнул первый секретарь и с такой неимоверной силой ударил кулаком по столу, что обе шляпы подпрыгнули. Шляпа первого секретаря, по-видимому уже привыкшая к таким жестам, слегка подпрыгнула и скромно опустила на свое место, тогда как шляпа Кирбабаева мало того что весьма фривольно подпрыгнула, она еще петушком надела на шляпу первого секретаря.

— Почему ты здесь все время киричишь?! — продолжал хозяин кабинета. — Ты что, секретарь обкома или инструктор ЦК?

— Я даже не член партии, — отвечал поэт, всячески пытаюсь унять свой голос.

— Дважды тем более! — крикнул секретарь райкома. — Ты оскорбил Кирбабаева и еще здесь киричишь в мой кабинет, как будто хочешь сесть на мое место! А где партийный этика? Знаешь, кто по тебе пилачет, пилачет?

— Кто? — растерялся поэт, вспомнив, что оставил в Москве больную маму.

— Турма пилачет, — пояснил первый секретарь и вдруг обратил внимание на нагловатое положение шляпы Кирбабаева на его шляпе. Он нахмурился и водворил шляпу второго секретаря рядом со своей, но на этот раз несколько подальше, вероятно от дурного соблазна снова вспрыгнуть на шляпу первого секретаря.

А ведь и в самом деле могут посадить эти безумцы, подумал наш герой.

— Дело в том, что мой учитель юности был последним поэтом-акмеистом, — начал он, совершенно не понимая неуместность своего объяснения, — он был такой старый, что почти ничего не слышал. Мне разговаривать с ним приходилось очень громко. И я так привык.

— Твой асакал бил меньшевик, — неожиданно гениально угадал секретарь райкома, — я, слава Аллаху, все слышу. Кирбабаева никому в обиду не дам. Где твой путевка? — добавил он подозрительно миролюбиво.

Но поэт ничего не заподозрил. Наоборот, он обрадовался. Суетливо порывшись в карманах твидового пиджака, он достал путевку и положил на стол секретаря райкома.

Тот взял в руки путевку, нежно разглядел ее и, вдумчиво разорвав, выбросил в корзину.

— Вот твоя лекция, — сказал он. — Отсюда куда едешь?

— В Ташкент, — удрученно сказал поэт. Он ужаснулся, что не получит шестнадцать рублей и завтра и послезавтра как минимум придется голодать. Денег было только на один день. Ради них он вынес все унижения, и все оказалось напрасным. Слава Богу, у него был хотя бы билет на Ташкент. Мистика, подумал он. Именно в Ташкенте он три года назад три дня (малая мистика) голодал без денег, подбирая под базарными стойками выпавшие фрукты, и ел их, правда тщательно вымыв под краном.

— Ташкентский поезд завтра утром, — снова взяв в руки четки, спокойно соображал секретарь райкома, — перночевать дадим. Но больше ничего не дадим. Пусть узбеки слушают твой лекция. Они не скажут: а где партийный этика? Но туркмен совсем другое дело. Когда туркмен идет по базар...

Он вдруг воодушевился, бросил четки, вскочил, важно выпятил грудь и гордо, поглядывая по сторонам, прошелся по кабинету.

— ...когда туркмен идет по базар... Учти, даже в чужой республике! Он так идет. И люди тихо ему вслед говорят: «Туркмен идет! Туркмен идет!» А когда узбек идет по базар, это даже стыдно сказать, как он идет...

Он согнул ноги в коленях, бессильно опустил руки вдоль тела и слегка сгорбился, неожиданно талантливо изображая бескостность спины. Так он стоял секунды три. Потом, словно вдруг вспомнив, что даже подражать узбеку слишком долго опасно, потому что можно так и остаться им, быстро выпрямился и стал гордым туркменом.

— На ловца Кирбабаев бежит, как шакал! — сказал он, усаживаясь на свое место и снова взяв в руки четки. — Этому нас партия учит? Нет, не этому нас партия учит. А где партийный этика? Иди отсюда и благодари Аллаха за мою доброту. Пилачет, пилачет по тебе турма!

Потрясенный поэт покинул райком и отправился к своему пристанищу. Директор Дома колхозника, словно все еще дожидаясь его у окошка администраторши, увидев его, глухо сказал уже прямо в его сторону:

— Криш течет... Никто не помогает. И Москва не помогает!



Поэт заподозрил, что директор что-то знает о его неудачном посещении райкома. Но ему ни с кем ни о чем сейчас не хотелось говорить. Ему хотелось крепко напиться и заснуть до следующего утра.

Поэт вошел в свой номер и грузно опустился на кровать. Он долго так просидел, собираясь с мыслями. Он заметил, что ковер, висевший на стене, куда-то исчез, но не придал этому значения. Вдруг кто-то постучал.

— Войдите! — гуднул он.

Вошла русская старушка. Видно, уборщица.

— Я должна взять горшок, — сказала она несколько стесняясь.

— Какой горшок? — не понял поэт.

— У нас для почетных гостей горшок, — разъяснила она, — чтобы ночью во двор не бегать.

— Вот как, — сказал он, рассеянно озираясь и не видя горшка, — а где он?

— У вас под кроватью, — ответила старушка и, став на колени, выволокла из-под огромной кровати огромный горшок.

Поэт был изумлен в силу особенностей своего поэтического мышления. В жизни он видел только детские горшки и представлял, что все горшки обязаны оставаться таковыми. А в этом горшке можно было сварить плов на десять человек.

— Разве такие горшки бывают? — с величайшим раздражением спросил он, подсознательно связывая величину горшка с величиной обрушившегося на него скандала.

— Бывают, милок, бывают! Здесь все бывает, — ласково ответила старушка и вышла с горшком из номера.

Поэт проследил за уходящей старушкой, и, возможно, от ее ласкового голоса его мысль сделала совершенно неожиданный скачок: а хватило бы ему сексуальной смелости лечь с этой старушкой? Он ведь сейчас не женат. Вопрос почему-то принимал принципиальный характер. А что, аккуратная старушка, попытался он себя взбодрить. Но тут же помрачнел, ясно поняв, что такой сексуальной смелости ему не хватило бы. Главное, беспощадная честность по отношению к себе, подумал он.

А вот Артюру Рембо такой смелости хватило бы! Он бы переспал со старушкой и на следующий день написал бы великолепный сонет о гнилости западного человека.

Бедный Артюр Рембо! В шестнадцать лет первый поэт Франции, он в девятнадцать бросил писать и в погоне за золотом уехал в Африку. И в самом деле: за долгие годы пребывания в Африке добыл восемь килограммов золота и на поясе таскал его с собой. Тяжелый пояс, особенно для поэта. А дальше — гангрена, смерть. Ставка на золото оказалась ложной.

Артюр Рембо, думал сейчас наш поэт, и крупные слезы капали у него из глаз, мой гениальный мальчик! Зачем ты ради злата покинул Францию и уехал в Африку?! Тебе было так много дано, но ты проиграл свою игру, Артюр Рембо! Ты никого в жизни не спас, и поэтому тебя никто не спас!

Нет, я создаю здоровое искусство, думал наш поэт, и потому не могу лечь со старушкой, как Артюр Рембо! Не могу! И я прав!

Он с такой силой выразил про себя свое окончательное решение, как будто старушка стояла возле его постели и, всхлипывая, просилась к нему под одеяло.

Через минуту старушка уже без стука вошла к нему в номер, все еще слегка согбенная под тяжестью горшка. В первую секунду ему показалось, что старушка, мистически угадав его мысли, пришла, чтобы соблазнить его. И горшок принесла, чтобы соблазнить его! Нашла, чем соблазнить! Он решил держаться как можно тверже. Но старушка своим добрым лицом не выражала никакого сексуального стремления. Тогда зачем же горшок? И вдруг он вострепнулся от проблеснувшей надежды. Райком сменил гнев на милость! Горшок водворяется! Выступление состоится! Голодовка отменяется!

Поэт выжидательно смотрел на старушку. Она приблизилась к нему с горшком в руке и с лукавой улыбкой на губах. Она проникновенно сказала:

— Молодец! Спасибо от всех трудящих!

— За что? — спросил поэт, ничего не понимая.

— А то не знаешь, за что? — все еще улыбаясь, сказала старушка. — За то, что ты Кирбабаева назвал шакалом. Он шакал и есть. Весь район об этом знает, но никто не осмеливался сказать ему в лицо.

— Да не говорил я этого, бабуся! — взревел поэт.

— Тише! Тише! Меня нечего стесняться, — сказала старушка, не выказывая никаких признаков намерения водворить горшок под кровать.

Поэт понял, что райком своего решения не изменил.

— Буфет у вас есть? — спросил он, чувствуя, что надо перекусить и выпить, выпить, выпить.

— Есть, сынок, есть, — грустно ответила старушка, — только не ходи туда. Осрамят. Приказали тебя не обслуживать.

— Это кто, Кирбабаев приказал? — спросил поэт.

— А кто ж еще. Он здесь хозяин. Но ты не печалься. Зайдешь за угол и иди прямо, прямо, прямо, никуда не сворачивая. Там хорошая шашлычная.

— Спасибо, бабуля, — сказал поэт, — черт его знает что здесь творится! И что это за горшок? Неужели им пользуются взрослые здоровые люди?

— Еще как пользуются, — почти весело ответила старушка, — уборная же во дворе! Ну, я побежала! Молодец!

Старушка исчезла с горшком. Видимо, горшок без присмотра нельзя было оставлять, пока окончательно не утвердится, кого он должен обслуживать.

Поэт вдруг почувствовал, что к нему возвращается энергия жизни. Глаз народа его оживил! Он подтянул галстук, причесался и покинул номер, закрыв его на ключ.

Минут через двадцать он уже был в шашлычной. Там он уселся за столик и на последние деньги заказал шашлык, зелень и пол-литра водки. Официант почти мгновенно его обслужил. Поэт приятно удивился. Ни в Москве, ни тем более на ленивом Востоке этого никогда не бывало. Потом, случайно поймав взгляд буфетчика, он заметил, что тот гостеприимно ему улыбается и поощрительно кивает головой: мол, крой их, крой! Поэт понял, что слухи о его мнимом подвиге достигли шашлычной.

Теперь, целенаправленно озираясь, он заметил, что многие посетители шашлычной доброжелательно, с далеко идущей надеждой поглядывают на него и перешептываются. И тогда он понял, что слухи о его подвиге окатили город ожиданием освежающих перемен.

Он уже выпил почти всю свою водку и чувствовал себя великолепно. Со всех сторон шашлычной люди глядели на него с восхищением. Даже мое небольшое сопротивление режиму, вдруг подумал он, воодушевило город. Сейчас он как-то подзабыл, что никакого сопротивления режиму не было, а был только скандал. Но теперь он этот скандал воспринимал как следствие сопротивления режиму. Теперь он был уверен, что в его словах: на ловца и зверь бежит — была безумная дерзость, была брошена боевая перчатка Кирбабаеву в коридоре его же райкома! Коррида началась в коридоре, подумал он, как поэт, не упуская созвучия.

Он всегда считал, что поэт — борец со Злом, но в высшем смысле и никогда не должен опускаться до социальной борьбы. Хотя сейчас ему было приятно чувствовать себя социальным борцом, но и сейчас он понимал, что это детский, упрощенный вариант божественной борьбы со Злом.

Но этот упрощенный, социальный вариант борьбы со Злом имеет то преимущество перед божественным вариантом, что быстро и наглядно приносит реальные плоды. Не так ли великий Эйнштейн говорил, что завидует дровосеку, потому что тот сразу видит плоды своих трудов.

И вот кругом в шашлычной шепчутся о нем. Даже после редких, но замечательных публикаций его стихов он нигде никогда не замечал, что о нем шепчутся. Пусть это минутная слабость. Но надо ее иногда себе позволять. Лучше синица в руке, чем журавль в небе! Побудь в небе, не ревнуй, журавль поэзии!

Вспомнив эту поговорку, он на миг смутился: как бы ее поняли в райкоме? Лучше узбек в руке, чем туркмен в небе? Да пошли они все к чертовой матери!

Он выпил еще одну рюмку и окончательно воодушевился. А что такое райком? Вот я только шевельнул пальцем в сторону Кирбабаева — и весь город восторженно смотрит на меня!

Может, в конце концов, надо преодолеть брезгливость, написать вулканические стихи, вызвать взрыв народного гнева и взять власть в свои руки! Пора, пора преодолеть брезгливость и взять власть в свои руки во всей стране!

Водка кончилась, а он чувствовал себя так, как будто только сейчас и надо было начинать пить. В это время к нему стал пробираться молодой туркмен с двумя большими рюмками водки в руках. Он шел решительно и осторожно, чтобы не расплескать водку. И он остановился возле нашего поэта. Поэт почувствовал, что вся шашлычная притихла в ожидании его слов и действий. На вид подошедшему парню было лет двадцать. Однако, довольно фамильярно, подумал поэт, но выпить очень хотелось. К тому же рюмки, которые парень держал на весу, могли расплескаться. И народ ждал его слов.

— Я хотел бы с вами чокнуться и выпить, — с улыбкой сказал молодой человек.

Поэту пришла в голову благородная мысль, и он решил ее произнести, несмотря на то что эта мысль грозила оставить его без щедрой рюмки. Но на то мысль и благородна, что не заботится о корысти!

— Молодой человек, — прогудел он на всю шашлычную, — когда вам хочется с кем-нибудь выпить, вы прежде должны подумать, хочется ли выпить тому человеку, с кем вам хочется выпить!

Шашлычная восторженно зашшукала. Но парень не растерялся. Возможно, он угадал, что тому человеку хочется выпить.

— Я с вами хочу выпить, — сказал он, держа в растопыренных руках две большие рюмки, как два потенциальных факела, — потому что вы мужественный человек! Вы сказали в лицо Кирбабаеву, что он шакал! Вы учите нас мужеству. Весь район знает, что он шакал, притом бешеный шакал, но никто ни разу не осмелился сказать ему об этом.

Поэт ощутил несбыкновенный прилив духовных сил и одновременно понял, что дальше нельзя riskовать переполненной рюмкой в вытянутой руке: выплеснется! Туркмены — прекрасный народ, подумал он, за них стоит повоювать. И, взяв у молодого человека рюмку, почувствовал, что она теперь в полной безопасности. Он приподнял рюмку и прогудел на всю шашлычную:

— И это еще не последнее мое слово!

Они чокнулись и выпили.

— Если вы не спешите, — сказал парень, — окажите честь нашему молодежному столу. Мой отец — председатель колхоза, и я могу многое рассказать о подлостях Кирбабаева.

— Спешить мне некуда, — ответил поэт доброжелательно, — мой поезд в Ташкент идет завтра. Официант!

Поэт встал во весь свой внушительный рост.

— Уже уплачено! Уже уплачено! — замахал парень руками, и они двинулись к его столу. Там сидело еще шесть молодых людей, и они восторженно глядели на поэта. Кадры есть, подумал поэт, с революционной деловитостью оглядывая их; в сущности, басмачи были последними могиками Белого движения.

Теперь он вместе с молодыми людьми продолжал пить и закусывать. Сын председателя колхоза рассказал, что Кирбабаев каждый месяц берет ясак с каждого колхоза района. Две тысячи рублей. Конечно, делится с первым секретарем, который, кстати, сам ничего не берет. Кирбабаев не только посреди родного села поставил памятник своему деду, но и протянул, конечно за счет государства, единственную в районе асфальтовую дорогу не только вплоть до села, но и до могилы деда дотянул ее!

Поэт с яростной горечью вспомнил о своих финансовых делах.

— А меня лишил шестнадцати рублей, которые я должен был сегодня получить за выступление в клубе! Мне придется три дня голодать в Ташкенте! — прорычал он и с ненавистью вонзил вилку в мясо, словно всю жизнь боролся, но не в силах был побороть в человеке низкое стремление есть.

— Вы не будете голодать! Не допустим! Это позор для Туркмении! — завопили молодые люди и полезли в карманы за деньгами. Они собрали двести рублей, по тем временам деньги немалые, и почти насильно сунули их поэту в карман. Поэт, конечно, сопротивлялся, но было бы недостойным преувеличением назвать его сопротивление отчаянным. У него мелькнула и тут же стыдливо погасла мысль, что, оказывается, борцом за справедливость быть иногда даже выгодно.

В сущности, вся его поездка в Среднюю Азию должна была дать примерно такие же деньги. Теперь кое-где в ответ на хамство можно было и покапризничать с неопасным риском лишиться выступления. Терпеть нового Кирбабаева он был не намерен.

По давней привычке преувеличивать Зло и Добро, он успел рассказать молодым людям, что его телефон в номере отключили, чтобы он не мог связаться с Москвой, содрали со стены ковер, унесли горшок величиной с казан, которым он и не собирался пользоваться. А самое главное, его в буфете Дома колхозника собирались отравить, но нашлась прекрасная, мужественная женщина, которая, рискуя жизнью, предупредила его, чтобы он туда не ходил. Вот почему он здесь.

Сейчас он был уверен, что слова старушки относительно буфета были замаскированным предупреждением, что его в буфете отравят. Гнев молодых людей достиг предела. Для начала они предложили избить директора Дома колхозника. Но он им разъяснил бессмысленность преждевременного выступления, намекая на существование гораздо более обширного и далеко идущего плана.

Ему вдруг захотелось немедленно всей шашлычной прочесть стихи. Перебирая в голове, что бы им прочесть, он остановился на одном стихотворении, где есть упоминание песков пустыни, родственных местному Каракуму.

— Читаю стихи, слушайте! Их еще никто в мире не слышал! Вы — первые! — загремел он в притихшую шашлычную. Потом встал и прочел грозным голосом:

Страстей неистовых теченье —  
Его раздвоенный заслон:  
Шемящей совести веленье  
И угрожающий закон.

К чему восторги пустозвона?  
Что нам сулит грядущий век?  
Чем совершенней суть закона,  
Тем бессердечней человек.

Закон карает и возносит,  
Закон прощает, а не друг.  
И совесть человек отбросит,  
Как архаический недуг,

Уже ненужную, как жабры  
У ползающих по земле,  
Как клинопись абракадабры  
В песках азийских на скале.

Но и тогда, в грядущем то есть,  
Последний, может быть, пиит  
Вдруг ставку сделает на совесть,  
И мир дыханье затаит.

Он кончил читать и продолжал стоять. Шашлычная затаила дыхание, как мир.

— Пропал Кирбабаев! — раздался чей-то голос в тишине.

— Вы поняли, о чем эти стихи? — торжественно спросил наш поэт, не задерживая внимания на такой мелочи, как Кирбабаев.

— Конечно! — уверенно вдруг сказал один аксакал с белой кисточкой бородки, сидевший недалеко за столиком. — Закона хорошо, но совесть лучше. Вот о чем. Мой отец тоже так говорил.

— Закона хорошо, но совесть лучше! — радостно закричали со всех сторон.

— В общем, правильно, — громогласно согласился поэт и сел на свое место.

— Пока у нас Кирбабаев, — скривил рот сын председателя колхоза, — у нас не будет ни закона, ни совести!

И тогда наш поэт произнес свой последний, сокрушительный тост.

— Я пью за великий туркменский народ, с которого начнется возрождение страны, — загремел он, — а что касается горшка из Дома колхозника, то считайте меня трепачом, если завтра перед отъездом в Ташкент я его не нахлобучу на голову Кирбабаеву!

Оказывается, об этом горшке местные люди много слышали и считали, что он оскорбляет национальные обычаи. Поэтому последние слова поэта потонули в таком воодушевляющем громе аплодисментов, что он решил их сделать предпоследними.

— В следующий мой приезд, а он не за горами, — продолжал греметь поэт и вдруг вспомнил, что здесь могут странно трактовать русские пословицы и поговорки. — Не за горами, — стал разъяснять он, — по-русски значит: не долго ждать. Дело в том, что Россия долинная страна и горы всегда далеко... Так вот. В следующий мой приезд мы завернем Кирбабаева в асфальт, который он протянул до своего села, и завернутого в этот асфальт поставим рядом с памятником деду!

— Рядом! Рядом! Рядом! — зашумела шашлычная. Аплодисменты, смех, свист.

Провожать его пошло человек пятнадцать молодых людей. Давно у него не было такого легкого, веселого настроения. А может быть, и никогда в жизни не было. Однако на углу, где надо было сворачивать к Дому колхозника, он распрощался с провожатыми, не без основания опасаясь, что они могут попытаться этот дом взять штурмом.

Он горячо расцеловался со всеми и вышел на пустынную улицу, ведущую к месту его ночлега. Уже метрах в двадцати от Дома колхозника он заметил, что на тротуаре стоят три милиционера. А рядом на улице машина. Оказывается, пока он со своими поклонниками двигался к месту ночлега, кто-то позвонил в милицию и сказал, что лектора из Москвы провожает пьяная воинственная толпа молодых людей. Начальник милиции дал приказ: толпу разогнать, но лектора из Москвы не трогать. Увидев, что он один, милиционеры с веселым любопытством наблюдали приближение человека, который осмелился назвать шакалом самого Кирбабаева.

Наш поэт, увидев милиционеров, тем более улыбающихся, вдруг решил ошарашить их гомерической шуткой.

— На ловца и зверь бежит! — загремел он на всю улицу. — Я зверь! Я бегу на ловца!

И побежал на милиционеров, не в силах соразмерить свой бег ни со своим грузным телом, ни со своим опьянением. Не сумев вовремя притормозить, он врзался в среднего милиционера, повалил его и упал на него.

Милиционеры, сочтя этот поступок за агрессивное нападение, стали нещадно его колотить. Он сопротивлялся, он выл, как зверь, попавший в капкан, но, несмотря на свою могучую силу, ничего не мог сделать. Их было трое, а он один. Они были трезвые, а он пьян. Они всю жизнь избивали людей, а он никогда.

Все это случилось в тот недалекий исторический период, когда кандалы в Средней Азии уже исчезли, а наручники еще не появились. В конце концов милиционеры продолжающего вырываться поэта обвязали веревками, перебрасывая и затягивая их с бесстрастной ловкостью крестьян, навьючивающих верблюда. Они вбросили его в машину и увезли в больницу. Там ему сделали успокаивающий укол, и он, запеленутый в веревки, уснул глубоким, привычным сном побежденного богатыря.

На следующий день он проснулся в купе поезда, мчавшегося в Ташкент. Он потянулся, с удовольствием почувствовав, что на нем нет не только веревки, но и одежды. Она аккуратно висела над ним. Да не приснилось ли ему все это? Но, увы, боль в теле и синяки на голых руках были реальны, и, значит, Кирбабаев был реальным. Он хорошо помнил, с какими шутивными словами он помчался на милиционеров, а что дальше было, представлял смутно. Он только точно помнил, что милиционеры не оценили его шутки.

А поезд летел все дальше и дальше. Потом поэта долго беспокоила мысль: как его внесли в поезд? Уже раздетого до трусов и майки, в которых он сейчас лежал, или раздели его здесь? Ему очень хотелось, чтобы все было достаточно прилично и раздели его уже здесь, в купе.

В провинции почетного гостя после затянувшегося банкета, случается, приводят в купе придерживая за руки. Иногда приносят. Особенно ревизоров. А потом раздевают и укладывают в постель.

Ему хотелось, чтобы вагон считал его почетным гостем, которого привели после слишком обильного застолья. О веревках он и думать не хотел. Об этом думало его затекшее тело. О том, что он был приведен как исключительно почетный гость, указывал тот факт, что он в купе был совершенно один. Но с другой стороны, это могло быть следствием ограждения пассажиров от буйствующего человека.

Вдруг его пронзила мысль, целы ли его деньги, документы, билет. Его твидовый пиджак висел над ним на крючке. Он лихорадочно порылся в карманах и, не веря своему счастью, убедился, что все на месте.

Правда, состояние его пиджака, согласно его же теории, едва тянуло на чесучовый китель третьего секретаря. И даже одной пуговицы не хватало. Он раскрыл чемодан: коробки с фильмом и одежда были на месте.

Теперь, при его богатстве, перед тем как в Ташкенте явиться к начальству, он приведет себя в полный порядок. Он сменил брюки и галстук, оставив в купе пиджак отдыхать после милиционеров, и с ёкнувшим сердцем убедился, что купе не заперто снаружи. Вариант буйного пассажира отпал. Да, конечно, его в приличном виде привели сюда. Или принесли? Главное, что в приличном виде. Опохмелиться! Без единого слова! Склонный преувеличивать все хорошее, как и все плохое, сейчас он был потрясен, что деньги и все остальное имущество уцелело. Туркмены — прекрасный народ, думал он, а Кирбабаев исключение. Такой честной милиции нет нигде в мире! И даже хорошо, что они меня связали, думал он в порыве благородства, а то я мог бы в ярости пьяного буйства раскидать этот глинобитный городок!

Тут мы должны слегка подправить нашего поэта. По более поздним сведениям, дошедшим до нас через сына председателя колхоза, начальник милиции, распоряжаясь отправить в Ташкент все еще спящего не то летаргическим, не то вечным сном странного лектора и чувствуя, что дело принимает межреспубликанский оборот, пригрозил милиционерам, занятым телом и вещами нашего поэта, что он лично из своего личного пистолета пристрелит каждого из них, если у лектора что-нибудь пропадет.

Все быстрее и быстрее двигаясь в ресторан, как бы отстреливаясь от Кирбабаева ржавыми выстрелами хлопающих за спиной железных дверей, наш поэт все восторженнее думал: о, как я был прав, что никогда в жизни не допускал в своих стихах социальной темы! Не допускал и не допущу! Энергия стиха и никаких идей!

\* \* \*

После перестройки его книги, обгоняя одна другую, стали появляться на прилавках. Он извездил Европу по следам своих поэтических снов. По его словам, сны были интересней.

— Хорошо, что я успел о Европе написать до того, как увидел ее, — говорил он, — там много интересного. Но так написать, как я написал до того, как увидел ее, теперь я не смог бы.

Сейчас он один из самых видных поэтов страны. Недавно он получил Государственную премию.

Ему эту премию вручал лично Ельцин, впрочем, как и всем остальным. Но навряд ли, да и просто невозможно представить, чтобы кто-нибудь из остальных лауреатов услышал слова, сказанные нашему поэту. Если верить ему (я хочу сказать — поэту), Борис Николаевич Ельцин, пожимая ему руку, широко улыбнулся и сказал:

— На ловца и зверь бежит.

— Мистика! — по привычке произносил поэт, пересказывая нам слова президента. — А разве не мистика, — добавлял он в сторону тех, кто явно сомневался, что президент произнес эти слова, — что я — поэт, всю жизнь гонимый издательствами, стал лауреатом Государственной премии?

— Юра, — сказал я шутливо, — ты, оказывается, не великий поэт.

— Почему?! — взревел он.

— Вспомни судьбу великих русских поэтов, — сказал я, — разве у кого-нибудь из них она увенчалась таким блестящим успехом?

Он помрачнел и надолго задумался.

— Так что же?

— Еще не вечер, — сказал он впервые в жизни тихим голосом.



---

---

СЕРГЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

\*

## СГУСТИЛСЯ СНЕГ

\* \*  
\*

Мне десять лет.  
Я собираюсь жить  
Так долго.  
За стеной играют гаммы.  
За толстой книгой Марека-Керама  
Три Трои я успел похоронить.

Темнеет. За окном сгустился снег.  
Он падает — его полет замедлен...  
Мы к светлой бронзе перешли от меди. —  
Который век, который это век?  
Столбцы хронологических таблиц...  
А за стеной опять играют гаммы.  
Мне десять лет.  
Я дожидаюсь мамы.  
Я прочитал четыреста страниц.  
Я привыкаю различать века.  
Мне десять лет.  
И жизнь так коротка.

1979.

\* \*  
\*

Лишь первым отблеском денница  
Рассветит небо сентября —  
Урчит лысеющая птица,  
Сухарь настойчиво дробя,  
И дворник шкрябает тихонько  
Своей рассыпчатой метлой,  
Счищая листьев верхний слой,  
И голубь топчет подоконник.



Проходит дворник по аллейке  
 В полувоенном картузе,  
 Сшибая жалкие копейки  
 На добродетельной стезе.  
 Веселых надписей курсив  
 Он осуждает на заборе,  
 Он бережет жилой массив,  
 Живет с соседкой в долгой ссоре  
 И от зари и до зари  
 Поет про угольную шахту.  
 Он, как его инвентари,  
 Наверно, списан весь по акту,  
 Но — нестареющий атлант! —  
 Татуированной рукою  
 Уперся в утренний туман  
 И держит утро разливное.

1979.

\* \*  
\*

Эпоха в эпоху таскает пожитки —  
 И факельным блеском по кафельной плитке  
 Размазан проезд многоклеточных фар.  
 Мелькает, бледнее, чем зимний картофель,  
 За дымным стеклом заторможенный профиль,  
 И гаснет цветной замороженный пар.  
 И кажется — вырвутся пьяные сани,  
 Сиятельный шут в голубом доломане  
 Раскрашенной пробкою рожей сверкнет,  
 За ним — удалые его компаньоны  
 В личинах и шапках, в усах и коронах,  
 И в голосе — холод, и в возгласах — лед.  
 Зачем ледяное веселье сверкает,  
 И холод под шубою сердце сжимает,  
 И воздух морозной струною звенит,  
 Куда направляется святочной тени  
 Проезд театральный по жизненной сцене  
 И кто это текст подсказать норовит?  
 Застуженный скрип поворотного круга.  
 Куда мы летим, обгоняя друг друга,  
 Покуда дрожит непролившийся свет,  
 Еще допускающий вечные тени  
 По карте великого оледененья  
 Вести круговой непрерывавшийся след?

1983.

\* \*  
\*

Качалось озеро на веселых весах.  
 В зеленой тине вспыхивал луч изумрудный.  
 Вспоминать легко — это жить было трудно  
 Без надежды, без Бога. А кровь молодая.  
 А сажень косяя в плечах.

Мускулистые парни, пояс трусов приспустив,  
Дулись в сику и дули портвейн перегретый.  
Никогда не кончается душное лето!  
— Что ты тянешься, сука, как презерватив!  
Дожимай свою карту, копейку клади,  
Пей портвейн. На твоей безволосой груди  
Из легированной обработанной стали  
Крест веселый с вкраплением синей эмали  
Сберегает тебя. И не надо печали.  
Все еще впереди. Надейся и жди.

А на небе такая игра облаков  
И лучей проникательных перемещенье.

Заклученные души так рвутся к прощенью  
Из своих мускулистых смолистых оков.  
И надежда осталась, покуда летит  
Этот луч, прихотливо надломленный призмой,  
И дрожит на весах тектонический щит  
И на нем наши бедные юные жизни.

1986.

\* \*  
\*

Над тобою мне тайная сила дана,  
Это — сила звезды роковой.

*А. Григорьев.*

Со стрелчатого цоколя человек железный  
Наклоняет в улицу смотровое лицо,  
Много лет продолжая паренье над бездной,  
Окрыленное звезд неподвижной пылью.

Много раз проходил я в пределах полета  
В надрывающем душу беззвучье ночном,  
Сотни цепких секунд нетопырьего счета  
Проскреблись под титановым этим крылом.

Как упорно твое броневое надбровье,  
Затвердивший паденья свободный покой,  
Металлический ток расщепляемой крови  
Угадавший во мне освещенной рукой.

И железной любви нарастание гулко,  
И направлең ее безвоздушный полет  
В осевое сечение волчьих проулков,  
Где желанная женщина сонно живет.

Где сумею и я, как паритель железный,  
Опрокинуть в нее смотровое лицо,  
Чтоб во сне эта женщина повисала над бездной  
И видела звезд распадающееся кольцо.

1983.

\* \*  
\*

М. Б. Х.

Он живо качался в гробу,  
Как живой, оживленный игрой освещенья.  
Он мерцал, подплывая к долбившему яму жлобу.  
Сквозь морозец зеркал  
на последний вползал перевал,  
И прохлада громады  
четырех степеней посвященья  
Серебром индевела  
на стянутом кожей лбу.  
Он был маленький деспот.  
Лучисто сходились морщины  
На проеденной мыслью  
его стороне лицевой,  
Только женские губы, когда причащались личины,  
На время лечили  
От болезненной тайны его, лучевой.  
Он был деспот.  
Держатель архивных ключей и затворов,  
Охранитель духовных ключей,  
Дракон над источником вод,  
Тайнослушатель исповедей и разговоров,  
Рукописный наследник подследственных,  
вдов и сирот.  
Он был цензор великий,  
Лукавый, с походкою фавна.  
Он копытил следы в кабинетах ответственных лиц.  
Даже самой фамилии звуки сипели исправно,  
Даже воздух чернел у границы глубоких глазниц.  
Я горжусь тем, что встретил такое отродие ада,  
Тем, что слушал его  
и отраву дыханья вдыхал.  
От советской культуры мне большего счастья не надо,  
Чем такой козлоногий держатель всех тайн и начал.  
И колючий снежок,  
и оград заунывное пенье,  
Погребальный кабак  
под квадратной дымящей трубой —  
Это лестница к тем  
четырем степеням посвященья,  
Что искристый покойник навеки уносит с собой.

1989.

\* \*  
\*

Серо-розовой дымкой, почти слюдяною средой,  
Износившейся легочной тканью, сцежающей кровь,  
Расползается небо над темной кирпичной стеной,  
И под этой стеной учреждается наша любовь  
На мучнистом тумане, замешенном густо в груди,  
На дыханье, пробившемся сквозь толоконный раствор.

Так суди нас, о Господи, этой любовью, суди,  
Потому что страшной без суда услышать приговор,  
Потому что надежда одна — оглашенный реестр,  
Отдаваемый в рост, обеспечит прибыль души,  
На копеечный бублик, на чашку кагора, на погнутый крест,  
На шепот разложенья, оскребок посмертной парши.  
Потому что надежда одна. И крути не крути,  
В этом хлебном хвосте мы стояли за телом Твоим.  
Здесь, в лабазе мучном, на слепом, на червивом пути,  
На голодном пайке, как часы, отбывая режим.

20.11.87.

\* \*  
\*

Для того я в тиши свое детское слово, как пилку, вострил,  
Чтоб в агатовой плоти тупить закаленное жженье,  
Чтобы мне на распаде блеснул многожильный распил  
Разноцветной спиралью предчувствий и предощущений.

Даже старый дурак за кроссвордом умнее меня,  
Даже он свою жизнь не в такую угрохал химеру,  
Даже он по бульвару с газеткой идет, семена,  
На скамейку, как тенор идет на премьеру.

Наши игры в пророков отнюдь не искупят вины,  
А предсказанный страх пережить даже вдвое страшнее.  
И зачем наши речи, проклятые говоруны,  
Все ярились, как радий, самими собой пламенея.

Он и вправду настал, тот конечный предвиденный час,  
Столько раз мне приснившийся в розовом отсвете ада,  
И вселенная копя свои обращает на нас,  
Простоявших всю жизнь у ворот многоцветного Града.

И доколе возможно — дотолé проси и зови,  
Повторяй: «Многогрешным, предвидевшим, все заболтавшим,  
Приоткрой нам, о Господи, тесные двери Твои, —  
И нам тоже, так много Тебя искушавшим!»

1990.



---

---

ОЛЕГ ЖДАН

\*

## В НЕБЕСА, ЗА СЧАСТЬЕМ

*Путешествия*

### В МОСКВУ, ЗА ДОЛЛАРАМИ

**П**одзаработать в Москве тетку Зену соблазнила соседка Марфа. Была Марфа еще молодая и поворотливая, а главное — смелая: весь свет ей как родное подворье. Смелый и пекло перескочит, говаривала, когда хотелось похвастать, а боязливому и в раю страшно. Ехать предложила на автобусе Бобруйск — Москва, что каждый день на минуту приостанавливался посреди деревни.

— Утром будем в Москве, вечером назад. Долларов привезем. В Москве доллары, как у нас «зайцы».

Этим и соблазнила.

Вот только все ж страшновато. За всю жизнь она даже в Могилеве не была, только в Кричеве. В Кричеве и то страшно, а тут — Москва. А вот Марфа и родилась где-то в России и Москву знает — жила там девочкой сразу после войны. Конечно, давненько, но никуда не съехала эта Москва, говорила, где стояла, там и стоит.

— А может, в Рославль поедем? — предлагала тетка Зена: ближе в три раза, да и город, по слухам, как Кричев.

— В Рославле такие же голодранцы, как мы, — ответила Марфа. — А в Москве американцы на каждом углу или немцы, и долларов у них, как смецца.

«Смецце» по-белорусски — «сор».

Закололи кабанчиков, и Марфа битком набила две сумки, тетка Зена — одну. Марфе — что, одинокая, а у Зены в Могилеве дочка и сын.

Автобус в деревню приходил всегда минута в минуту, но они на остановку притащились загодя, чтобы обвыкнуться и, крый Бог, не опоздать. А когда послышалось урчание мотора и свет фар, как тяжелую воду, колыхнул глубокую тьму, тетка Зена оглянулась, и вдруг неожиданная мысль сжала сердце: больше она никогда не увидит ни хату свою, ни деревню.

Забравшись в автобус, огляделись. Салон выглядел довольно странно: пассажиров мало, а свободных мест нет — все заставлено, завалено мешками, картонными ящиками, сумками.

— Видела? — обрадованно кивнула Марфа, которая тоже, что ни говори, взволновалась во время посадки. — Торговать едут!

Попутчики оказались пожившими людьми и в большинстве — женщины.

— Молодые ездят на поезде, — пояснила Марфа, — и вализы у них — во!

Вализы — это, понятно, неподъемные сумки.

Успокаивающе урчал мотор, тихо играло радио, и тетке Зене стало казаться, что выбрались они недаром и все будет хорошо. До Кричева от их

деревни тридцать километров — скоро замелькали городские огни. Когда автобус остановился на станции и в двери полезли новые пассажиры с сумками и ящиками, тетка Зена уже снисходительно поглядывала на них: мол, не беспокойтесь, всем хватит места, доедем как у Бога за пазухой.

В автобусе было тепло и уютно. Натопавшись и наволновавшись, они скоро почувствовали усталость, потянуло на сон. Следующая остановка — уже в России, Рославль, там — ничего интересного, там — голодранцы, а под утро — страшная, но богатая, с американцами и немцами на каждом углу Москва...

...Они проснулись оттого, что автобус остановился. Глянули в окно — темно, лес и какие-то домики на колесах. Шофер выключил мотор, кто-то потребовал у него документы. Снова стало тихо. А через минуту дверь автобуса широко раскрылась, и вошел высокий черноусый молодец в милицмейской форме.

— Таможенный досмотр! — объявил он, а шофер включил в салоне свет.

Пассажиры неуверенно зашевелились.

— Что он говорит? — спросила тетка Зена у Марфы.

— А кто его знает. Какой-то д о с м о т р. Видно, бандитов ищут.

Однако милиционер тотчас вышел. Там, за дверью, снова слышались неразборчивые голоса.

— Так, — крикнул немолодой седобровый и седоусый дядька, что с огромными сумками забрался в автобус на Кричевской станции. — Сейчас начнется. Я его знаю, этот просто так не пропустит... Эй, люди, давайте соберем, пока не поздно, тысяч по двадцать. Дешевле будет.

Никто, однако, на его призыв не откликнулся.

— Что, оглохли?.. Пожалеете.

— Ага, по двадцать, — отозвалась наконец розовощекая, упитанная, а говоря по-белорусски, р а с с ы т е л я я женщина в рыжей меховой шапке. — Слишком жирно будет. Обойдется.

— Ну, смотрите, я предупредил.

— Десять дам, а больше ни копейки, — сказала женщина и почему-то решительно сняла шапку, под которой оказались такие же пышные рыжие волосы. — Хватило бы с него и пять.

— Ну, давайте по десять, да пойду договариваться.

Несколько пассажиров полезли в карманы за кошельками, однако большинство словно оцепенели.

— Первый раз или что? — повысил голос седобровый дядька.

— Да за что ему десять тысяч? — вдруг сварливо и злобно вскинулась с первого сиденья худюшая, кожа да кости, с болезненно-желтым лицом женщина. Верхняя губа у нее опасно задралась, будто женщина собиралась дядьку ужалить.

— И правда, — поддержала ее соседка, тоже ужасающе худая и пучеглазая. — У меня три куска сала и три кольца колбасы. У кого больше — пус-кай и платит.

— Где три, там и четыре, — насмешливо заметил дядька. — А может, и пять или десять. Вон какая торба под ногами. А вон еще одна.

— А ты на чужое добро не зарься. Бухгалтер нашелся. Может, они тебя нарочно посадили к нам?

— Тьфу, дура, — выругался дядька. — Мне твое добро... и ты с ним...

— А нет, так и сиди.

Дядька еще раз оскорбленно сплюнул и умолк, отвернувшись к темному окну. Тетка Зена ничего не поняла в этой перепалке. Марфа, похоже, поняла больше, но не все.

— О чем они? — спросила шепотом тетка Зена.

— Грóши надо собирать... По десять тысяч.

— Кому? За что?.. Может, то — ракомтёры?

Да, слышала по телевизору: останавливают машины, отнимают деньги. Но у нее денег нет — только на обратный билет. А если ничего не продадут?

— Какие ракомтёры? Милиция...

— Милиция?

Ну, тогда все. С милицией не договоришься, поскольку, видно, нельзя теперь ездить в автобусах с салом и колбасой.

— Что делать, Марфа?

— Молчи!..

В автобусе царила настороженная тишина.

— Вот, вот! — будто даже радостно сообщил дядька. — Идут. Ну, бабы, держись... Теперь и тридцать тысяч не помогут. Поздно!

И в самом деле, вошли двое: тот, черноусый, высокий, и — небольшенький, безусый, зато с маленьким, будто игрушечным, автоматом. Расставив ноги, он замер у кабины шофера, а усатый присел на подлокотник кресла рядом с женщиной на переднем сиденье, той, что намеревалась ужалить дядьку.

— Ну, подготовились? — спросил весело. — Нет?.. Может, помочь? Так я помогу. Там! — кивнул за окно.

Пассажиры неохотно потянулись к своим клункам.

— Так-так... — начал досмотр.

Увидев автомат, тетка Зена едва не обомлела: пятьдесят лет не видела автоматов, разве по телевизору. Правда, стрелять молоденький милиционер не собирався — видно, просто замерз и в автобус вскочил погреться. А вот черноусый...

— Так-так... — пел он, переходя от сумки к сумке. — Значит, колбаска? Значит, белорусское сальце? Масло, думаю, тоже не из Польши? А это что, сыр? А-а, сыр не белорусский, он — голландский... Грабим, значит, независимую республику?

Когда черноусый добрался к последним сиденьям, оказалось, что все, кроме молчаливого мужчины в кожаной шляпе, парня с конопатенькой девушкой, что влюбленно клонились друг к другу, да двух молодых женщин, — все везут из Беларуси сало, колбасу, масло. А у той, с жалом во рту, в одной сумке «пхом напхано» творога, в другой — кувшинчики со сметаной, в третьей — сыр и крестьянская копченая колбаса.

— Все ясно! — объявил черноусый. — Прошу на выход! — и, спотыкаясь о сумки, вылез из автобуса.

Никто, однако, за ним выходить не торопился.

— Ну что я говорил? — мстительно подал голос обиженный дядька.

На этот раз все, и даже женщина на переднем сиденье, промолчали.

— Давайте скинемся тысяч по десять, — проворчала она сердито. — Пускай несет.

— Нет уж, спасибо, — опять возразился дядька. — Сама неси. А я погляжу, как он тебе ввалит.

Стало совсем тихо, даже слышно было, как шастает в лесу ветер.

— Пассажиры! — послышался голос таможенника. — Долго мы ждать будем?

— Сыночек!.. — жалобно залепетала женщина на переднем сиденье. — Пропусти ты нас! Никто ж не видит!.. Уж какой такой вред от нас? Люди вон...

— Я вам такой же сыночек, как и племянничек. Быстрее, быстрее! Что запрещено, то запрещено.

Вот как.

— Что же нам делать? — тихо подвывая, обратилась она не то к таможенникам, не то к пассажирам.

Но все молчали. Смелая Марфа в это время уже под кресло лезла от страха. А кое-кто и носом шмыгал.

— Через два часа будет автобус Москва — Бобруйск, — вдруг сочувственно произнес в микрофон шофер. — Поедемте назад.

— Назад? Как назад? — запричитали бабы.

— Тихо вы! — прикрикнул бывший обиженный, но теперь отомщенный. — Слушайте меня!.. Сейчас завернем в одну деревню, тут недалеко, километра два. Там есть человек с конем. Он перевезет через лес наши клунки. А шофер, если хорошо заплатим, подождет за горой, за таможенной.

— Это сколько же — хорошо?

— Шоферу — по десять тысяч с носа. Старому с конем — по пять.

Значит, пятнадцать? Не слабо! — зашевелилось общество.

— Можно и дешевле, — хмыкнул дядька. — Через два часа «Москва — Бобруйск». Можно и бесплатно — пехотою.

Примолкли.

Шоферов было двое: один — старший — золотозубый, второй — совсем молодой, может, еще и в армии не служил. Они о чем-то говорили меж собой и, казалось, не обращали внимания на переговоры сзади.

— Хлопцы, — подошел к ним дядька. — Договоримся или нет?

Молодой взглянул на старшего, а тот равнодушно кивнул:

— Ладно, завезем.

— Деньги сразу или потом?

— Пускай потом, — уже совсем свойски ответил он.

Известно, будешь свойским, если по десять тысяч с двадцати человек.

Автобус дал задний ход и повернул назад.

Остановились, как показалось, посреди поля. Но пригляделись — и увидели маленькую, на десять хат, деревеньку. Окна ее тускло светились.

Им повезло: в той хате, которую искали, тоже горел огонек. И хозяин оказался дома. Удобно устроив голову на зимнюю шапку, он привалился к столу и сладко спал. Перед ним стояла недоеденная миска супа.

Дядька-парламентер покашлял, постучал ложкой о миску.

— Эй! — позвал. — Человек!

Хозяин хаты на удивление легко проснулся.

— Кто ты? — спросил.

— Не помнишь? Месяца два тому, а?.. Перевозил ты нас на российскую сторону. На коне!

— Ну?

— Мы тебе хорошо заплатили тот раз. По пять тысяч с носа. И теперь не меньше дадим. А?

Человек слушал закрыв глаза и тяжело дышал.

— Ты кто? — опять подал он ясный голос. — Чего тебе?

Пришлось объясняться снова.

Наконец как будто понял и поднял голову:

— Бутылка есть?

— Мы тебе сто тысяч дадим. Завтра купишь.

— Мне твои сто тысяч... Давай бутылку.

— Нету бутылки.

— Ну, коня тоже нет, — сказал хозяин и ткнулся в шапку.

Пришлось дядьке-парламентеру идти к автобусу.

— Бутылку требует, — сообщил притихшим попутчикам.

Марфа всплеснула руками и полезла в сумку.

— Как знала, — сказала она.

Еще через полчаса скрипучий воз, нагруженный так, что и сесть некуда, пополз к лесу. Негустая толпа охотников за долларами уныло, как на похоронах, тащилась следом.

Лишь тетка Зена осталась в автобусе. «Сиди, — сказала ей Марфа. — Не с твоими ногами ходить по лесу. Я за сумками присмотрю».

Таможню на этот раз автобус миновал быстро. Как и договорились, шофер остановился за горой, заглушил мотор.



В лесу было так темно, что если бы не скрип колес, то и непонятно, где та телега, где лошадь. Дорога скользкая, ухабистая. Пассажиры постарше скоро устали и шли держась за боковые решетки. Марфа плелась вслед за возничим. Шли уже долго, около часа. Что поделаешь, возничий знает, куда идти и как. Но вдруг ей показалось, что как-то странно кивается его голова. Приблизилась, пригляделась и увидела, что глаза у возничего закрыты.

— Ты что? — вскрикнула и дала ему тумака. — Спишь?

Возничий вздрогнул, открыл глаза.

— Люди! — запричитала Марфа. — Он спит, пьяница проклятый!.. Куда ты везешь нас?

— Ну-ну, — отозвался тот. — Тише. Дай что-нибудь. Хлеба дай, воды дай. В животе горит.

— Может, и колбасы поднести?

— Давай колбасы, — согласился возничий. — Какой-то у вас самогон... Где покупали, в Милейкове?

— В каком Милейкове, дурень? Скорее вывози нас!

— Куда?

В ответ ему послышалось тихое, безысходное голошение:

— Поехали! Нас автобус ждет!

— Какой автобус?

Пассажиры, а их осталось в автобусе пятеро, подобрались терпеливые. Прошло больше часа, как остановились за горой, а они все еще не тревожились, молчаливо смотрели в темноту. Больше волновались шоферы, особенно старший, золотозубый. То включал радио, искал песни, то выключал его и, хлопнув дверью, выходил на дорогу. Понятно, забеспокоишься, если пообещали двести тысяч — и нет. Да и расписание движения... Где-то там, в Рославле, их уже ждали.

Наконец они оба выпрыгнули из автобуса, и молодой шофер исчез в темноте. Через несколько минут тетка Зена услышала их голоса:

— Вот она, эта дорога. Может, поехать навстречу?

— Зачем?

— Вдруг они колесо потеряли или ось поломалась... Мало ли что... Дорога укатанная, широкая.

Старший молчал.

— Может, и правда... — неуверенно произнес он. — Давай попробуем.

Автобус зарокотал и с ближним светом фар осторожно сполз с шоссе на дорогу к лесу.

В лесу, однако, пришлось включить дальний свет. Впереди стало светло, ясно, зато по бокам лес приблизился мрачной стеной. Трещали сухие ветки под колесами, автобус покачивался, переваливался с боку на бок, как некое древнее неповоротливое животное.

Вскоре остановились: дорога расходилась на две стороны. По какой ехать? Решили — по той, что шире. Но скоро и она раздвоилась — на этот раз взяли правее, ближе к деревне. И остановились снова.

— А, ё-мое, — выругался старший. — Приехали.

Автобус уперся в стену леса.

Вышли оба, огляделись. В самом деле, дороги дальше не было. Развернуться тоже никак нельзя, поэтому подались задним ходом. Молодой бежал то впереди, то сбоку, кричал: «Давай, давай!..» И вдруг пронзительно, испуганно: «Стоп! Сто-оп!..»

Под задними колесами зияла черная бездна.

Молчаливый мужчина в кожаной шляпе тоже вылез из автобуса.

— Да-а, — крикнул он.

Пассажирки, которые все это время шелестели свертками, угощая одна другую бутербродами, притихли. Тетка Зена защемила между мягкой спин-

кой кресла и окном и моргала старыми глазками, как перепуганная мышка. Она давно предчувствовала: что-то будет. Лишь парнишку и конопатенькую девицу все обходило стороной — ласкались, как прежде.

Меж тем шоферы начали ссориться:

— Куда ты глядел? Где поворот?

— Не было поворота!

— Как — не было? Сюда мы приехали? Вечно ты что-нибудь придумаешь! Колесо они потеряли!..

— А кто тебя заставлял?

Поворот отыскался недалеко, метрах в пятидесяти, точнее, не поворот, а новая узкая развилка — потому и не заметили.

Повеселели. Поехали.

Но вскоре молодой шофер, который теперь сидел за рулем, сказал:

— Что-то мне кажется... не туда едем.

— Туда, туда.

— Нет, не туда.

Автобус остановился опять.

И тут молчаливый мужчина в кожаной шляпе не выдержал.

— Мы что, всю ночь будем по лесу мотаться? — взъярился он. — Мне утром в Шереметьево надо быть! У меня в одиннадцать самолет в Америку! Вы что, хотите себе неприятностей?

Шоферы оглянулись на него, но смолчали. Очень хотелось им ответить что-то такое, чтоб захлебнулся, однако — его правда. Старший шофер циркнул слюной через окно, проворчал:

— Нагоним в дороге. Успеете в свою Америку... Езжай! — пихнул молодого локтем.

— Может, лучше назад, на шоссе?

— Да где это шоссе?... Езжай хоть куда-нибудь...

Мужчина барабанил пальцами по своему новенькому американскому портфелю.

И вдруг лес кончился. Дорога шла вдоль поля, немного посветлело.

— Глянь! — сказал молодой шофер. — Это же та самая деревня. Вон и хата.

— А, ё-мое... — растерянно пропел золотозубый.

Марфа отломала хороший кусок колбасы, протянула возничему:

— На, подавись.

Возничий откусил, проглотил.

— О, теперь порядок, — бодро сказал он и вдруг как подкошенный грохнулся навзничь.

Что они потом ни делали с ним — крутили нос, уши, злобно хлестали по заросшему, как у дикого кабана спина, лицу — напрасно.

Мужик ничего не понимал, не слышал. «Ды-ды-ды», — только и бубнил он.

И тогда женщины вспомнили, кто виноват.

— Чтоб тебя разорвало, — вскинулась на седоусого дядьку женщина с жалом. — Чтоб тебя черти в ступе толкли, коммунист проклятый! Чтоб ты...

— Какой я тебе коммунист? — возмутился тот. — Я беспартийный!

— Знаем, какой беспартийный!.. Давайте его отлупуем, бабы!

И отлупцевали бы, и как славно дали бы в каршэнь, то есть подкинули подзатыльников, если бы... Если бы не извечный женский страх: как в темном лесу без мужчины? А что, если?.. Да мало ли что...

— А ну замолчите! — рёвнул дядька. — Сами выедем. Слышите — машина по шоссе?

И правда, где-то рокотал мотор. Сразу повеселели.

— Ага, слышим. Так чего стоим?

— А с ним что делать?

— На воз вскинем. Может, протрезвеет, пока доедем. А нет — конь довезет до хаты.

Подняли за руки и ноги. Мужичок оказался легкий, будто месяц не ел — пил только.

Как раз и ясный месяц выглянул на минутку. Вот и дорога к шоссе.

— А, ё-мое, — повторил золотозубый шофер. — Ладно, крути на шоссе.

К таможене подъезжали медленно: догадывались, как их встретят здесь. И в самом деле, у таможенников глаза выкатились. Черноусый прощупал все щелочки, перетряс все вещи. Второй стоял в стороне с автоматом наготове.

Но где записано, что запрещено дважды проезжать через одну и ту же таможню? Отпустили.

А еще через несколько минут милиционеры услышали скрип колес, а затем увидели, что из лесу напрямиком к ним направляется воз, нагруженный старыми чемоданами, сумками, фанерными ящиками, и на всем этом, как мешок с мукой, лежит человек, свесив с одной стороны руки, с другой ноги, а за возом молча к л ы п а е понурая толпа женщин.

— Так-так, — обрадовался черноусый. — Эй! А ну поворачивай сюда!

Тихо заголосила одна женщина, потом другая, третья и наконец двадцатая.

Путешествие за долларами закончилось.

Автобус еще раз приостановился за горой.

— Нет?

— Нету.

Шофер включил первую передачу и...

Тетка Зена помчалась в страшный город Москву

## В МИНСК, ЗА «ЗАЙЧИКАМИ»

Василь Васильевич заколол кабанчика на Коляды. Решили так: один кумпак, то есть окорок, себе, второй — сыну, все остальное — на деньги. Однако на Коляды все били свиней, и цены на местном рынке оказались низкими.

— Знаешь что, — сказала супруга Антонида, — махнем в Минск. По радио слышала, что на Комаровке кило — сорок тысяч. А перед Новым годом, думаю, будет все пятьдесят.

Василь Васильевич ожидал такого предложения — имелась на то причина. Вот только триста километров до Минска, а бензин — к заправке подъезжать страшно.

— Даже если по сорок — так на так получится, — добавила Антонида.

Упрашивать его — если в Минск — не надо.

Машина у него хорошая, может, даже самая лучшая: «Москвич-407», двадцать пять лет бегаёт — и хоть бы что. Правда, никуда особенно и не приходилось ездить, разве что по грибы. А если что случалось — все же он, Василь Васильевич, бывший учитель, и бывшие ученики за бутылку вина или водки быстренько ремонтировали «Москвич».

Выехали раным-рано, чтобы, во-первых, еще в потемках миновать проклятый Могилев, где Василя Васильевича сколько приезжал, столько и штрафовала милиция; во-вторых, чтобы засветло приехать в Минск. Переночуют у сына, а утром — на Комаровку. До Нового года оставалось два дня, и цены завтра подскочат, как температура у заболевшего гриппом.

Дорога была спокойная — ни машин, ни людей. Лишь около Чаус шаркнула мимо какая-то иномарка и через минуту исчезла вдаль.

— А мне никакой «мерседес» не надо, — пренебрежительно заявил Василь Васильевич. — Моя двадцать пять годков бегаёт, посмотрим, сколько он пробежит.

Антонида согласно кивнула головой. Такое заявление она слышала уже раз сто или двести и всегда соглашалась. Зачем им «мерседес»? Нет, не надо.

— Если с ним что какое — в мастерской штаны снимут. А я две бутылки — и поехал опять.

И снова Антонида согласилась: да, самое большее — две. И не «Русской» или «Беловежской», а сахарной бормотухи, подкрашенной растворимым кофе.

Следует заметить, что у Василя Васильевича все было самое лучшее: и машина, и холодильник, и телевизор «Рекорд». Все работает двадцать — тридцать лет, а если поломка — снова они, бывшие ученики. Что ни говори, а и профессия у него — наилучшая.

Да, машина бежала хорошо. Правда, что-то позванивало, дергалось, постукивало, но — бежала!

Впервые Василь Васильевич примчал в Могилев, как только купил машину. Дел в Могилеве никаких, просто молод был, хотелось прокатиться с супругой, показать ей новый универмаг. И сразу, при въезде в город, увидел милиционера. Светофора в те годы при въезде не было, и милиционер жезлом разрешал или запрещал проезд. Что ж, ничего особенного: боком стоит — езжай прямо или направо, поднимет правую руку — в любом направлении, повернется грудью к тебе — стой. Василь Васильевич только что сдал экзамен, правила помнил хорошо, но... Что-то случилось с головой. Когда милиционер поднял правую руку — как заворожила его эта рука с жезлом, — не решился ехать, хотя сзади, как духовой оркестр, трубили машины. А когда повернулся грудью — поехал... Сам не понимал почему — поехал, и все.

— Ты меня загипнотизировал! — объяснял потом милиционеру.

Штраф по сегодняшним временам милиционер выписал небольшой — несколько рублей, но Василь Васильевич не соглашался платить. Чувство было такое, что если заплатит, то все — навек опозорен, а не заплатит — случая этого как бы и не было. Примерно так бывает в суде: посадили в тюрьму — виноват, не посадили — честный человек.

Не только не хотел платить, но и дырку в талоне не давал пробить, бросался на милиционера, как тигр. И взял бы верх, если бы не Антонида: не выдержала, вылезла с кошельком. И все же Василь Васильевич отомстил милиционеру — долго еще стоял рядом и стыдил: мол, воры, бандиты, жулье всякое по улицам шляется, а он к честным людям цепляется. Хотел, чтобы признал свою несправедливость и вину. Но где там. Милиционер только краснел, белел да разъяренно в свисток свистел.

Вот он, тот поворот. Светофор, что поставили лет десять назад, равнодушно моргал желтым глазом. Постового пока не было.

Вот и мясокомбинат. В тот, первый, раз Василя Васильевича здесь снова задержали, совсем уже из-за чепухи: заехал на другую сторону улицы. Сегодня же и тут ни души. Впереди оставалось одно опасное место — мост. И страх не в том, что узкий и разбитый, а в том, что река под мостом. Да не какая-нибудь Вихра или Проня, а Днепр! Метров двадцать до воды!

Слава Богу, миновали и мост.

Теперь небольшая горочка, улица Пионерская, улица Мира — и, нигде больше не поворачивая, на Минск!

Он переглянулся с Антонидой — хорошо едем! — и нажал на газ. Горочка хотя и не слишком крутая, но затяжная. А на верхнем багажнике три мешка бульбочки — считай, десять пудов, добавь сюда сало с мясом...

Вдруг что-то застучало в моторе, задергалось, задрожало. Что-то стукнуло, зазвенело, откуда-то вырвался клуб пара и... А ничего страшного, просто заглох мотор. Василь Васильевич повернул ключ зажигания — мотор не отозвался. С озабоченным видом он вылез из машины, поднял капот и, хотя ничего не понимал в двигателе, нажал несколько раз бензонасос, потыкал пальцами в клеммы и провода.

Нет, глухо. Меж тем машин на улице стало больше. Брызгая снежной кашей, они объезжали с обеих сторон, сигналили. Василь Васильевич снова попытался завести двигатель... Нет, что-то случилось. Какая-нибудь мелочь, чепуха, глупость, что-нибудь не стоящее внимания. Однако без помощи не обойтись. Он вышел из машины, поднял руку. Простоял полчаса — никто не обращает внимания. «А может, она уже сама отремонтировалась?» — подумал. Сколько раз было такое: молчит, молчит — и вдруг заработает. Машина — организм, а живой организм сам себя лечит. С надеждой повернул ключ... Двигатель молчал.

Еще столько же торчал с поднятой рукой. Наконец рядом притормозило такси.

— Дед, внизу знак, никто здесь не остановится!

— Да что знак! — ответил Василь Васильевич. — Не заводится! Глянь одним глазом, я заплачу.

Шофер пожал плечами, оглянулся в поисках постового и вылез.

— Э, дед, посмотри под свой драндулет. Вода течет!

Ну вот. Так он и знал, что — глупость. Вода! Однако где взять здесь воды? Может, в Днепре черпануть?

Шофер рассмеялся:

— Ты, дед, вижу, большой механик. «Рубашку» порвало, потому и течет.

— Рубашку?

— Просись к кому-нибудь на буксир и — домой.

— Домой?.. У меня дом за сто километров.

— Тогда плохи дела. В мастерскую надо.

Ай-яй. Что же делать? А ничего не придумаешь — надо.

— Может, ты затащишь? Я тебе бутылку водки дам. Такой ты никогда не пил.

На лице таксиста отразился интерес:

— Ну, покажи.

Василь Васильевич кинулся к машине, достал. Шофер подозрительно поглядел на бутылку с резиновой пробкой, открыл, понюхал.

— Не, дед. Сам пей, я еще жить хочу. Она чертом воняет.

— Чертом?.. Коньяк самодельный! Лекарство! Светоянник, девясил, зверобой!..

Шофер сомневался, морщил нос, принюхивался.

— Ладно, — наконец согласился. — Давай две.

Через несколько минут Василь Васильевич уже рулил вслед за таксомотором.

— Ты что, две бутылки отдал? — спросила Антонида. — А в мастерской чем считаешься?

Василь Васильевич усмехнулся: не так он прост, как кое-кому кажется, — есть еще две! Сейчас прикатят в мастерскую, он хлопцам одну бутылку, другую, хлопцы — дзынь-брынь, и в Минск.

Станция техобслуживания находилась на выезде из города. «И то хорошо, — подумал Василь Васильевич. — Ближе к Комаровке!»

Шофер отвязал трос, крикнул:

— Бывай, дед! Желаю успехов!

Василь Васильевич поморщился: надоел со своим «дедом». Какой он дед? Шестьдесят пять лет! Мужчина в силе. Прошлым летом начал даже бегать по утрам с учительницей физкультуры Аленой. И все было хорошо, пока... Однажды Антонида с дрючком в руке встретила их у костела и погнала Алену, как теленка из шкоды. Глупая женщина! Все ж таки Алене двадцать пять лет, да и вообще, никогда бы он на грех не пошел.

Машин на станции было немного — канун Нового года. Унылый и хмурый мужчина лет сорока («Вот кто дед», — подумал Василь Васильевич) подошел к его «Москвичу», задрал капот и долго вглядывался в двигатель. Потом так же молча капот опустил и, шаркая ногами, направился в мастерскую.

— Ну что? — догнал его Василь Васильевич. — Сделаем? Давай быстрей, мне надо засветло в Минск успеть.

— Засветло? — удивился мастер. — У тебя «рубашку» порвало.

«Что ж это за „рубашка“?» — подумал Василь Васильевич и хохотнул:

— Главное, чтобы штаны целы.

— Знаешь, сколько будет стоить?

— А сколько б ни стоило.

Унылый мастер недоверчиво пожал плечами и пошел к напарнику. «Эх, хорошо, что прихватил еще две бутылки!» — похвалил себя Василь Васильевич.

Скоро из тьмы автомобильной ямы вылез второй мастер, невысокий ростом, зато — по всему — прыткий. Прищурился с интересом на Василя Васильевича.

— Боюсь, дед, Новый год тебе придется встречать здесь, в мастерской, — произнес он.

«Набивает цену, — подумал Василь Васильевич. — Хотят мэкнуть после работы». И весело ответил:

— Можно и в мастерской, было бы с чем...

Мастера переглянулись.

— Готовь баксы, дед, — сказал прыткий.

— У меня есть кое-что получше, чем баксы!

После такого заявления сомнения у мастеров исчезли. Проворно закатали машину в бокс и начали работать.

— Тебе еще повезло, дед, — сказал прыткий. — «Рубашки» для твоего драндулета ни в Могилеве, ни в Минске нет. Только у нас есть. Так что имей в виду.

«Что ж, — подумал Василь Васильевич, — так или не так, а видно, придется добавить им по кольцу колбасы. Пускай вспомнят в новогоднюю ночь добрым словом. Колбаса — от одного запаха очуметь можно».

Раскидали мотор быстро. Но когда раскидали, задумались.

— Иди полюбуйся, дед, — позвал прыткий.

В двигателе зияла черная дыра размером с хорошее яблоко.

— Ай-яй, — сказал Василь Васильевич.

— Что это такое? — Унылый нахмурился. — А, Иван?

— Ёкалэмэнэ, — отозвался тот. — Взялись на свою голову. И как ты ездил, старый?

«А вот это уже — хрен вам, — подумал Василь Васильевич. — Так можно много чего отыскать. Больше чем два кольца и две бутылки не дам».

— Ладно, — сказал унылый. — Крути гайки. — И вдруг сердито взглянул на Василя Васильевича: — Шел бы ты, дед, гулять. Чего висишь над душой?

«Ага, — подумал Василь Васильевич, — я пойду, а они тут все пооткрутят, заменят. Нет уж, постояю. Народ теперь — только и гляди».

Декабрьский денек — что комариный носок, мелькнул — и нет. Мастера зажгли свет. Что-то у них не ладилось, ворчали один на другого. Василь Васильевич подозрительно осматривал мастерскую: скомканные газеты, окурки, головы селедок, масло разлито по полу... Может, какова мастерская, таковы и мастера? Совсем иное дело — дома, с бывшими учениками: раз-два — и поехал.

Вдруг что-то дзынкнуло в воздухе, покатилося по полу. Унылый мастер выхватил руку, застонал, выругался, разъяренно швырнул в ящик гаечный ключ.

— Все, хватит! Пошли домой!.. — и начал вытирать руки тряпкой.

— Как — хватит? — испугался Василь Васильевич. — Мне в Минск надо!

— А в Москву не хочешь? Хорошо, если завтра закончим.

— Хлопцы, я вам заплачу, я...

— Конечно, заплатишь, куда ты денешься. Завтра.

- Так я...
- Ага. Ты.
- Разговор закончился.
- Иди, дед, отдыхай.

Конечно, если подумать, можно было и не ехать в Минск. Нечего там делать. Это так говорилось — переночуем у сына. На самом деле — у невестки. Сын их уже три года барабанил в тюрьме, в Орше, невестка давно развелась с ним. Разумней было бы съездить в Оршу, накормить сына, задобрить его начальников.

Но — внуки.

Короче, не на Комаровку они собирались, а к внукам, хотя и не признавались друг другу. Когда забивали кабанчика, это была единственная возможность повидать внуков. Однажды прикатили летом, порожные, невестка сказала: «У меня своя жизнь, у вас — своя». Даже по телефону не хотела говорить: «Ну что вы звоните?» А приедут со шкваркою — будет терпеть.

Ох, как болело сердце за внуков! Иной раз проснется он, Василь Васильевич, а у Антонида глаза — будто всю ночь лук резала. Он и не спрашивает — что. Ясно.

И наконец, не в том дело, что хочется повидать внуков, а в том, что — какой у невестки заработок? Мороженого не может детям купить. В прошлый раз Антонида принесла килограмм апельсинов — весь вечер нюхали, не решались съесть.

Сын их когда-то работал технологом на кирпичном заводе, там и залетел. Невестка, сколько жили вместе, все пилила его: что толку в твоей работе, если на даче одна скворечня. А после Горбачева, когда вокруг как грибы начали расти дворцы, совсем заела: все воруют, а ты что, святой? Он и завез машину кирпича на дачу. Однако воровать его никто не учил — арестовали на следующий день.

Ночь они провели на железнодорожном вокзале. Нашли уютный уголок, он положил голову на плечо Антонида, она тоже как-то оперлась на него. Немного поспали. «Ничего, — думал Василь Васильевич, — если к обеду сделают „рубашку“, вечером приедем в Минск. Еще и лучше: будет внукам новогодний сюрприз. А свинина на Комаровке после Нового года, возможно, станет еще дороже».

Выехали с вокзала на станцию техобслуживания рано, а приехали поздно. Как не везет, так не везет. В автобусе подошли к ним два хлопца, потребовали предъявить билеты. А какие билеты, если денег нет? Как ни объясняли — напрасно. Принципиальные попались, как не свои, не белорусы, повели в милицию, начали составлять протокол...

— Подпишите, — сказал лейтенант.

— Не подпишу, — ответил Василь Васильевич.

Такая же примерно ситуация: если подпишешь, то кто ты? Обычный «заяц». А не подпишешь — полноправный человек.

Лейтенант засмеялся.

— Послушайте, старые, — сказал он, — нам все равно: подпишете, не подпишете...

Это и возмутило Василя Васильевича. Кто здесь «старые»? Может, Антонида? Женщине шестьдесят три года, а они — старая! Вы что?

Лейтенант покраснел, опустил голову.

— Ну, извините, — сказал.

— Извините? Оскорбил женщину — и извините! Вот я сейчас тоже составлю протокол. Свидетели есть!

Свидетели — два сержанта, что сидели рядом, — захохотали, как в бочку.

— Чего гогочете? Я и на вас составлю протокол!

Еще неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не вошел — грудь колесом — полковник:

— Что тут у вас?

А когда разобрался, что к чему, тоже покраснел, как перед инсультом, злобно взглянул на притихших подчиненных.

— Вы свободны, — сказал и порвал протокол.

Это другое дело. Старые! Баба Тэкля, что возле церкви живет, старая, да и то не совсем — девяносто девять годков...

В хорошем настроении после победы добрались они к мастерской.

— Ну как дела? — издалека весело спросил Василь Васильевич.

Мастера, однако, не отреагировали на его вопрос.

— А никак, — сказал унылый. — Шатунов нет.

— Каких шатунов?.. Вы же говорили — «рубашки»!

— Ты, дед, как на свет родился.

Они занимались уже другой машиной.

— Что же делать, хлопцы?

Пожали плечами.

— Иди на автомобильный рынок. Может, и найдешь...

— Если баксы есть, то все есть, — немного веселей добавил прыткий.

Ожидать у моря погоды было не в правилах Василя Васильевича, уж лучше искать ветра в поле. Любая неудача, несообразность вызывали у него прилив энергии, желание действовать. Недаром все говорили: «Ты, Василь Васильевич, как вечный двигатель». А как же? Только так можно преодолеть невзгоды. Нет таких ситуаций, из которых нет выхода. Например, нет денег — есть сало.

Василь Васильевич отвалил хороший кусок грудинки и отправился на базар. Антонида оставил в мастерской наблюдать, чтобы не открыли что-нибудь такое с машины, чего и за грудинку не купишь.

Вернулся после обеда. Уже издалека — по походке, по молодой улыбке — было видно: добыл, победил.

— На! — с гордостью подал унылому мастеру железяку.

Унылый, который, похоже, и на своей свадьбе ни разу не улыбнулся, долго разглядывал деталь.

— Дед, — спросил. — Что ты нам принес?

Новый год Василь Васильевич и супруга его Антонида встретили в том же уютном уголке железнодорожного вокзала. А вот православные Коляды — нет, не на вокзале, а в своей машине. Правда, ехали не в Минск, а домой, но — ехали!

Машина налегке бежала хорошо: не было в ней ни бульбы, ни мяса с салом. Когда ремонт был закончен и мастер принес квитанцию с перечислением работ и стоимости... Зато накануне Коляд цены на могилевском базаре подскочили — хватило рубль в рубль. Даже кое-что осталось — четыре ноги на студень и хорошо осмаленный свиной лыч.

Настроение понемногу поправлялось. В конце концов, один кумпяк, то есть окорок, дома остался. Немного отдышатся — и на автобусе в Минск.

## В НЕБЕСА, ЗА СЧАСТЬЕМ

Сказать, что Стефа была завистливая, — ничего не сказать. И не только на деньги. Не могла терпеть даже, если у кого куры лучше несутся, или у петуха хвост круче, или цыплята желтее. Как говорят белорусы — чужым здароуем хварэла. Думаю, можно не переводить — догадаетесь. Что же касается денег... Тут ее ох как трясло-колотило, если кто заработает больше, чем она. Ну а где можно заработать в небольшом городе, в котором ни заводов, ни фабрик, лишь только поля, лес, речка? На рынке. С весны до поздней осени торговала она чем могла — от помидорной рассады до гарбузов и капусты. И, главное, еще зимой знала, какая придет весна, на что будет спрос летом и осенью. Известно: зайздроснае вока бачыць далёка. Поясню для малограмотных: зайздроснае — завистливое.



Пора сказать, что торговала Стефа не сама — самой надо в хате и на огороде вертеться. Торговала мать — обезножившая старуха, которая боялась дочери как огня.

Утром Стефа на тачке с резиновыми надувными шинами отвозила мать на базар, устраивала на скамеечке. Следующим рейсом доставляла товар. И если хорошо наторгует старуха, катит вечером домой по траве-мураве, а нет — трясет по мощенной диким камнем улице. С деньгами — везет осторожно, даже нежно; без денег — промчится, как Перун за синими тучами. Прикатит и свалит мать на траву за калиткой: полежи, у меня свиньи заходятся. Ага, полежи, пока она свиней накормит, корову подоит, кур соберет, кролям травы бросит. Не раз и не два приходилось старухе на руках ползти к дому. Потому и просила иной раз соседок по базару: одолжите копейку, а то съест. И одолжали — жалели старую. Она всегда рассчитывалась: то варежки тайком от дочери свяжет-продаст, то носки. Бывало и так: придет кто-нибудь покупать рассаду, а соседки говорят — у нее покупайте, у нее самая лучшая. Они, соседки, тоже побаивались Стефы. Нет, ругаться Стефа не станет, только взглянет — как огнем обожжет. Такие вот глаза у женщины. Страшно.

И что у нее за характер? Мать спокойная, дети послушные... Правда, дети долго не выдержали, как выучились — из хаты бегом. Съехали в Могилев.

Видно, чего-то не хватает бабе, если сама себя готова укусить. Чего не хватает? Да мужчины! Ни первый не смог жить с ней, ни второй. Первого выставила за порог через год после того, как родила дочку, а второй уже через два месяца выкатился сам. «Солнце в небе, а он спит!» — каждый день кляла его на всю улицу. Он спит, а она уже два часа в огороде, как в оглоблях, бьется...

Однако любой женщине мужской руки хочется — вот и дурее баба. Вообще-то найти мужчину в городе можно — хватает и разведенных, и холостых. Но тут совсем иной вопрос возникает: как ему за л я ц а ц а, то есть как охмурять ее? Обыкновенно люди, если оба в возрасте, посидят рядом у телевизора, вина выпьют или хотя бы чая, по улице вечерком пройдут... Но Стефе все это не годится, ей надо, чтобы жених сразу за топор или лопату, — тогда и у нее что-то шевельнется...

В тот весенний день, о котором речь, привезла Стефа лука, чеснока, помидорной рассады. Все ядреное, крупное — а торговли нет. Покупатели были какие-то равнодушные: взглянут — и мимо, даже цены не интересовали их. И одолжить не у кого, все без денег. К обеду старая начала сильно волноваться, оглядываться туда, откуда должна появиться Стефа.

— Съест она меня сегодня, съест... Спаси, Господи!..

И наконец она, Стефа, явилась. Поглядела: лук, чеснок, рассада — все как лежало, так и лежит. Нахмурилась, набрала воздуха в грудь, чтобы рыкнуть на мать, оглянулась — а рыкнуть не на кого.

Что за чудо? Куда она могла исчезнуть — без ног?

— Где мать? — спросила у женщин, что сидели рядом.

— Ай, — удивилась одна, — и правда, где она?

— Да только что была тут! — сказала другая.

— Может, поздоровела от страха? Сама домой пошла?

— Что это вы говорите? — гыркнула Стефа и так повела взглядом — одеревенели все разом. — Поздоровела!.. Может, ей плохо стало? «Скорую» не вызывали?

— Нет, не вызывали.

Глядели одни на других, как шальные на сумасшедших.

— Может, внук приехал на машине из Могилева и забрал?

— Что вы болтаете? — снова испепелила их Стефа. — Откуда у него машина?

— Ну, так может, внучка?

Нет, это уже совсем черт знает что!

— Хватит вам прикидываться! — возмутилась наконец одна из торговок, которая, наверно, Стефы не боялась. — Будто и правда не видели... На небо она полетела. Гляньте, сказала, как там хорошо, чисто... Сказала — и полетела. Ноги подкорчила, руками замахала. Книжкой обернулась. Да вон она, вон! Слышите? Ку-ги! Ку-ги!

— Ох, как хорошо летит, как красиво! — заговорили все вместе.

Стояли, смотрели в небо и улыбались. Стефа тоже вглядывалась в синь меж облаками, но ничего не видела. Все видели, а она — нет.

Минск.



---

---

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ



## ЗВЕРЬ

*Рассказ*

**В** один год ушли от Нины мать и муж, не для кого стало готовить, не для кого жить. Теперь она, как Ева из изгнания, смотрела в сторону своего прошлого, и все ей там, в прошлом, казалось прекрасным, а все обиды и унижения выбелились до полного растворения. Она даже ухитрилась забыть о том боевом перекрестье, на котором она стояла все одиннадцать лет своего брака, в огне взаимной ненависти двух любимых ею людей.

Теперь, по истечении времени, все это вспоминалось скорее как драма сложных характеров, а не как бытовое позорное цепляние, неприличные взаимные уколы, раздражение, доходящее до точки кипения, и яростные скандалы, случающиеся всякий раз, когда Нине удавалось свести их за белой скатертью в безумной надежде соединить несоединимое. Никогда, никогда не жила Нина в раю, разве что в ранней молодости, когда она еще училась в консерватории, не знала Сережи и не случилось с ней ее первого несчастья. Но теперь все умерли, жизнь как будто свернулась кольцом и прошлое, освещенное кинематографическим светом счастья, прожорливо заглохло и пустынное настоящее, и лишенное какого бы то ни было смысла будущее.

Всеми мыслями и чувствами она была привязана теперь исключительно к покойникам, которые смотрели на нее со всех стен. Мама с арфой, мама в шляпке, мама с обезьянкой в руках. Сережа — мальчик с деревянной лошадкой, Сережа — школьник с прозрачным чубчиком, Сережа — яхтсмен с каменными плечами, предпоследний Сережа с осевшими на шею щеками, матерый, опасный, и последний — худое лицо, вмятые виски, в глазах не то сомнение, не то догадка. Или созревшая мысль, так никогда и не высказанная. И бабушка Мзия, умершая до Нининого рождения, с лицом старинным и суровым, в круглой девичьей шапочке под темным покрывалом, знаменитая исполнительница забытых теперь песен...

Почти два года прошло, как умерла мама, одиннадцать месяцев после смерти Сережи, а легче нисколько не делалось, становилось только хуже. Замучили сны. Не кошмары, а какие-то серые, на коричневом фоне вялые и блеклые картинки, такие трухлявые, что и сном не назовешь. Нина говорила себе в этом слабом сне: проснись, проснись, — но тусклая паутина теней не отпускала ее, а когда Нина наконец выбиралась отсюда, то выносила на белый день неопишемую тоску, злую, как зубная боль.

Нина наподобие кастрюли-скороварки проваривала в себе эти ночные переживания и, вконец измучившись, пожаловалась своим подругам. Подруг у нее было две: старшая, Сусанна Борисовна, — дама высокообразованная и мистически одаренная, даже состоявшая в антропософском обществе; и младшая, Томочка, — женщина простоватая, пугливая и такая богобоязненная, что за годы их дружбы Нина даже прониклась неприязнью к тому Богу, который столь многого от нее требовал и ничегошеньки не давал взамен. И даже то немногое, что от рождения было Томочке дано, — бледноватая миловидность, — и то у нее было отобрано: мать ошпарила ее в детстве и правая щека ее сильно пострадала от ожога.

Обе подруги много помогали Нине в ее тяжелые времена, но друг дружку недолго любили, ревновали. Смирная Томочка, говоря о Сусанне, наливалась анемичной злостью — на более яркие чувства у нее не хватало темперамента. Она розовела и говорила шипучим голосом: она еще себя покажет, попомнишь мои слова, я прямо нутром чувствую ее бесовские дела...

Сусанна Борисовна относилась к Томочке как будто снисходительно, только время от времени легонько высказывалась о Томочкином невежестве, о ее диких языческих заблуждениях и примитивности. К слову сказать, покойный Нинин муж обеих терпеть не мог — Тому считал убоженькой, а Сусанну Борисовну иначе как «мадам Грицацуева» за глаза не называл.

Примитивная Томочка, узнав от Нины о ее ночных страданиях, объявила, что будет о ней усиленно молиться, а ей, Нине, надо непременно причаститься, потому что все эти испытания насылаются на нее исключительно для богообращения...

Сусанна Борисовна, в некотором роде врач — у нее был косметологический кабинет, — выписала Нине транквилизатор и снотворное, а тяжелые сны объяснила неполным разрушением астральных тел ее дорогих покойников, неблагоприятными обстоятельствами их посмертного пути, рекомендовала Нине стать на путь самосовершенствования и оставила с этой целью редкую по своему занудству книгу про духовные иерархии и их отражения на духовном плане.

То ли лекарства помогли, то ли Томочкины молитвы, но первое время спать она стала лучше, серо-коричневые тени больше не мельтешили, но, странное дело, снился премерзкий запах. Она просыпалась от нестерпимой вони, наводящей ужас своей нездешней силой, потом засыпала снова. Появилось ощущение, что в доме кто-то есть: тень, призрак, недобрый дух... И эта вонь, ни на что не похожая. Вероятно, вроде тех химических веществ, от которых люди сходят с ума.

Через несколько дней приснившаяся вонь как будто материализовалась. Придя однажды с работы, Нина почувствовала резкий кошачий запах, отвратительный, но не выходящий за рамки пристойного реализма. Своим длинным и чутким носом Нина скоро нашла эпицентр вони: это были домашние тапочки Сережи, которые все это время стояли возле двери в калашнице. Нина тщательно, с порошком, отмыла тапочки, но, вероятно, несколько особо вездельных молекул осталось, так что ей пришлось еще побрызгать в квартире дезодорантом. Но кошачий запах все равно пробивался сквозь лаванду и жасмин. Она позвонила Сусанне Борисовне и пожаловалась. Та помолчала, помолчала, а потом сказала неожиданно:

— Знаете, Ниночка, а вам необходимо бросить курить.

— Это почему же? — изумилась Нина.

— На вас идет мистическое нападение, Нина, а курение притупляет мистическое чутье, — пояснила Сусанна Борисовна. — В вашей квартире неблагоприятно...

Неблагоприятно — это самое малое, что можно было сказать об этой квартире. Проклятое место, трижды проклятое место, — душа ее с самого начала к ней не лежала. Сереже приспичило сразу же после смерти мамы объединить их небольшую уютную квартиру на Беговой и мамину однокомнатную в эти хоромы, и отговорить его Нине не удалось. Он и слушать не хотел ни о последнем этаже, ни о протечках на потолке. В тот год дела его шли так хорошо, что плевал он на эту дырявую крышу и готов был над своей головой и крышу переложить. Такой уж был человек.

За полгода он сделал все точно так, как задумал: повалил стены, поднял в половине квартиры пол сантиметров на тридцать, превратив небольшую кухню и одну из комнат в трапезную, — и все жилище их представляло собой двухсветный зал, сквозняковый, холодный, а внутренняя дверь вела в большой совмещенный санузел — единственное любимое место Нины во всей квартире. Теперь она поставила туда маленький столик и по утрам пила кофе на табуретке между ванной и унитазом...

Эта проклятая квартира и съела Серезины силы, угробила его. Особенно ненавидела Нина камин. С технической стороны он не удался: дымоход был сделан кандидатом физико-математических наук, а не печником, — дым мгновенно наполнял всю квартиру и потом долго плавал едкими клоками. Сергей так и не успел его переделать, потому что к концу ремонта уже начались анализы, диагнозы, консультации и больницы...

Всего полгода он проболел скоротечным раком и умер, оставив врачей в медицинском недоумении: он был съеден метастазами, а первичного источника они так и не нашли. Но для Нины это уже значения не имело. Она осталась совсем одна, а по своей физиологической природе одиночества выносить не умела, испытывала состояние обезумевшей жены, у которой оторвали крылья: крутилась, кружила на месте, а мир проваливался под ногами или падал куда-то вбок... И теперь это наваждение...

Предсказанное Сусанной Борисовной мистическое нападение явило себя самым низменным образом в один из следующих дней. Придя с работы, Нина обнаружила в самой середине тахты, на бежевом вязаном покрывале, отвратительную кучу самого что ни на есть материального свойства. Вонь в квартире стояла столь скверная, что казалось, даже воздух в доме приобрел тот самый коричнево-серый оттенок нечеловеческой тоски, который был знаком ей по сновидениям. Нина положила голову на руки, уронила свои грустные кавказские волосы и заплакала. Плакала она недолго, потому что пришла подруга Томочка. Томочка охнула, засуетилась, убрала кучу и объяснила ее происхождение самым рациональным образом:

— Форточки открытыми не оставляй, это к тебе с крыши какой-нибудь бездомный кот повадился.

— Какой еще кот? — возразила Нина.

— Какой, какой... Большой кот, очень большой кот нагадил, — уверенно разъяснила Томочка.

Она знала, что говорила, — всю жизнь была кошатница.

Нина постирала покрывашку, вымыла полы, дышать стало полегче, но до конца запах не выветрился, и они пошли ночевать к Томочке. Форточки перед уходом плотно закрыли.

На следующий день, когда Нина пришла после работы домой, куча лежала на прежнем месте, прямо на одеяле. Форточки по-прежнему были закрыты.

Действительно, мистика. Права была Сусанна Борисовна. Никакой кот в закрытую форточку не влезет.

Она снова принялась за стирку и мытье, вылила флакон дезодоранта и, трясась от нервного озноба, легла в оскверненную постель. К запаху она притерпелась, заснуть ей теперь мешали какие-то неясные, из неопределенного источника исходящие звуки...

Именно так и сходят с ума, догадалась Нина.

Утром, уходя на работу, Нина накрепко заперла форточки и балконную дверь.

Однако возвращаться домой одна она не решилась, заехала за Томочкой, и в девятом часу пришли вдвоем. Нина открыла сложный замок двойной двери, вошла. Следом за ней Томочка. Он их ждал, как будто решил, что пришла пора представиться. Сидел в кресле, огромный, самоуверенный, щекастой мордой к двери. Нина тихо ойкнула. Томочка даже как будто восхитилась:

— Ну и котяра!

— Что делать будем? — шепотом спросила Нина.

— Как — что? Кормить, конечно.

— Ты с ума сошла? Он же никогда отсюда не уйдет! Вон, опять нагадил. — Новая куча лежала посередине прихожей.

Это был, конечно, характер. И точный глаз. Он всегда безошибочно выбирал середину.

— Сначала надо дать поесть, а там видно будет, — решила Томочка.

Он был не пушистый, а, напротив, совершенно гладкошерстный и как будто асфальтовый. Сидел неподвижно, опустив слегка голову, смотрел на них стоячим звериным взглядом и, судя по всему, виноватым себя не чувствовал.

— Каков наглец, — возмутилась Нина, но вынула из холодильника кастрюльку старого супа, который она, повинуясь многолетней привычке, все варила, бросила туда две котлетки и шлепнула на плиту.

Потом Томочка поставила миску с подогретым супом возле двери, прямо на половик, и позвала его «ксс-ксс». Человеческий язык был ему знаком. Он тяжело прыгнул с кресла и медленно пошел к миске. Вид у него был внушительный. Если бы он был человеком, можно было бы сказать, что он идет как старый штангист или борец, ссутулившийся от тяжести мускулов, спортивной усталости и славы. Перед миской он остановился, понюхал, присел и, прижав к голове одно ухо — второе, драное, висело лопухом, — начал быстро жрать. Томочка же просительным голосом увещевала его:

— Ты поешь, котик, поешь — и уходи. Уходи, нечего тут тебе делать. Поешь, и уходи себе, пожалуйста.

Он оглянулся, развернувшись широкой грудью, и посмотрел на Томочку очень сознательным взглядом, потом снова уткнулся в миску. Съев все, дочиста облизал миску. Тут Томочка открыла перед ним входную дверь и твердо сказала:

— А теперь уходи.

Он все отлично понял, обманно шагнул в сторону двери, потом резко развернулся возле калошницы и, сделав молниеносный полукруг по квартире, шмыгнул под книжный шкаф.

— Не хочет уходить, — тоскливо сказала Нина. — Напрасно мы его накормили.

— Ксс-ксс, — страстно шипела Тома, но кот не реагировал.

Нина вынесла из ванной швабру и зло сунула под шкаф. Кот вылетел оттуда, метнулся по квартире раз-другой, а потом исчез под диванчиком, придвинутым спинкой к кухонному подиуму. Нина пошарила под диванчиком. Потом отодвинула его. Кота там не было. Он исчез. Подруги переглянулись.

Они постояли в молчании, переживая происшествие. Потом Томочка нагнулась и недоверчиво провела рукой по панели. Слегка нажала. Доска отошла. Это был лаз в плоский подпол, образовавшийся под кухней.

— Так вот где он у тебя живет, — обрадовалась простодушная Томочка, — а ты говоришь — мистика...

— Ужас какой... Теперь его оттуда не выкурить...

— Надо немедленно забить доску, — с глупой решительностью вскочила Тома.

— Ты что, — собралась с умом Нина, — а если он там сдохнет? Предлагаешь, что будет? Дожлый кот в доме...

О, был бы жив Сережа, ничего бы этого не было... Все этой глупости...

— Валерьянку надо купить, вот что! Мы выманим его валерьянкой и тогда забьем, — воскликнула Тома. — Только валерьянки нужно побольше.

Валерьянки купили много, налили полное блюдечко и затаились. Томочка оказалась настоящим знатоком кошачьей души: через пять минут он вылез из-под отстающей панели, резво подбежал к блюдечку и вылакал его в один присест. А потом он пошел от блюдечка прочь, к своей дыре, раскачиваясь, как матрос на палубе. Потоптался, явно потеряв направление, нескладно развернулся и пошел к тахте, на которой затаились подруги. В Нине проснулись зачатки юмора:

— Сейчас закурить попросит...

Отсмеявшись, Томочка скомандовала:

— Все. Берем его и выносим. И немедленно забиваем дыру.

Она снова зашипела свое «ксс», протянула к коту руки, но он метнулся в сторону. Нина подхватила его, он вывернулся и грузно шлепнулся об пол. Пьян-то он был пьян, но в руки не давался. Кот, судя по всему, пытался пробиться к дыре. Нина прижала отошедшую доску своими голубоватыми пальцами.

— Тома, коробку в ванной возьми! — крикнула она, но кот как будто понял их замысел и решил отступить к балкону. С каждой минутой он делался все пьяней. — Дверь! Дверь балконную закрой! Он упадет оттуда!

Тома опередила кота, закрыла перед его носом балконную дверь, и не без труда они запихали его в картонную коробку из-под соковыжималки. Он орал низким голосом что-то ругательное и, может быть, даже матерное... Они выволокли коробку на двор, положили ее возле мусорного контейнера и открыли крышку. Он продолжал орать благим матом, но не вылезал. Женщины поспешили домой забивать дыру. И устроили себе маленький праздник по поводу освобождения от врага — выпили хорошего грузинского вина. Но ликовали они, как потом выяснилось, преждевременно.

Особая сила этого приходящего кота состояла в том, как легко он превращался из хамской скотины, позволяющей себе то, чего ни одна даже слабоумная кошка не позволяет в доме, в бесплотный призрак, как беспрепятственно он шмыгал между Нининым сном и ее обыденной жизнью, оставляя и там и тут смрад, страх и особого рода кошачесть, которая как будто отрывалась от него самого и растекалась, оседая на вещах и проникая в Нину через воздух, через поверхность ее тела так глубоко, что она изводила флаконами шампуня и мыла, чтобы отмыть эту всепроникающую гадость. Сам он больше не появлялся, зато теперь снился почти каждую ночь, искусно меняя свой облик, но Нина научилась распознавать его в темном облаке, наползающем из угла, в ландшафте, имеющем к нему несомненное отношение, и даже в господине, которого она различала в толпе, как в прежние времена тайного агента.

Сусанна Борисовна, информированная о всех этих перипетиях, собиралась в Германию на коллоквиум или симпозиум и обещала Нине, что непременно обсудит эту ситуацию с самым компетентным специалистом во всей Европе.

Однажды ночью кот снова явился во плоти. Каким образом он проник в квартиру, осталось неизвестным. Лаз был забит, балкон и форточки закрыты, камин был вне подозрений, поскольку его прямой дымоход выходил непосредственно на крышу, и ни один кот, если он не насекомое, не смог бы преодолеть три с лишком метра абсолютно вертикальной трубы. Тем более, что к устью камина был придвинут экран. Вероятно, чтобы обнаружить тот потайной ход, которым воспользовался кот, надо было бы разобрать весь этот старый дом. Кот влез на высоко подвешенную полку, накренил ее и сбросил, таким образом, всю тонкостенную черную керамику, чудо грузинского прикладного искусства, собранную Ниной еще в студенческие годы. Справившись с ужасом конца света, пережитым ею еще во сне, на фоне звенящего тусклым черным звоном обвала, Нина зажгла лампу и увидела, что пол завален черепками, а кот, не успевший раствориться одному ему известным способом, забился в угол и скалился оттуда наподобие цепной собаки. Это было столь мягкое продолжение ее кошмара, что она не сразу поняла, где находится — в новом сне или в собственном доме...

Нина собирала черепки и, не поворачивая головы, слабо причитала:

— Ну что ты за скотина такая... откуда такие бандиты берутся... зачем ты ко мне приходишь, что тебе надо, скажи...

Потом она вынула из холодильника полкурицы и вынесла на лестничную клетку:

— Иди ешь, и чтоб я тебя больше не видела.

Еды он, собственно, не требовал. Но и не отказался. Лениво пошел за курицей. Нина закрыла за ним дверь. Она отлично понимала, что так просто он ее не оставит.

Через четыре дня он появился снова. Сидел в кресле как ни в чем не бывало, вроде бы на своем месте, а на середине бежевого покрывала, вымытого, выветренного на балконном воздухе, лежал убедительный знак его, кота, господства и над этой квартирой, и над самой Ниной.

Тем временем вернулась из Германии Сусанна Борисовна, позвала Нину в гости. Была Сусанна Борисовна на этот раз какая-то утихшая, благостная, в доме у нее пахло благовониями и богатством, горели свечи. На ужин она подала сухую ерунду, Нина бы постеснялась к такому столу звать человека. Зато сама Сусанна Борисовна была как вдовая королева: в лиловой одежде наподобие мантии, голова повязана фиолетовым шарфом в виде тюрбана, грим темный и такой уродливый, что заподозрить ее в кокетстве было никак невозможно. Поели синего салата из красной капусты, потом выпили бордового чаю из шиповника, все в гамме, а потом Сусанна Борисовна объяснила Нине такую вещь, которая никому другому и в голову не пришла бы. Она подчеркнула, что это не только ее личное мнение, но и особое видение ее учителя. Получалось, что перед человеком ставятся определенные задачи, которые необходимо решать, и высшие силы, ангелы и прочие, а одновременно и здешние учителя, эти задачи решать помогают. Однако если человек противится, то задачи эти трансформируются во что-то кошмарное вроде болезни или, например, кота. Нинин же кот есть на физическом плане проявление духовного неблагополучия, но возможно даже, что не в самой Нине дело, а, наоборот, в отношениях тех родственников, которые уже ушли...

— Это очень серьезно, Нина, требуется большая работа, я готова и сама вам помочь по мере возможностей и познакомить вас с продвинутыми людьми, — заключила Сусанна Борисовна.

От этого разговора и от всей этой лиловости Нина почувствовала себя еще хуже и даже подумала, не сходить ли ей действительно с Томочкой в церковь, все-таки была она человек православный, крещена во младенчестве в старинном тбилисском храме святой Нины и даже крестные родители имеются...

Опять Нина ночь не спала, и таблетки не помогали.

На следующий день Миркас, начальник Нины и друг покойного Сережи, велел зайти к нему после обеда. Он взял ее к себе в контору после смерти Сергея, платил хорошие деньги, хотя, когда брал, понятия не имел, как точна и аккуратна Нина в любой работе, а в делопроизводстве вообще царь и бог.

Он вызвал ее — и она забеспокоилась, не допустила ли какой оплошности. На прошлой неделе проходил очень сложный контракт, и она вполне могла что-то напутать. Но когда она вошла к нему в кабинет, он ее сразу ошарашил:

— Слушай, Нина, ты не больна? У тебя вид ну никакой...

Прежде они были на «ты», но теперь Нина старалась при разговоре строить фразу грамматически неопределенно, чтобы никак не обозначать их новые служебные отношения. Слишком давно они были знакомы, чтобы переходить обратно на «вы».

— Все ничего. Бессонница у меня.

Он осмотрел ее товароведческим взглядом: она была не в его вкусе, но, бесспорно, очень стильная. Худая, с ранней откровенной сединой, всегда в черном... Конечно, длинный подбородок, впалые щеки, круги под глазами — но ведь есть, есть в ней что-то...

— Любовника заведи, — хмуро посоветовал он.

— Это служебное распоряжение или дружеская рекомендация? — Взгляд опустила, а подбородок вверх тянет.

Дура, гордячка.

— Бессонница тоже болезнь. Может, тебе отдохнуть надо? В Тунис, на Канары, — куда там девушки отдыхать едут? Фирма оплачивает... Возьми неделю, десять дней. На тебя смотреть невозможно. — Он говорил не то раздраженно, не то брезгливо, а Нина все выше задирала подбородок.



Потом он скривился, сморщился и сказал хорошим человеческим голосом:

— Ну чё, чё у тебя случилось... Какие проблемы?

И тут гордая Нина закапала глазами:

— Ой, Толечка, не поверишь... Кот замучил...

Сбивчиво и путано Нина рассказала всю историю. По мере того как он слушал, сочувствие его видимо улетучивалось, и к концу рассказа он обычным своим начальничьим голосом отрубил:

— Значит, так. Как только появится, сразу звони мне на пейджер. Я с ним разберусь.

Слухи про Миркаса ходили такие, что разборки он производить умеет.

Возможно, до кота эти слухи тоже докатились, потому что он на глаза несколько дней не показывался, хотя своим вниманием Нинину квартиру не оставлял. Как-то, уйдя на работу, Нина не затворила дверцу шкафа, и подлец, конечно, воспользовался ее оплошкой, нагадил в шкаф. Бедной Нине пришлось волоочь весь свой немалый гардероб в чистку, но и после чистки ей все чудился кошачий запах, и это было ужасно.

Но все-таки настал день, когда кот как ни в чем не бывало встретил ее в кресле. Она сразу же позвонила Миркасу. Миркас приехал ровно через двадцать минут, и все это время глубоко подавленная Нина просидела в ванной на табуретке.

Ни слова не говоря, Миркас направился к креслу. Но эти ребята оказались равными противниками: Миркас схватил кота за шкуру, а тот вцепился ему в руку. Раздался утробный рык, и совершенно непонятно было, кто его издал.

— О господи! — ахнула Нина, увидев располосованную руку.

— Балкон! — рывкнул Миркас, и Нина, забежав вперед, открыла балконную дверь.

И что толку, успела подумать Нина, не поняв намерений Миркаса, все равно опять придет.

Окровавленный Миркас держал кота за шкуру, а кот драл его всеми четырьмя лапами. Нина в ужасе прижалась к двери — крови она не выносила. Прохрипев тихое зловещее ругательство, Миркас размахнулся и швырнул кота через балюстраду балкона. Нина отчетливо уловила мгновение, когда кот после броска взлетел немного вверх, расправляя на ходу передние лапы и пригнув голову, потом как будто замер в позе космонавта в открытом космосе — и исчез из виду. И сразу же внизу раздался звук, как будто выплеснули таз воды. В темноте двора ничего видно не было.

Пока травмированная Нина промывала Миркасу рваные раны, тот только покачивал головой:

— Ну, зверюга... Таких отстреливать надо...

Вид у Миркаса был такой, будто он только что старушку топором зарубил.

Нина проспала всю ночь как убитая. Выспалась впервые за долгое время. Однако уже перед самым выходом из дому вдруг ужаснулась: а если мертвый кот лежит под ее балконом, как же она мимо пройдет... Хотя про кошек известно, что они умеют на лету равновесие держать, крутят хвостом как пропеллером и на все четыре лапы приземляются...

Но возле дома никакого мертвого кота не было, и вообще никого не было. Нина вышла из своего Чистого переулка и пошла в сторону Зубовской площади...

Кот, на время или навсегда, исчез. Настроение же у Нины делалось все хуже. Вероятно, Миркас его все-таки убил, и хотя кот был, конечно, большой подлец, но смерти ему Нина не желала. Хотела только, чтобы он исчез. Но теперь, после всего этого кошмара, казалось, наступило облегчение, а Нина, приходя с работы, как будто немного ждала, что эта поганая скотина сидит в ее кресле...

Тем временем приближалась годовщина Серезиной смерти. Принять надо было человек тридцать, и не как-нибудь, а по-хорошему. Миркас тоже про годовщину помнил. Всю неделю он ходил злой как черт, рука у него нарывала, кололи антибиотики, однако, проходя мимо Нининого стола, положил перед ней конверт:

— В ресторан зовешь или дома устраиваешь?

Гордость Нинина страдала ужасно — при Серее ее так не унизили бы... Но опомнилась от приступа несуразной гордости, отвела свои бесподобные волосы с лица:

— Спасибо, Толя.

И купила еще поросенка, и утрей, и полкило икры...

Рано утром Томочка отправилась в церковь, заказала панихиду. Нина в церковь не пошла — Сереза всего этого при жизни терпеть не мог. Она поехала на кладбище. Повезла цветы. Памятник уже стоял, еще ранней весной Нина все устроила: большой черно-серый камень, грубый и простой...

Вечером все получилось как нельзя лучше — столы богатые и красивые, как Сергей любил. Пришли все, кого Нина хотела видеть: Серезины друзья, и его двоюродный брат с семьей, и одинокая золовка, которая Нину недолюбливала, и Миркас пришел со своей старой женой, неизбалованной Викой, а वाले не с теми новенькими, которых у него столько развелось в последнее время, и Нина была этому рада. Пришел даже адвокат Михаил Абрамович, который защищал Серезу в давние времена, когда случились с ним большие неприятности. Адвокат с тех пор стал очень знаменитым, по телевизору постоянно выступал, а про годовщину не забыл... Все говорили про Серезу хорошие слова, отчасти даже и правдивые: о силе его характера, о смелости и мужестве, о таланте. Правда, сестра его Валентина ухитрилась как-то вставить, что Нина детей ему не родила. Но Нина и бровью не повела — это место в своей жизни она давно уже оплакала. И ему простила, что заставил ее, дуру, без памяти влюбленную... Вот мама никогда не простила. Да и что теперь об этом вспоминать, в тридцать девять-то лет...

Гости ушли поздно, унося в животах неслыханное Нинино угощение и оставив после себя не до конца утративший парадную красоту стол и запах дорогих сигарет. Нина отправила Томочку домой: она захмелела как школьница и все норовила высказать что-то свое особое, про Бога, отчего всем становилось неловко. Оставшись одна, Нина все убрала не торопясь, привычным образом разговаривая про себя с Сереей... Но он, привычным же образом, как и при жизни бывало, ничего не отвечал.

Легла она около четырех в чистую холодную постель, в клетчатое синезеленое белье, купленное в Берлине, куда они ездили с Сереей три года тому назад, в последнюю их совместную поездку. И хотя на этот раз она не приняла никаких таблеток, сразу же, как только согрелась, уснула и спала глубоко, гуляя глазами яблоками под темными веками, а под утро, когда начали оживать и тихонько шуметь от первого ветра ветви большой липы, прикасающиеся к перилам балкона, ей приснился сон, самый удивительный сон в ее жизни.

Она стояла на верхнем этаже по-дачному большого дома, который был еще недостроен, потому что сверху были видны помещения нижнего этажа, какие-то балки, лестницы, и все это в несколько уровней, не совсем точно обозначенных, и вдруг она услышала пение. Женский голос пел старинную грузинскую песню. Бабушка, догадалась Нина и сразу же увидела ее. Она сидела на маленькой табуретке, с которой свисала коричневая кисть положенной на нее подушки. Черная шапочка была надвинута на лоб, а темная ткань падала вдоль светлого лица. Она пела, но рот ее был сомкнут, губы неподвижны, и Нина опять очень легко догадалась, что это иное пение, не голосовыми связками образуемое, а другим органом, к горлу не имеющим отношения, но без которого вообще никакое пение невозможно. И как только она догадалась, из какой точки солнечного сплетения исходит пение, она

услышала, что песня разделилась на два голоса: низкий, бабушкин альт, и второй, сопрано, ее потерянное сопрано, невозвратимое счастье, но даже еще лучше, чище и шелковистей, чем было у нее, когда еще она училась в консерватории. И звук возвращенного и обновленного голоса имел какую-то иную природу, потому что он притягивал к себе, как магнит притягивает железо, и светлый недостроенный дом стал вдруг заполняться людьми, среди которых не было незнакомых, хотя по имени Нина знала не всех. Это были они, серо-коричневые тени, но от звуков этого неведомого пения они осветлели и проявились, как на фотобумаге, и вот среди них она различила сначала маму, а потом и Сережу.

Нина спустилась к ним по лестнице в тот момент, когда они узнали друг друга в толпе и обнялись, как будто один ждал другого на перроне и поезд наконец пришел. Мама, худая, очень молодая, еще укрытая Серезиным широким объятием, вдруг увидела ее, засмеялась и закричала: Нинико!

Но мамин голос был не сам по себе, он тоже был частью этой грузинской песни, хотя песня уже перестала быть грузинской и слова ее, при полнотой их понятности, были на другом языке.

Сереза обхватил Нину за плечо, и запах его кожи, его волос обжег ее, и она видела, что и его ноздри напряглись и он опустил голову к ее волосам.

Кто-то легко пнул ее под колено, и она, оглянувшись, увидела огромного кота, который терся о ее ноги, требуя ласки. Это был он, треклятый кот, который испортил ей столько крови. Сергей нагнулся и погладил его по асфальтовой спине. Мама жестом родственной приязни поправила на Серезе загнувшийся борт пиджака... Но этого было мало: откуда-то сбоку, взявшись под руку, шли ей навстречу две ее подруги — Томочка и Сусанна Борисовна. И у них были такие прекрасные лица, что Нина, смеясь, поняла: прежде-то они обе были ужасные идиотки, но это было только временно...



---

---

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВСКАЯ

\*

## НИ ДНЕМ, НИ НОЧЬЮ

\* \*

\*

Косноязычье прощаний... Ненужность плетений  
Кружев словесных — сетей над оставленным кровом...  
Сколько их было под небом — потерь, обретений,  
Встреч и разлук: «Возвращайся живым и здоровым...»

Верить в могущество Слова... Да можно ль иначе?  
Новых — не надобно... И повторяются снова,  
Как ворожба, пожеланья добра и удачи:  
«С Богом... Счастливо... И главное — будем здоровы...»

\* \*

\*

Медуницы и осы тяжелую розу сосут.

*О. Мандельштам.*

К тишине возвратимся, уйдя от бесплодного спора,  
К озабоченным осам, ввинтившимся в сочную плоть  
Розовой грушовки, давно ожидающей сбора,  
К первозданному миру, каким его создал Господь.  
К лучезарному миру вернемся, к медовому Спасу  
Возвратимся душой, — да и яблочный не за горой...  
Чтобы шло все своим чередом да к урочному часу,  
Как в природе положено, — все надлежащей порой:  
Время пижме цвести, чтобы было все с чувством да толком,  
Время гнезда свивать, время птице вставать на крыло,  
Время мир и покой обрести одиночкам и толпам, —  
Как сказали бы в древности — всем это важно зело...

\* \*

\*

Не задавай вопросов по утрам,  
Когда небесный свод так нежно розов.  
Уж лучше выпей трезвых двести грамм  
И по утрам не задавай вопросов.

Не поднимай излишний тарарам  
И стоек будь, как греческий философ...  
Не задавай вопросов по утрам  
И среди дня не задавай вопросов.

И дома, и блуждая по горам,  
И в чистом поле, и среди отбросов  
Не задавай вопросов по утрам  
И вечером не задавай вопросов.

Все сам реши, ответь и сделай сам  
И, отступив от дедовских заветов,  
Не задавай вопросов по утрам,  
Ни днем, ни ночью не давай советов.



---

---

ОЛЬГА ДМИТРИЕВА

\*

## КРЫША И ОКНО

\* \*  
\*

И дневать и ночевать  
Всем нам суждено,  
Но не всем даны кровать,  
Крыша и окно.

Буду ночку ночевать,  
Стану утра ждать,  
Буду зиму зимовать,  
О весне мечтать.

Никому не миновать  
Век свой вековать,  
Часом горе горевать,  
Жить и умирать.

\* \*  
\*

Есть двор московский в старом переулке,  
Обычный двор и тусклых окон ряд,  
Но там смолкает улиц грохот гулкий  
И время, кажется, плывет назад.

И я, старуха, становлюсь девчонкой,  
Искусно в стенку мячиком стучу  
И «раз, два, три!» выкрикиваю звонко,  
В «десяточки» я выиграть хочу.

Как будто не было совсем потерь горячих,  
И снова я на свете не одна  
И жду каких-то дней счастливых, лучших,  
И мама... смотрит из окна.

---

Дмитриева Ольга Николаевна родилась в Чите в 1922 году. Окончила филологический факультет МГУ (романо-германское отделение) в 1945 году. Работала библиографом, переводчиком. Много времени в последние годы отдает защите животных. Публикуется впервые.

\* \*  
\*

Историю смерти Иисуса Христа  
Читаю под сенью лесного куста,  
Букашка ползет по изгибу сучка,  
А в небе высоко плывут облака.

Я знаю: когда пронесутся века,  
И в прах обратятся и лес, и река,  
И рода людского развеется кровь,  
Останется только Любовь.

Читаю великую книгу Любви,  
И листья мне ласково шепчут: «Живи...»  
В высокой траве, у лесного куста,  
Я вижу и слышу Христа.

\* \*  
\*

Уходит жизнь. Слабеют руки, ноги,  
И замирает слух, и гаснет зренье,  
И все трудней ступени и дороги,  
И лишь в душе не гаснет удивленье.

Вся жизнь почти воспоминаньем стала,  
Давно ушло, что было сердцу мило,  
И лишь душа жива и не устала  
И спрашивает: «Что же это было?»



---

---

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

\*

## КЛУБ ВОЛЬНЫХ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ

*Рассказ*

**Б**ыло время, артиллерийский генерал в отставке Желнин несказанно удивлялся: откуда и для чего нынче образовалось столько партий, движений, обществ, комиссий, комитетов, круглых столов и прочих, и прочих в том же духе организаций, которые и организациями-то нельзя было назвать, так как не было заметно никаких результатов их деятельности? По мере того как время становилось все труднее, все безнадежнее, таких грибов прорастало по России все больше и больше. Свободной для обыкновенной травки-муравки территории оставалось все меньше да меньше. От наблюдений за этим процессом возникала тоска. И чувство растерянности очень неприятной.

Но потом вот что совершенно неожиданно случилось: генералу Желнину пришло желание самому создать какую-нибудь организацию — отнюдь не международную, не государственную, не областную, не городскую, даже не общественную, без устава и регистрации, а просто кружок более или менее знакомых между собой людей не моложе семидесяти пяти лет (генералу Желнину на днях стукнуло восемьдесят два). Название этой организации (группе, кружку собеседников) он придумал такое: Клуб Вольных Долгожителей, причем эти долгожители в материальном отношении должны быть устроены более или менее удовлетворительно и, уж во всяком случае, не быть бомжами.

В чем дело, что за причина была для такого решения?

На взгляд генерала, причина была, и состояла она в следующем.

Почему это человек, старик (генерал имел в виду только мужчин, женских проблем он никогда в жизни не касался), — почему такой человек, уже никому на свете не нужный, а больше всего ненужный самому себе, покорно ждет дня своей смерти — дня, который будет определен деятельностью бактерий его собственного организма? Что за подчиненность такая? Что за рабство? Что за абсурд?

Генерал Желнин всю жизнь провел в командовании одними людьми, младшими, и в подчинении старшим командирам, но при чем здесь бактерии?

И вот, собираясь изредка в доме генерала Желнина, члены Клуба собеседовали, доказывая, что человек, тем более пожилой, имеет полное право, несмотря на общепринятые нормы поведения, распорядиться своей жизнью так, как он хочет. Хочешь жить и дальше — живи, твое хозяйское дело, но если не хочешь, если время, в котором ты живешь, тебе до чертиков надоело, опротивело, не укладывается в твоём сознании — тогда умирай своими собственными, а не бактериальными силами и средствами...

Больше того — члены Клуба могли оказать тебе пусть и небольшую, но материальную помощь (похороны), не говоря уже о моральной помощи. Моральная сама собою разумелась.



Почему Клуб назывался «вольным»? А вот по этому самому: его члены оставляли за собой право самостоятельного и независимого решения — никто ими не распоряжался, никто ими не командовал.

За рекой стояло одинокое облезлое девятиэтажное здание — пансионат для престарелых. Вот это была тюрьма так тюрьма, насилие так насилие!

Там пенсионеров ненавидели и в то же время заставляли жить: кормили жидкой кашей, чтобы сохранить жизнь, спать заставляли по отбою и на кроватях без простыней, на подушках без наволочек, койка стояла там к койке, не продохнуть, в двухместных палатах жили по трое, а то и по четверо, и командовали ими без конца: «На обед», «На ужин!», «Вставать!», «Ложиться спать!». Как в казарме. Но в казарме все это относилось к молодежи, к парням, парней воспитывали, приучали к мысли о смерти на войне, а применительно к хрым и убогим старикам это было унижительно! Их-то к чему приучали?.. Какие-то сестры, уборщицы, сиделки, какие-то дамы из администрации пансионата заходили, должно быть, специально покомандовать. А то лифтерше подваливала благая мысль — выпить, и старики ходили друг к другу по палатам, собирали гроши на поллитру сердитой лифтерше.

В армии увольняют в шестьдесят лет, а сюда помещают и в восемьдесят.

Двое из Клуба Вольных побывали в том пансионате, они рассказывали, как там и что. Как туда рвутся тысячи стариков, а им отвечают: «Вот вас тысячи желающих, а в пансионате умирает всего человек пять в месяц — где взять свободные места? Скажите, пожалуйста, — где?..»

Стариков, которых можно было освободить от такой судьбы, обязательно надо было освободить, вот генерал Желнин и старался.

У генерала Желнина был свой дом, двухэтажный, он выстроил его вскоре после войны. Каменный. Первый этаж строили еще пленные немцы, второй, деревянный, — русские солдатики-стройбатовцы. Дом занимали теперь семь двух генеральских дочерей, а его собственностью дочери признавали только две комнаты окнами во двор: большую, «кабинет», и маленькую со скошенным потолком, спальню. В эти комнаты и дочерям, и зятьям, и внукам вход был разрешен только по вызову — никакой личной инициативы.

Желнин любил стоять у правого окна своего «кабинета», под портретом маршала Жукова, и внимательно вглядываться в знакомую-знакомую картинку: небольшой дворик с металлическим гаражом зеленого цвета, ветхая оградка, за которой находился тоже небольшой огорожок, небольшой, но четко поделенный деревянными кольями на Ленкину и Нинкину половины.

И для чего было вглядываться? Ничегошеньки новенького, все известно, все зримо до мелочей, до какой-то даже противности, за которой стояла неизвестность. А в неизвестность всегда, волей или неволей, внимательно вглядываешься — уж так устроено.

Три раза в день — на завтрак, обед и ужин — Желнин выходил к дочерям, то к одной, то к другой, говорил «здравствуйте», иногда «добрый день» и, поев, уходил. Своих зятьев он попросту не замечал, имен их, кажется, не знал, как, впрочем, и имен внуков, хотя изредка и трепал мальчишек по головам: «Ну как жизнь, сорванец?»

Жена генерала умерла от рака давно, лет двадцать тому назад, но и в ее бытность порядок был примерно такой же.

Сам генерал Желнин был фигурой несколько странной, но явно скроенной под военную форму: высокий, стройный, с продолговатой и совершенно лысой головой, только на затылке виднелось что-то такое седенькое. Походка у него сохранилась строевая и совершенно не соответствовала нынешнему его одеянию: шлепанцы, широкие пижамные штаны и гимнастерка более или менее военного вида.

Еще в «кабинете» над письменным столом висела генеральская фуражка, иногда он ее надевал, и лысая голова его, да и весь он сразу же преображались, приобретали иное, вовсе не пенсионное значение, и «кабинет» тоже становился похожим на кабинет: посередине большой письменный стол с геогра-

фической картой СССР и упомянутой фуражкой над ней, на левом краю стола — глобус. На правой боковой стене — фото покойницы жены, женщины простенькой, но отнюдь не глупой, на стене слева, рядом с входом в спальню, — таких же размеров фотопортрет маршала Жукова.

Еще вдоль одной стены, напротив окон, — три книжных шкафа и стол с пишущей машинкой, биноклем, логарифмической линейкой и телефоном.

Если бы не портрет жены, «кабинет» больше всего походил бы на штабное помещение, хоть и заброшенного в тартарары, воинского подразделения. Иначе и быть не могло — генерал Желнин всегда был и оставался человеком армии. Когда-то, во время Гражданской войны, он был сыном полка имени Троцкого, затем кончил военное училище, служил заместителем командира батареи трехдюймовок, потом был посажен, но ненадолго — вскоре же освобожден (вероятно, в одно время с будущим маршалом Рокоссовским) и направлен в действующую армию. Войну кончил в Австрии, там он пробыл еще почти два года после войны, неплохо знал немецкий.

Затем он служил в штабе одного из центральных военных округов, некоторое время — в конструкторском артиллерийском бюро, но это — недолго, хотя у него и обнаружилось конструкторские способности, но он рвался в строевую службу (к удивлению высокого начальства), к штабам же относился равнодушно: «Что они там знают и что видят — в штабах-то?»

В свое время, работая в конструкторском бюро, Желнин показал себя неплохим инженером и даже почувствовал вкус к делу, но тогда ему казалось, что вслед за войной, окончившейся в 1945 году, вот-вот начнется еще какая-никакая, а война, за ней еще и другие войны; в таком случае, вопрос о том, куда идти и чем заниматься, для него не возникал. Войну он считал не то чтобы своим природным призванием, но своей неукоснительной обязанностью. Без рассуждений — почему война, для чего и чего ради.

Раз, редко — два раза в месяц в «кабинете» генерала собиралось человек двадцать, а то и побольше членов Клуба Вольных Долгожителей, тогда внуки, а иногда и внуки приносили сюда стулья со всего дома, а также кое-какие малые закуски: бутерброды, рыбу, жареное или вареное мясо, реже — гречневую кашу с молоком. Кое-что выпить — более чем в ограниченных размерах — доставляли сами участники Клуба. Но это — не обязательно. Обязательными были в руках всех пришедших записные книжки, вернее — общие тетради с записями, которые человека два-три зачитывали перед аудиторией. Шепотом же, просто тихим голосом здесь говорилось и о том, кто и какими средствами ухода из жизни располагает.

У генерала Желнина на полочке над кроватью находился деревянный, с резьбой коробок, в коробке — пакетик, в пакетике — таблетки, у агронома Сивцова — что-то растительное, филолог Ямин предпочитал газовый вариант... Ямин вообще выступал в Клубе с идеей построить в городе общедоступную газовую камеру, которой мог бы воспользоваться каждый желающий, заявив о своем намерении не менее чем за месяц. Это служило бы доказательством надлежащей обдуманности поступка. Нужно было, по Ямину, предварительно внести небольшую сумму денег и предоставить медицинскую справку о состоянии психики претендента.

Ямин видел в своем проекте высшую логику и высший гуманизм, свойственный двадцатому веку. Если не в двадцатом, так в двадцать первом веке такой порядок вещей обязательно будет общепризнан, но кто-то должен положить ему начало. Этим кто-то и был, по мнению Ямина, Клуб Вольных Долгожителей.

Да, день первых похорон ушедшего из жизни члена Клуба был фактически днем рождения Клуба: осенний, с легким, все еще ярким солнышком, с ветерком, время от времени пошевеливающим уже пожелтевшую листву кладбищенских берез, — все это делало окружающее пространство каким-то более ясным и понятным, а глубину неба гуще и синее.

Одноклубники стояли плотно, все они вот уже недели три, месяц угадывали, кто будет первым. Первым оказался бывший учитель рисования (без нескольких дней восемьдесят лет) из весьма многочисленной и уже потому несвоевременной семьи, родственников было на похоронах довольно много, дети и опять же старички, но людей среднего возраста — никого. Старички не без зависти поглядывали в гроб, детям хотелось шалить, но они сдерживались, вся природа вокруг, да и люди были немного ненастоящими, походили на рисунок покойного учителя рисования, а для всех членов Клуба это было как бы генеральной репетицией хорошо и благородно задуманной пьесы. О благородстве одноклубникам надо было помалкивать, даже друг перед другом, но тем сильнее было это чувство: все правильно, вот так и надо жить, а главное, вот так и надо умирать, как постановил Клуб. Пройдет немного времени, и человечество усвоит этот замысел. Это вам не коммунизм, это — истина. Учитель рисования, первым из членов Клуба покончивший с собой, — это вам не Ленин-Ульянов, который жил в беспамятстве чуть ли не два года, забыв таблицу умножения.

Только-только засыпали могилу, пошел дождь, кто имел, раскрыли зонтики, несмышленные дети не без шума старались уместиться вдвоем-втроем под одним зонтиком. Клубный замысел выдержал первый экзамен, первые учебные маневры прошли с оценкой по меньшей мере «хорошо».

Появилась уверенность, что это вполне возможно: умереть в здравом уме не самооплеванным и не самообписанным — не так, как на боевом посту, но все-таки.

Уверенность в наше время очень важная: когда все свое прошлое ты сам ставишь под мучительное сомнение, а настоящее даже и сомнению тому не поддается, настолько оно глупо, настолько оно фарисейское и никак не определено (разве только в воровском смысле), настолько в нем много жертв с применением оружия и без — просто-напросто от голода и нищеты.

Одним словом, уверенность эта приближала генерала Желнина к тому месту в жизни, которое он называл «боевым постом».

За какой-нибудь последующий год-полтора первый маневр повлек за собой вполне реальный результат — еще три столь же сознательных и достойных смерти. Все три как по писаному приходились на осень, но на похоронах уже не было прозрачной желтизны кладбищенских берез учителя рисования — куда-то исчезла, несмотря на то что все члены Клуба ее ожидали.

Тем не менее члены Клуба обязательно примеривали каждое подобное событие к себе: «Вот он решился, а я почему все еще чего-то жду? Чего, спрашивается?»

Вечером каждого похоронного дня члены Клуба собирались на жилплощади генерала Желнина и тут старались заслушать и запомнить наиболее значительные сообщения (можно было сказать — и доклады).

Речь шла, например, о том, что природа едва ли не всех живых существ на земле одарила огромным жизненным потенциалом. Так, срок жизни человека, если он будет жить нормально, в нормальных условиях, разумно пользоваться данным ему потенциалом, может составить в среднем двести лет; выходит, и сегодня в России среди нас могли бы быть и Достоевский, и Толстой, и Вавилов — мало ли еще кто? Может быть, сам Пушкин? Вот только вряд ли они были бы счастливы... Единственным выходом для них было бы разве что членство в Клубе Вольных.

Но никого из них нет — давно умерли. И это правильно, это куда как разумно, потому что разум человека не может существовать в двух, а то и больше исторических эпохах: новые эпохи его не принимают, а он не принимает их, как они того заслуживают. Или представить себе, будто Сталин жив еще и сегодня. Что бы тогда было?

Но это только часть проблемы, может быть, и не самая главная, самая главная — чисто демографическая: будь средняя продолжительность жизни человека и в самом деле двести лет, сколько бы сейчас исчислялось людей на

Земле? И как бы они делили между собой земные блага, всю, как есть, природу в ее пространстве и времени? Да человечество давным-давно изничтожило бы и природу, и само себя!

Поэтому ученые, которые ставят перед собой задачу продления жизни человека, тем более те, кто мечтает и утверждает, что вполне возможно бессмертие, — это не кто иные, как аферисты, бессмысленные и вредные (филолог назвал несколько имен). Образ жизни, а значит, и ее продолжительность именно такие, которые позволили человечеству просуществовать несколько миллионов лет, — вот что надо понять и принять как нечто самое главное.

Почти никто из людей этого не понимает...

Говорилось в такие поминальные вечера и о том, что хорошо бы Клубу издавать журнал с разъяснениями своей позиции — но это дело бесполезное: кто-то будет такой журнал читать? Кто субсидировать? А если и будет? Да кто нынче придает значение чьим-то точкам зрения, при том, что собственной точки зрения на вопросы существования современного человека ни у кого нет? Всякого рода склоки, аферы, убийства и зрелища — дело другое, тут и печать, и телевидение, и радио, и правительство находят себя и очень гордятся самими собой.

Генетик (по фамилии Расторопнов) говорил обо всем этом живо, с увлечением, бурно жестикулируя, его слушали с вниманием. О сегодняшних похоронах никто не говорил ни слова.

Заслушивались и такие доклады: бывшего агронома на тему «Почва и человечество», бывшего профессора медицины Кулебякина «О перспективах развития СПИДа и сопутствующих ему заболеваний».

Генерал Желнин, тот писал к «своему дню» доклад «Россия и Европа». Он уже одного из своих коллег подготовил к прочтению этого доклада — тоже бывшего военного, подполковника в отставке Замятина (семьдесят семь лет было подполковнику).

В своем докладе генерал утверждал спасительную роль России для Европы: от татаро-монгольского ига Россия Запад спасала, от шведов спасала, от Наполеона спасала, от немцев — в войнах 1914 — 1918 и 1939 — 1945 годов — спасала.

В те годы Запад не знал, как Россию благодарить, искал ее союзничества, но даже и Священный союз был Западом предан. История, настаивал генерал Желнин, подтверждает установку Клуба: кому-кому, а русскому человеку нет никакого смысла жить долго. Только для того, чтобы слушать поношения коварного Запада?

Правда, русский человек того заслуживает: семьдесят лет строил социализм, разрушал капитализм, а того больше — свою собственную страну, уничтожал миллионы и миллионы соотечественников, а вот уже девять, почти десять лет как разрушает социализм, строит капитализм и (по Константину Леонтьеву) будет занят этим делом примерно лет двести. Не дай Бог дожить! Генерал Желнин писал об этом в своем докладе дотошно, со всею свойственной ему серьезностью.

Ведь это надо же, под какой звездой все они, «вольные», родились! Звезда была рукотворной, куда там небесным или другим каким-то силам: Маркс — Энгельс — Ленин — Сталин. И вот уже, едва научившись говорить, русский человек знал и мог объяснить смысл жизни: уничтожение частной собственности и тем самым достижение идеальной справедливости. И куда там всем предшествующим поколениям, всем на свете книгам, пророкам, религиям и учениям!

Любые жертвы ради этой цели допустимы и разумны. Этой цели отныне подчинен сам разум. Прежде было неизвестно — для чего он существует-то, разум-то?

Но чуть ли не в один день выяснилось: вышла ошибочка, частная собственность — это и есть двигатель не только прогресса, но и всей жизни как

таковой, а ни один из пяти лучей государственной Звезды не показывал в ту сторону, где лежит правильная жизнь.

Такая история!

Никто эту историю себе и не представлял, а все, почти все, потащили в райкомы заявления о выходе из коммунистической партии.

Участники Клуба Вольных Долгожителей пережили эту историю и физически и духовно, им вообще стало не до истории, им бы закуточек какой-никакой, где история не нужна, а нужна только пусть крохотная, а все-таки подставка под жизнь.

Такой подставочкой опять-таки оказался Клуб, в котором никто ни у кого не спрашивал, когда он подал заявление о выходе из КПСС и подал ли.

Вообще, на светлое будущее члены Клуба не рассчитывали, так же как и на загробную жизнь, — все «вольняшки» были убежденными реалистами, все исходило из своего собственного жизненного опыта. Немалого, но уж никак не философского.

То, что происходило нынче вокруг в государстве — воровство, взяточничество, чубайство и зюгайство, — они не понимали. Попытались, усердствовали — ничего у них не получилось. Вот они и бросили это беспутное и даже презренное занятие под названием «будущее», а самым подходящим занятием для них стали рассуждения в Клубе, самом подходящем для этого месте: в «кабинете» и спальне-каморке со скошенным потолком. Вид из-под этого потолка — во двор. И сам хозяин тоже полностью соответствовал целям и задачам Клуба, или, как его иногда еще называли, Общества.

Право же, здесь была отдушина, крохотное, а все-таки оконце в мир из душной и безобразной действительности, в которой все они нынче жили. Содрогались, проклинали, а все еще жили.

Спрашивается, зачем столько лет жили-то? Чтобы с головой окунуться в грязную современность? Их же руками созданную?..

Проговаривая нынче смерть вдоль и поперек, «вольняшки» становились ближе к жизни и своей, личной, и государственной. Затем и к всеобщей, земной.

Аскетизм имеет свой собственный уют; здесь, в квартире генерала Желнина, такой был: малотребовательный, малопредметный, но очевидный. Необходимый в силу своей очевидности и своего неизменного порядка.

Да, члены Клуба Вольных Долгожителей были атеистами, не верили ни в загробную жизнь, ни в существование какого-нибудь другого Разума, кроме человеческого, собственного в том числе, причем собственный порождал в них и определенные душевные качества: любовь к своим детям, склонность к размышлениям в некотором роде духовным, некое чувство близости друг к другу. Членство в Клубе было для них, если на то пошло, верой и братством. Конечно, строго лимитированным.

Без лимита обойтись было нельзя, причем представления о лимите были у всех более или менее одинаковыми, а это уже обеспечивало почти что братское единомыслие.

На жилплощади генерала Желнина члены Клуба чувствовали присутствие мужского, бывалого и мужественного, духа, и даже что-то от Пушкина, от пушкинских времен, когда мужчины запросто стрелялись на дуэлях: вечером танцевали на балу с одними и теми же красивыми дамами, потом ссорились и на другое утро где-нибудь в ближайшем пригороде, чтобы не затрудняться долгой ездой (зря не утомлять лошадей) и быстренько вернуться к завтраку, стрелялись. Стрелялись то насмерть, с расстояния двадцати шагов, то для порядка. (Надо сказать — неплохой порядок.)

Нынче дуэлей не было, нынче из-за угла с помощью киллера убить было модно, хоть и просто, а дуэль — это нынче смешно и нелепо, так что нечто пушкинское присутствовало только в сознании членов Клуба. Они об этом знали, это их ничуть не смущало: они ведь не были ни пропагандистами, ни агитаторами. Они знали только, что в пушкинские времена мужчины, оказы-

вается, умели лучше общаться со смертью. Вот и в нынешние находились те, кто у них подучивался.

Не так давно в Клубе было заслушано сообщение одного из его членов, сравнительно еще молодого (76 лет) филолога Константинова, профессора и члена каких-то там современных академий, на тему о том, как надлежит жить, если жить не хочется.

Филолог был маленький, полненький, беленький, с порядочными усами, говорил четко, раздельно, по-лекторски правильно, в сознании своего, еще не устаревшего, достоинства. Выходило — жить до семидесяти пяти надо так, как будто жить очень хочется. Делать такой вид, ибо вид очень мало, а то и вовсе не отличается от жизни. В семьдесят пять надо вступать в КВД. С момента вступления в Клуб уже не жизнь играет тобою, а ты ею: то есть опять-таки живешь в сознании, что каждую минуту способен умереть.

Членство в Клубе приносило некую благодать, успокоение (временами почти покойническое), чаще же что-то вроде чувства омоложения, даже детства.

Среди членов Клуба были и люди, человек пять-шесть, которые при Горбачеве и при Ельцине занимали высокие правительственные посты. Они говорили о себе: «экономисты». Еще говорили, что со времени вступления в Клуб перестали волноваться, ругать нынешнее правительство и рады тому, что погрузились в разработку самых высоких и гуманных проблем. Что теперь в их окружении нет ни взяточников, ни взятокдателей, ни злостных интриганов — только порядочные люди.

В Клубе эти люди проходили как бы очищение. «А вот когда я был членом правительства...» — все-таки говаривали и они. Негромко, скромно, даже с чувством пусть и небольшой своей вины, а все-таки говаривали.

Был среди «вольняшек» и литературовед: среднего росточка, ничем не приметный, он знал наизусть такое множество стихов классических и современных поэтов, что на каждую фразу собеседника мог стихом и даже целым их сборником ответить.

Узкой же своей специальностью Гордеев — такая у него была фамилия — считал творчество Шукшина, может быть, потому, что Гордеев с Шукшиным были земляками, из предгорий Алтая.

Однажды Гордеев принес на заседание Клуба и повесил на стену желнинского кабинета ватманский лист бумаги, расчерченный на пятнадцать разновеликих четырехугольников. Дело оказалось вот в чем: на днях Гордееву приснился сон, будто Шукшин объяснил ему самого себя, свое творчество от начала до конца по пятнадцати пунктам, но — при своей-то памяти — Гордеев запомнил только четыре последних пункта. Соответственно он заполнил четыре клетки в нижней левой части ватмана, остальные пункты, Гордеев надеялся, будут ему со временем вспоминаться, и тогда пополнится записями ватманский лист. Если этого не случится в ближайший год, тогда он обязательно умрет.

Пока же в четырехугольничке двенадцатом было записано: «Пиши, пока молодой. Под старость голова будет до отказа заполнена всяческими замыслами, ни один из которых так и не будет реализован по-настоящему».

Запись тринадцатая гласила: «Выдающиеся личности сделаны из разных материалов: гипса, мрамора и бронзы. Гипсовые могут быть не менее значительными, чем бронзовые, но при падении разбиваются в пыль; мраморные разбиваются на куски, которые можно собрать, посадив на клей или штыри. Бронзовым — не делается ничего: ну, ввинтил в шею какой-нибудь винтик и насадил на винтик голову — все дела».

Запись пятнадцатая: «Человек не может думать совсем „по-другому“ и по-новому, он может думать по-другому, но в том же направлении».

Присутствующие отнеслись к труду Гордеева иронически: «Делать нечего этой самой литинтелигенции!» И, кажется, один только генерал Желнин воспринял это дело как дело, хотя и не был согласен с Шукшиным-Гордее-

вым: «Вот и Россия была одной из двух-трех главных вооруженных держав мира. Рассыпалась. Теперь ее истинная роль в истории диаметрально противоположна — быть главным фактором разоружения на Земле. Такой роли еще не играла ни одна страна». И генерал пожелал успеха литературоведу Гордееву: пусть бы припомнились все до одного пункты его сна о Шукшине, пусть бы он пожил еще сколько-то годков — кому плохо? Здоровьишком Гордеев вроде бы не страдал, лет ему всего-то семьдесят шесть. И мертвому Шукшину тоже было бы неплохо, если бы Гордеев пожил еще. И генералу Желнину было бы интересно: он любил Шукшина, а раз так — значит, у России все-таки маячит перспектива. Неплохая. И, конечно, историческая. Обеспеченная благодарностью со стороны человечества. (Без этого России не спится, не живется.)

Однако уже после третьих клубных похорон наступил период затишья: члены Клуба собирались, обсуждали интересующие их темы, ругали жизнь — ее нельзя было не ругать, все старились, но мало кто умирал по собственному желанию.

Каждый ждал своего дня, и вот один из них дождался: генерал Желнин схватил тяжелое воспаление легких с какими-то там, должно быть, бактериальными осложнениями.

У генерала Желнина отлегло от сердца. Теперь он в любой момент протянет руку, достанет с полочки над головой небольшой деревянный, с резьбой коробок, из коробка пакетик, из пакетика таблетки — и вопрос исчерпан: путь бактериям перекрыт. Все-таки стимул — неплохая штука. А воспаление — это тот самый стимул. Неплохо.

Но тут вот еще какой фактор: дочери Нинка и Ленка были друг на друга злы как собаки и обе отцом очень недовольны: почему он еще при жизни не произвел раздела недвижимого имущества (то есть двухэтажного дома).

Злы друг на друга они были чуть ли не со дня своего рождения, они вечно что-то между собой делили: мать делили, кукол делили («Моя!» — «Нет, моя!»), позже делили обувь, поскольку размер у них был одинаков, женихов делили, а что касается жилплощади генеральского дома, так тут каждый квадратный сантиметр был спорной территорией. (Что-то вроде Чечни, кажется.)

Вот и сейчас: они не того испугались, что отец вот-вот умрет, а того, что он умирает, не подписав документов о разделе дома. В частности, тех двух комнаты и комнатухи, которые генерал считал своим личным и ничьим больше недвижимым имуществом.

— Ну, сделайте вы эти две комнаты общими, и только! — посоветовал уже слабым голосом дочерям генерал Желнин, на что они ответили:

— Что ты! Что ты! Да мы тут горло друг другу перегрызем, на общей-то жилплощади!

Нинка и Ленка были более или менее одинаковыми, но считали себя совершенно разными: Нинка была рождена, когда Желнин был солдатом (впрочем, он был в то время старшим лейтенантом), а его жена — солдаткой, Ленка же — когда Желнин был полковником, а мать — полковничихой.

Кроме того, Ленка ненавидела старшую сестру за то, что та родилась девочкой, она знала, что родители ставили на мальчика, и тоже страстно хотела покровительства старшего брата, чтобы быть под его опекой; мечтала, как к брату будут приходиться приятели-одноклассники, а она с ними — танцевать.

Нинка же, та мечтала быть воспитательницей братика — сперва малыша, а потом более или менее взрослого молодого человека. Отсюда и взаимная неприязнь — постоянная, устойчивая. Даже и так бывало, что именно в этой неприязни заключался смысл их жизни.

Отец относился к дочерям одинаково, разницу в возрасте и ту не учитывал. Каждую неделю он заслушивал их отчеты: как идут дела в школе (позже — в институте). Если дела шли хорошо, он говорил:

— Молодец! Сознательная!

Если дела шли неважно, он спрашивал:

— Ну, подумай, где твоя сознательность?

С женой Татьяной отношения у него были ровные-ровные... (Татьяна вышла из колхозных доярок и стеснялась этого.) Только однажды Татьяна наболтала в кругу своих знакомых полковниц и генералыш чего-то лишнего, и это повлияло на карьеру генерала.

Желнин сказал ей:

— Вот что, Татьяна Григорьевна! Теперь, если кто-то из моих приятелей зайдет на чашку чая, ты нам эту первую чашечку наливаешь, а сама уходишь и больше не показываешься. Поняла?

Дом генерала Желнина был его крепостью, которую он готов был защищать уже на дальних подступах.

Был случай: генерал на улице, где-то метрах в ста впереди себя, увидел своих девочек в окружении мальчишек, которые к тому же больше, чем следовало, размахивали руками.

Недолго думая Желнин вынул из кобуры револьвер и выстрелил в воздух. Мальчишки исчезли как дым, сестренки остались стоять, как стояли, — неподвижно и уже безмолвно.

Генерал не видел ничего неестественного в своем предупредительном выстреле, Ленка была в восторге, Нинка плакала:

— Что теперь в школе-то скажут? Кто со мной захочет танцевать?

Мать удивилась переживаниям дочерей:

— Но ведь он же никого не убил? И даже не поранил?

Домом для генерала Желнина всегда был не только собственно дом, но и та воинская часть, в которой он служил.

Он умел подчиняться вышестоящему начальству, но и среди тех, кто подчинялся ему, дисциплину наводил безупречную. Офицерам в своем присутствии даже спорить не разрешал: уйдите из помещения, там поспорьте, четко сформулируйте свои мысли-предложения, а потом уж приходите и толково, кратко, стоя «смирно» излагайте материал — тут он и решит, кто прав, а кто ошибается, может быть, даже ошибается глубоко.

Видимо, по причине таких порядков у генерала Желнина всегда были прохладные отношения с политотдельцами. Если бы не эта прохлада, Желнин, конечно, дослужился бы и до более высоких званий и должностей.

При всем при том среди офицеров считалось большой удачей служить под командованием Желнина, и он знал это и даже вмешивался в их судьбы:

— Раньше двадцати пяти лет не женитесь, иначе пожалеете, что мало погуляли, а когда стукнет семьдесят — бросайте курить!

— Это почему же, товарищ генерал?

— Во всяком случае, даю слово — я брошу!

И ведь бросил, а что касается выпивки, так Желнин никогда не пил больше одного стакана за вечер-ночь, даже в День Победы не перешагнул предела.

Вот и теперь Клуб для него был почти что своей воинской частью, только с другим уставом, и от этого, когда ему перевалило за восемьдесят, у него сильно потеплело на сердце: смерть должна была состояться достойной и помимо болезнетворных бактерий, которых генерал презирал.

Почему-то ему было очень приятно засыпать с вечера, даже если и не устал за день. Не сразу, но он догадался-таки: засыпая, он будто прятался от всей, сколько ее есть, жизни — прошлой, настоящей и будущей. Этакое маленькое, приятное самоубийство безо всяких последствий.

Иногда генерал Желнин стал общаться со временем, как будто это был обыкновенный собеседник — Иван Ильич, Илья Иванович и так далее: почему именно в таком-то году, спрашивал он у Времени, случилось то-то и то-то, а в другом году не случилось того, что должно было случиться обязательно?



Почему его близкий друг полковник Космач умер, не достигнув возраста отставника, а вот он, бывший генерал Желнин, пережил этот возраст чуть ли не на четверть века и жив до сих пор? Почему это некоторые супружеские пары, в том числе и его собственная дочь Елена, развелись с мужьями два раза, а ему с его старушкой и в голову такое не приходило: раз женаты — значит, женаты, какие тут могут быть еще разговоры?

Или: почему в этом мире, в котором есть все, что нужно для человека, все в избытке, ежегодно от голода умирает два с половиной миллиона человек? Почему из пятнадцати миллионов гектаров суши пригодны для пашни только один и четыре десятых миллиона?

Почему только за время перестройки в России выбыло из строя 27 миллионов гектаров пахотных земель и 52 миллиона гектаров леса?

Ответы или что-то подобное ответам возникали самые нелепые, причем — во сне. Но и нелепость снов только подтверждала, что сон освобождал его от места и времени происходящего и что календарь — это одно из самых вредных, если не самое вредное для всего живого, изобретений человечества, а сон освобождал все происходящее от календаря. (Дело кончилось тем, что генерал Желнин снял со стенки табельный календарь и только по радио узнавал, какой нынче день.)

Вот нам и кажется, думал генерал, что мы живем не во времени, а в понедельник или вторник, в феврале или в августе, в году таком-то. Смена времен года есть, но это никак не совпадает с тем, что не может и не должно иметь собственного происхождения, — со временем, с вечностью. По одной капле никак нельзя себе представить, что такое Мировой океан, но как раз наука и занята разработкой подобного представления. По сути дела, не только наука, но и все мы.

Прежде чем в мире стало что-то происходить, должно было быть что-то, не имеющее происхождения. Время не поддается измерению, так же как и пространство: попробуйте определить размеры мирового пространства — что это такое? Во сне не приснится, не говоря уж о действительности.

Нами, людьми, изобретен собственный, невидимый, неслышимый, необоняемый и неосознаваемый, мир электричества, атома, лазера и т. д., в нем-то мы и поселились, живем и умираем, так что же можно ждать от этой иррациональной жизни? Безошибочно только одного — смерти.

Члены Клуба Вольных Долгожителей кто меньше, кто больше, но понимали это, а генерал в отставке Желнин нынче в этом ни на йоту не сомневался и с нетерпением ждал провидящих снов — стоящая штука.

А тут еще событие: убили Митюху. И мертвым Митюха попал на экран телевизора. Это было нынче запросто — и убийство, и телевизор.

Митюху привел в дом генерала Желнина его бывший сослуживец, полковник Степанков.

Привел, сказал:

— Из детдома парня выписали: дескать, все, вырос — теперь самостоятельная жизнь! А какая тут самостоятельность? Ни одежды, ни обуви, ни еды, ни жилплощади, ни специальности и ветер в голове! А голова-то нормальная, хорошая голова. Представь себе — не пьет, не курит, на игле не сидит. Его поддержать — человеком будет. И неплохим. Уж до сержанта-то, а то и до старшины дослужился бы — но? Но прихрамывает, в армию не годен. Помочь ему надо. Сам я не в силах: последнюю гимнастерку на баракхолку утащил!

Митюха был парнем по природе своей добродушным, только детдом и бродяжничество вселили в него злость, зависть и чувство несправедливости всего окружающего, которое близко было генералу Желнину. Желнин даже удивился этому сходству: надо же!

Митюха говорил о себе:

— Которые люди, так им все на свете анти: у них в голове антимир! Когда погода, дак им нужна антипогода, когда человек — античеловек, ког-

да собака — антисобака и далее, и далее так же. Не-ет, я не такой: мне много не нужно. Вот теперь бы подучиться какому-никакому, а ремеслу, вот это — да! Рассказывают, в прежние времена мастера брали учеников, да и содержали их, за один с собою стол обедать сажали. Вот то был собственник так собственник! Это я понимаю. Мог и ремнем тебя отхлестать — а почему бы нет, когда для учебы? Нынче не так. Нынче он тебя в ученики возьмет, если ты ему хорошо заплатишь, по-другому — от ворот поворот, он и глядеть на тебя будет так, будто тебя перед ним нет. Нет — и все дела!

Желнин отдал распоряжение дочерям покопаться по кладовым и на чердаке, какая есть устаревшая военная форма — отдать Митрию.

— Так генеральская же! С лампасами?

— Лампасы — спороть. Впрочем, лампасы не погоны, ни о чем не говорят. Казаки-мальчишки — те сызмальства в лампасах. И ничего. Никто их в комендатуру не отводит.

Когда Митроху одели-обули, он пришел в изумление:

— Надо же, Митька — и в генеральском! Чудеса!

— Великоваго на тебе!

— Вот если бы мало было да на меня не влазило, вот тогда худо!

И стал Митюха завсегдаем у Желнина, подкармливался, мелкие услуги оказывал: сбегать куда, что принести-унести. После поступил в госучреждение курьером, и выделили ему комнатушку 6,8 квадратных метра в каком-то дряхлом барачном общежитии, на краю города. Кажется, это было заброшенное казарменное помещение.

В «новой» одежде-обувке Митюха был счастлив, может быть, как никогда в жизни. Он был тощим, длинным и глуповатым, при том что глупым никогда не был, в школе числился чуть ли не отличником. Просто глуповатое выражение лица он считал самым удобным. Умники в его представлении были людьми глупыми и никому не нужными. Лишняя нагрузка на человечество.

Убитый (выстрелом в затылок) Митюха на экране телевизора был очень похож на живого: нескладный, почти вдвое сложившийся, он все равно выглядел длинным, с почти что тем же глуповатым выражением лица, разве что чуть поумнее, чуть позадумчивее. «В общем, каким ты был, таким ты и остался», — сказала Нинка, а Ленка тотчас отвернулась от экрана.

Дело это было для угрозыска плевое: ясно, что к убийству имели отношение те люди, которые вселились в Митюхину комнату, они с ним сначала судились, а потом решили кончить одним махом. И кому было дело до беспризорника, за которого и бумагу-то какую-нибудь написать некому?

Желнин послал телеграмму: «Требую...» — ответа не получил.

Этот момент как раз и был тем, когда генерал Желнин ближе всего оказался к исполнению замысла Клуба Вольных Долгожителей. Он еще раз убедился в логичности этого замысла и в бессмыслице эмоций.

И почему его так поразила гибель Митюхи? Уж он ли, генерал, не повидал на своем веку смертей? И разве он сам не подписывал приказов то дезертиров расстрелять, то воров, то шпионов, и разве он мог утверждать, что среди расстрелянных по этим приказам совсем не оказалось людей ни в чем не повинных?

Но то война.

Более трех четвертей своей жизни Желнин служил войне. Не говоря уж о времени всенном, фронтовом, он и в мирные времена только и думал о том, когда война наступит, где она наступит и с кем. Из каких орудий он будет стрелять в противника, из каких — противник в него.

После войны он войну проклинал, но это — теоретически, на самом-то деле он, наверное, очень сожалел, если бы в течение всей его жизни ему так и не удалось повоевать.

О том, что во время войны он мог быть убит, он не думал никогда. В конце-то концов, даже ведь и не сама война, а смерть была его специально-

стью, и эту специальность он избрал добровольно. Раз так — о чем разговор? Нет и не может быть разговора на эту тему у такого человека, как он.

Но Митюха его потряс. Сначала он крайне удивился своему потрясению, потом признал его: надо, надо было, хоть и на старости лет, побывать в шкуре человека гражданского, взять на себя инициативу создания Клуба. Надо! Конечно, негодовал он и на современность, когда такие вот убийства повседневны, ничуть не мешают трепаться-улыбаться (даже умненько) руководителям государства. В городе Иванове, он слышал, жители всех кошек-собак съели, скоро за крыс возьмутся. Разве за такое время он воевал с фашизмом?! «Гражданка» оказалась до того противной — ужас! Народ, за который он воевал, ради которого всю жизнь посвятил смерти, тому, как сделать его благородным, — этот народ того, оказывается, не стоил, он годился разве на то, чтобы своей нелепостью и даже своей гибелью образумить весь остальной мир.

Вот почему генерал Желнин хорошо засыпал, то есть отрешался от дневных мыслей: лечь на правый бок, правую руку положить на левое плечо, левую вытянуть вдоль туловища, вздохнуть по поводу Митюхи — и прости-прощай всякие размышления. До завтра. До ближайшего сна. Хорошо бы — умного. Именно такое расположение тела больше всего способствовало стоящим снам. Оно не сразу нашлось, Желнин долго его искал и в конце концов нашел. Так же, как нашел и объяснение: он, генерал Желнин, тоже выполняет роль народа, а если ты пришел к этому выводу — дальше ни думать, ни ехать некуда, с тебя хватит.

Как раз накануне своего дня рождения, восемнадцатого ноября, Желнин заболел.

Он даже и не интересовался, чем: почками или легкими. Почки и легкие были слабыми местами его теперешнего организма, они часто воспалялись, и ничего неожиданного в болезни не было. Скорее наоборот: плановая была болезнь.

Плановая подступалась и смерть, вполне естественная, бактериальная, только он не хотел вручать свою смерть бактериям.

— Вот полежу, подумаю о том о сем спокойно, а настанет момент — проглочу свои дорогие таблеточки!

Приезжали военные врачи, уговаривали, чуть ли не приказывали ему ехать в госпиталь, он расписался: «Не поеду!»

Изредка он вспоминал тюрьму. Тюрьма — это неприятно, но мало ли в жизни бывает неприятностей? К тому же все на свете относительно: в других тюрьмах бывало, он знал, гораздо хуже, чем в его собственной.

Чувства нынче были похожи на те, которые он пережил, сдавая свой партийный билет в начале перестройки: закончилась эпоха, наступала другая, смертная, так ведь и в самом деле не вечно продолжаться одному и тому же? Историческому. История показывает, что самые неустойчивые государства — это великие империи. Империя — великое дело, но чтобы быть поистине великой, империя должна вовремя уйти, ее идеи, слова и мысли обязательно должны вовремя «смыться», иначе — крах. Он, Желнин, генерал в отставке, был сам себе империя, должен был это понять, и вот понял.

И хорошо было генералу Желнину, хорошо и справедливо умирать, хорошо ему было в ожидании того момента, когда он протянет руку за своим заветным коробком.

К нему приходили одноклубники. Попрощаться. Филолог Гордеев прочитал ему свой вроде как стих, и вот прощаются друзья-товарищи, многочисленные чувства свои, свою, еще недавнюю, логику презирая.

Агроном, тот принес какой-то жидкости в бутылочке. «В последний момент выпьешь — приятно будет!»

Одним словом, к нему действительно шли прощаться, и он вел краткие разговоры с прощальным оттенком.

— Ну вот и хорошо! Я вслед за тобой — через день, два, самое большее — через недельку, — говорили друзья. — Уж очень погано вокруг! Даже непонятно — для чего столько десятилетий хлеб растили на земле?

И в самом деле: для чего это нужно — цепляться за какой-то презренный остаточек презренной жизни?

Ему стало спокойно, как в ином сне, как никогда, ни разу наяву. Вот она — точка подлинная!

Он, кажется, выздоравливает, и тем своевременнее было ему поднять руку к полке, нащупать на полке деревянный, с резьбой коробок, снять его, открыть... Он вынул из короба бумажный пакетик и... и обнаружил, что пакетик-то пуст, таблеток в нем нет, как и не было.

— Ленка! — заорал он. — Нинка! — заорал еще громче.

Ленка и Нинка не заставили себя ждать, вошли.

— В чем дело, отец?

Желнин бросил к их ногам пустой коробок:

— Это вы сделали?

— Да! Мы! Мы это сделали. Сообща.

— По какому такому праву?

— По праву твоих дочерей. Ты не можешь оставить нас в критический момент! Когда ты нам так остро нужен. К тому же тебе легче, ты выздоравливаешь. Мы немало похлопотали с врачами.

— Вам-то какое до меня дело?

— Большое. У нас на руках нет твоего формального завещания, а без этого мы не сможем юридически поделить между собой наш дом. Тем более вот эти две твои комнаты. Кому из твоих родных дочерей они должны отойти? Нужно вызвать инспектора БТИ и все формально оформить. Тютелька в тютельку! — кричала Ленка.

— Зовите это самое БТИ. Это что такое?

— Бюро технической инвентаризации.

— Зовите, черт его дери!

Но это было только самое-самое начало.

— Дело решится в суде.

— Кто с кем судиться-то будет?

— Я — с Нинкой! — сказала Ленка.

— А я — с Ленкой! — сказала Нинка.

— А я при чем?

— Но ведь ты же родной отец! Родной! Значит, ты — главный в суде свидетель!

— Во всяком случае, я надеюсь на тебя! — сказала Нинка.

— Во всяком случае — я тоже! — сказала Ленка.

Генерал Желнин передохнул, пожевал с закрытыми глазами.

— Ничего себе — сестрицы... Родные. Вот уж не думал. И не предполагал. Ну, разве что догадывался... Изредка...

«А думать, и предполагать, и догадываться надо было давным-давно!» — подумал он.

Сестрицы были внешне похожи друг на друга, вылитая мать. Одна фотография, только по-разному разретушированная — под блондинку и почти что под брюнетку. Это — внешне. Друг друга не любили, но обе сходились на отношении к матери, мать казалась им уж очень простенькой, куда там до генеральши: и одеваться не умела, и Пастернака не читала, а походки так и не выработала — уткой переваливалась с боку на бок.

Вот они и соревновались между собой: каждая хотела быть истинно генеральской дочерью, чтобы это было с первого взгляда видно, с первого слова слышно. Знай наши! Которая в этом больше преуспела, та и считала, что имеет больше прав влиять на отца, то есть расширить свою жилплощадь. Ясно и понятно.

Отец же ничего этого не замечал. Вернее, однажды заметил, да и махнул рукой: дело бабье, пусть сами как хотят, так и разбираются.

\* \* \*

Со дня этого разговора прошло около года. Агроном умер через неделю. Его хоронили всем Клубом, но генерала Желнина на похоронах не было. Клуб вообще прекратил свое существование.

Желнин же вот уж год как свидетельствовал в судах разных инстанций, выступал добрый десяток раз. Сколько он насмотрелся судей — главным образом женщин, сколько перед ним прошло бессловесных народных заседателей-мужчин, сколько нотариусов, сколько адвокатов — не счесть... Целый мир, целое государство! В скольких судах с обшарпанными стенами он побывал?! В скольких БТИ?

Загвоздка состояла в том, что завещание было составлено на имя жены — Татьяны, а дочери, обе, постарались: каждая приводила в дом свое БТИ и по-своему объясняла инспектору границы собственного владения. А инспектору — что? Ему как говорили, он так и фиксировал.

Несмотря ни на что, конец все-таки предвиделся. В чью пользу — генералу Желнину было совершенно все равно.

Хорошо еще, что по судам его возили поочередно то Ленка, то Нинка.

— Хорошо еще... — говорил генерал Желнин после каждой поездки. — Могло быть и хуже. Конечно, могло.

Как-никак, а принципы Клуба Вольных Долгожителей оставались при нем, хотя в его нынешних обстоятельствах они запросто могли бы затеряться. Совсем запросто: один миллион богачей жил бы по двести лет, даже и не умирал бы никогда, чтобы от голода умирало ежегодно уже не два с половиной миллиона нищих, как нынче, а целых пять.



---

---

ЕЛЕНА ЕЛАГИНА



## ВЕЧЕР ДЕТСКИХ ВОПРОСОВ

\* \*  
\*

А. Б.

Есть такая примета: сделал визитку —  
Значит, сменишь место работы, не сомневайся!  
В лучшем случае — номера телефонов и факсов.  
Почему так всегда бывает? Почему аутсайдер,  
У которого вечно проблемы, депрессии, стрессы, —  
Неприменно твой друг? А влиятельным людям  
Ни с какой стороны ты не нужен, ни ты, ни твои таланты?  
В чем здесь тайна и в чем справедливость —  
Основные признаки жизни? А коли любишь,  
То всегда того, кто твоим ни за что не будет?  
Почему концы бытия никогда не связать с концами  
Самых-самых простых, самых необходимых желаний?  
Почему их зеленоглазый лучшим нашим мылом намылил  
И они от тебя ускользают быстрее, чем рыбки  
От руки ребенка на солнечном мелководье?  
Но уж если свяжутся — будь все трижды неладно! —  
Значит, только в гордиев узел. Первый заплачешь,  
Первый взмолишься с воем: за что мне все эти муки?  
Потому что заплатишь такой извращенной ценою  
За свершение ничтожных желаний, что лучше не надо  
Ни того, ни другого... И будь что будет, ей-богу!

\* \*  
\*

Эй, признайся-ка, скромник, безупречный отец семейства,  
Хотел бы поцеловать меня при встрече,  
Как целует меня твой приятель давнишний жарко  
На виду у всех на правах якобы старого друга?  
А ты стоишь возле, потупившись, и вздыхаешь:  
«Написать бы вас рядом, собаки, слишком хороши вы вместе,  
Слишком живописны — просто Рубенс какой-то!»  
Уж конечно! Уж прямо-таки и Рубенс!  
Комплимент-то с душком, и сам ты собака!  
И на что, черт возьми, намекаешь?  
А хотя — как знать, как знать, — может, и вправду  
Толстяки только Рубенсу и давались,  
Только у него и имели право  
На свое неказистое толстое счастье?

\* \*  
\*

Бытие прошивается нитью тройной  
Раз за разом по кругу шершавой иглой,  
И шведу дорог каждый, я знаю, стежок:  
Этот прямо лег, этот наискосок,  
Этот в шов ушел, этот в самый край,  
Ничего, все получится, не унывай!  
Истлевает нить, но на смену ей  
Парки пряжу ткут все ловчей, быстреей,  
И пока снует над работой рука,  
Даль по-прежнему так далека, высока...

### Мастер

*М. Копылкову.*

#### 1

Из терпкой глины лепит набум  
Любовь и смерть, предательство и верность,  
И лиственных лесов зеленый шум,  
И женский плач... Ищи закономерность —  
Не угадать! Спесивый материал  
Диктует сам и фабулу, и форму.  
Так хищный клюв раскрыт любому корму,  
Бесстыж, назойлив и с изнанки ал,  
Как жизнь сама: без грима и всерьез —  
Из терпкой глины и соленых слез.

#### 2

Участь любой посуды — быть разбитой,  
Сколько б до той поры ни прельщала взглядов,  
Сколько бы ртов ни поила, случайной битой  
Обращена в черепки без интриг и ядов:  
Локоть рассеянный или кошачья лапа,  
Бычий пробег под окнами супертрамвая —  
Финиш! О том ли думал (нет эскулапа  
Для этих плошек) маэстро, тебя ваяя.  
Да, и об этом тоже. Хрупкая глина  
В прах обратится со временем, но пока что  
Пышет здоровьем, цветет, что твоя калина  
В песне ли, в поле. Невечны не только мачты  
В бурю, но все, что создано дерзкой дланью  
Или же ею написано на бумаге,  
Все, что пропето, сказано... Этой данью  
Платим за право мыслить и чувствовать. Флаги  
Реют над жизнью парадом, пока не выбросят черный,  
Ах, как узор трепещет, нарядный, свежий!  
И не глуши мотор, не глуши мотор, но  
Глину мешай с судьбою еще прилежней!

Среди глиняных яблоч заплачь или что-нибудь молви...  
Твой язык непонятен творениям этого толка,  
Как и плач твой не слышен раскрывшейся наново прорве,  
Чьи края не сошьет никакая земная иголлка.  
Как они совершенны, предметны, хрупки и живучи,  
На бочках то жучок отпечатан, то муха-кокетка.  
Так живешь и не знаешь, с какой нынче ссыпешься кручи  
И что будет при том безусловной страховочной сеткой.  
Впрочем, знаешь как раз, лишь назвать побоишься —  
ан сглазишь!

Постучи по стволу или сплунь троекратно налево,  
Слишком смел этот дар, с ним управилась, видно, одна лишь  
Сквозь Адама на плод вождеденно глядевшая Ева.





---

---

ВЯЧЕСЛАВ КУПРИЯНОВ



## ИСЧЕЗНОВЕНЬЯ

Евразия

300 лет  
русские утверждали,  
что монголы их угнетали,  
а оказалось, монголы  
просто приносили почту.  
300 лет на Руси  
получали письма,  
но читать так и не научились.  
Потому и сжигали Москву  
многократно,  
что надо было избавиться от тьмы  
непрочитанных писем.

Но вот Иван Грозный  
решился пойти на восток,  
взять Казань, а письма  
слать уже на запад  
беглецу князю Курбскому,  
на эти грозные письма  
отвечал уже Петр Великий  
из Голландии, из-за моря.  
Затем Екатерина, тоже Великая,  
наладила связь с лучшим из миров  
месть Вольтера, а Наполеон  
очередным сожжением Москвы способствовал  
введению элегантного французского  
как эпистолярной речи дворян,  
дабы не смущать подлый народ  
свободой, равенством, братством.  
С улучшением доставки почты  
декабристы слали письма  
уже из Сибири, чтобы  
в Лондоне разбудить Герцена.  
Им отвечал уже  
сам Владимир Ильич, щуря  
дальновидный монгольский взор,  
из Женевы, из Цюриха.

Вот и свершился  
Октябрьский переворот  
как следствие  
монгольской почты,  
как восточный  
ответ Западу.

Что-то нам принесет  
в ближайшие 300 лет  
электронная почта  
с Запада?

### Сумасшедшая трава

Как в саду меня поливали,  
как клялись от всего беречь!  
Не приснишь мне лес, я едва ли  
услыхала б родную речь.

Я проснулась и понемногу  
поняла, что сад близорук.  
Я нашла оттуда дорогу,  
и со мною широкий луг!

Среди всяких там корнеплодов  
что за честь считаться травой!  
Нынче клен всех времен и народов  
шелестит над моей головой.

Я туда не вернусь вовек,  
где по мне ступали бы все,  
где ждала я — побег! побег!  
Сколько света в моей росе!

### Мотив Якоба Бёме

Дьявол вечно в своем аду,  
невзирая на близость рая,  
и надо это иметь в виду,  
дьявольский путь выбирая.

Напротив, ангел всегда в раю,  
даже в соседстве ада.  
Предвосхищая судьбу свою,  
над этим помыслить надо.

### Свобода выбора

Выбирай — орел или решка!  
Решай: решка или орел!  
Жизнь — копейка. Судьба — насмешка.  
Меньшее из двух зол.

А я не птица и не птицелов,  
твержу с наивностью кроткой, —  
с поры Прометея против орлов  
и быть не хочу за решеткой!

\* \*  
\*

Как в Лену текут Алдан и Вилюй,  
так все мы — притоки Леты.  
Растают в потоке ее струй  
наши мечты и заветы.

Исчезнут в них лепестки книг,  
оперение наших слов.  
Мозга вытаявший ледник  
уронит в Лету улов,

улов друзей и улов врагов,  
улов добра и вреда,  
и это не отразится вновь  
в кристаллах иного льда.

Так пусть же, как только мы канем туда,  
наступит на Лете зима.  
Пусть с нами войдут в нее холода,  
и Лета сойдет с ума!

Но пусть останется небо над ней  
и лед будет все прочней.  
Тогда пусть дети наших детей  
играют на ней в хоккей.  
И с ними дети ваших детей  
играют на ней в хоккей.

\* \*  
\*

Исчезновение. Со временем замечаешь,  
что жаль даже ушедшего облака. Исчезновение  
цветов из сада смущает чуткую душу, хотя  
это совсем не кольшет сад. Исчезновение  
снега с картины Брейгеля Старшего  
невозможно, но вовсе не утешает  
весной. Исчезновение листьев с появлением  
ветра. Исчезновение хлеба со стола. Исчезновение  
стола из комнаты, комнаты из пространства. Исчезновение  
человека, не замеченного временем, пространством,  
людьми. Исчезновение человеческого  
в человеке. Исчезновение любви  
в любимом. Исчезновение в любящем. Исчезновение  
человека в земле, земли под снегом, снега  
в такой же исчезающей душе, исчезновение  
молний, еще не успевших блеснуть.

Исчезновение земли под солнцем. Исчезновение  
страха перед исчезновением. Счастье  
исчезновения до исчезновения всего.

### Изменчивая мода

мода господ бога на людей  
мода на людей с высокими принципами  
с напряженным выражением лица и натянутой  
улыбкой с широкой улыбкой и узким  
кругозором мода на людей  
скрывающих свои мысли скрывающихся  
от других людей плюющих  
на других людей на людей  
продажных подозрительных подозреваемых  
на первобытных на современных на вышедших  
в люди мода на гражданских на военных  
на раненых и убитых  
на воскрешенных забальзамированных  
на умалишенных бессердечных желчных  
на человеколюбцев недочеловеков людоедов  
мода на людей из народа  
на людей без прошлого без будущего  
без настоящего без комплексов мода  
безбожных людей на господ бога

\* \*  
\*

Солнце восходит над нашей пустыней.  
Как растерялись его лучи!  
Солнце устало, солнцу отныне  
легче живется в кромешной ночи.

Как мы привыкли к приходу мессии,  
след его в каждом потерянном дне.  
Похороните солнце в России,  
здесь ему места хватит вполне.

Землю покинем и звезды заселим,  
чтобы упрочить свое бытие.  
Чем ненасытнее землю мы делим,  
тем невозвратней уходим в нее.

Как безотрадно дали пустые,  
храма не высветит благодать.  
Похороните землю в России,  
здесь ей просторнее будет лежать,

здесь, на месте пустом и высоком,  
где отстояться отчаялся свет,  
здесь, между западом и востоком,  
где ни востока, ни запада нет.



---

---

ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ

\*

## ПЕРЕУЛОК

*Рассказы*

### БУДЬ МУЖЧИНОЙ, МАКС!

**С**нова она ему снится.

«Опять я ее видел, Ирину, — говорит задумчиво. — Как будто лежим мы с ней на траве, вполне невинно, на замечательной такой солнечной лужайке, рядом, она смуглая, как мулатка, словно только что с юга... И так мне, веришь, хорошо, так спокойно на душе, что хоть не просыпайся...»

Глаза у Макса подергиваются влажной грустной пленочкой, как у дремлющего коня.

То на лужайке она с ним, то на стогу, то солнышко припекает, то звезды мерцают в ночном небе. Ну и отлично, значит, надо ей позвонить, у меня есть номер ее телефона.

«Ну и что дальше? — спрашивает Макс. — Дальше что?»

А что дальше? Позвоним, пригласим куда-нибудь. Просто предложим встретиться. Столько лет не виделись!

«Ты думаешь, она захочет?»

Все-таки он странный, Макс. Почему бы и нет? Что было, то было... и давно уплыло. Теперь мы просто хорошие знакомые, друзья, можно сказать. Вдруг она тоже вспоминает ту картошку, стог сена, на котором распивали шампанское из местного сельпо, а Мишка Гуцин прыгал вниз, как каскадер, хотя стог высотой был с двухэтажный дом. Мы с Максом часто вспоминаем тот стог, словно вся жизнь прожита и ничего не остается — только вспоминать. Одни сплошные воспоминания. Широкое такое бурое осеннее поле, а посреди — огромный желтый стог.

«У нее же двое детей. Последний раз я видел ее, когда первому было около года. Бледная, измученная, рассказывала, что долго болела, даже чуть не умерла. И все равно красивая. Смотрел на нее, и все в груди переворачивалось. Это когда было...»

Ну и что? Позвонить-то все равно никто не мешает.

У Макса своя логика: больше полжизни прошло, дети почти взрослые у всех, седина в волосах, здоровье хромает, а мы будем звонить... Кому это нужно?

Иногда мне кажется, что он просто кокетничает — не такие уж мы еще старые, чтобы ставить на нас крест. И при чем тут? Просто позвонить и встретиться — что тут такого? Повидаться. Вспомнить юность.

«Если встречаться, то нужно тщательно подготовиться, — продолжает нудить Макс. — Столик в хорошем ресторане заказать, обдумать все тщательно. Чтоб все путем...»

Да-да, смокинг, галстук, манишка, ботинки до блеска начистить — совсем парень сбрендил. А Макс шурит, как кот, темные бархатные глаза, которые столько сводили с ума, покусывает привычно нижнюю губу, отчего она у него как обветренная, с лоскутками отслоившейся кожи, — мечтатель!

В этих его постоянных цветных снах с зеленой лужайкой и смуглым плечом Ирины определенно есть доля мазохизма. Однажды так уже было: все уши мне прожужжал, что нам надо непременно встретиться с ней, с Ириной, он все устроит для этого в лучшем виде (почему-то надо именно «в лучшем виде»), все расходы он берет на себя, а я только должен ей и еще Нине, подружке ее с тех давних, студенческих, времен, позвонить и договориться. Но сначала понять, хочет ли этого Ирина. Да, вот так, по голосу (а еще лучше, если б я говорил, а он тоже слышал), потому что если она не хочет, то тогда не надо. Чтоб не получилось, что мы вроде как об одолжении просим, а они (то есть она, Ирина) — без особой охоты. Если так, то не стоит, ясно?

Я все сделал, как он просил: позвонил, услышал удивление в голосе, даже радость — сколько лет, сколько зим, — и потом долго разговаривали о жизни, посреди которой в окружении бурой скошенной нивы возвышался желтый стог (покалывающие соломинки за воротом). Макс мог не волноваться: предложение было не просто принято, но даже с воодушевлением. И что особенного? Позвони мне та же Ирина, или Нина, или еще кто из нашей далекой юности, голоса которой звучат все глуше и глуше, то и я бы обрадовался.

Макс долго, с почти следовательской дотошностью выпрашивал: кто снял трубку, ага, она, так, и что сказала, ага, привет, значит, сразу узнала, и какой у нее был голос, все такой же, с хрипотцой, слегка насмешливый, радость, только не ври, а что она спрашивала про него, неужто вспоминает? Мечтательная улыбка на его губах, верхней нормальной и нижней обкусанной, он нервно закуривал, смотрел на меня матовыми глазами, словно допытывался, и был совсем как тот, давний, Макс, ничего в нем не изменилось, только разве чуть раздобрел да впрямь седые волосинки появились в по-прежнему густой темной шевелюре.

Вот. Я сделал свое дело. Очередь была за ним — чтоб «в лучшем виде». Я терпеливо ждал, когда же он наконец скажет, что все готово, ждал сигнала и уже заранее испытывал приятное волнение в предвкушении близкой встречи. Сигнала, однако, все не было и не было. При встречах Макс молчал, будто мы ничего не намечали, а когда я не выдержал и все-таки задал ему вопрос, он ответил, что думает...

Надо сказать, мыслительный процесс сильно затянулся. С тех пор прошло немало лет, и я больше не звонил Ирине — хотя надо бы извиниться, объяснить как-то наше внезапное исчезновение. А как объяснишь?

Просто повидаться, просто поговорить...

Макс отмалчивался довольно долго, понимая, видимо, что поступил не совсем хорошо, во всяком случае со мной... А потом вдруг снова начал оттаивать, и тема Ирины стала всплывать в наших разговорах все чаще и чаще. Его, судя по всему, разбирало — сны, сны... Лужайка, травинка, стог, звезды, ночная свежесть, полдневный жар, смуглое плечо, тонкая рука...

Но я на провокации не поддавался. Если хочет, пусть звонит сам. «А если подойдет этот, ее муж?» — хмурится Макс. Ну и что — муж? Можно подумать, что жене самого Макса не звонят разные знакомые. «Это другое дело», — Макс мрачен, словно уже позвонил и действительно подошел муж.

И все повторяется по новой.

Ирина ему снится чуть ли не каждую ночь, он делится со мной, а я, чтоб хоть как-то вывести его из этого ступора, предлагаю позвонить. Только чтоб он сам, а не я. Даже трубку снимаю и протягиваю ему: на, звони!

Макс задумчиво улыбается. Обязательный, деловой Макс, на которого всегда можно положиться и который всегда выполняет свои обещания. Слегка обрюзгший, с обозначившимся брюшком и залысинами на висках.

Приятель, которому снится девушка его мечты.

«Ну, хорошо, я ей позвоню, — говорит этот прожженный циник и лове-лас. — И что я ей скажу?»

Пусть скажет, что она ему снится.

«Ты посоветуешь! — Он кольцами пускает дым. — Да, она мне снится, и что дальше? Что я могу ей предложить? Сходить в кино? В театр на модную премьеру? В ресторан? В консерваторию? Или на ипподром? Ты же знаешь ее...»

Я знаю. Но он же хотел просто повидаться, просто встретиться — скромно и неприхотливо. Посидеть поговорить. В ресторан, конечно, тоже неплохо, чтоб «в лучшем виде» (он подозрительно косится на меня), но можно и так, по-студенчески...

«Ну...» — Макс старательно окутывается дымом.

Он невозможен, этот старый хрыч, выживший из ума романтик, вся жизнь которого теперь уходит в сны. Мне жаль его. В конце концов, не такие уж мы старые...

С Ириной и Ниной мы встретились, как и договаривались, возле метро «Маяковская». Когда-то, много лет назад, мы уже встречались здесь и переулками, переулками большой шумной компанией шли к дому Макса, тогда все еще молодые, свободные и беспечные.

Впрочем, обе девушки, решившиеся на вечер забыть, что они детные матери семейств, выглядели вполне сносно — и не скажешь, что прошло столько лет, столько всего переменялось и вообще, если честно, будущее позади. Если и не все, то, во всяком случае, большая его часть.

Но сегодня мы не должны были думать об этом.

Они и вправду были очень милы. Особенно Ирина, немного пополневшая, но, как часто бывает, это только придавало ей еще больше женственности и какой-то особой привлекательности. А хорошенькое ее личико, зардевшееся от моего неловкого комплимента, приняло совершенно то, прежнее, восхитительное выражение девичьей застенчивости. Можно понять Макса, которому она снится столько лет.

Все складывалось как нельзя более удачно.

У Макса, как в старину, на уик-энд образовалась пустая квартира (его уехали на дачу), а сам он ждал меня (мы созвонились), чтоб выпить пива и расслабиться после напряженных трудовых будней. Про девушек, которые шли сейчас вместе со мной по направлению к его дому, он не только не знал, но даже и не догадывался. Отличный намечался сюрприз. Что ни говори, а хоть какой-то просвет в нашей скучноватой, однообразной жизни.

Мы шли теми же переулками, мимо Патриарших, где когда-то целовались на скамейке, вспоминая булгаковских персонажей, девушки несли подаренные бордовые, еще очень свежие тюльпаны, и сами они были как цветы — любоваться и любоваться...

Похоже, я сильно разволновался, к тому же впереди нас ждали изумление, растерянность, восторг и проч., и проч. Макс должен быть мне век благодарен. Я предвкушал... В самом деле, не каждый день удастся сделать так, чтобы по твоей воле сбьлись чьи-то сны. Я чувствовал себя добрым волшебником, по мановению руки которого оживает прошлое. Мы все волновались, как если бы шли на экзамен.

Может, это и был экзамен?

Для пушей неожиданности девушки спрятались, спустившись ниже на один пролет, и оттуда доносились их тихие смешки.

Тс-с-с-с...

Я надавил кнопку звонка.

Медленно, очень медленно тянулись минуты...

Я нажал еще, потом еще и еще... В ответ — ни шагов, ни шелчка открываемого замка. Тишина. Не слышал он, что ли? Нет, это уж вряд ли. Мой трезвог поднял бы и мертвого. Значит, его не было, но как же? Мы же договорились! Если бы ему потребовалось куда-то срочно выйти, он наверняка бы оставил записку. Я пошарил вокруг глазами — ничего! Никаких знаков...

Вот это действительно сюрприз.  
Обескураженный, я спустился к девушкам.

Макса не было.

Я, понимаете ли, доставил ему на дом стог сена и лужайку, почти материализовал преследующий его сон, осуществил мечту идиота — а теперь и сам не был уверен, что не сплю. Неловко было смотреть на девушек, у которых даже тюльпаны в руках как-то сразу пожухли и стали склоняться долу, увядая прямо на глазах.

Где же ты, негодник?

Скорей всего, ненадолго выскочил за хлебом или пивом, пытался я объяснить, или чтоб с кем-нибудь встретиться по делу, а потом снова вернуться. Он ведь знал, что я его тут дожидаюсь. Просто нужно немного подождать. Совсем чуть-чуть! Он будет возвращаться и увидит... увидит... как во сне, как во многих своих самых заветных, самых волнующих снах.

Впрочем, ничего другого нам и не оставалось. Только ждать, ждать и ждать. Из крошечной беседки на детской площадке, пустынной в этот субботний июньский вечер, хорошо просматривался подъезд Макса. В конце концов, никуда не денется.

Я предложил откупорить шампанское, предусмотрительно захваченное с собой (представляю, как бы засутился Макс, — не пивом же угощать девушек!), и выпить за встречу. Не сидеть же просто так, в ожидании у моря погоды. Пусть Макс отлучается себе на здоровье, а мы пока выпьем. И беседка такая уютная, незагаженная, среди сильно разросшихся, затеняющих ее кустов сирени, увя, уже отцветшей. А все-таки приятно встретиться после стольких лет, нет разве? Неправильно, что мы так редко видимся. Несправедливо!

Мы сделали по глотку (Ирина, помнится, любила именно такое, полусладкое) — прямо из горлышка, как в старину. Мы вспомнили стог, лужайку, небо, звезды, непаханую борозду и желтеющую ниву, шебуршание мышей и запах осени, песни под гитару и вкус печеной картошки, мы глотнули еще раз и другой — с полным доверием и симпатией друг к другу, и тогда я решил все-таки еще раз подняться к Макс.

Макс, сказал я сквозь обитую дерматином дверь, негромко, но тщательно выговаривая каждое слово. Макс, сказал я с глубокой горечью, прошу тебя, Макс, не делай глупостей! Мы же взрослые люди, Макс, ты сам потом будешь раскаиваться и рвать на себе последние волосы, слышишь?

Я уперся лбом в прохладный дерматин и от обиды готов был расплакаться, как маленький мальчик. В самом деле, для кого я старался? Макс, урод, сказал я с выстраданным чувством, это неприлично, друзья так не поступают! Ладно, Макс, пошутил — и будет. Мы тебе сюрприз, ты нам, твоя взяла, открывай, скотина! Я двинул ногой в дверь — со злостью, но не очень сильно, чтобы не будоражить соседей. Макс, будь мужчиной, я тебя умоляю! Слышишь?..

Девушки преданно ждали меня в беседке. На одном из столбиков было наискось вырезано перочинным ножиком: «Валя+Петя=». Чему это равнялось, видимо, то ли не уместилось, то ли резчик, не обделенный эстетическим чувством, нарочно умолчал. Для многозначительности.

И шампанского осталось на доньшке.

Мы все-таки еще сидели, ожидая Макса и вспоминая разные забавные случаи из нашего общего прошлого, мы долго сидели, все еще не теряя надежды, пока не стало смеркаться. В доме один за другим загорались огни, но в окне Макса по-прежнему было беспросветно темно. Так мы и сидели рядышком, касаясь друг друга плечами, девушки и я, в наивном ожидании этого старого перечника Макса, преуспевающего менеджера и тихого пьяницы. И все это время я чувствовал, что на нас смотрят, очень даже внима-



тельно, сквозь кусты сирени, сквозь сумрак, может, даже в бинокль. Что нас видят, как видит каждого из нас Господь Бог.

Только все напрасно.

А когда уходили, я напоследок быстро обернулся и, кажется, успел заметить, как мелькнула в Максовом неосвещенном окне серая тень. И уже не оглядываясь больше, из-за спины показал туда, в окно на шестом этаже, кулак...

Эх ты!..

## ПЕРЕУЛОК

### 1

На отца напали.

Факт сам по себе фантастический: *отец* — и что бы на него! Отец настолько всемогущ и могущественен, что по отношению к нему невозможна никакая агрессия. Он не то что неуязвим, но как бы по ту сторону. Ему не надо защищаться, потому что на него не могут напасть. Всем известно, что он — отец. Не имеет значения, что он щупленький и невысокого роста, потому что на самом деле он — безмерный, как безмерно небо или океан.

Отец — это отец.

И на него напали.

Он появился совсем не такой, как обычно. Молчаливый, и руки подрагивают. Непонятно, куда смотрит, и глаза грустные, задумчивые. Щупленький, хотя и безмерный. Узкоплечий. Не Шварценеггер...

В соседнем переулке напали, где с одной стороны какой-то научно-исследовательский институт, а с другой — глухая бетонная стена хлебозавода. Глухой такой, темный переулок, как и все прочие переулки. Вечером лучше не ходить, особенно когда в институте кончается рабочий день и гаснет свет.

Отец между тем всегда там ходил, возвращаясь с работы, и никого не боялся, потому что отец и страх — несовместимо. Безмерность не знает страха, потому что сама может внушать его. Отец ходил, и никогда ничего, а тут...

Он даже и не поздно шел, и еще не совсем темно было. Два парня навстречу, спокойно, мирно, и вдруг — ногой. С раскрута. Без предупреждения. В полном молчании. И второй — тоже ногой. Прямо. И тоже в полном молчании, словно бы они оба, здоровые такие, — немые. Оттого что молча — еще неожиданней.

Вдвоем — на одного.

На отца!

Только не на того напали. От одного удара отец уклонился, по инерции парня закрутило, а ногу второго он перехватил и вверх сильно дернул, отчего тот повалился, как столб, не ожидая такого отпора, а потом отец уже побежал. Не очень быстро побежал, чтобы дыхание сохранить и успеть развернуться, если станут его догонять. Чтобы лицом к лицу.

С достоинством, хотя и побежал. Словно вовсе и не убегал, а просто хотел выбраться на более оживленное место. Чтобы не забили насмерть (это отца-то!) и к бетонной стене не прислонили.

Чтобы поближе к людям.

Он, может, даже вовсе и не бежал, а уходил, только быстрым шагом. Трудно представить, как если бы лев убегал от зайца или морской свинки. Или даже от двух морских свинок. Нет, отец просто шел быстрым шагом, не оборачиваясь, спеша с работы домой, к ужину, а те вначале за ним погнались, но потом почему-то передумали и отстали. Может, испугались отца. Он уходил, а они за ним гнались и не догнали.

Он боком немного удалялся, а они все отставали и отставали.

Может, тот, кого отец так ловко свалил, травмировался, а может, сообразили, что лучше не связываться, потому что не просто же так все неудачно у них вышло и отец исчезает, оставляя им фунт презрения. Даже не оглядывается. Брезгливо не смотрит в их сторону.

Такой он был — отец! И что с того, что у него руки нервно потом подрагивали, а возле правого глаза жилка пульсировала, и взгляд печальный и задумчивый, и сам, шупленький, ссутулился...

Пусть знают!

## 2

Потом сыновья просят, умоляют отца еще раз показать, как все было. Как он здорово тех... Парни, значит, стояли или, верней, шли навстречу. Один, значит, ногой, с раскрутом, а другой, без раскрута, прямой от себя... Так, да?

Отец расставляет обоих, старшего и младшего: он как бы движется по тротуару навстречу этим крутым, в джинсе, и они ему навстречу, совсем уже близко, почти рядом, и тут один из них (старший) делает типа фуэте — довольно высоко, но медленно задирает ногу (правую) и как бы касается отца. Верней, чуть не касается, потому что отец ловко успевает уклониться, и пока старший вертится, одновременно балансируя, чтобы удержать равновесие, отец демонстрирует уход-уклон от удара младшего (согнутой в колене ногой от себя), ногу подхватывает и рывком поднимает...

Толчок.

Младший тяжело валится на крестец (больно), но на лице у него не столько боль, сколько восхищение.

Конечно, все замедленно, все не по-настоящему, хотя и очень похоже, все с улыбкой, и если младшенький слегка ушибает себе крестец, то это еще раз подтверждает отцовскую бойцовскую сноровку.

Молодчина батя!

Вроде как из безмерности, из разверзшихся небес грянула молния — и повергла. Справедливость восстановлена... Правда, не совсем молния. Но ведь — победа.

По-бе-да!

Иногда они меняются местами, и тогда уже кто-нибудь из сыновей, старший или младший, выступает в роли как бы ничего не подозревающего отца, идущего по пустынному переулку, а отец становится одним из тех парней, что на него напали, и вся сценка разыгрывается с самого начала. Каждое движение повторяется вновь и вновь, словно они пытаются постичь некий тайный смысл. Вернее, смысл всей этой невозможной, немислимой, фантастической ситуации.

Дело в том, что все произошло очень быстро и неожиданно, объясняет отец, он даже не успел испугаться и действовал абсолютно бессознательно, подчиняясь инстинкту самосохранения. Либо пан, либо пропал... И те парни, конечно, тоже не ожидали, что все получится вовсе не так, как они задумали или предполагали, — ведь отец был один и с виду шупленький, к тому же и немолодой.

Откуда им было знать, что это — *отец*?

Почему-то сыновьям хочется еще и еще раз проиграть всю ситуацию: чтобы отец шел и они ему навстречу... А вдруг что-нибудь похожее? Ведь всегда что-то происходит, и если уж с отцом, то с ними и подавно. Никогда нельзя знать наверняка, что тебя ждет.

И никто не знает.

## 3

И вот наступает вечер, ноябрьский, темный, тревожный, а отца все нет и нет (где-то задерживается), и мать посылает сыновей, старшенького и млад-

шенького, встретить его, потому что наверняка тот будет возвращаться своим любимым переулком, несмотря на темень и недавний неприятный случай. Отец полагает, что раз уже было, то больше никогда не повторится — мол, в одно место два раза не стреляют.

Может, так и есть, но спокойней, если все-таки ребята сходят и подождут его там, в переулке, а потом вместе вернутся. Парни оба крепкие, накачанные, что старший, что младший, пусть сходят. А если отец вдруг решит пойти кружным, более длинным путем — по освещенной улице, то они просто разминутся, и все. Не потеряются...

Переулок и впрямь малопривлекательный — темный, пустынный: с одной стороны тоскливая бетонная стена хлебозавода с натянутой поверх нее колючей проволокой, с другой — уже погасшие окна научно-исследовательского института. Глухое такое место, неприятное, где если ходить, то только днем и по рабочим дням, когда люди. А так никто ничего не услышит и не увидит.

Братья стоят в темноте, лишь чуть-чуть прореженной одиноким фонарем возле входа в институт. Они ждут. Раньше отец их опекал, раньше он был защитой и подмогой, а теперь они сами готовы грудью встать за него, они выше и сильнее (хотя отец все равно отец), они чувствуют свою мощь...

Мышцы их, накачанные регулярными упражнениями, отжиманиями и гириями, тоскуют под одеждой, томятся по напряжению и действию. Отвага чуть кружит голову. Им спокойно в этом переулке, где всего несколько месяцев назад их отец так классно обставил двух негодяев. Правда, в последний миг он все-таки побежал, а бегущий человек — почти побежденный человек. Человек испугавшийся.

На самом деле ему надо было подскочить к упавшему и пнуть того тупым носком тяжелого ботинка, а потом уже расправиться с другим. Последнее слово нужно оставлять за собой — тогда ты действительно король. Таков закон. А бежать (как бы ни бежать — с достоинством ли, боком, оглядываясь или не оглядываясь) — все равно потерять лицо. Обнаружить свой страх и свою слабость. Не исключено, что те парни сочли отца трусом, хотя их и было двое и они были сильнее.

Братья представляют себе, как это было. И тогда младшенький, всегда щедрый на выдумку, предлагает отца разыграть, как бы все повторив, что уже не раз репетировали, только теперь здесь, где все когда-то и произошло.

В переулке.

Шаги издали, быстрые, ближе и ближе, похожие на отцовские. Какой-то человек (отец) спешит, и они, переглянувшись, трогаются ему навстречу. Все короче разделяющее их пространство. Когда тень приближается вплотную, почти поравнявшись, их то ли не замечая, то ли не узнавая, старшенький вдруг быстро и резко, с раскрута, бьет высоко поднятой ногой.

У него получается.

Удар мощный и, главное, точный, с глухим таким призвуком, за которым следует шелестящий, нежный звук падения. Младшенький подскакивает и добавляет, уже по лежащему.

Человек не поднимается, а так и лежит темнеющей грудой возле бетонной стены.

Неподвижно.

Словно из безмерности выпадает человек и, пролетев некое беспредельное расстояние до земли, шмякается с тяжелым глухим плюхом прямо на асфальт рядом с бетонной стеной хлебозавода.

Еще не совсем понимая, что произошло, братья, старшенький и младшенький, вдруг резко поворачиваются и срываются с места, как при выстреле стартового пистолета. Они бегут очень быстро, перебирая слегка обмякшими крепкими молодыми ногами, — к повороту, к арке, к своему двору, к дому, к подъезду. Они бегут так, как будто за ними кто-то гонится, хотя

никто не гонится (сзади тишина). В груди у обоих, несмотря на тренированность, ухает и хрипит.

А позади — тишина и только черное длинное жерло переулка. Никто за ними не гонится.

### ПРИСЛУШИВАЮЩИЙСЯ

Кем-кем, а меломаном Ч. вряд ли можно было назвать. Послушать музыку — это конечно, кто ж против (особенно по настроению), как всякий мало-мальски культурный человек. Но не так чтоб регулярно или тем более обивать пороги разных концертных залов в надежде на лишний билетик. Честно говоря, он бы и не отличил хорошего исполнителя от не очень хорошего и даже плохого, потому что музыка и есть музыка, а тонкости и нюансы — это для эстетов и ценителей. Для знатоков. На что он вовсе и не претендовал.

Музыка существовала где-то рядом, целый огромный мир, как, впрочем, литература, или кино, или театр, или живопись, все это было как бы несколько отдельно, куда можно временно погрузиться. Нырнуть, чтобы потом вынырнуть и жить обычным, самым банальным образом.

Но возможно, что и не вынырнуть, и тогда с человеком что-то происходит, заметное даже невооруженным глазом.

То человек как человек, а то вдруг смотрит — и не видит, ходит и раскачивается в такт, руками и ногами, и даже головой подергивает, или рукой помахивает, словно дирижирует, или заговариваться начинает, называя себя почему-то Родионом Романовичем либо Львом Николаевичем. Или о себе внезапно и пугающе в третьем лице: «он улыбнулся», «тут он встал», «все в нем напряглось»... Причем и в самом деле улыбается, встает, и что напрягается — тоже можно предположить.

*Выпадает человек.*

Однако даже не будучи меломаном, Ч. тем не менее был зачарован. И сам чувствовал эти чары, но не как меломан, а иначе. Магическое действие музыки ему тоже приоткрывалось, но, как ни странно, не на концертах и не при прослушивании пластинок, а тем более радио. Тут он бывал довольно равнодушен. Ему надо было погружаться (духовно), а его выгалкивало. Волны набегали, глубина совсем близко, а он, бедный, бился на отмели и только жабрами судорожно шевелил, завистливо поглядывая на тех, кто, по соседству, млеет с полуприкрытыми глазами и блаженными лицами.

Может, он потому и на концерты не любил ходить, что знал об этом свойстве болтаться подобно поплавку на поверхности, тогда как более счастливые камнем шли на дно и там тихо лежали между колышущимися водорослями, пуская радужные, переливчатые, упоительные пузырьки.

Хорошо им было!

А для него только лишнее напряжение. Можно сказать, борьба с самим собой. Все наслаждаются, а он борется. Все уже погрузились, а он еще бултыхается. Все расслабились, ноги вытянули и глаза прикрыли, а он дергается и дергается, пытаюсь сконцентрироваться, и главное — напрасно. Музыка сама по себе, а он сам по себе.

Танталовы муки. Жажда мучит и вода вокруг, а никак не зачерпнуть и не отпить. К самым губам приближается, по подбородку нежно щекочет, прохладой и утолением манит, только усиливая сухость в горле. Вот-вот, еще немного, еще чуть-чуть — и мимо.

Отступает. Откатывается.

Так и оставался неудовлетворенный, хоть плачь! Как приходил с пересохшим горлом, так и уходил. Может, даже еще больше...

Приоткрывалось же ему — когда вовсе не ждал. Стоило только расслышать где-нибудь — в соседней квартире, сверху или внизу, или, например, с улицы, — пусть даже совсем тихо, пусть почти неразличимо, а он сразу

улавливал. И мелодия могла быть совсем простенькой, не говоря уж о чем-нибудь симфоническом, — тут же и проваливался, как в прорубь.

Хоть по радио, хоть магнитофон у кого или проигрыватель... Главное, чтоб откуда-нибудь, тихо, словно прокрадываясь или просачиваясь, и обязательно — вдруг. Чтоб приглушенно и внезапно, но и не обязательно внезапно, а просто чтоб он не слышал или не обращал внимания, и вот тут бы доносилось. Будто на ухо шепнули. Полог задернули или дверь закрыли, отчего сразу акустика.

Гармония.

Полумрак.

Интим.

Словно он подслушал.

Вроде как, получалось, — чужое, но и свое. Ему тоже принадлежащее. Никто ничего не предлагал и тем более не навязывал, но он уже имел.

Там, за стенкой, положим, тренькает, а Ч. прислушался и... поплыл, поплыл, все глубже, глубже, с легким, счастливым замиранием сердца, с воспоминаниями всякими приятными, смутными, но радужными надеждами. А главное — с таким томительно-сладким предчувствием-предвкушением возможного счастья (а счастье было так возможно!). Такого близкого, что слово почти и свершившегося.

Как же это было?

А вот было! Словно вся, *вся* жизнь, какая дана и неведомо кем отмерена, но которая обычно прячется и ускользает, тревожит и мучает своей неуловимостью, — и вдруг эта жизнь обрушивается, заполняя не только душу, но, кажется, каждую пору, каждую клеточку. В каждой кровиночке играет, как пузырьки в шампанском. Вроде и не песенка «Битлз» или «Ноктюрн» Шопена из-под соседской двери или из чьего-то окна, а поистине — музыка сфер!

Тут Ч. тащился...

Никакого концертного зала не нужно, никакой филармонии и никаких виртуозов. Главное, чтоб не в лоб, а откуда-нибудь сбоку, из щелочки-дырочки, приглушенно-притаенно, нежно и грустно.

Ч. даже в лице менялся. Глаз стекленеет и прищуривается, подбородок вверх поднимается, ноздри раздуты, словно он не звук (хотя именно его), а запах ловит — то ли как следопыт, то ли как гурман. И прислушивается, прислушивается...

Наркотик.

Надо заметить, что самого Ч. это не очень радовало. Все люди как люди, а он... И те, кто действительно любил музыку и глубоко понимал ее, вызывали у него какое-то особое почтение. Чуть ли не преклонение (тайное), как если бы они и в самом деле были посвященными.

Они духовными были, раз так могли, — нет разве? Они соединялись, и у них на лицах было написано блаженство. А Ч., словно изгнанный и отверженный, только зря тщился. И все никак не мог примириться, что его странная чувствительность к музыке, почти как тайная страсть, только и может осуществиться... так сказать, через щелочку. То есть и он вроде не чужд, и он стучался, но его не пускали.

Можно было бы, наверно, и отступить, однако Ч., то ли из обычного упрямства, то ли из чувства врожденной справедливости, то ли из протеста против такой дискриминации, не соглашался. Его все равно манило, и потому он стучался и стучался... Доставал билеты и ходил как равный среди равных, зная, впрочем, что напрасно. И все равно надеясь.

Упорный.

Так было и в тот раз, в Зале Гнесиных, надежда его вела, звала, шептала на ухо нечто отдаленно мелодичное, но обещалось нечто большее, куда Ч. все пытался прорваться.

Девочка-девушка, которая исполняла Баха, была дебютанткой, но, как слышал Ч., чрезвычайно талантливой. И вышла она к роялю натянутая как струнка, в темном платье, с забранными назад волосами. Похожая на монашенку, в которой все трепещет от предчувствия близящейся торжественной службы и, возможно, встречи...

Бледная она была от волнения... Словно убегая от него, стремительно села к роялю, секунду помедлила, замерев с поднятыми руками, с вытянутыми, изготоившимися к решающему прикосновению пальцами, и тут же, словно бросаясь с обрыва, опустила их.

Осторожно и вкрадчиво, едва касаясь, нащупывала она, опробовала шаткий мосточек. Но уже надвигалось оно, то самое, и плыло по залу, все ближе и ближе, все неотвратимей, как вдруг у Ч., уже было настроившегося прикрыть глаза, подло и гадко запершило в горле, и сразу вслед за тем накатил сухой, надрывный, а главное, какой-то тупой, безысходный кашель.

Чем больше Ч. пытался его сдержать, зажимая рот платком, судорожно сглатывая и производя разного рода движения горлом, шеей, губами и языком, тем неистовее рвалось. Чем уверенней и вдохновенней летали по клавишам пальцы пианистки, тем сильнее и злей становился кашель, все больше и больше напоминая истеричный лай обиженной собачонки.

Першило и першило.

Не горло было, а выжженная пустыня, зной, сушь и колкий раскаленный песок, шуршащий и скребущий мириадами слюдинок, мутно-белых зубринок, трущихся друг о дружку в медленном неостановимом движении.

Девушку было жаль — так она выкладывалась, стараясь вдохновенными баховскими аккордами перекрыть сиплое перханье Ч. Чем неудержимей был кашель, тем самозабвенней бросала она руки на клавиши, тем ниже наклонялась, словно шла против ветра, сквозь метель и пургу.

Но и Ч. тоже было жалко — так он побагровел весь в своей мучительной борьбе, захлебываясь и ощущая себя как на лобном месте, под перекрестными неприязненными взглядами, его казнящими. Но и сам он себя казнил, понимая прекрасно, что портит все, что причиняет страдания бедной исполнительнице, может быть, очень надеявшейся на это выступление.

Да-да, он ей сопереживал — аж до слез...

Ч. плакал — от сострадания и от кашля, давясь в платок, пока наконец, отчаявшись пересилить приступ, не вскочил и не побежал вон из зала, сокрушаясь, что теперь, в дополнение ко всему, этим самым наносит девушке непростительную обиду...

И так было плохо, и эдак!..

С полчаса, наверно, бродил Ч. по окружающим переулкам и все пытался прокашляться. Однако глухое kloкотание в бронхах, скворчание и сип в горле не унимались. И чем дольше он бродил, тем острее было в нем желание вернуться. Вернуться и дослушать. Словно то, что было начато там, в зале, так грубо отнятое у него по его же, можно сказать, вине, могло еще быть возвращено.

Конечно, можно было и уйти. Уйти было даже легче и проще, чем возвращаться, бездарно прогуляв полконцерта. Уйти — и не видеть больше никогда этой девушки, которой он так мелко навредил, пусть и невольно. Уйти, так и не дослушав Баха в ее замечательном (тут он был уверен) исполнении.

Что же это за жизнь такая, когда хочешь, а не можешь! Другие могут, а ты нет! Им, значит, все, а тебе ничего! Одним, значит, оазис, а другим — пустыня. Одним шампанское, а другим — першение в горле...

Ч. вернулся.

Поднялся по лестнице, смущенно миновав уставившуюся на него с некоторым удивлением контролершу.

Прислушался.

Из-за плотно прикрытой двери *доносилось*.

О, как из-за нее доносилось! Исполнительница, судя по всему, полностью уже восстановилась после непредвиденного — по вине Ч. — сбоя и теперь, словно торжествуя, щедро одаривала избранных счастливиц, которые блаженно прикрывали глаза.

Всех, кроме Ч.

Пожалуй, никогда еще в жизни не слышал он чего-либо подобного. Такого. Не выразимого словами (да и нужно ли?). Здесь, на этой мраморной сверкающей лестнице, перед закрытой в зал тяжелой дверью, словно выдворенный за проказы школьник, он *обретал*.

Да, все было там, за стеной, за дверью, в полумраке, глухо и притаенно, почти только угадываемое, так что приходилось сильно напрягать слух.

Ч. прислушивался.

Да, его место было здесь, за стеной, за дверью, на лестнице. И в горле больше не першило, сухости не было и в помине. Здоровое, свежее горло. Словно издевались над ним. Изгоем он был, отверженным, но только так и обретал.

Ну что тут было делать?!

И нечего было упорствовать! Некоторые даже и этого не имеют, а у него — было. Ему бы как раз радоваться, а не сокрушаться. Может, ему-то и было лучше всех, что он так умел. Из ничего — все. Хотя и под сурдинку. В щелочку...

Все у него было...



---

---

# ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ТАТЬЯНА БРАТКОВА



## РУССКОЕ УСТЬЕ

**К**огда маленький «Ан-2», попрыгав на своих лыжицах по льду Индигирки, взмыл над синей вечерней тундрой, я припала к его окошку с щемящим чувством утраты. Уходили вниз, растворялись в ранних зимних сумерках покосившиеся от времени, заметенные жестокими пургами домишки, прощально протягивая длинные руки дымов вслед улетающему самолету, — крошечная горсточка теплой жизни, затерянная среди оцепеневшей на пятидесятиградусном морозе тундры. Видимо, навсегда...

Шесть временных поясов разделяют Москву с Якутском. С Чокурдахом, центром одного из самых северных районов, или, как теперь здесь их называют, улусов Республики Саха, Аллаиховского, — восемь. А потом еще дальше — на север, в самую глубину необъятной тундры. Зимой, когда окрепнет, наберет силу лед на реке, — на «Ан-2», который садится прямо на Индигирку. В остальное время добраться в поселок можно только вертолетом.

...Я попала сюда впервые в феврале 1969 года. Работала я тогда в редакции республиканской газеты «Молодежь Якутии». Даже из Якутска поселок, который назывался тогда Полярный (Полярное), виделся дально и глушью почти немыслимой. Семьдесят первая параллель; всего восемьдесят километров до Ледовитого океана. Отправляясь в поселок, я знала о нем только одно: живут в нем охотники, промышляющие в тундре редкого и ценного зверя — белого полярного песца. Могла ли я думать тогда, что поселок этот войдет в мою жизнь на долгие годы. Что мне суждено не раз возвращаться сюда.

Один из ящиков моего письменного стола вкусно пропах рыбой: там хранятся письма, полученные мной с Индигирки за два десятка лет. Письма редко приходят в конвертах, чаще мои друзья вкладывают их в посылки с северным «гостинцем» — соленым чиром, по-моему, самой вкусной рыбой на свете. В каждом письме немудреные поселковые новости, иногда фотографии, а в конце обязательно приписка: «Когда приедешь, Васильевна? Ждем!»

Обычно я приезжала сюда зимой, поэтому попадала в Полярный по воздуху. Сорок летних минут скрадывали расстояние, приближали поселок к районному центру, Чокурдаху, с его какой-никакой, а все же цивилизацией: аэропортом, магазинами, школой-интернатом, деревянными, но двухэтажными домами с городскими удобствами.

В единственный летний, самый долгий, приезд, когда я провела в поселке больше двух месяцев, я опоздала на вертолет. Три дня прождала его в Чокурдахе. Рейс откладывался, синоптики не давали погоды, ждали, как они выражаются, когда «откроется окно». Открылось оно, как всегда в этих широтах, неожиданно, и вертолет поспешил уйти, пока оно не закрылось окончательно. Именно в этот момент я, как назло, отлучилась из аэропорта. Ждать следующего рейса нужно было еще три дня, но, судя по тучам, которые подступали, казалось, со всех сторон, почти волочась по земле, тяжелые, как мокрый брезент, три дня вполне могли превратиться и в шесть, и в десять. Не верилось, что не только где-то в инопланетной Ялте, а совсем vro-



де бы рядом, в Якутске, люди изнемогали от тридцатиградусной июльской жары.

Мне повезло: во второй половине дня в Полярный должно было уйти судно с хлебом. Мне посоветовали спуститься к Индигирке, разыскать среди множества приткнувшихся к берегу барж и лодок катер, принадлежащий Индигирторгу и носящий совершенно непонятное имя «Бодист». (На самом деле все объяснилось просто: старенький катер был раньше почтовым и получил название от телеграфного аппарата системы «Бодо». Так что таинственное слово осталось от прежних времен, когда и машинисток нередко именовали ремингтонистками.)

Моторист, мрачный невыспавшийся дядька, покрикивал по-хозяйски на двух бичей, таскавших по узеньким сходням серые бугристые мешки с буханками хлеба, и костерил на чем свет стоит и Индигирку, и погоду, и начальство, выдернувшее его из теплого кубрика, где он отсыпался, «приняв на грудь» после очередного рейса.

Я приготовилась к тому, что мне придется долго и нудно канючить, однако он легко согласился взять меня на борт. «Корысть» его я поняла, когда он, сграбастав мой рюкзак, кинул мне через плечо: «Пока грузимся, слетай за пивом». И медленно опустился, словно погрузился, в люк, ведущий в машинное отделение.

Мы вышли из Чокурдаха в пятом часу вечера. Я впервые шла в Полярный по воде и не представляла себе, сколько времени это должно занять. Шел час за часом, а по берегам тянулась все та же ровная пустынная тундра. Индигирка петляла так, что Бурулгинский камень — сопка, за которой река делится на три рукава, — оказывался то слева, то справа, но все так же далеко впереди, временами едва угадываясь сквозь серую сетку дождя. И приходило постепенно ощущение дали, расстояния истинного, земного, украденного у нас авиацией.

### Машина времени

Тетка Огра поправила на голове полинявший платок, заправила корявым пальцем выбившуюся из-под него почти невидимую прядку волос, истончившуюся, потерявшую золотой, видимо, когда-то цвет. Беспощадные годы выпили с ее лица все краски, только глаза остались пронзительно голубыми.

— Дак я, чай, и не вспомяну, — пожевала она бледными тонкими губами. — Этту песню-то я ишшо в девках слыхала. Стара песня. Шибко стара. Досельная. Уговариват молодец девку с им поехать — и расхваливат городок свой, и расхваливат. Городок-де тот на красе стоит, на реченьке, что медом протекла. А девка ему и отвечает...

Тетка Огра смотрит куда-то вдаль долгим неподвижным взглядом и медленно запевае. Голос ее, усталый, словно изношенный и тоже выцветший, не взмывает ввысь, а стелется низко:

Врешь ты, врешь, мальчишечка,  
 Меня оманывашь.  
 Казань-городочек на костях стоит,  
 Казанска реченька кровью протекла,  
 Мелки ручеечки горючими слезьми,  
 А по бережку — не камешки, буйны головушки,  
 Все солдацкие да молодецкие...

И у меня мурашки бегут по спине от звуков и от слов этой песни — и не только потому, что пришла она из глубин веков и поется в этой песне о покорении Казани Иваном Грозным. А потому, что за окном, в которое смотрит тетка Огра, Аграфена Николаевна Щелканова, — не поле российское и не российские березы. За окном — ровная, как стол, тундра, уползающая на рыже-зеленом брюхе из мхов и лишайников за горизонт, к близкому Восточно-Сибирскому морю. А если выйти на порог дома, увидишь могучую

холодную реку с нерусским названием Индигирка. Самое сердце якутской тундры. А в поселке живут русские. Не приехавшие сюда — здешние, исконные, местнорусские, как они сами себя называют. Самый западный из трех рукавов, на которые делится в дельте своей Индигирка, так и называется — Русско-Устьинская протока. И поселок прежде так именовался, пока не пришла в чью-то чиновную голову блажь обозвать его на долгие годы Полярным. Несколько лет назад историческое имя было, слава Богу, возвращено.

Откуда взялись здесь, на дальнем глухом якутском Севере, русские люди? Давно пытаются ученые разгадать загадку Русского Устья.

Впервые официально упоминается оно в научной литературе в отчетах Великой Северной экспедиции капитана-командора Витуса Беринга. Участник этой экспедиции лейтенант Дмитрий Лаптев летом 1739 года проводил опись берега между Яной и Индигиркой, намереваясь пройти на боте «Иркутск» до Колымы. Бот вмерз в льды недалеко от устья Индигирки, и отряд Лаптева, покинув судно, перебрался на зимовку в «русское жило», то есть в Русское Устье.

В прошлом веке в этих краях побывали участники различных экспедиций, все они упоминают в своих записках странных, неизвестно как оказавшихся в этих краях несомненно русских людей, сохранивших в окружении разноязычных и разноплеменных аборигенов свой язык, обычаи и этнический облик.

Подробное описание Русского Устья и его обитателей оставил Владимир Михайлович Зензинов. Он не был географом-исследователем или ученым-этнографом. Не по своей воле пришлось ему провести здесь десять месяцев — с января по ноябрь 1912 года. Зензинов был членом ЦК партии эсеров и первым политическим ссыльным, попавшим в столь отдаленные края.

В Исторической библиотеке я листала пожелтевшие от времени страницы журнала «Этнографическое обозрение» за 1913 год с воспоминаниями Зензинова.

После почти двух месяцев изнурительного и опасного путешествия он достиг наконец Русского Устья и почувствовал себя перенесенным на два столетия назад. Среди населения не было ни одного грамотного человека. Жили отрезанные от всего мира, не зная ничего о жизни других людей, кроме ближайших их соседей — якутов и юкагиров. Календарем служила палочка с зарубками. Некоторую путаницу вносили високосные годы, о существовании которых здесь и не подозревали. Расстояния мерили днями пути, на вопрос, сколько времени прошло, отвечали: «чайнику доспеть» или «мясу свариться». Когда Зензинов разбирал свои вещи, жители с детским любопытством рассматривали незнакомые предметы — наибольший эффект произвела керосиновая лампа — и озадачивали Зензинова вопросами типа: «А как мука растет?» В ответ на его рассказы о далекой «тамошней» жизни качали головами: «Мудрёна Русь!»

Но больше всего поражало Зензинова то, что русскоустыинцы говорили на странном языке — вроде бы и русском, но не совсем понятном человеку, приехавшему из России. Это был древний язык — со многими присущими именно ему грамматическими особенностями, язык, на котором говорили наши предки. Чаще всего встречались слова и обороты, свойственные обитателям русского Поморья конца XVI — начала XVII века.

Именно это обстоятельство послужило главным основанием для одной из бытующих догадок об истории появления русских на Индигирке: будто их предки еще в первой половине XVII века или даже раньше пришли сюда морским путем «прямо из России».

Более поздние исследователи низовьев Индигирки, например Андрей Львович Биркенгоф, входивший в состав экспедиции Наркомводтранса и уже в советское время — в 1931 году — проживший почти год в Русском Устье, считали, что русские поречане-индигирщики являются потомками русских землепроходцев, которые в XVII веке пришли на Индигирку и Ко-

лему сушей. И в погоне за драгоценными мехами — «мягкой рухлядью» — продвигались, «подавались» все дальше на север, глубже в тундру. Более достоверных данных по истории появления русских в низовьях Индигирки нет до сих пор.

Кстати, о Русском Устье мог знать Пушкин. Он виделся со своим приятелем по Лицею Федором Матюшкиным после того, как тот вернулся с Севера, где принимал участие в экспедиции Врангеля. А уж наверняка слышал о Русском Устье Владимир Набоков, с которым был близко знаком Зензинов в эмиграции.

...В 1928 году в поселке открыли школу. Преподавание велось на современном русском языке — учителя были люди приезжие. В речи тех, кто окончил школу, сохранялись лишь некоторые черты исконного говора.

В начале 30-х годов, когда сюда прилетел с разведывательными целями самолет и кружил над поселком, люди в панике побросали дома и бежали в тундру. В 60-х годах они пользовались и самолетом и вертолетом с такой же простотой и естественностью, как мы автобусом. Впрочем, первым колесом, которое они увидели «живьем», а не в кино, не на картинке, было как раз колесо вертолета.

Вообще коренные жители тундры — явление, конечно, уникальное. В их вхождении в цивилизацию «постепенности» почти не было. Достижения современной цивилизации буквально свалились на голову людям, по образу жизни мало отличающимся от своих предков. Из-за страшной удаленности еще в середине нашего века они мало что знали о другой, «тамошней», жизни. Железнодорожные рельсы и шоссейные дороги, поезда и машины, высокие каменные дома и заводы — все, что составляет жизнь современного человека, они впервые увидели, когда в поселок стали привозить кинофильмы. В кино увидели они горы, леса, колосющиеся поля, слышали неведомые прежде звуки: стук колес, шелест листьев, гудок поезда, пение соловья.

Переломным годом в жизни индигирцев стал сороковой, когда вышло постановление правительства о поселковании. Предписано было съезжаться в одно место и ставить общий поселок. До этого жили в рассыпанных «по лицу тундры» зимовьях, иногда по три-четыре семьи — это уже считалось поселением. Нередко — одна семья. Центром было Русское Устье, там было до десятка *дымов* — поселения считали не по домам, а по дымам. Место это для строительства нового поселка признали непригодным: берег сильно размывается по весне. Выбрали крутой берег на двадцать километров ниже по течению. Как потом выяснилось, опять не слишком удачно: гора оказалась огромной ледяной линзой, которая по весне подтаивает и размывается ничуть не меньше, чем на старом месте. Однако в сороковом году переселили сюда жителей старого Русского Устья и приказали переселяться всем из заимок, рассыпанных по необъятной тундре. Идея понятна: приобщить людей к цивилизации, учить детей, снабжать централизованно товарами, наладить медицинскую помощь. Никто не подумал о последствиях, к которым приведет такая ломка привычного, веками сложившегося уклада.

Строились так, как привыкли, как умели. Шла война, государству было не до того. Техники не было никакой, строительные материалы, как встарь, давала река. Начинаясь в тайге, полноводная Индигирка выносит в дельту множество стволы — их называют здесь плавником. Течением стволы прибывает к берегам. Тяжелые мокрые бревна надо было вытащить из воды, поднять на крутой берег. Потом их составляли в своеобразные пирамиды — конусы, напоминающие очертаниями летнее якутское строение — урасу, — для просушки. Так же здесь всегда хранили дрова — чтоб не заметало зимой снегом. Некоторые дома рублились как в русских деревнях, некоторые строились на здешний манер: стены складывались из бревен, поставленных вертикально, и обмазывались глиной. Крыши во всех домах делали плоскими, обкладывали дерном. Из-за этого дома имели какой-то неуютный, недостроенный вид, напоминая собой большую коробку или ящик.

В конце 60-х я застала поселок именно таким: «настоящих» домов, со скатной крышей, было всего два — фельдшерский пункт и магазин, даже школа была с плоской крышей, в ней было три маленьких класса с подслеповатыми кривыми оконцами.

В домах этих шло непрекращающееся изнурительное сражение с холодом, безостановочное кормление ненасытной железной печки. Печка из круглой железной бочки из-под горючего — первый подарок Северу от цивилизации; до появления бочек все дома отапливались камельками. Зимой — то есть с конца августа по июль следующего года — печка топится практически непрерывно. По несколько раз в день приходится хозяйке выскакивать из домика «колупать», то есть рубить, дрова. Орудовать топором здесь умеют все — и дети, и глубокие старухи.

Комната в домишке была одна, иногда с перегородкой, не доходящей до потолка: топить две печки — непозволительная роскошь. Малышей, как собачек, привязывали длинной веревкой к спинкам кроватей, чтобы не могли, играя, дотянуться до вишнево раскаленной, гудящей в углу печки. Так истари заведено. Русскоустыинцы обычно посмеиваются: «Все мы на веревке выросли».

Помню белую кирпичную печь — единственно «настоящую» на весь поселок — в фельдшерско-акушерском пункте. Когда меня сюда привели, фельдшерица, приезжая, сказала, глядя куда-то поверх моей головы, словно читая какой-то ей одной видимый график: «Кате рожать в марте, Дусе в июне. Все равно будем еще раз мыть с хлоркой. Помещу-ка я тебя пока в родилку».

В довольно большой и по случаю отсутствия рожениц едва натопленной комнате находилась кроме того, чему положено находиться в родилке, обычная кровать — для матери и маленькая — для новорожденного. Детская была явно не фабричного производства, сквозь грубую коричневую покраску угадывалось, что сработана она топором.

Помню первую ночь — бессонную — в этой комнате. Когда замолк в двенадцать часов ночи движок, черная, вязкая, как деготь, тьма затопила все вокруг. Весь внешний мир — зримый — исчез, от него остались только звуки. Выл ветер. Где-то далеко изредка взлаивали собаки. За стеной что-то шуршало, словно наждаком водили, я не сразу догадалась, что это ветер пошвыривал о стену сухой жесткой поземкой. В прихожей, отмеряя минуты, срывались с рукомойника и падали в таз тяжелые, будто ртутные, капли. Не верилось, что в нескольких шагах от фельдшерского пункта этот дикий, свободно несущийся над пустынной тундрой ветер перебирает над маленькой почтой обросшие снежным мхом струны антенн и треплет на дверях клуба афишку, обещающую фильм «Тени над Нотр-Дам».

Две недели назад в этой комнате умерла родами женщина. Рожала она четвертого ребенка, ничто не внушало никаких опасений. А роды вдруг случились очень тяжелыми. Была пурга, и вертолет, вызванный из Чокурдаха, никак не мог вылететь. А когда он все-таки прорвался, было поздно.

Фельдшерица проговорила, а потом все повторяла, заглядывая мне в лицо: «Ох, зря я сказала, бояться теперь будешь».

Нет, это был не тот страх, который имела в виду фельдшерица. Лежа без сна в кромешной тьме, я испытала в ту ночь такое чувство отъединенности от привычного мира, такое одиночество, будто я, как в каком-то фантастическом фильме, выпала из своего времени.

...Шли годы, давно уже я вернулась из Якутии в Москву, писала, ездила по стране. Полярный ничем не напоминал о себе. Никогда нигде, ни в одной газете, — ни строчки. Ни одного человека, побывавшего в тех краях. Иногда думалось: уж не пригрезилось ли мне Русское Устье? Но иногда — только прикроешь глаза — возникали, как видение, нарты, пробирающиеся где-то там самым краешком земли в белой снежной круговерти, собаки, налегающие на постромки, человек в заиндевелой кухлянке...

### Второй раз в ту же реку...

Прошло почти десять лет...

И вот почти с суеверным чувством стою посреди маленького тесного зальца Чокурдахского аэропорта, слышу голос, буднично хрипящий в динамик: «Пассажиров, следующих до Полярного, просят пройти на перрон для посадки в вертолет».

...Плывет внизу белая вечная тундра, и вертолет кажется мне машиной времени. Вот тундра понеслась навстречу быстрее — ровная, без единого темного пятнышка, только змеились по ней белые ленты, еще белее окружающей их белизны: реки, ручьи, протоки, скованные льдом и засыпанные снегом, хотя по календарю было еще начало октября. Вертолет начал снижаться. Линия горизонта стремительно поползла вверх, не стало видно дальнюю сопку, скрылось озеро правильной овальной формы, белеющее на тундре, словно блюдо на парадной белой скатерти.

И вдруг я увидела дом. Настоящий — с двускатной крышей, с большими окнами, вызывающе желтеющий среди этой белизны своими стенами, обитыми свеженькой вагонкой. И что самое потрясающее, он был двухэтажным. Рядом — второй, тоже новый, правда одноэтажный. Третий, четвертый... Вертолет садился на краю совершенно незнакомого мне поселка.

Встречала толпа: наш рейс был первым за две недели непогоды, и люди сбежались — кто встречать близких, улетевших по каким-то делам в Чокурдах и застрявших там надолго, кто узнать, какие фильмы привезли для клуба, а кто и просто полюбопытствовать, что за люди прилетели.

Тут-то и подошел ко мне пожилой человек, росточку невысокого, с удивительно голубыми глазами.

— Здравствуйте, уважаемая, — обратился он ко мне с несколько даже изысканной вежливостью, которая встречалась прежде у стариков в русских наших деревнях, да и перевелась вместе с ними. — Вы к кому будете?

Я назвалась, напомнила о своем коротком визите почти десятилетней давности.

— То-то я гляжу — вроде лицо знакомое, — обрадовался он так, будто именно меня и пришел встречать к вертолету. — Командировку тебе в пососвете кто отмечал? Я! — засмеялся он с хрипотцой старого курильщика. И напомнил: Михаил Иванович Чикачев. — Отдыхаю теперь. Заслуженный отдых. И старуха моя отдыхает. Пенсионе-е-ры! — подмигнул он озорно и, подхватив мою сумку, сказал тоном, исключаящим всякие возражения, уже без всяких церемоний перейдя на «ты», словно подчеркивая, что мы — давнишние знакомые: — У нас жить будешь. Хоромы у нас теперь — во! — кивнул он в сторону двухэтажного дома.

После домишек, сохранившихся в моей памяти, квартира восхищает: три комнаты и огромная, метров шестнадцать, кухня, просторная, светло, чисто, хорошая обстановка. Чикачевы гостеприимны: на столе крепчайший, «северный», чай, пирог с омулем, куски жареного озерного чира.

Пожалуй, конец 70-х — начало 80-х годов можно считать наиболее благополучными в жизни поселка. Шло строительство, новая отличная школа, в магазине висели на плечиках финские костюмы, появилось долгожданное телевидение.

Но именно тогда зазвучал тревожный вопрос: что будет с Полярным в будущем?

Дело в том, что поселок — сугубо функционален. Это поселение охотников за песцом, хотя из 265 его жителей в начале 80-х годов кадровых охотников было всего 22 человека. Остальные, если не считать детей и пенсионеров, — это люди охотников обслуживающие: работники дизельной станции и пекарни, почты и клуба, няни и воспитательницы яслей и детсада, учителя, фельдшер, библиотекарь, продавец.

И вот к началу 80-х стало ясно, что охота стремительно «стареет». Больше половины кадровых охотников составляли люди уже пенсионного или

предпенсионного возраста. Молодое пополнение было ничтожным: молодежь не хотела «идти в охотники».

Для того чтобы понять причины этого, нужно представлять себе, что это за труд — труд тундрового охотника.

Не поняв всей трудности, опасности, а главное, всей *несовременности* этого труда, в котором ничего не изменилось не только за десятки, но и за сотни лет, — не понять до конца проблем такого огромного региона России, как Крайний Север. Мы думаем: охотник — значит, ружье. Но при охоте на песца ружьем не пользуются вовсе. Промышляют песца на Севере еще с тех времен, когда у охотников ружей вовсе не было, «методика» никаким изменениям с тех пор не подвергалась. Прежде их и не называли охотниками — именовали промышленными людьми, или просто промышленниками. И если посвятивший себя исследованию русских поселений на Крайнем Севере Якутии научный сотрудник Якутского института проблем народов Севера, уроженец Русского Устья Алексей Гаврилович Чикачев пишет в своей книге: «Мой отец был промышленником», — это вовсе не значит, что отец его владел заводом или фабрикой. Он был профессиональным охотником-песцеловом. Потом они привыкли к тому, что их называли охотниками, сами стали говорить «охотучасток» или «охотизбушка». Но редко услышишь, чтобы сказали: «охотиться на песца». Песца промышляют, или, по-местному, упромысливают.

Все уголья закреплены в постоянное пользование за определенным охотником. Это и охотничьи участки, и участки, где ловят рыбу, — «пески», как их здесь называют. Передаются они, как правило, по наследству, так же, как и сами орудия лова, так называемые *пасти*. Некоторые из них стоят в тундре с незапамятных времен, когда охотились отцы, деды и даже прадеды нынешних промысловиков.

Ставится пасть на местах, что повыше; в нерабочем состоянии — это узкий трехстенный короб и лежащее сверху тяжелое двухметровое бревно. Но перед началом охотничьего сезона охотник «настораживает» пасти, приводит их в состояние «боевой готовности». «Настороженная» пасть издали напоминает пушку с поднятым стволом: бревно — гнеток, или давок, как его здесь называют, — приподнято с одного края и специальным образом закреплено. Все лето охотник разбрасывает у пастей приманку — прикармливает, «приваживает» песца. Зимой песец по привычке лезет в короб за приманкой — резко пахнувшей, выдержанной в ямах «кислой» рыбой — и задевает сторожевой волосок. Бревно падает, убивая зверька своей тяжестью.

Когда-то пасть была единственным орудием лова. Позже появились капканы. Поставить капкан намного проще, пришлые «браконьерят», конечно, с капканами. Но охотники все же предпочитают возиться с пастями, чем пользоваться «железом». Объясняют они свою нелюбовь к капканам тем, что зверек, попавший в них, долго бьется, шкурка портится от бескормицы — ведь охотник, поставив капкан, возвращается к нему через много дней. Мне показалось, что охотникам претит необходимость приносить страдания зверьку, что неизбежно, если жертва попадает в капкан. Возможно, есть в этой приверженности к традиционному «оборудованию» и некая доля обыкновенного консерватизма. Так или иначе, но на участке каждого охотника пастей обычно 250 — 300, а капканов — несколько десятков, да и то поближе к зимовью, куда можно навещаться почаще.

Рано утром — так и тянет написать «на рассвете», но рассвета никакого нет, потому что половину охотничьего сезона стоит полярная ночь, а в остальное время светает поздно и ненадолго, — охотник выезжает на собачьей упряжке из своего зимовья в тундру. В Русском Устье ее называют необычным словом *сендуха*. Сендуха — это не просто тундра, это название как бы вмещает в себя весь окружающий природный мир.

Целый день едет он по определенному маршруту — путику, — проверяя пасти. Легко сказать — по маршруту! Какой маршрут может быть в голой

ровной тундре? Любой из нас мигом заблудился бы в этой белой бесконечности, как только скрылось бы с глаз зимовье. Ориентируются, как говаривал Прокопий Семенович Варякин, первым посвятивший меня во все премудрости охотничьего промысла, «на ощупь ума»: по звездам, по снегу, по ветру.

Звезд здесь на небе, наверное, раз в десять больше, чем у нас в средней полосе: воздух необычайно чист и прозрачен, ведь тундра ни зимой, ни летом не знает, что такое пыль.

Помню, в самый первый мой приезд вышли мы с Прокопием Семеновичем из его домика. Дверь была низенькая, и как только вынырнули наружу и распрямились, обвалилось на нас ночное небо, видимое необычно широко. Звезды — огромные, неподвижные — были не только над головой, но и впереди, и сбоку, и сзади. А прямо над нами сияла Полярная звезда — словно на ней и держался этот волшебный занавес. Может быть, это ощущение и породило имя, которым зовут ее здесь, — Кол-звезда. Вот по тысячам этих звезд, названий большинства которых они не знают, угадывают промышленники направление, по которому должна пролечь их невидимая дорога.

Охотник сидит на нартах боком, свесив правую ногу и пробуюя ее заструги. Любой охотник всегда скажет, откуда дул ветер при последней пурге, как заструги ложились. На ходу он безошибочно определит, как идет упряжка — встречу заструг, к примеру, или под углом. А если свежая пурга замела-заровняла все? Тоже есть способ: разрой снег, посмотри, как лежит трава, куда наклонились маленькие веточки тальника. Каждый охотник обязательно запомнит, откуда дул ветер, когда ложился первый снег, по десяткам примет умеет он предсказать погоду, особенно пургу. Разговор о погоде здесь — не обычная болтовня, а разговор о жизненно важном.

Охотник объезжает свои ловушки с той же уверенностью, как если бы ехал по проложенной дороге, и к вечеру добирается до первого промежуточного зимовья — поварни. Это маленький, как конурка, домик, где есть только печь, сделанная из железной бочки, и лежанка для спанья. Домики эти всегда стоят так, чтобы летом к ним можно было подойти водой: завезти дрова, рыбу для собак и для песцовой приманки на весь охотничий сезон.

Здесь охотник растапливает печь, ставит на нее старый закопченный чайник, набив его снегом. Чайник обычно возят с собой, в нартах: на все поварни не напасешься. На этой же печке он размораживает хлеб, строгает себе припасенную в специальном леднике рыбу. Как правило, ничего другого за эти дни он не ест. Собаки тоже получают по мерзлой рыбине. Варить еду себе и собакам охотник будет лишь в основном зимовье. А в поварне он лишь проведет ночь, а наутро отправится дальше. Поварни отстоят друг от друга на расстоянии дня хода на собаках — рабочего дня, с учетом проверки всех ловушек. Промежуточных зимовий бывает обычно пять-шесть, в зависимости от размеров участка. Обычно охотнику для объезда всего участка нужно семь-восемь дней. Последний бросок выводит уже к основному зимовью. Здесь охотник отдыхает, обдирает добытых песцов, откармливает собак. И опять выходит «в маршрут».

Возможно, приезжий человек и смог бы научиться ездить на упряжке, управляться с пастью. Но не дано ему почувствовать тундру своим родным домом, слиться с ней. И нужен, наверное, еще особый психический склад, тоже формировавшийся из поколения в поколение и позволяющий спокойно выносить столь долгое одиночество. Старые охотники могли оставаться в тундре месяцами. И никто из них не считал свою работу опасной.

Впрочем, нет, одну опасность признают даже они. Это сорвавшаяся внезапно пурга.

Как представить себе силу пургового ветра? Я попала в настоящую пургу один раз — под Тикси, на научной станции геофизиков. Когда от дома до дома можно было пробиться сквозь стену ветра и снега только держась за лера — специально натянутые веревки. Ветер валит с ног, снег забивает глаза,

нос, рот; дыхание останавливается, легкие, кажется, разрываются от воздуха, а ветер заталкивает в рот, в нос упругий ледяной поток, и нет сил сделать выдох. Слушая, как, сотрясая стекла, визжит на разные голоса вьюга, нельзя не поразиться лишней раз точности пушкинской фразы: «Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным».

Конечно, каждый охотник умеет пережить пургу даже в открытой тундре. Ставит вертикально нарты, зарывается в снег с подветренной стороны, обкладывая себя со всех сторон собаками. Тяжело выдержать даже несколько часов. А пурга здесь не бывает несколько часов. Она длится сутками. Несколько дней без тепла, без еды, без движения, практически без сна. Если не подниматься время от времени из-под растущего сугроба, не разгребать наметенный снег, пурга за несколько часов может так утрамбовать его, что и вовсе не пробьешься наружу. Конечно, обмораживаются. Простуживаются. Но случаев, чтоб насмерть замерзли, — нет, не знаю. Вообще попасть в пургу — настолько тяжелое испытание, что охотники, которым почти всем довелось через него пройти, очень неохотно об этом рассказывают и на все расспросы отвечают примерно одинаково: «Хочешь жить — терпишь».

Конечно, никакая самая теплая-претеплая одежда, известная нам, жителям средней полосы, для работы в тундре не годится. Практически все народы, проживающие за Полярным кругом, одеваются одинаково. И материал, из которого шьется одежда, и «фасон» продиктованы условиями жизни — общими для всех. Искусственный мех или искусственная кожа не выдерживают здешних морозов, уже через несколько минут становятся жесткими, как кора, и ломаются. Помню, как, живя в Якутске еще в 60-е годы, я, не дождавшись автобуса и продрогнув до костей, резво рванула по улице, но, пробежав пару кварталов, поняла, что замерзаю, — не чувствовала уже ни рук, ни ног, ни лица: мороз был за 50°. О, счастье! Клубы пара, заиндевшая, покрытая, как белым мхом, куржаком дверь — магазин! Я кинулась туда, в тепло, и второпях ударились о какой-то угол сумкой, сумка разлетелась, разбилась, как чашка. Я с изумлением рассматривала какой-то жалкий мешочек — подкладку — с редкими пятнами уцелевшей псевдокожи. Публика сочувственно-насмешливо оглядывалась: ясно, приезжая...

Мех здесь не роскошь, а предмет первой необходимости. Тем более в тундре. Нет, не поймут здесь европейских борцов с одеждой из натурального меха.

А теперь я хочу предложить вашему воображению такую ситуацию: в тундре встречаются два охотника. Один из них — наш современник, а другой неким чудом попал сюда из прошлого века. Нетрудно представить себе эмоции пахаря, идущего в лаптях за сохой и увидевшего на поле трактор. А вот охотники, встретясь в тундре, попросту не заметили бы, что их разделяет чуть не две сотни лет. Ничто не изменилось в экипировке охотника. Испокон веку одежду шьют из оленьего меха, он самый теплый из всех мехов, потому что каждый волос — это трубочка, наполненная воздухом. Говорят, в спальном мешке — кукуле — из оленьих шкур мехом внутрь можно провести ночь даже под открытым небом. Под открытым небом — не скажу, не пробовала, а в чуме, где температура к утру опускается далеко за нулевую отметку, приходилось. Длинное ухо меховой шапки примерзло к стенке, а телу было тепло и уютно, как дома под одеялом. Олений мех имеет еще одно достоинство — он не намокает. Поэтому охотник со всех сторон «зашит» в олений мех: брюки из оленьего меха, оленья кухлянка, на голове олений малахай — капор весьма специфического кроя: он как бы вытянут вперед, из-за чего лицо получается «утопленным» в мех. Для пушего тепла и красоты по краю обшивают его каким-нибудь пушистым мехом — зайцем, песцом, а то и волком или росамахой. Меховые рукавицы трогательно — как у детей — висят через шею на веревочке. Неосторожно оброненная варежка — это наверняка отмороженные пальцы. Варежки и мягкие сапоги, *торбаза*, из камуса — низкого меха, снятого с оленьих ног. Впрочем, такие торбаза носит вся



Якутия. В универмаге городской вариант — торбаза, украшенные поверху бархатной или суконной оторочкой с национальной вышивкой разноцветным бисером, — в январе 1997 года стоил два миллиона рублей.

Охота — занятие сугубо мужское. Это олениводы кочевали всегда семьями. У жены охотника другая доля — ждать. Старые охотники посмеиваются: избаловались нынче бабы — в городе живут. И дело даже не только, вернее, даже не столько в том, что жизнь в поселке качественно иная, чем в зимовье. Женщина оставалась с детьми в хлипком домишке среди тундры одна неделями, ожидая мужа, ушедшего «по пастям». От старой жительницы Русского Устья невозможно услышать: не могу, не умею, не справлюсь. На расспросы мои, каково это — одной в темноте полярной ночи, при свете копилки или свечи, в пургу, — только посмеивались: «Мы привычные. А лихих людей в сендухе нет».

Необходимость самой принимать решения, привычка рассчитывать на себя, на свои силы выковала совершенно особый, очень независимый тип женщины. И определила ее социальное положение, ее статус. Женщины здесь никогда не были принижены, робки, покорны.

Однако без мужчины семья прожить не могла: охотиться, ловить рыбу, то есть экономически обеспечивать семью, мог только мужчина. Овдовев, женщина уходила «под крыло» какого-нибудь родственника-мужчины, который брал на себя обязанность «прихранить» вдову и ее детей.

Такая, например, история, услышанная мной в Русском Устье:

— Вышел мужик зачем-то из зимовья, нет его и нет. И шум какой-то, вроде кричит. Жена выглянула из дверей, а его медведь валяет. Она ружье схватила, да с первого раза не взяла. Он мужика кинул, на нее попер. Ну, со второго раза уложила. Мужика — в нарты и погнала на Яр, там уж бригада в то время была, по рации вызвали вертолет. Однако не довезли, помер мужик в вертолете-то, шибко медведь его порвал.

На мой вопрос, можно ли познакомиться с отважной женщиной, одолевшей такого страшного зверя, как белый медведь, — только вздох: «Уехала она. Без охотника-то как прожить? Двое ребят малых, к дочке старшей в Якутск подалась».

Вот такое здесь старшее поколение. Нынешние молодые женщины редко умеют обращаться с ружьем, в зимовье ездят только летом — «на дачу». На вопрос о том, смогли бы остаться в тундре зимой, только головой трясут: «Одной в зимовье — да ни за что!»

Правда, «ююлку стряпать» умеют все: нож так и мелькает в руках, когда быстрыми точными движениями мелко-мелко «шинкуют» распластанную рыбу тушку — только мякоть, кожа остается нетронутой.

Потом ее вялят на солнце: приготовление ююлки — дело летнее. Надо заготовить надолго — до будущего года.

...Из Чокурдаха прилетел приемщик пушнины. Охотники потянулись в контору — сдавать шкурки. Пару раз за сезон — к Новому году и в начале марта — охотники, если позволяет погода, наезжают в поселок, даже из самых дальних зимовий: повидаться с семьей, вымыться как следует, постирать бельишко, пополнить запасы продовольствия. Ну и отдохнуть, конечно, немного расслабиться, поговорить с людьми — ведь большинство из них неделями, а то и месяцами не слышит человеческого голоса. В домах целыми днями не убирают со стола, кипит с утра до глубокой ночи чайник, узенькую тропиночку до магазина растоптали до широкой дороги: на маршруте, в поварне ни один уважающий себя охотник пить не станет, вернувшись в зимовье, может слегка — «для сугрева». Одиночество дисциплинирует: переберешь — недалеко и до беды, и замерзнуть можно или, чего доброго, зимовье спалить. Пожар здесь — самая страшная беда, потому что заливать огонь нечем: воды нет, есть только снег и лед. Поэтому «позволяют себе» только на отдыхе, в поселке.

В конторе, где расположился сборщик пушнины, что-то вроде клуба: сдав шкурки, мало кто уходит сразу.

Откровенно рассматривать чужую добычу или чужой улов считается дурным тоном. Но ревниво косятся на колченогий письменный стол, на который перед приемщиком выкладывают шкурки.

Тот неторопливо берет их по одной, встряхивает, поворачивает так и эдак, дует на мех, внимательно глядя в подшерсток.

Первым сортом. Первым. Первым...

Но вот у очередного песца под белоснежной остью мех чуть сероват у самого основания — «недоспел» песец, недолинял, не успел «дойти», рано угодил в ловушку.

— Этот вторым. А у этого кровь вот здесь. Капканный небось? А песец хорош. Пусть хозяйка еще потрет. Завтра приноси: ототрет — приму первым.

День короток, смеркается рано, но электричества пока не дали. В конторе уже темновато, только голубоватый свет вечерней тундры льется в заиндевевшее понизу окно. И кажется, будто из угла, где горой свалены шкурки, тоже исходит белый мерцающий свет. Приемщик вместе с кем-то из помогающих ему охотников увязывают это сверкающее великолепие в далекий от свежести брезент, утягивают узел крест-накрест, словно хозяйка белье, чтобы нести в прачечную. Только содержимое этого узла отправится на Международный пушной аукцион, где многие годы страна выручала немалую валюту за сверкающий тундровой белизной мех. Продавать сами кому бы то ни было песцов охотники не имели права. Скупка и продажа этого меха были государственной монополией.

#### «Собачки — наша жизнь»

Жена дизелиста Кеши Черемкина Светлана привезла из отпуска собачку. Маленького черного беспородного кобелька на кривоватых лапках, с задорным хвостиком-баранкой, палевым животиком и коричневыми бровками. Бровки эти кобель умел презабавно поднимать, отчего острая мордочка его принимала невинно-удивленное выражение.

«Вы только посмотрите, какой симпатяга», — умилилась Светлана, демонстрируя соседям песика. Однако все, исключая разве ребятишек, отнеслись к Дружку с презрительным недоумением. С точки зрения любого охотника, собачка была вовсе никчемная. Дом охранять? А чего его охранять-то, дверей здесь отроду никто не запирает. Да ее зимой и на улице-то оставить нельзя — замерзнет, шерсти, считай, на ней нет. Одно слово — «домашняя». Таких собак здесь и не водилось никогда. Известно, что собаки — не для баблства, для тяжелой работы в тундре.

Индигирская остроухая лайка считалась лучшей в мире, недаром река имела еще одно старинное, «досельное» название — Собачья. А лучшие индигирские собаки были всегда в Русском Устье. Они действительно необыкновенно хороши: с крупными сильными лапами, мощной широкой грудью. Особенно красивы они зимой, когда обрастают густейшим подшерстком. Есть такие, что остаются лохматыми и летом. Их называют «хохлы», они особенно хорошо переносят лютые здешние холода.

И вот среди этой собачьей элиты затесался Дружок — ласковый бездельник, умеющий только шевелить своими бровками и помахивать хвостиком-баранкой.

Шло время. И настал день, когда в поссовет пришел охотник с большой хозяйственной сумкой, в которой что-то шевелилось. Он вошел в кабинет председателя поссовета и вытряхнул из нее на пол перед изумленным Николаем Федоровичем Мельниковым клубок новорожденных щенят. Они расплазались, оскальзываясь на линолеуме кривоватыми лапками и тычась бессмысленно во все стороны черными мордочками с одинаковыми рыженькими бровками.

— Это что ж такое? — задыхался охотник от возмущения. — Это ж моя лучшая сука! Передовик! Чистая порода! Я ж за нее такие деньги отдал!

Мельников не сразу понял, что произошло, а когда понял, чуть не свалился от хохота. Сомнений быть не могло: Дружок, хотя почти и не подрост, превратился во взрослого пса.

Однако скоро Мельникову стало не до смеха. С такой же жалобой явился в поссовет второй охотник, потом третий.

Надо сказать, что скрещивают собак, тщательно отбирая пары «по статьям». Кобелей-производителей — раз-два и обчелся. Упряжных собак кастрируют: некастрированная собака — плохой работник. Так что соперников у Дружка, свободно шастающего по всему поселку, было не много.

На очередное заседание поссовета вызвали Черемкиных и всех «пострадавших от Дружка» охотников. На повестке дня был один вопрос: что делать с собакой? Я видела своими глазами протокол этого заседания и его решение — в своем роде уникальное: обязать владельцев Дружка или кастрировать его, или пристрелить.

И как ни поднимал Дружок изумленно свои бровки, судьба его была решена.

Уже несколько лет он смиренно лежит на крыльце, поджав свои кривенькие ножки под разжиревший палевый животик, приветливо машет всем своим хвостиком-баранкой и только изредка рычит, прижимая уши, — когда мимо проходит охотник, которому было поручено выполнить решение поссовета.

Дружок, что называется, еще легко отделался. Рассказывают, что до войны восточнее Тикси не могла проникнуть ни одна собака, даже весьма породистая, но нездешняя, не лайка: ее пристреливали без всякого снисхождения. Северяне блюли чистоту породы своих ездовых собак.

Из-за оседлого образа жизни оленей здесь не разводили. До появления самолета собачья упряжка оставалась единственным зимним видом транспорта. В случае необходимости на собаках отваживались пускаться на огромные расстояния — до полутора тысяч километров. С появлением регулярных авиарейсов необходимость в этом отпала. Но на свои участки охотники отправлялись на собаках, даже на такие удаленные, как Яр и Кытысная, дорога куда занимает два-три дня. А главное, весь охотничий сезон охотник объезжает пасти на упряжке. От того, хороша ли упряжка, зависела всегда успешность промысла, а зачастую и сама жизнь охотника. Бывало, сойдутся три-четыре мужика, сядут по северной привычке на корточках — «на кукорках» по-здешнему — вдоль стенки на крыльце ли клуба или в коридоре поссовета, достанут из карманов телогреек помятые пачки «Примы» или «Беломора», и можете быть уверены, разговор пойдет о собаках. Любимая, бесконечная, никогда не надоедающая тема: чем кормил, когда болела, как лечил, как щенилась, кому отдал щенков.

Здесь никто не скажет — «собаки». Говорят — *собачки*. «Собачки — наша жизнь».

У каждого дома к длинной лесине, укрепленной на распорках и напоминающей отдаленно невероятной длины козлы для пилки дров, привязано девять-десять собак. Упряжка. Нет среди них наших Шариков, Бобиков, Жучек. Не принято. Собак часто называют человеческими именами — Женя, Леня, Зоя. Парень, Одинок, Малыш... Вообще, по кличкам собак порой можно проследить их судьбу. Например, Подкидыш. Или Мухтарка: ясно, думали — кобелек, оказалась — сучка. Собака по кличке Полтина: видимо, так своеобразно «преломилась» в кличке уплаченная за нее цена — 50 рублей «старыми». Почти в каждой упряжке есть пес Даный, то есть данный, подаренный. У дизелиста Кеши в упряжке Болтик, Винтик, Гаечка. У Ивана Варякина в упряжке собака по кличке Киска. Жена показывает маленькой дочке картинку в детской книжке: «Смотри, это киска». — «Нет, — кричит Луизка, тыча пальчиком в окно, — Киска там».

Все жители поселка знают «в лицо» упряжку каждого охотника. Помню, на перемене я беседовала с ребятами, когда в коридоре раздался чей-то крик: «Упряжка!» Вмиг ребята прилипли к окнам. Упряжка была еще едва видна, а они дружно бросились к соседнему классу: «Шкулев! Отец едет!»

Упряжка — это не просто некий обезличенный механизм в восемь — десять «собачьих сил». Это скорее некий собачий коллектив, где есть добросовестные собаки-трудяги и есть псы, склонные поленившись, «сачкануть». Есть посмелее, позадиристее — и есть смиренные, сразу поджимающие хвост, стоит соседу по упряжке показать клыки. Есть в каждой упряжке своя иерархия, есть свои аристократы и свои парии, но на вершине этой иерархической лестницы, признаваемый беспрекословно всеми, стоит вожак упряжки — передовик. Без хорошего передовика нет упряжки.

Упряжкой управляют только голосом. Ни хлыста, ни длинной палки — хоря, которым пользуются при езде на оленях, — в руках у каюра нет. «Поть-поть-поть», — кричит он, и передовик поворачивает направо, увлекая за собой упряжку. «Кхыр-кхыр» — налево. «Тоо-ор!» — значит, «стой!». Много разных команд должен знать вожак упряжки и четко их выполнять.

Обычно отношения с собаками у охотников довольно сдержанные, лишённые сантиментов — рабочие отношения. Собак редко гладят, ласкают — не принято.

Если остальные собаки — мышцы, тягло, то передовик — это душа, мозг упряжки. Отбирают лучшего щенка из помета самой лучшей, самой чистопородной собаки. Тщательно проверяют все его стати — лапы, грудь, шерсть. Хорошо ли видит, хорошо ли слышит. Чуть подрастет — начинается учеба, натаскивание будущего жоака. Готовить его начинают задолго до того, как одряхлеет старый передовик, — ведь ему предстоит стать «наставником», передать молодому всю науку. Учат молодого в основном «на практике», припрягая к «старикам». Собаки обычно сохраняют «рабочую форму» лет пять, хорошего передовика держат подольше, прощая за опыт и ум некоторую потерю силы.

Упряжную собаку можно заменить в любой момент, была бы выносила — «пертужа» — да хорошо бы «гнала дорогу». Смена передовика — это всегда событие, встряска для упряжки, даже если передовик уже «свой», ходил уже в упряжке рядом со старым жоаком.

За жизнь через руки каждого охотника проходят сотни собак, запоминаются, конечно, только наиболее яркие «индивидуальности». Но передовиков своих охотник, как правило, помнит всех. Расставание с состарившимся жоаком — всегда маленькая драма, почти всегда — уверенность в том, что другого такого не будет.

С остальными собаками расстаются без особых эмоций — ничего не поделаешь, роль собак сугубо служебная, держать собаку, которая уже не может работать никто не станет. За год на прокорм упряжки нужно более пяти тонн рыбы. И какой — отборной! Ни одна здешняя собака есть ни щуки, ни налима не будет.

В самый первый мой приезд в Полярный я пошла посмотреть, как собак кормят, а происходит это один раз в день. Прокопий Семенович Варякин вдвоем с женой вынесли из дома огромный чан — алгуй — с варевом из рыбы. Несколько минут, пока варево остывало на морозе, пахуче дымясь, собаки бесились, лаяли, рвались и падали, опрокинутые натянувшейся до предела цепью. Потом Прокопий Семенович попробовал пальцем в чане и махнул жене: давай. Содержимое чана вылили в длинное долбленое корыто. Короткая свалка возле него, два-три пинка хозяйской ноги — и через минуту все было тихо, все морды опущены к еде. Железно усвоенное правило: позже начнешь — меньше достанется, — очень способствовало мгновенному наведению порядка.

И тогда я заметила пса, который, грустно помаргивая желтым глазом, сидел в стороне, зябко поджимая культю, оставшуюся вместо левой передней лапы. Прокопий Семенович понял мой немой вопрос.

— Хороший передовик был. В капкан попал. Пристрелить полагается. Не смог. Рука не поднялась. Упряжка ушла, он ее обратно привел, в тундре меня нашел. Так что я ему, может, жизнью обязан.

Собаки уже вылизывали корыто — кто как мог, некоторые норовили влезть в него лапами. Их привязали по местам, они улеглись, сытые, умиротворенные.

— Ну, иди, пенсионер, — вздохнул Прокопий Семенович, выливая из чана прибереженные остатки. И вчерашний гордый повелитель упряжки завывлял к корыту, благодарно виляя хвостом.

### Дорогие мои старики...

Самые яркие, самые колоритные люди в Русском Устье — это, конечно же, старики. Сендуха — поистине их мир, а не просто место работы, пусть и в достаточной степени экзотическое, как для молодых. Они — та последняя ниточка, которая тянется от нынешних молодых русскоустьинцев, выросших уже «при телевизоре», к их прадедам, не ведавшим, «как мука растет».

Как все пожилые люди, особенно сельские, они склонны к консерватизму, осторожно относятся ко всяким новшествам в охотничьем промысле — к капканам, например, или к попыткам заменить собачью упряжку снегоходом «Буран»: «Не нами заведено, не нам и менять».

Среди старых охотников, пожалуй, единственным страстным поклонником всяческой техники был Прокопий Семенович Варякин. Имея за плечами всего четыре класса, он выписывал журналы «Техника — молодежи», «Знание — сила», «Моделист-конструктор» и даже... «Юный техник». И прочитывал их от корки до корки. В одном из них он встретил описание аэросаней и загорелся идеей их смистерить. Занимался этим он в своем зимовье на Яру, к которому пристроил для этих целей что-то вроде мастерской. На мой вопрос, где же он берет необходимые детали, отвечал уклончиво, посмеиваясь в редкую бородку: «Гаечка выпрошена на западе, болтик — на востоке».

На Яр я попала много лет спустя, уже после смерти Прокопия Семеновича. И увидела наконец мастерскую, где до последних дней своих все пытался старый охотник осуществить золотую несбыточную мечту.

Вместе с сыном его, Иваном, и Сашей Фофановым, пилотом привезшего меня на Яр вертолета, долго перебирали мы поржавевшие металлические детали, а потом Фофанов откинул какую-то помятую клеенку и, удивленно присвистнув, заломил на макушку синюю форменную фуражку: «Вот это да! Откуда ж дед аэродинамику-то знал!»

Под клеенкой оказался огромный деревянный пропеллер, вытесанный охотником вручную топором из цельного лиственничного ствола — так, как тесал его отец, а может, и он сам в молодые годы весла для ветки — «досельной» деревянной верткой лодочки, похожей на байдарку.

Суждено было этому пропеллеру сгореть в печке или истлевать он и по сей день там, на Яру, заносимый снегом?.. Сманила Ивана из тундры жена — приезжая учительница, кончилась охотничья династия Варякиных, как многие другие.

Иду на кладбище — поклониться могилке Прокопия Семеновича. Кладу букетик скромных тундровых цветов у подножия деревянного памятника: две дощатые плиты — одна на другой, ступенькой, сверху — пирамидка. Стою, вспоминаю голос старого охотника: «Эх, милая, это тебе тундра чужа да страшна, а мне — дом».

И вдруг понимаю: ведь там, под этим странным надгробием, лежит не то, что осталось от брэнного его тела, а лежит он сам — такой, каким опустили его много лет назад в могилу. Потому что не в земле покоится он, а во льду, который не оттаивает никогда.

Обычай хоронить «в землю» — принесенный пращурами нынешних русскоустьинцев из «тамошней» жизни — вошел в противоречие со здешней

природой. Тундровые коренные народы, во всяком случае до принятия ими христианства, никогда не закапывали своих покойников. Их подвешивали, завернув в шкуры, высоко над землей — чтоб не достал зверь, — и ветер, воздух, солнце делали свое дело. Есть что-то нечеловеческое (или не Божье?) в том, что умершие десятилетиями лежат, как в огромном холодильнике, в мерзлоте, сохраняя свой земной облик, — отцы, деды, прадеды нынешних обитателей Русского Устья...

Рано утром вижу из окна старинную мою знакомую — Екатерину Николаевну Портнягину, родную сестру тетки Огры. В лицах многих русскоустинцев отчетливо видны черты коренных северных народов — якутов и юкагиров: почти за четыре века немало было смешанных браков. Но у обеих старых сестер — лица совсем русские, с пронзительно голубыми глазами. Сын Екатерины Николаевны Серафим тоже светлоглаз и светловолос, у него узкий, совсем нездешний хрящеватый нос с горбинкой, как у матери. А жена Верочка — якутка, и внуки у Екатерины Николаевны получились черноголовенькие, с быстрыми узенькими глазками.

Дети младшего сына Николая — в портнягинскую породу, особенно Оленька. Так и просится на ее русую головку веноч из васильков, которых Оленька никогда не видела.

Не минула этой семьи страшная беда, которая подстерегает здесь всех. Почти каждый год берет коварная ледяная Индигирка человеческие жизни. Привыкшие постоянно быть на воде, мужчины порой теряют осторожность в обращении с лодкой, с мотором. Николай неправильно переключил скорость, лодка резко рванулась вперед, и он, потеряв равновесие, упал в воду. В наших широтах — это неприятное происшествие, не более, здесь — верная гибель. И не только потому, что никто не умеет плавать. Температура воды в Индигирке никогда не поднимается выше двух-трех градусов. Тело Николая искали на лодках вдоль берегов, но была поздняя осень, по реке уже шло сало — шуга, и на третий день она стала.

Говорят, в конце мая, когда начался ледоход, часами простаивала тетя Катя на берегу, глядя, как ломаются, громятся друг на друга льдины. Где-то, впаянное в такую ледяную глыбу, несло, как в вечность, в безбрежный простор Ледовитого океана тело ее младшего, самого любимого сына.

Теперь тетя Катя живет в Чокурдахе у старшей дочери, но Серафим с семьей уехал в отпуск, и она прилетела в поселок «досмотреть собачек».

Каждый день выходит она из нового дома, где семья сына живет в отдельной двухкомнатной квартире, и, опираясь на палку, бредет через весь поселок к старому, уже брошенному дому, в котором прожила всю свою долгую жизнь. Индигирка подобралась уже вплотную — дом совсем завис над обрывом, хорошо, что дверь — со стороны поселка, и в нее еще можно зайти.

Здесь тетя Катя варит на старой железной печке похлебку для собак, кормит привязанную здесь упряжку: «Собачки дак привыкли тут, и пошто в доме рыбой вонять, рыбака-то, она во-онь-кая!»

Я догоняю тетю Катю у самого входа.

— Заходи, заходи, — кивает она, толкая низенькую дверку, — да не пужайся.

Я вхожу согнувшись, а выпрямившись, невольно делаю шаг назад: на месте правого угла зияет дыра, в которую видны свинцовые воды Индигирки.

Тетя Катя садится на лавку, разматывает серый клетчатый платок.

— Кончацца дом-то, кончацца, — говорит она. — Как дыра-то этта открылась — всё, думаю, конец скоро. Вчера бы пришла. Вчера собрались мы с родниками, посидели, налили по махонькой. Помянули всех. В печку маленько плеснули — огонек покормили. Поклонилась я печке — спасибо, печка-матушка, скоко лет ты грела-кормила. Я и Серафиму сказывала, как уезжал: поди, Сима, поклонись дому, вернешься, может, уж и не застанешь.

В доме уже пусто, все, что представляет какую-то ценность, давно забрали. Остались лавки да покосившийся старый стол, сделанный еще руками хозяина. Но тетя Катя видит то, чего не могу увидеть я: хозяина, сидящего во главе этого стола, детей своих, маленьких еще — по лавкам. Дусю, Симу... Николая. И себя — молодую, проворную, раскрасневшуюся от печного жара.

— Отче-ей дом! — протяжно говорит тетя Катя, обводя глазами стены, которым суждено вот-вот уйти на дно реки.

### Катастрофа

Для жителей Крайнего Севера, занятых в традиционных отраслях хозяйственной деятельности — охоте и оленеводстве, — все, что произошло в 90-х годах, можно обозначить только одним «внеэкономическим» понятием: катастрофа.

В 1992 году прекратили свое существование совхозы. Рухнула ставшая привычной схема жизни охотника: убил — сдал — получил. То, что продукция, производимая коренными северными народностями, — оленина и пушнина — всегда была убыточной, их самих как бы и не касалось: голова об этом болела у начальства.

Теперь начальства не стало. Верховный Совет Республики Саха — Ил Тумэн — принял в 1992 году закон, по которому северным народностям надлежало, объединившись по старому родовому принципу, вживаться в новую рыночную экономику. Теперь они должны сами заботиться о реализации своей продукции. Мало того, прекратилось и централизованное снабжение северных поселков — теперь предстояло все самим покупать.

По якутскому Северу уже прокатился вал банкротств. Закрыт золотой прииск Кулар в Усть-Янском улусе: даже добыча золота в условиях Крайнего Севера оказалась нерентабельной.

Падает добыча и переработка оловянной руды — касситерита — на Депутатском горнообогатительном комбинате. В домах поселка занято по две-три квартиры. Остальные жители уехали. Прошлой зимой оставшихся сселяли на несколько улиц: от опустевших домов отрезали все коммуникации, отключили свет и тепло.

На промышленных предприятиях работают почти исключительно приезжие. Они уедут. В республике обсуждается вариант вахтового метода для промышленных предприятий, которые надо сохранить: содержать всю инфраструктуру слишком накладно.

Местным жителям деваться некуда, хотя их продукция тоже совершенно нерентабельна. Себестоимость килограмма оленины достигла 100 тысяч рублей. Песцовые шкурки, бывшие в такой цене прежде, нынче не нужны никому: Запад их перестал брать. То ли мода прошла, то ли восторжествовали защитники диких животных. Так или иначе, созданная в Якутске для скупки пушнины организация под названием «Сахабулт» уже два года как шкурки песцов вообще не принимает. А ничего другого жители тундры «производить» не могут.

...Я снова в Якутске.

Новые двенадцатизэтажные жилые дома. Магазины, ничем, кроме более высоких цен, не отличающиеся от московских. Новые сооружения, поднявшиеся в этом городе традиционных долгостроев со сказочной быстротой: Центр материнства и детства, новые корпуса университета, стадион. Сияющая в ночи неоновая реклама корпорации «Туймаада Даймонд». Элегантные «новые якуты» с сотовыми телефонами за столиками ресторана при шикарной гостинице «Тыгын Дархан», именуемой «в миру» «Президент-отелем». На улицах — обилие иномарок, несмотря на то что идет самый темный, самый мрачный из зимних месяцев — декабрь.

Ответственный работник администрации Президента, старый приятель еще со времен моей работы в «Молодежке», на мой вопрос, смогу ли я попасть «к себе» — в Русское Устье, выразительно покрутил пальцем у виска: «Да ты оттуда до марта не выберешься».

Мчусь в Институт проблем народов Севера, к Алексею Гавриловичу Чичаеву — он был осенью на Индигирке. Что там?

— Страшно, — коротко говорит Алексей Гаврилович. — Они отброшены в начало века.

Бедные мои русскоустыинцы, они опять оказались «на пределе человеческого жительствова». Регулярных местных авиарейсов нет. «Ан-2», летавший раньше три раза в неделю, теперь появляется от случая к случаю: у жителей нет денег на билет даже до Чокурдах. Значит, подрастающее поколение будет видеть «тамошнюю» жизнь только на экранах телевизоров. Впрочем, если будут деньги на горючее для дизельэлектростанции. Для спецрейсов — возить почту, кинофильмы, товары в магазин — денег тоже нет. Час вертолетного времени стоит почти семь миллионов.

Все труднее поддерживать жизнедеятельность поселка: стоимость бочонка горючего подбирается уже к миллиону. А новые дома не протопить дровами: они строились в расчете на центральное отопление. И школа. И фельдшерский пункт. И магазин. И детский сад. А пекарня? Не случайно здесь до 40-х годов не знали хлеба. А если даже дрова — где их взять? Раньше снабжал совхоз. Еще раньше давала река. Теперь верховья Индигирки обезлесели — плавника не стало. Холод и темнота вплотную подошли к порогам домов.

Хиреет охота. В конце 70-х годов в северных совхозах очень настойчиво стали насаждать снегоход «Буран». Была такая уверенность: стоит оснастить охотников современным средством передвижения — и охотпромысел обретет привлекательность в глазах молодежи. Старики с упряжкой расставаться не спешили, а молодые, естественно, потянулись к технике. И теперь это обернулось для охотников бедой. И «Бураны» и «Прогрессы» — моторные лодки, которыми давно уже пользуются все, — требуют ремонта, запчастей, горючего. Цены же на все — бешеные. Новый «Буран», наверно, не купит уже никто — цена его около 30 миллионов. Восстанавливать собачьи упряжки? Это, возможно, не самое сложное, от них еще не успели отвыкнуть. А летом? Возвращаться к доморощенным дедовским веткам (лодки «досельной» конструкции)? Так их уже никто не умеет мастерить.

Дальние зимовья заброшены: ездят лишь по ближним пастям да по пескам — за рыбой. Рыба — чтоб кормиться, а за песками — скорее по привычке. А еще в надежде на разбойные набеги предприимчивых людей, которые появляются периодически на каких-то неизвестно чьих вертолетах и скупают пушнину по дешевке. Или меняют на водку. Увы! Вечна человеческая слабость: чем тяжелее, безвыходнее ситуация, тем больше желание отключиться, хоть на какое-то время забыть об обступающих со всех сторон неразрешимых проблемах. Пьянство, и прежде бывшее бичом Севера, возросло чрезвычайно.

Ожидая посадки на самолет в Домодедове, я разговорилась с какой-то бойкой дамой, имевшей целью своей поездки Чокурдах. Выяснилось, что она — «челнок», только, так сказать, внутрироссийский. И несколько месяцев назад была... в Русском Устье. Я так и вскинулась: «Боже мой, что же вы туда возили?» Она сконфуженно отвела глаза: «Да так, продукты кое-какие».

Ясно, бартер: отвезла гречку или сухое молоко, вывезла песцов или ценную рыбу.

Но при том положении, которое сложилось со снабжением Севера, и такие «поставки» благо. Раньше львиная доля грузов поступала Северным морским путем. Сейчас он, как известно, не работает. Значит, грузы могут сюда попасть только по воздуху. Отсюда и цены: килограмм сахара — 20 тысяч,



масла — 50. От таких цен и при хорошей зарплате взвоешь. А с зарплатой в Якутии дела обстоят так же, как и во всей России. Поэтому приезжие с Севера форменным образом бегут.

Самое печальное — уезжают врачи и учителя. Боюсь, в самое ближайшее время жители Севера могут просто остаться без медицинской помощи. А она тут нужна, возможно, больше, чем где бы то ни было. В прошлом году централизованно провели обследование всех детей северных улусов. Полностью здоровых оказалось два процента.

Женщины уже рожают по наслегам без медицинской помощи. Да и в улусном центре далеко не всегда есть нужный специалист: из Черского, например, недавно уехала, выйдя на пенсию, врач-гинеколог, проработавшая здесь не один год и спасшая десятки женщин. Роскошный Центр материнства и детства, оборудованный по последнему слову медицинской техники в Якутске, — и рожаящая по старинке жительница тундрового поселка. Новые корпуса университета — и закрывающиеся в наслегам школы. Оленеводы уже разбирают детей из интернатов и увозят в тундру. Всерьез идет разговор о «кочевых школах» и о том, что грамоте вполне могут научить поголовно грамотные матери и бабушки. Это контрасты сегодняшней Якутии. И как их можно преодолеть или хотя бы смягчить, не знает никто.

Лишенные государственной поддержки, разнообразных льгот, к которым они привыкли, малочисленные народы Севера просто растерялись в современных условиях. В силу особенностей их менталитета им совершенно не свойственны черты, без которых в сегодняшней жизни не обойтись: оборотистость, городская суетливая предприимчивость.

Чтобы коренные народы могли продолжать существование хотя бы в тех условиях, к которым их приучили за последние тридцать — тридцать пять лет, нужно *государственно поддерживать* территории их обитания. Настоящая господдержка — это сохранение на приемлемом уровне здравоохранения, образования, культуры. Работы авиации. Жилищного строительства и ремонта жилого фонда, всей инженерной инфраструктуры поселков, которая в противном случае при здешних экстремальных природных условиях очень быстро обветшает и выйдет из строя. И — выбросит их жителей опять в чумы и тордохи, в юртушки и зимовья.

И, очевидно, уже навсегда. Через десять — пятнадцать лет потери станут необратимы. Дети будут расти оторванные от большой жизни, «закупоренные» в тундре, лишенные возможности развиваться и получать нормальное образование — а значит, неконкурентоспособные на рынке рабочей силы, не говоря уже о возможности поступления в высшие и средние учебные заведения. Тундра станет их единственным уделом, как у дедов и прадедов.

...В последнее время в печати очень осторожно, словно ступая на тонкий лед, некоторые журналисты и государственные деятели, знающие Север не понаслышке, отваживаются произносить слово, неприятие которого заложено в нас, наверное, уже на генетическом уровне. Слово это — резервация. Много лет нам внушали, что это — предел национального гнета и унижения.

Но что такое резервация на самом деле? Территория, выделенная для проживания коренного населения, на которой запрещена всякая промышленная деятельность. В определенном смысле территория низовьев Индигирки — это и есть резервация, только естественная. Людей сюда ниоткуда не сселяли, здесь их не запирали, это исконные места их обитания. И никакого промышленного использования этой территории не было, нет и в обозримом будущем не предвидится.

Но у государства с людьми, обитающими в резервациях, отношения, если можно так выразиться, строятся на внеэкономической основе. Основа — только нравственная. Посыл — моральная ответственность общества перед людьми, которые в силу исторических, географических и прочих условий своего существования не могут вписаться в современный жестко структурированный мир. И государство создает им условия для достойной жизни, дает

возможность желающим уйти в этот мир, а тем, кто не может или не хочет этого, — жить привычной жизнью в привычных условиях. Их государство берет на обеспечение.

Все, с кем довелось мне разговаривать на эту тему в Якутии, в один голос твердили: «Это недопустимо. Люди должны работать. Без труда нельзя».

Однако уже принято Постановление Правительства республики о ежемесячной гарантированной оплате труда оленеводов. Значит, никакого подсчета поголовья стад, никакой зависимости оплаты от «делового выхода тугутов» — оленьего молодняка, — как при совхозах? Первые шаги к гособеспечению?

Только вот на охотников это Постановление не распространяется. Хотя они в еще худшем положении, чем оленеводы. Потому что олень — сам по себе уже еда, а песец — нет. Песца можно только продать.

Возможность протеста против своего отчаянного положения у охотников равна нулю. Ни в одном органе государственной власти из-за мизерности «электората» они никогда не будут иметь своего представителя. Все известные формы социальной самозащиты — все эти пикеты, демонстрации, митинги, забастовки — это не из их жизни. Да и кто бы заметил их забастовку? Они же не шахтеры. Впрочем, можно считать, что они два года уже «бастуют»: государство за два года не купило у них ни одной шкурки.

Я не государственный деятель, не ученый, не экономист, у меня только вопросы на бумаге и скорбь — в душе. Скорбь — потому, что почти тридцать лет я связана судьбой с этими людьми. На моих глазах они вырывались из старых, невысказанно тяжелых условий почти первобытной жизни, пережили короткую полосу надежд на лучшую долю — и опять сорвались вниз.

Уже третий час сижу в Якутске на почтамте: пытаюсь дозвониться в Русское Устье. Нет связи... нет связи... нет связи...

Кого я позову к телефону, если меня в конце концов соединят? Дорогих моему сердцу стариков — увы! — уже нет на свете. Уехали (а может, вернее сказать, бежали) все, у кого была хоть малейшая возможность «зацепиться» в другом месте: кого-то приняла родня, кто-то из охотников, вышедших на пенсию, успел получить квартиру в Чокурдахе. Оставшимся — не до разговоров: из последних сил бьются они с подступающим со всех сторон мраком.

Неужели заканчивается многовековое течение жизни этого уникального поселения, подобно самой Индигирке, завершающей здесь свой бег к Ледовитому океану? Всё? Устье?..



# ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ЕКАТЕРИНА КРАШЕНИННИКОВА

\*

## ЭТЮД О ЮДИНОЙ

*Всякий, кто имел счастье знать Екатерину Александровну Крашенинникову, невольно ощущал ее значительность. В ней было больше того, что она говорила, больше, чем писала, — чувствовалось обаяние человека, живущего внутренней жизнью любви и подвига, готового в любой момент кинуться на помощь тому, кто в этом нуждался.*

*Высокая одухотворенность ее существования оставляла ощущение таинственной глубины поступков и мысли, толкающей на догадки, страстная порывистость ее характера сказывалась во всем, что она делала и решала, удивляя порой неожиданной логикой ее жертвенного служения.*

*Ярче всего звучит в моей памяти ее голос на отпевании моего отца ночью 1 июня 1960 года, в той маленькой темной комнате, где мы теснились. Она была живым воплощением горя, преодолеваемого усилием веры. Вероятно, я впервые тогда из полутьмы прилежавшего коридорчика разглядел в свете мерцавших свечей ее лицо под широкими полями старенькой соломенной шляпки. Прежде она всегда сливалась для меня со своими подругами, которые в 40-х годах часто прибегали к папочке неразлучной стайкой.*

*Я разыскал ее потом, уже значительно позже, чтобы расспросить подробнее о ее дружбе с отцом и их давних разговорах, которые она взволнованно и чистосердечно передавала мне, сберегая в памяти все малейшие оттенки его слов. Будучи тогда под обаянием философии Николая Федорова, она увидела во мне служение его идеям воскрешения отцов и хотела помочь, чем могла. Она подарила мне сохранившиеся у нее удивительные отцовские поздние письма к ней.*

*Кроме свидетельств приобщения моего отца к православию, присылки ему книг и икон, в них есть удивительное признание его любви к ней, остановившейся «в нескольких шагах от черты, за которой начинаются судьбы, совместности, соучастия в жизни, вещи счастливые и роковые. Я рад, — писал он, — что мы не связали друг друга ничем таким, что никогда не свяжет Вас, и что мы свободны».*

*Именно такую любовь, преодолевающую страсть, проповедовала она всю жизнь и радовалась, видя родственное понимание ее у моего отца.*

*У нас не сразу завязались с ней дружественные отношения, хотя она со всей своей душевной порывистостью и открытой любовью отнеслась к нашей семье. Мы с детками круглый год жили в Переделкине, она разрывалась между старой матерью, работой в каталоге Ленинской библиотеки, регулярными службами в Лавре, бесконечной и активной помощью всем и вся. Помню, я как-то навеял ее в библиотеке, в Отделе церковной истории, и видел, как ее там ценили и высоко ставили: вероятно, ее блестящая память и способности делали ее незаменимой в работе библиографа. Она приходила к нам зимой 1973 года с рассказом о своих встречах с папочкой, которые помнила в подробностях: даты и темы разговоров, отдельные слова и душевные состояния обоих. Для меня это было живым воскрешением, происходившим на глазах, удивлявшим страстной силой и жаждой досказать недоговоренное в свое время. Очень многое в ее словах было для меня полной неожиданностью, казалось невероятным, кое-что я мог бы уточнить известными мне фактами, но эти картины так определенно стояли перед ее душевным взором, что мои поправки были ей не нужны. Она с ними могла соглашаться, но продолжала видеть все по-своему. Тогда еще мы только начинали приглядываться друг к другу: я — с некоторой долей недоверия, она — с любовью, всегда, повторяю, сочетавшейся у нее с желанием душевно помочь, поддержать и наставить.*

В ее рассказах мне отчетливо виделись папины встречи с ней и ее сокурсницами — стайкой девочек с исторического факультета, занимавшихся в те, казалось, беспросветные времена философией и историей религиозной мысли, — имена Скрябина, Владимира Соловьева, Н. Федорова, Андрея Белого, Достоевского и Л. Толстого, которых они изучали, были для моего отца знаком его собственной молодости и вопросов, которыми жило его поколение. В первых главах романа «Доктор Живаго» он тогда писал о них:

*«Все эти мальчики и девочки нахватались Достоевского, Соловьева, социализма, толстовства, нищенства и новейшей поэзии. Это перемешалось у них в кучу и уживается рядом. Но они совершенно правы. Все это приблизительно одно и то же и составляет нашу современность, главная особенность которой та, что она является новой, необычайно свежей фазой христианства».*

Но главным в ее разговоре с моим отцом был образ Христа, горячий порыв любви к которому был страстно пережит ими обоими в раннем детстве.

Я въяве увидел живую Симушку Тунцеву из «Доктора Живаго», с ее открытой готовностью делиться со всеми своими мыслями и трактовками библейских текстов и церковных песнопений. Конечно, мысли и догадки, приписанные автором ей в романе, полностью принадлежат самому писателю, но избыток одухотворенности и постоянной взволнованной приподнятости над житейским обиходом роднит их обеих и делает в глазах обывателя «странными», «не от мира сего».

Екатерина Александровна рассказывала нам тогда об отчаянии, в которое повергло ее известие о смерти брата на фронте, о том, как папочка, стараясь утешить ее, передавал ей органически присущее ему ощущение Отчей любви ко всей жизни, нежно и твердо внушая ей упование на любовь Божию и Его силу, способную все изменить и даже восставить из смерти. Охваченной глубоким горем утраты, терпение представлялось ей изменой активности, которую требует от нас Бог, но светлая сила папиной веры снимала горе, пусть условно, как ей тогда казалось, до тех пор, пока она не поймет сама, в чем ее долг и что ей делать дальше. Эти переживания стали основой их глубокой дружбы. Смерть была для них обоих загадкой, ее разгадывание — насущным делом жизни. «У смерти очертаний нет», — писал он в стихотворении, посвященном гибели Марины Цветаевой.

Тут всё — полуслова и тени,  
Обмолзки и самообман.  
И только верой в воскресенье  
Какой-то указатель дан,

Через несколько лет Екатерина Александровна принесла нам свои заметки о религиозной жизни моего отца и ее восприятии его творчества, написанные для уточнения затронутых нами в разговорах с нею тем\*.

Вскоре ей пришлось выйти на пенсию, чтобы полностью посвятить себя тяжело болевшей матери.

...Я приезжал к ним в Ашукинскую в один из дней Пасхи 1974 года. С некоторым трудом разыскал узкий проход между участками к их дому, вернее, небольшой части дома, где они жили. Во дворе меня поразило количество собак, по большей части увечных и достаточно злобных. На их лай выбежала ко мне хозяйка и провела в дом к празднично накрытому столу. В услу сидела оживленная старушка мать, которую в течение нескольких лет Екатерина Александровна с сестрой выхаживали, при всех трудностях нищенской загородной жизни, не оставляя ее ни на минуту, несколько раз постоянными молитвами возвращая ее к жизни тогда, когда врачи теряли надежду. Провожая меня на станцию, Катя сожалела, что мы лишены евхаристической поддержки, настаивала на необходимости связи с Христом через церковь. Говорила о своей горячей жалости к зверью, боль и страдания которых переживала всегда тяжелей, чем собственные. Огорчалась, что в христианстве животным недостаточно уделяется внимания, и признавалась, что ее на служение им благословил батюшка.

\* См.: Крашенинникова Екатерина. Крупницы о Пастернаке — «Новый мир», 1997, № 1. (Примеч. ред.)

Обычно она появлялась в Москве неожиданно и звонила, что зайдет через несколько минут ненадолго. Раз от разу такие встречи становились все более нежными. В нашем крещении у отца Дмитрия Дудко она видела мистическое значение, вспоминая, как они с матерью привечали у себя вернувшегося из лагеря молодого священника. Рассказывала нам, что после письма патриарху Николаю Эшлимина и Глеба Якунина и их «отлучения» она подошла к Александру в Лавре у раки преподобного Сергия с просьбой простить священников. «Что мне их прощать, они правы», — ответил он. Она восхищалась, что он не заметил ни их провокационных вопросов, ни оскорбительного тона послания — ему был важен только самый смысл. Прибавляла потом, что тогда же ему писал об этом и митрополит Антоний (Блум), встревоженный нестроениями в церковной общественности.

Екатерина Александровна была знакома с владыкой Антонием, регулярно встречаясь с ним в его наезды в Москву у сестер композитора Скрябина в Брюсовском переулке, и очень любила его. Она рассказывала нам также о своей духовной близости к митрополиту — впоследствии патриарху — Сергию Страгородскому, восхищаясь высотой его мысли и духа.

Меня поражали ее физические и духовные силы, с какими она посещала службы в Сергиевой Лавре, постоянно записывая при этом все наше семейство в молитвенные списки. Зная ее активную доброту и заботу о всех старых и несчастных, когда могли, мы снабжали ее деньгами на поддержку в старческом доме некой Аполлинару (Аполлинуси, как она называла ее), которая была любимой подругой сестры Блока Ангелины.

Как когда-то папочке, она приносила нам книги по вопросам церковной истории и святоотеческих преданий. У нее было огромное собрание книг, передаваемых ей на хранение многочисленными опекаемыми.

Постепенно я узнавал все более и более о ее подвижнической жизни, полной лишений и чудес жертвенности, связанной невидимыми мистическими нитями, подмечать и создавать которые она умела как никто, что также роднило ее с моим отцом. «Жизнь символична, потому что она значительна», — говорит он в «Докторе Живаго».

...Родилась Екатерина Александровна 7 декабря 1918 года, в день святой великомученицы Екатерины. Жили они тогда в Москве, в Савельевском переулке. Крестили ее в Зачатьевском монастыре. Ее мать, Елизавета Александровна, была полуфранцуженкой, дочь известного дирижера Александра Дюшена. Отец, Александр Ефимович, — из богатых купцов-промышленников, наследник текстильных мануфактур. Красавец, образованный человек, он вершил делами мануфактур рано овдовевшей матери и свою молодость провел размашисто, с любовью пожить.

Как-то по делам своих мануфактур он очутился зимой в глухомани, кучер потерял дорогу. Увидев озонек, они наехали на одинокий скит. Постучались. «Сашка, входи», — услышали голос.

Это был прозорливый старец, который, усадив его, выслушал всю его беспутную жизнь, которую тот поведал ему как на духу.

«Тебе жениться надо, — это ты все брось», — был ответ.

Вскоре после этой встречи жизнь его изменилась — Александр Ефимович познакомился со своей будущей женой, которая кончала тогда гимназию.

Отца очень любили рабочие его фабрики и спасли его от погрома во время революции. Из Москвы им пришлось уехать, и жили Крашенинниковы в Петушках, где сохранились остатки имения; отца рабочие сделали директором. У них было четверо детей: Сергей, Екатерина, Юрий и Мария.

Первый раз отца арестовали в 1930 году. По заступничеству рабочих скоро освободили, но потом арестовали вторично — по делу Рамзина, и все шло к расстрелу. Четырнадцатилетняя Катя дошла до К. Радека и А. Енукидзе и добилась, чтобы его освободили. «Катя — моя спасительница», — говорил отец. Он ушел здоровым, бодрым человеком — вернулся стариком. Ютились в бараке, потом переехали в Тарасовку. Жили при больнице, отец работал почтальоном. С глубоким христианским смирением он принимал все, что происходило, бедность и нищету, без единого ропота.

Мать — лишенка, хрупкая женщина — работала курьером, потом на торфозаготовках, на самых тяжелых работах. Позже ее блестящее знание языков дало ей возможность преподавать в школе; все делала легко, радостно — детская, светлая душа.

Катя не могла регулярно учиться в школе, работала прачкой, мыла полы. Экзамены сдавала экстерном. В 1937 году она поступила на исторический факультет. В следующем году подружилась с Ольгой Сетницкой, дочерью расстрелянного ученика Н. Федорова. Катя блестяще училась на отделении античности, у профессора Машкина, на одном курсе с Сетницкой, вскоре к ним примкнули Ирина Тучинская, Наталия Соболева и сестра Ольги Елена Сетницкая, бывшие на два курса моложе.

С началом войны Екатерина Александровна пошла работать в Институт Склифосовского санитаркой, находила по вокзалам раненых и доставляла как-то в больницу (транспорта, разумеется, не было).

Ее духовником стал отец Александр Воскресенский, который служил у Иоанна Воина и жил там же, в домике во дворе (он скончался в 1950 году). Ездил в Лавру к отцу Серафиму, потом познакомилась с отцом Николаем Голубцовым из Ризоположенской церкви. Он был также духовником и у Марии Вениаминовны Юдиной. Человек удивительной духовной высоты и прирожденного пастырского служения.

Когда в 1951 году у Крашенинниковых случился пожар в Тарасовке, успели вынести лишь иконы. Но свершилось чудо: в оклад спасенной от пожара иконы были вложены облигации, по которым вскоре — чуть не на следующий день — они выиграли 50 тысяч рублей. Решено было купить жилье. Вдруг возникла возможность Ашукинской: треть дома — две комнаты и терраска — казались роскошью. Это было на Рождество 1952 года. В сравнении с Тарасовкой — близко от станции, а главное, близость к Сергиевой Лавре, куда Катя стала постоянно ездить.

В их жизни чудесно сочетались нужда и широкая щедрость. Если заводились какие-то деньги, она сразу отдавала тому, кому нужнее, жертвовала на Лавру. У нее никогда в жизни не было ни одного нового платья, она не могла позволить себе что-нибудь истратить на себя. Но в чем бы она ни была одета, она всегда выглядела как королева. Походка, посадка головы, движения останавливали внимание.

Из-за открытой религиозности семьи они все время подвергались гонениям. Приходилось менять службы: после Скрябинского музея Екатерина Александровна работала в Библиотеке иностранной литературы библиографом, потом — в каталоге Ленинской. Работала всегда превосходно, ее высоко ценили. Но получала мало, потому что не было бумажки об окончании университета.

У них всегда кто-нибудь и подолгу жил; они привечали возвращавшихся из лагерей.

Мир для Кати был до м о м, она, ни на мгновение не останавливаясь, могла написать кому угодно. Но и ее требования к окружающим были очень высоки. Несмотря на всегдашние опасения слежки КГБ, где только ни случалась беда, там всегда была она и ее горячая помощь. Рискуя собой, в течение пяти лет она поддерживала посылками свою подругу в лагере строгого режима.

Последние годы, когда Екатерина Александровна не могла уже более ходить в церковь и ездить в Лавру (у нее развился тяжелейший полиартрит), сестры читали регулярно службы дома и жили в постоянном напряженном молитвенном состоянии. Ни слова жалобы на свою беспомощность и трудность быта. Смирненное принятие страданий. Жертвенность и глубина мистической жизни.

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, прими дух мой», — молилась она последние мучительные недели.

Она скончалась 24 ноября 1997 года.

Евгений Пастернак.

Москва.

7 декабря 1997.

...**В** 1945 году на паперти славной московской церкви Илии, что в Обыденском переулке, я заметила женщину не вполне обычной, привлекающей к себе наружности: возле нищих, никогда не переступая церковный порог, стояла она — полная, небольшого роста, с густыми вьющимися волосами, подколотыми в прическу, с высоким выпуклым лбом, белолицая, с голубыми глазами. Своеобразный костюм: сарафан сверху кофты с рукавами в три четверти, все черное; выражение — решительное до строгости. Однажды я поинтересовалась у самой многознающей прислужницы в храме: кто это?

«Мария Юдина, знаменитая пианистка; она *тихоновка* и в нашем храме не причащается».

Господи, неужели Юдина? Как же я ее не узнала?

В конце 1938 года подруга одного недавно репрессированного нашего знакомого рассказала, что была на концерте пианистки Марии Юдиной. Игра Юдиной ее потрясла, и она стала о ней расспрашивать. Слухи ходили удивительные: «Католичка, носит власяницу, спит в гробу». На ее вопросы, откуда же известно, что Юдина католичка, ей загадочно отвечали: «Конечно, она это скрывает, но нет ничего тайного, что бы...»

Но как раз подруга нашего репрессированного товарища, героиня его поэмы, была католичкой, мы все сразу про это вспомнили. Героиня была удивительная русская женщина, действительно принявшая католичество и даже получившая благословение от самого Папы Римского основать в «безбожной России» католический монастырь, что она и сделала. Герой же поэмы имел прототипом Сергея Соловьева, племянника гениального Владимира Соловьева. Да уж не прототип ли героини — Мария Юдина? Заинтригованные, мы отправились ее слушать.

Концерт; Мария Вениаминовна играет великолепно.

В ее исполнении совершенно не было того, к чему мы привыкли у Софроницкого, нашего любимого исполнителя: покаяния с надеждой на прощение, вытекающего из всего диапазона любви, присущей человеку. У нее же — бесконечная радость, бьющая, очевидно, из действительного источника веры, которой она жила. Торжественность звучания лишь иногда перемежалась скорбью, сразу отгесняемой обязательным волевым актом веры, который — будучи сам драгоценностью — имел в игре Марии Вениаминовны свое выразительнейшее звучание.

Через четыре года, в войну, в Московской консерватории были организованы медицинские курсы, руководила ими Мария Вениаминовна. Мы попросили Генриха Густавовича Нейгауза познакомить нас с нею. Он, как всегда спорый и энергичный, предложил сразу это осуществить и повел нас в классы, где шли медицинские занятия. Дождались перерыва. Вышла Мария Вениаминовна в белой шапочке. Нейгауз стремительно нас представил: «Мои друзья» — и скрылся. Я открыла рот и замерла: передо мной стояла женщина лет на двадцать моложе героини *той* поэмы, белая шапочка подчеркивала ее нестарость. Я поперхнулась, извинилась, и мы ретировались. В фойе, увидев Нейгауза, я крикнула: «Не то, совсем не то».

И вот — у Ильи Обыденного...

В 1947 году с Марией Вениаминовной встретилась моя сестра Маша, когда Борис Леонидович Пастернак в квартире Юдиной на Беговой читал первую часть «Доктора Живаго». Собралось много народу; атмосфера под влиянием чтения романа была приподнятая.

После его прочтения всех пригласили к столу. Маша со своей подругой Лелей Сетницкой отказались из застенчивости, сославшись на долгую дорогу домой. Тогда Мария Вениаминовна очень радушно, с добрейшей улыбкой надавала им в дорогу гостинцев — печенья, конфет, мандаринов — для карточного 1947-го царский подарок.

Домой Маша приехала взволнованная не только романом, но и личностью Марии Вениаминовны, ее широким радушием и добротой.

И только через десять лет — в 1956 году — мое знакомство с Марией Вениаминовной все-таки состоялось. Пастернак попросил передать вторую часть «Живаго», находившуюся у нас на прочтении, Марии Вениаминовне. «Только не на Беговую, она теперь живет в районе *Соломенной сторожки*», — и он дал нам ее новый адрес. Мы отправились исполнять поручение.

Ехали долго — на краю света, рядом с Тимирязевской академией, двухэтажный высокий дом. Осень в разгаре, золотая, дорожка от калитки подво-

дила к крутой лестнице, поднимавшейся почти до крыши. Наверху лестницы крошечный балкончик, с него — дверь в юдинскую квартиру.

Налево от входной двери — кухонька, то есть стол с плиткой. За занавеской — столовая с длинным столом, вдоль которого стояли стулья, тут же ложе Марии Вениаминовны — небольшой диванчик. И — кирпичная небольшая печь. Вторая комната, с роялем, почти пустая, пол чисто вымыт.

Мы представились. Мария Вениаминовна усадила нас за стол, начали говорить о «Живаго».

Я рассказала хозяйке о недавнем разговоре с Борисом Леонидовичем: он говорил, что хочет понять, что в жизни в силах изменить сложившееся *беспутие*. В результате пришел к выводу, что только искусство, проникнутое образом Христа — как единственно животворящим источником творчества.

Мария Вениаминовна с живостью согласилась. «Ну а конкретно это отражено в жизни героев романа?» — «На мой взгляд, бескомпромиссно, — отвечаю я. — Лара так и не поднимет глаз ко Христу, которого видел Юра. Она, как стрела, летит мимо, ничто не может всколыхнуть ее сознания: оно подавлено сильной, все сметающей на своем пути страстью. Какое-то бесчувствие в подчинении греху и обстоятельствам. По-моему, это один из самых трагических образов в мировой литературе». — «Вывод жесткий, но, к несчастью, соответствующий действительности, — кивает Мария Вениаминовна. — *Жар соблазна*. Мрачно, а тем не менее читаешь роман и думаешь: чудо как хорошо!»

Прощаясь, Мария Вениаминовна приглашает нас на свой ближайший концерт: Бах, Моцарт, Шопен.

И вот уже сидим и слушаем, как духовная энергия рвется из ее игры. Сама Мария Вениаминовна сияющая, нарядная, переполненная исполняемой музыкой...

Потом нас подхватывает Генрих Густавович, и с ним — в артистическую. Народу много, мы с чувством благодарим, восторженно лепечем что-то косноязычное.

Вдруг Генрих Густавович напоминает: «А ведь я знакомил девочек с вами лет четырнадцать тому назад, но они сбежали».

Я путано объясняюсь. «Вот что, — рассмеялась Мария Вениаминовна, заметив наше смущение, — едем ко мне, отпразднуем концерт и знакомство».

Ехали на машине, Марии Вениаминовне уже трудно было пользоваться другим транспортом. По дороге Маша командировалась в магазин за сладостями.

Приехали; стол накрыт, остается сделать салат да нарезать хлеб, чайник водружен на плитку.

Мария Вениаминовна появляется в чудеснейшей хламиде. Садимся за стол, не очень уверенно пропев величание одному из осенних святых. Сияем все.

Я сообщаю Марии Вениаминовне сведения о ней, когда-то полученные от знакомой: «Католичка, носит власяницу, спит в гробу». И следующие — полученные в церкви Ильи Обыденного: «У нас не причащается — тихоновка».

Мария Вениаминовна улыбается: «Слышала, что католичка, и про власяницу, но спит в гробу — что-то новое». Потом серьезно говорит, что действительно не причащается в нашем храме, так как не признает патриарха Сергия главой Русской Православной Церкви. «Как это так, — недоуменно говорю я, — вы полагаете, что из-за „политики“ можно не причащаться?»

Мария Вениаминовна качает головой: «Нетрудно догадаться, что это вопрос совести». — «Конечно, — незамедлительно подтверждает ее слова Маша, — но вот посмотрите: отец Валентин Свендицкий, известнейший московский протоиерей<sup>1</sup>, не признал местоблюстителя Сергия главой Церкви и

<sup>1</sup> Его богословскими произведениями «Граждане неба» и «Диалоги» мы зачитывались.



увел свою паству в катакомбы. И что же? Через несколько лет он осознал свою глубочайшую ошибку, понял, что местоблюститель Сергей своей декларацией подчинения Церкви государству спас ее от полного разгрома и от обновленчества. Практика жизни подтвердила правоту его действий. Для России катакомбы немыслимы, — горячо продолжала свои доводы Маша, — Церковь быстро вырождается в секты, теряются элементарные истины веры, получается карикатура на христианство фарисейского толка. А большинство людей тем временем вообще забывают, что такое Церковь. Потому незадолго до смерти отец Валентин и попросил прощения у местоблюстителя за свой грех и призвал свою паству к возвращению в лоно „сергианской” Церкви». — «Есть над чем подумать, — говорит Мария Вениаминовна. — Но что сказать о духовном уровне епископов и священников, признающих патриарха Сергея?» Маша опять с горячностью отзывается: как всегда, независимо от ситуации, в Церкви были и будут хорошие и плохие священники. В 40 — 50-е годы мы в одиннадцать из двадцати шести московских церквей знали настоящих старцев, которые чудотворили и исцеляли. Были, конечно, рядом и недостойные. Что до владык, то вы, Мария Вениаминовна, должны узнать их сами. Приезжайте на праздник в Лавру — и вы увидите, сколько народу со всей страны на последние гроши там собирается. Как почитают владыку Филиппа (Астраханского) пасомые всех его кафедр из всех его ссылок! А владыка Гавриил Кировский, отдающий все средства на обучение молодежи в высших учебных заведениях, а сам без зимнего пальто! Или наш загорский Гурий: жизнь каждого из них — чудо. Зачем же думать и говорить о плеведах — что они нам, что мы им, — заключила Маша.

Я — в свою очередь — рассказываю Марии Вениаминовне чуть не дрожащим голосом о своем первом духовном отце, архиепископе Сергии Гришине, которого Борис Леонидович сразу полюбил всем сердцем и скоропостижная смерть которого была нашим общим горем. А владыка Фаддей, любимец Тихона, тем не менее принявший декларацию Сергия, погибший в 1937 году...

Постепенно мы узнали кое-что о жизни Марии Вениаминовны в Ленинграде. Крестилась она в юности, получив необыкновенный заряд веры. Ее духовный отец — отец Федор, пока был на свободе, приучил ее к деятельной христианской жертвенности. По натуре прекрасный организатор, Мария Вениаминовна умела находить возможность спасения для обреченных на уничтожение дворянских семей. К детям арестованных она приискивала «воспитателей», которые часто на всю последующую жизнь становились для них родными, сама ездила к ссыльным и других стремилась привлекать к служению ближним. Для бесчисленного числа людей она была «добрым самаритянином», христианское служение — как и музыка — составляло соль ее жизни.

В молодости в ее жизнь вошел отец Павел Флоренский. Она написала ему письмо, на которое он отозвался, приглашая ее встретиться. Знакомство продолжалось вплоть до его ареста, а потом закрепилось дружбой с его семьей, особенно, конечно, с матушкой Анной Михайловной.

Когда в Ленинграде началась новая волна репрессий, поздно вечером в квартире Марии Вениаминовны раздался звонок. Она открыла дверь — перед ней стоял один из «высоких хозяев» Ленинграда, ее однофамилец, ее поклонник. «Мария Вениаминовна, вам нужно немедленно уехать». Она поблагодарила и рано утром уехала в Москву.

О своей личной жизни она тоже нам говорила. В юности влюбилась в диакона, но к началу зрелого возраста встретила человека, которого полюбила серьезно, талантливый авиаконструктор, моложе ее на несколько лет. Была помолвка, после которой он, альпинист, уехал в горы. И — разбился. Его мать, свою «несостоявшуюся» свекровь, Мария Вениаминовна взяла на свое попечение, вплоть до смерти последней.

Наше личное видение ее — не как творца, а как человека — она заставила нас обнаружить под влиянием следующего: как-то раз она возмутилась на

чью-то проявляемую к ней мужскую нежность. Я возразила: «Почему, Мария Вениаминовна, вы сердитесь? С гибели вашего жениха прошло много лет, и другой человек вправе выразить вам свое восхищение, пока вы еще не постарели, — не слишком тактично сформулировала я. — Ведь не всем дана „верность“ в любви или хотя бы знание, что она существует. Мало кто понимает, что именно делает вашу „верность“ живой и необходимой. Таков ваш подвиг, вы его не выбирали, но из него уже и выйти не можете, он неотделим от вас, за что вам хвала», — несколько патетически закончила я. Мария Вениаминовна была растрогана. С тех пор мы сдружились крепче.

И с Машей — тоже: Марии Вениаминовне нравился Машин взгляд на жизнь как на *служение*, которое та неукоснительно осуществляла в действительности. Маша занималась медицинской наукой, чтобы помочь больным в лечении, восхищалась гармонией человеческого организма, связью целого и частей, и своим восхищением заражала и нас, привлекая к пониманию красоты науки.

Мария Вениаминовна была совершенно согласна видеть эту красоту — так как тот же принцип был и в музыке. Я тоже была солидарна с ним, будучи воспитана на античной философии.

В жизни Мария Вениаминовна была предельно организована. Ей помогала в этом ее секретарь — Серафима Александровна, ведающая всеми расписаниями концертов Марии Вениаминовны, репетиций, записей, лекций и т. п. Обе они были привязаны друг к другу.

Зима прошла в наших регулярных концертных и послеконцертных встречах. Живая приветливость Марии Вениаминовны наши приезды к ней делала праздником.

В начале Великого поста Мария Вениаминовна объявила нам, что она много думала и решила пойти побеседовать к отцу Николаю Голубцову, тем более что невестка отца Павла Флоренского, Наташа, сказала ей, что народ считает отца Николая святым.

Сначала она поговорила с отцом Николаем, потом стала бывать на его службах. Мы держались в это время от нее в стороне, нам казалось, так деликатнее.

И вот наконец Мария Вениаминовна исповедовалась и причастилась у отца Николая в Донском монастыре. (В дальнейшем она стала не только его духовной дочерью, но и близким другом его семьи.)

У самой же Марии Вениаминовны — в отличие от стародворянской и очень церковной семьи погибшего жениха — все члены семьи были некрещеные; сестра Анна крестилась незадолго до смерти.

Мария Вениаминовна горячо и нежно любила близких: братьев, сестер, мачеху (особенно свою младшую сестру от второго брака отца). Эту любовь она, бездетная, перенесла на детей сестры, которых просто обожала, старалась дарить им как можно больше радости, брала с собой отдыхать в Прибалтику и т. п.

Ее милосердие не знало границ. Помогала, как могла, всем — например, больному сыну консерваторской гардеробщицы, которому нужны были деньги на путевку в санаторий. Она безотказно ссужала деньги на отправку посылок в лагерь и ссылки.

Был и такой случай в ее жизни. Однажды к ней поздно вечером пришла незнакомая женщина и сказала, что у нее случилась беда и ей нужна большая сумма денег, но она нигде не может достать. Слышала, что Мария Вениаминовна всегда помогает материально нуждающимся, и решила поэтому обратиться к ней за помощью, пообещав, что, как только встанет на ноги, долг вернет. У Марии Вениаминовны своих денег не было, она заняла; женщина вернула ей деньги через год.

Нужно сказать, что у Марии Вениаминовны занимали деньги многие, а возвращать, увы, «забывали». Зная это, мы решили в трудную для Марии

Вениаминовны минуту помочь ей материально. Мы — от имени нашего близкого друга — отправили ей денежный перевод с обратным адресом «до востребования». На переводе написали следующее: «Дорогая Мария Вениаминовна, покидая Москву, возвращаю вам свой давний денежный долг. Большое вам спасибо, что помогли мне в трудную минуту. Преданная вам Анастасия Прокофьевна Демидова». Мария Вениаминовна получила деньги, они ее выручили, но она ломала голову, кто такая Демидова, и никак не могла вспомнить.

Мария Вениаминовна, особенно с годами, очень любила рассказывать нам о своих делах «в данный момент» — ее кипучая энергия охватывала очень широкий круг жизни.

«Знаете, — рассказывала она, — я решила на небольшой цикл лекций о высочайших точках нашей культуры. Вчера в Малом зале комментировала и читала стихиры и отчасти канон Иоанна Дамаскина, посвященные погребению. — И без всякого перехода добавляла с возмущением: — Нужно же, чтобы хоть немножко выходили из привычного мысленного стойла!»

На ее лекции в аудитории Малого зала консерватории набиралось народу больше, чем на плановые концерты.

Так же «бесперебойно» наплывали на Марию Вениаминовну обстоятельства, требующие — по велению ее милующего сердца — немедленного вмешательства. «Затирали» Пикайзена — пусть не Ойстраха или Когана, но очень хорошего скрипача. И вот ни концертов, ни выступлений. Тогда Мария Вениаминовна добилась общих выступлений с Пикайзеном, они были прекрасны. Для исполнения она брала такие вещи, в которых все сильные стороны исполнительства Пикайзена сверкали перед слушателями, умело оттеняемые ею. Я побывала на одной их репетиции и получила душевную зарядку на целый месяц.

Принимая во внимание, что у меня «созерцательный ум», а у Марии Вениаминовны до предела конкретный, а характеры у обеих очень пылкие, наше общение было бы трудноватым, не будь рядом моей сестры Маши. Ее суждения были мостом, который, мирно соединяя крайности, не умалял их контрастности. Правда, случались и казусы.

Мария Вениаминовна с воодушевлением готовит концерт с шопеновской программой, играет 24 прелюдии. Мы в растерянности, так как не воспринимаем Шопена в ее исполнении, и — молчим. И она молчит тоже. Как будто ничего и не было.

Не могу не сказать и о еще одном замечательном ее качестве — терпении. При ее горячем темпераменте оно казалось чем-то сверхъестественным: терпение по отношению к человеческим слабостям и несовершенствам.

Не помню точно, *когда* она попросила меня проводить — с нею вместе — на самолет Леонарда Бернстайна, который накануне в Большом зале консерватории дирижировал Нью-Йоркским оркестром. В машине по пути к аэродрому Мария Вениаминовна волновалась: «Что делать? Говорить с Бернстайном по-латыни? Ни английского, ни французского не знаю». (Она в совершенстве владела немецким.)

А в консерваторию на тот памятный концерт я приехала прямо из собачьего питомника, где находился на излечении наш любимый пес. Бетховен у Бернстайна мне показался холодным и далеким от страданий, переполнявших современную жизнь. Зато Шостакович! Его Бернстайн играл проникновенно — боль и мольба о милосердии отчетливо слышались в его исполнении.

Мы провожали Бернстайна на аэродром, свои впечатления от его исполнения я изложила по-английски на нескольких страничках, которые и вручила великому музыканту.

...Мария Вениаминовна любила брать нас в Загорск, к Флоренским, которых мы встречали на службах в Лавре. Для нее игра в доме отца Павла — для его вдовы — была событием, играла там она хорошо, но мне казалось, что ей

не хватает эмоционального отклика сотен людей, наполнявших зал. Невидимое присутствие-отсутствие хозяина дома всегда вносило ноту трагизма.

Всех близких к Марии Вениаминовне людей мы знали с ее слов, начиная, скажем, с Бенеша — чехословацкого президента и политического мученика.

Жизнь бежала в установленных рамках. Помню, однажды в нашем ночном гостевании у Марии Вениаминовны принимал участие кто-то из только что вернувшихся сосланных — было и душевно, и духовно, и хорошо. Потом мы с Машей спали на полу в соседней комнате, на чистом белье, но под своими шубками, после того как гость в 5 утра ушел на трамвай. Но все равно осталось впечатление, что — недоговорили.

Грянула беда. Заболела серьезно наша мама, и все наше время и все наши силы шли на уход за ней. С Марией Вениаминовной видеться стали реже, даже приходилось пропускать ее концерты, оставаясь все время с мамой, она порой огорчалась, но понимала, что иначе нельзя.

«За маму вы отвечаете целиком, — говорит отец Николай, — за Марию Вениаминовну меньше. Вот и выбирайте, как подскажет совесть». Слова отца Николая и для нее стали законом.

...В это время она получает новую квартиру возле Смоленской площади — хорошую, со всеми удобствами. Вскоре Мария Вениаминовна заболела, за ней ухаживает и смотрит Елена Сергеевна, тоже духовная дочь отца Николая, медсестра с большим опытом и кроме того — регент Филипповской церкви на Арбате. Она великолепная сиделка, строгая и умная, Мария Вениаминовна с ней кротка, как овечка. Мария Вениаминовна пошла на поправку.

К тому же времени относится одно светлое воспоминание.

Я тогда сторожила по ночам Музей Скрыбина, чтобы иметь справку о работе. И вот после дежурства рано утром слышу звонок — открываю. На пороге иеродиакон Макарий, бывший иподиакон Святейшего Алексия I. От неожиданности одеревенела.

«Простите, здравствуйте, — говорит он. — Просто в моем распоряжении несколько свободных часов, вы тоже свободны, давайте пойдете вместе к Марии Вениаминовне и устроим ей новоселье. Вы ведь знаете, как я преклоняюсь перед ее музыкой, а вы так много рассказывали о ее удивительной жизни». Я с радостью соглашаюсь, спешим в «Прагу», покупаем закуску и сладостей (я вегетарианка). Звоню Марии Вениаминовне.

Она немного шокирована: «Как же без предупреждения?» — «Мой друг очень молодой и не взыщет, а мы все-таки побудем вместе». Разрешает.

Светлая комната, нарядный длинный стол с вазой живых цветов, дивный вид из окна и — рояль. Мария Вениаминовна встречает нас сначала строго, затем смягчается, отец Макарий ей нравится.

«Ну что же, — говорит она, — пойду заварю чай». Тогда отец Макарий робко, но проникновенно умоляет: «Мария Вениаминовна, все вещи, которые вы исполняли, доставляли мне несказанную радость на много дней. Быть может... Да вот и Екатерина Александровна по обстоятельствам давно вас не слушала...»

Мария Вениаминовна согласно идет к роялю. Играет Баха долго, с сильным физическим напряжением, даже на лбу у нее капельки пота.

Последний аккорд.

Мы сидим обновленные. На моих щеках слезы.

Отец Макарий вскакивает и буквально кланяется ей в пояс: «Ваша музыка продолжает поток благодати, который мы получаем в церкви. Как за этот дар Божий не благодарить вас?»

К Баху у Марии Вениаминовны особое отношение. Думаю, оно шло от почитаемого и любимого ею профессора Московской консерватории Болеслава Леопольдовича Яворского — теоретика, историка музыки. Он считал, что музыка возникла в общем трудовом процессе через песню и танец-хоровод. И это присутствие общности, соборности, как говорят в России, музыка со-

хранила навсегда. Анализируя же Баха, он отдельным «экзерсисам» его давал «наименования»: это — «апостолы в дороге», а это — «исцеление прокаженного» и т. д. Содержание Евангелия заполняло музыку Баха. Мария Вениаминовна произносила название, и мы невольно слушали уже по-другому — под влиянием смысла евангельских эпизодов.

Всего в то утро Мария Вениаминовна играла около двух часов, мы еще час пировали и потом — почему-то со сжатым сердцем — попрощались. Больше игры Марии Вениаминовны я никогда не слышала, это было в последний раз.

Тогда же Мария Вениаминовна тесно сдружилась с отцом Всеволодом Шпиллером (настоятелем Николы на Кузнецях), принимая участие в его общественных делах. Например, он «прикомандировывал» ее к болгарской делегации, с которой она даже была на благословении у патриарха.

Она была прекрасным гидом, но на ногах у нее весной и осенью было нечто вроде кедров, приводящих в ужас окружающих<sup>2</sup>. Нормальная же сезонная обувь немедленно дарилась нуждающимся. Так и во всем. Подаренная ей покойным митрополитом Ленинградским Антонием шуба принадлежала ей всего три-четыре часа. И она не допускала ничьих сетований по этому поводу.

Как всегда неожиданно, пришло испытание: Мария Вениаминовна попала в больницу.

Я пришла с утра ее навестить.

Было начало солнечного дня, за окном голубело небо.

— Я прямо из церкви, от ранней литургии, — сообщила я, усевшись рядом с ее кроватью и стараясь не замечать болезнь. — Знаете, Мария Вениаминовна, я конец пятидесятого псалма читаю по-своему...

— Как это — по-своему? — сразу удивилась она.

— Очень просто, — продолжаю я, обрадовавшись, что заинтересовала ее. — Я читаю так: «Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона и да созиждутся стены Иерусалимские... Тогда возложат на алтарь Твой *дары*» (а не «тельцы», как в тексте).

— Ну, это поправка формальная, — замечает Мария Вениаминовна. — Давид под «тельцами» подразумевал самое прекрасное, что и мы, — Плоть и Кровь Самого Господа. — И она значительно посмотрела на меня. Потом говорим о Моцарте. И я была счастлива, что сумела отвлечь ее от печальных мыслей.

...Как-то после домашнего празднества у Пастернаков Мария Вениаминовна, встретившись с нами возле консерватории, пожаловалась, что ее не отпускает тяжелое чувство: «Борис Леонидович был какой-то рассеянный. Выручил Генрих Густавович (Нейгауз), севший играть. Оказалось, что, как и вы, — не преминула она отметить, — Борис Леонидович не знает современной музыки». И вдруг Борис Леонидович неожиданно шепнул ей: «Знаете, я с одиннадцати лет не причащался». — «Почему?» — «Долго рассказывать, так получилось». Она не стала ему досаждать, Генрих играл, и любое перешептывание выглядело неучтивостью. «Я думаю, — предположила Маша, — если в церковь не ходишь, то постепенно отвыкаешь от нее, наворачивается тысяча причин, мешающих посещению. Так, наверное, и получилось у Бориса Леонидовича».

У меня же сердце захолонуло, когда я услышала, что Борис Леонидович обратился к Марии Вениаминовне с таким «неожиданным» сообщением. А скоро нас соединило общее горе — смерть Бориса Леонидовича.

Хоронили Бориса Леонидовича 2 июня, в день святителя Алексия. Народу вокруг дачи тьма, и непрерывный поток мимо него, лежащего в гробу.

<sup>2</sup> В кедах и легком плаще пришла Мария Вениаминовна и проститься с телом Анны Ахматовой в морг больницы имени Склифосовского 9 марта 1966 года...

Поочередно играли Станислав Нейгауз, Мария Вениаминовна и Рихтер, который не уступил своего места больше никому.

Время шло, боль утраты ослабевала, и наши редкие встречи с Марией Вениаминовной стали наполняться привычной радостью.

Например, Мария Вениаминовна, встретив нас возле консерватории, выглядит недовольной. Оказывается, в фойе один из младших преподавателей крикнул ей: «Мария Вениаминовна, идите к нам пить пиво». «Мне очень хотелось, — признается она, — но неужели он не мог найти форму более учтивую?» — «Какую же? — невинно спрашивает Маша. «Ну, скажем: профессор, отведайте пива!» Тут все мы не выдержали и рассмеялись.

Мария Вениаминовна была не только гениальная пианистка. Это был особый, редкий и — одновременно — характерный тип русского культурного человека: религиозность, *подвижничество*, самоотверженность, скромность и чувство юмора — в нерасторжимом единстве.

В последнее время — перед кончиной Марии Вениаминовны — наши с ней встречи носили, увы, эпизодический и краткий характер: смертельная болезнь мамы, жите наше в Подмоскovie не позволяли видеться подолгу и часто.

Говорят, *беспросветные* были годы. Какие же «беспросветные», когда жили и творили в них такие светочи, как Мария Вениаминовна Юдина?

Ашукинская.  
1996.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

М. В. Юдина — Е. А. Крашенинниковой

Москва, 21-III-62.

Дорогая Катенька!

Спасибо за письмо. Ваши письма, — как Вы сами, — всегда неожиданны, ярки и полны субстанциональности. Но — столь же мучительны... — ибо, мне кажется, — Вы очень много на себя берете, вероятно, чересчур много. Где же христианское смирение, раз Вы всю свою жизнь, мышление, поведение строите на христианских основах... Из Вашего письма вытекает, что, не встретясь Б. Л. П. с Вами, он бы не призадумался над христианством, не написал бы своих величайших Евангельских стихов. Я не представляю себе большей гордыни и большей ошибки. Без сомнения, *Вы*, беседы с Вами ему чрезвычайно много принесли, но он не мог не прийти к христианству сам, как поэт и человек, изнутри, а также под влиянием и *иных*, более давних и более близких друзей, нежели Вы, из коих я точно осведомлена об Анастасии Цветаевой, сестре Марины, давно знаю о ее глубокой религиозности — это если уж говорить о *близких*; вероятно, были и иные... Но пути и творчество людей такого *масштаба* отнюдь не могут *зависеть от влияний*. Лишь косвенно и относительно; даже, скажем, если бы Борис Леонидович застал еще, скажем, Оптину и ее старцев и провел там некоторое время и эта встреча с «источником Правды» определила бы кое-что в нем, как поэте и человеке, — *то самый факт встречи* (с Оптиной) все равно ведь шел бы *изнутри*, т. е. *он пожелал и осуществил бы ее*. — Но Вы, кроме всего прочаго, ведь не оптинский старец — *простите*. — Мне кажется, вообще, — *когда человек умер, не следует особенно разбираться в нем, его поступках и их мотивах, а предоставить все Господу Богу и молчать, именно внутренне молчать*. Так я лично поступила (и поступаю, ибо я встречаю в путешествиях все новых и новых его читателей). А в отношении Ольги Всев<олодовны> я писала в Париж одному из лучших друзей Б. Л., и он мне отвечал в тех же красках — «предоставим все Богу, что было — то прошло, и только Он их всех рассудит...» — То,

что Вы пишете о том, что Б. Л. как бы «исповедовался перед Вами», — мне кажется чудовищным и близким к кощунству, и или я не поняла что-то в Вашем письме, хотя раза 3 — 4 таковое перечитывала, — или Вы хватили, Катюша, через край. *Не мне Вас учить. Вы догматически, литургически и т. д. значительно образованнее меня;* Вам ли говорить так? Исповедь — таинство, а Вы женщина и даже не монахиня. Он мог (Б. Л.) поговорить с Вами, и всё, но, надо надеяться, что то не был ужасающий (некоего сектантского плана) суррогат, *а предсмертная беседа двух друзей — и все...* Простите, но мне думается, иной реакции это Ваше сообщение ни у какого скромного христианина и не вызовет. — Что до поговорки «кому церковь не мать, тому Бог не отец» — то я не придерживаюсь ее и глубоко верю и исповедую, что *Господне милосердие спасет всех верующих в Бога в самых различных видах и спасет многих «Савлов», бичующих ошибки и грехи носителей христианства. — (Быть может, и Ницше.)*

— Роли своей во влиянии на Зинаиду Николаевну и Лёничку я пока не видела. *Спасибо за это сообщение, оно полезно, и я о нем подумаю, но приставать и настаивать я не буду, ибо это — у всех — вызывает лишь обратную реакцию.* Я стараюсь быть с ними внимательной — и по мере сил — доброй. Они знают, как трудно мне живется, ибо я стараюсь не лгать... Вижу я их редко, у меня нет сил идти этот кусок пешком и нет денег на машины теперь. Я разнообразно и тяжело больна, но не распространяюсь об этом. Мне надлежит поддерживать Верочку, троих ее детей — вот им давать возможность видеть христианский мир, — старую любимую мачеху, морскую семью во Владивостоке (тех — лишь душевно, — они обеспечены), дряхлеющую Анну Вениаминовну, семьи двух сыновей покойной Флоры Вен<иаминовны> и их самих, крестницу Аночку в Ленинграде, ибо она одинока и неприкаянная, чудесную Марину Дроздову, — Олечку Трубачеву я забросила, ибо там христианства вдоволь! Иногда я — по указанию (после той Панихиды, когда он их видел) ОНГ, пишу что-нибудь такое Наташе Заболоцкой... И все новые люди появляются в моем поле зрения, а я — кругом одна, ибо давно не могу доташиться до наших храмов, не говоря уже о Загорске, а домой к ОНГ я больше ездить не могу, ибо общий бытовой разговор никому не надобен, а другой там, увы, и немислим... Так что я и так несу очень много, но не тшусь натягивать на себя уж нечто совсем неподъемное... Леня знает, что я всегда ему рада, знает, как я слаба и беспомощна теперь житейски, будучи, однако, еще живым и действующим человеком, и — когда хочет и может — приезжает. Ему трудно это, он всегда спешит домой, ибо мать в лесу одна, если не гостят другие Пастернаки... Среди всего этого — моя работа одна хватила бы целиком на одного человека... Вот так, милая наша пророчица, боярыня Морозова!.. Еще раз — простите за невозвраты — я взмолилась к Нине Ш<иряе>вой, она прислала 15 р., которые прошу взять в погашение пока. Я все отдала, что заработала во Львове и Ярославле, ибо ряд старых кредиторов (по дому, т. е. стройке) настоятельно напоминали о себе; но я имею еще кое-что получить в Радио, да и займу снова у кого-нибудь для Вас и Танечки, а м. б., состоятся еще 1 — 2 выезда до Пасхи. В Музгизе всё затягивается неимоверно, меняются редакторы, «идейная борьба» вокруг художественного оформления и т. п.; свою часть работы я вовремя сдала, и все ее одобрили. — Заодно уж скажу, что Вы тоже несколько «хватили через край», сказав мне по телефону, что я «ошиблась в том, что музей хотел еще один концерт» (игра и стихи). Проработав 40 с лишним лет, я, надо сказать, еще такой фразы ни от кого не слыхала, от самого мерзкого «начальства»... Не знаю, как Вы — друг! — смогли, смогли позволить себе нечто подобное помыслить и высказать... *После того концерта, на коем Вы не были, — Татьяна Григорьевна сама предложила мне в дальнейшем дать такой же, просила играть Скрябина и читать Блока* (ибо, как она сказала, «они подходят друг к другу»...), я от этого отказалась, но с тех пор обдумываю программу и считала сие дело решенным, а себя приглашенной. Никакой жук-

точильщик тогда не мерещился... Дело не в 50-ти рублях, конечно, а в чрезвычайной вежливости всех ответственных сотрудниц музея. Следовало — сразу, как появился «жук», мне *написать*: «простите, мол, по тем-то и тем-то причинам Ваш концерт сейчас невозможен». *Только так*. — Я очень ценю то милое и теплое отношение, какое было всю первую половину года и январь ко мне в музее, заработок, репетиции с Пикайзенем, запись, деньги. *За все это большое спасибо*. Но я слишком доверчива. Я считала — «слово есть слово», но оно не только не сохранилось, но и форма его отмены — в Ваших устах, но ведь — простите! — *не Вы* ответственны за приглашение тех или иных концертантов... — была, с моей точки зрения, немыслима. — Я обязана дописать еще 13 Прелюдий, ор. 11, но больше я за деньги, конечно, играть в музее не могу и не собираюсь, я, действительно, бедна, — но не «бедная родственница»... —

Ну вот, Катюша. Об отношениях, — да говорить о них — не мой стиль. Я Вас глубоко уважаю; очень ценю; люблю Машенькой и жалею ее, что жизнь ее — такой женственно-прекрасной — протекает без семьи; как моя Аничка сказала про нее: «она как лилия!» Быть может — здесь Ваша рука, и, может быть, Вы за это ее девичество — тоже ответите... *Но, конечно, это не моего ума дело*. Я Вас любила значительно больше в первые 2 — 3 года встречи, когда Вы были более открыты, бесхитростны и не поучали меня. Как можно не любить Вас? Но Вы так часто «прятались» (внутренно), так обиделись за мою холодную реакцию на Вашу повесть (оскорбленное авторство понятно и законно!), Вы так рубили сплеча сложнейшие проблемы искусства, так совпадали с истеричной толпой (Ван Клиберн...), что общение стало как бы безблагодатным, каким оно было... Но я не хочу быть неблагодарной свиньей. Великое спасибо за поддержку в этом году, за тот подвиг появления в 6 ч. утра (я *такое* никогда не забываю!!) и т. д.

— Простите. Целую. Господь с Вами. М. В. Юдина.

### ПОСТСКРИПТУМ

*Воспоминания Е. А. Крашенинниковой о М. В. Юдиной — документ, покоряющий искренностью. Екатерина Александровна как бы последовала призыву А. Блока — «со-три случайные черты...», — и мы увидели прекрасный облик великого музыканта Юдиной. Но отношения между такими сильными и яркими личностями, как Юдина и Крашенинникова (их самобытность и вера и сохранили их в тяжелейшие десятилетия), не были безоблачными: были расхождения, и весьма острые, были споры, а затем... возвращения друг к другу, в итоге — все же взаимопонимание. Письмо Юдиной, публикуемое выше, дополняет то, о чем Крашенинникова поведала в своих воспоминаниях о Юдиной и Б. Пастернаке (см.: «Новый мир», 1997, № 1). Здесь и иная точка зрения — не отменяющая другой, а, пожалуй, дополняющая ее — на то, что происходило в «мире Пастернака» в 40 — 50-е годы, здесь и некоторые факты из жизни Юдиной, пересекающиеся с событиями в жизни Е. Крашенинниковой: участие в деятельности Музея А. Н. Скрябина и др. Упоминаемые лица легко узнаваемы: Зинаида Николаевна — вдова Б. Л. Пастернака, Леня — его сын, Татьяна Григорьевна Шаборкина — директор Музея Скрябина, Н. Г. Ширяева — друг В. В. Софроницкого, ОНГ — о. Николай Голубцов, о котором пишет в своих воспоминаниях Крашенинникова, Машенька — сестра Екатерины Александровны, Ольга Всеволодовна — Ивинская... Встречаем и членов семьи Юдиной (сестры Анна, Флора, Вера), ее крестниц — Олю Трубачеву (из семьи Флоренских), Аню (дочь ученицы — А. М. Костиной) и одну из последних студенток, М. А. Дроздову. Суровость тона Юдиной была привычной для тех, кто ее знал, на это редко обижались: за суровостью была властность, стремление к правде, за прямотой — та же искренность, на которой и Юдина и Крашенинникова строили отношения с людьми.*

А. Кузнецов.



---

---

# МИР ИСКУССТВА

СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ



## ВНИМАЮЩИЙ МОЛЧАНИЮ

Лет десять назад я прочел только что вышедший тогда в русском переводе сценарий Ингмара Бергмана «Змеиное яйцо». После этого в руках у меня перебивало немало книг; бурно плодившиеся в те годы издательства предлагали порой образчики весьма и весьма экзотические, в особенности по части ужасов, — но у меня и теперь чувство, что ничего страшнее той вещи я с тех пор не читал. Для меня она наложила печать на все минувшее десятилетие, временами словно бы творила текущую реальность — как, бывало, иные пережитые эпохи могли кому-то казаться сотворенными по «законам» Кафки. Поначалу, несмотря на тяжелейший осадок, я воспринял этот сценарий все-таки как предостережение, футурологический кошмар, который общество в силах предотвратить. Призрачный город, где не действуют «законы реальности и правила социальной жизни»<sup>1</sup>, вобрал в себя, казалось, весь отрицательный психологический и социально-исторический опыт человечества. Страшнее текста оказывалась только жизнь, в которой «все может случиться, и все случается».

Поставленного Бергманом по своему сценарию фильма я не захотел смотреть, хотя такая возможность и представлялась. К тому времени был уже печальный опыт, когда после прочтения сценария «Фанни и Александр» я жаждал посмотреть одноименный фильм как «истинное», «полноценное» воплощение авторского замысла — и был вполне разочарован милой, сентиментальной, чрезвычайно красиво сделанной картиной, казавшейся после обжигающего текста бледным задумчивым сном.

С тех пор меня занимала проблема взаимоотношения слова, прозы Бергмана (еще недавно не слишком почитаемого как писателя, и не только в России, где его книги появлялись от случая к случаю, но и в самой Швеции) и его прославленных фильмов. Взаимоотношение искусства слова и искусства кино. Если угодно, проблема искусства как такового на опыте крупнейшего «синтетического» художника современности, его (искусства) возможностей и его пределов.

И вот художник сам берется объяснить, чем является его творчество, составившее эпоху в искусстве. «Картины» — так называется только что переведенная и изданная у нас книга Бергмана, целиком посвященная его работе в кино.

Именитый автор, несколько лет назад добровольно отрекшийся от режиссерского дела, неожиданно испытывает потребность стать зрителем и критиком всех созданных им за долгую творческую жизнь фильмов.

«Я пришел к безжалостному и решительному выводу, что чаще всего мои фильмы зарождались во внутренностях души, в моем сердце, мозгу, нервах, половых органах и, не в последнюю очередь, в кишках. Картины были вызваны к жизни не имеющим имени желанием. Другое желание, которое можно назвать „радостью ремесленника“, облекло их в образы чувственного мира».

---

<sup>1</sup> Здесь и далее цит. по: Бергман Ингмар. Картины. Перевод со шведского А. Афиногеновой. Москва — Таллинн, «Музей кино», 1997, 438 стр.

О «радости ремесленника», о том, насколько в действительности она достижима и насколько безмятежна в данном виде ремесла, — несколько позже. Здесь важен для нас генезис творений, каким он видится самому творцу, прибегающему к шокирующим, но, похоже, не случайным определениям (там же Бергман признается, что всякий раз, просматривая свои картины, он «впадал в дикое возбуждение, ощущал неотложную потребность помочиться, опорожнить кишечник»).

Автор не оставляет сомнений, что книга, которую мы раскрыли, также зародилась «не в последнюю очередь в кишках». Единственное, на что может отважиться читатель такой книги, — это попытаться объяснить, хотя бы самому себе, ее содержание и в какой-то мере систематизировать его.

Обратимся к самому началу. А именно к появлению на свет не собственно творений, но художника. В одном месте Бергман, нередко (и без какой-либо позы) безжалостный к самому себе, достаточно брезгливо пишет об одиноком мире грез своего детства, о едва ли не физиологической потребности («голоде»), которая вела его, «оскорбленного, изворотливого мечтателя», к освоению единственно пригодной для него профессии:

«То, что моим способом выражения станет кинематограф, было вполне самоочевидно. Я достигал понимания на языке, обходившемся без слов, которых мне не хватало, без музыки, которой я не владел, без живописи, которая меня не трогала. Внезапно у меня появилась возможность общаться с окружающим миром на языке, идущем буквально от сердца к сердцу путями, чуть ли не сладострастно избегающими контроля интеллекта.

С долго сдерживаемой детской жадностью я набросился на своего медума и двадцать лет без устали, в каком-то неистовстве передавал сны, чувственные переживания, фантазии, приступы безумия, неврозы, судороги веры и беззастенчивую ложь».

Сны. Неврозы. Ложь...

У себя на родине Бергман числится творческим наследником Августа Стриндберга, а из русских писателей его нередко сближают с Чеховым (о своем внимании к Чехову автор свидетельствует сам). Мне же при каждом столкновении с Бергманом-художником раньше других приходит на ум Достоевский. То же пристрастие к снам и опора на иррациональные образы и состояния, рожденные снами. То же экспериментаторство с бесконечно и жестоко искушаемыми душами персонажей. Мрачноватая тяга к пророчествам. Странный, нередко угрожающий образ вещного мира. Близость обоим «семейной» темы с многоликими тайнами, страстями и преданиями, в ней заложены. Тот же хаос чувств. Тяготение к истерике как наиболее чистой форме выражения затаившегося в человеке «я», вплоть до неизбежных и зачастую определяющих у обоих сюжетное развитие приступов безумия, настоящей душевной болезни героев.

Обоих роднит мучительная борьба за их выживание как художников, одновременно разрушающая и питающая творчество, — борьба жизни и искусства, хаоса и гармонии.

Многое из названного можно счесть «общими местами» либо оспорить и указать на куда большее число контрастов и противоположностей (в особенности в сфере идей, которой я не затрагиваю). Всякое сравнение хромает. Но есть одно решающее сходство, для меня бесспорное, которое, однако, очень трудно сформулировать. Оно относится к собственно художественному мироощущению, к краскам и состояниям.

Достоевский в этой стихии нам более открыт. Бергман, несмотря на обилие психоаналитических саморазоблачений и видимую обнаженность, представляет собой как художник (во всяком случае, для меня, русского читателя и кинозрителя) бóльшую загадку.

Для иллюстрации вернусь к «Змеиную яйцо», с которого начал разговор. Бергман не слишком удовлетворен результатом (фильмом) и пытается

выяснить: откуда пришел первотолчок замысла, как шла работа и что же в конце концов получилось, — ему это важно для того, чтобы зафиксировать моменты творческих провалов. Он старательно раскапывает истоки замысла: прочитанный когда-то рассказ о Берлине, пишет он, «прямым попаданием вспорол мое юное сознание» и «дал толчок повторяющемуся вновь и вновь сну: я — в гигантском незнакомом городе, направляюсь в ту его часть, где находится запретное. Это не какие-то там подозрительные кварталы с сомнительными развлечениями, а нечто похуже... Раз за разом мне снился этот сон...».

Этот иррационально скроенный город, образ которого пройдет и через другие фильмы Бергмана, — двойник Петербурга Достоевского. Объясняя неудачу «Змеиного яйца», Бергман пишет: «Если бы я воссоздал Город моего сна, Город, которого нет и который тем не менее пронзительно реален со своим запахом и своим гулом, если бы я воссоздал такой Город, то, с одной стороны, обрел бы абсолютную свободу и чувствовал себя как дома, а с другой — и это важнее всего — сумел бы ввести зрителя в чужой, но тем не менее таинственно знакомый мир. Я же показал в „Змеином яйце“ Берлин, который никто не узнал, даже я сам». К причинам неуспеха он относит и попытку соединить в одном фильме две разные темы (по моим впечатлениям от сценария, напротив, именно это усиливает кошмар и делает его т о т а л ь н ы м). Добавляет сюда же пережитое во время работы над фильмом личное потрясение (тяжбу с налоговой полицией), болезнь, трудные поиски актера на главную роль, астрономические затраты на декорации...

Однако для того, чтобы понять обреченность замысла, нам совсем не обязательно вникать в подробности создания картины, достаточно лишь довериться начальной интуиции художника и дочитать до конца прерванное на полужае описание города из сна: «Раз за разом мне снился этот сон, больше всего меня бесило, что я все время был на пути к запретной части города, но никогда не добирался до цели».

Это — во сне, где, казалось бы, все возможно. В мире реальных «радостей ремесленника» дело обстоит много сложнее.

Куда, например, деться от многоликой съемочной группы, состоящей чуть не сплошь из ярких индивидуальностей, у каждой из которых свое понимание художественных задач? От руководства, администраторов, финансистов, решающих с помощью художника собственные далекие от него проблемы? От личных неурядиц, конфликтов с близкими, физического нездоровья, дурного настроения, от призраков и условностей, закодированных в страхе перед так называемыми общественными вкусами? «Я работал под прессом требования быть понятным». «Между нами то и дело вспыхивали конфликты... У меня давала себя знать язва желудка, у Свена начались приступы головокружения». «Группа выполнила все мои указания, но с сильным сопротивлением». «Чего я не мог предположить, так это того, что меня использовали как пешку в непреходящей грязной войне между Киногородком в Росунде и Главной конторой в Стокгольме». Все это разные периоды жизни, разные фильмы...

«...в апреле 1965 года я взялся за перо. Происходило это на фоне плохо вылеченного воспаления легких. Но было также и следствием смрадного обстрела, которому я подвергался в своем руководящем кресле».

Из такого положения рождается очередной сценарий (вспомним: «не в последнюю очередь в кишках»). Бергман еще уточняет: рождается и з к р и з и с а. И тем не менее стихия творчества скоро вовлекает пораженного художника в понятную пока ему одному игру:

«Итак, она была актрисой — почему бы себе этого не позволить? И потом замолчала. Ничего в этом особенного нет».

Начну, пожалуй, со сцены, в которой врач сообщает сестре Альме о том, что случилось...»

Очень трогательны эти робкие предложения самому себе в рабочем дневнике. В записях к другим фильмам: «А что, если сделать так...», «А если перевернуть картину? Сны — это явь, а повседневная реальность нереальна...», «Вот как следовало делать... И получилось бы безупречное кинематографическое стихотворение». Наконец: «Без всякого сомнения, существует протяжный крик, ждущий своего голоса. Вопрос заключается только в том, способен ли я вызвать этот крик».

В отношении себя Бергман всегда полон сомнений. Эта черта выручает его, кажется, не только в ремесле, но и в чем-то большем.

Вопрос из давнего рабочего дневника сегодня звучит, конечно, сугубо риторически. Ответ известен и автору, и читателям: способен. С «радостями ремесленника» тоже все не так плохо, они действительно существуют. Конфликты с оператором Свенем вспыхивали ведь не просто так, а в процессе совместного художественного поиска: «В наши честолюбивые планы входило создать черно-белый фильм в цвете, с отдельными сильными акцентами в сдержанной цветовой гамме». Даже человеческое взаимоотталкивание и неприятие при общей работе может быть продуктивным. «Жесткий рабочий темп и профессиональная общность служат, пожалуй, прекрасным корсетом для сдерживания неврозов и грозящего распада». Талантливые актеры, оказывается, помимо своих неврозов обладают бесценными качествами: они лучше автора чувствуют перепорученных им персонажей и дают полезные уроки ремесла — так же, как и продюсеры, операторы, монтажеры, чьи советы Бергман вспоминает по прошествии времени с благодарностью. Дело казалось иной раз очень тонких материй — самой ткани бергмановского искусства:

«Лето, женщины, распив бутылку вина, сумерничают. Мими протягивает прилично захмелевшей Биргит сигарету и сама же ее зажигает. После чего, медленно поднеся горящую спичку к своему лицу, на мгновение, до того как она погасла, задерживает ее у правого глаза.

Идея принадлежала Биргит Тенгрут. У меня это потому так хорошо отложилось в памяти, что я ничего подобного раньше не делал. В дальнейшем мелкие, едва заметные, но впечатляющие детали стали особым компонентом моих фильмов».

Игра по-настоящему увлекает, делается все блистательнее. И по ходу игры поначалу как-то проскакивают, не задерживают особого внимания записи вроде:

«Сквозь тонкую ткань скалилась художественная безысходность».

Очередной невроз? Но автор не раз весьма твердо нас предупреждает: «Хотя я человек невротического склада, мое отношение к профессиональной работе всегда отличалось поразительным отсутствием всяких неврозов».

Всегда есть опасность вторично пройти по тому же кругу, повторить самого себя, уподобиться себе, сделать «бергмановский» фильм (как, замечает автор, Тарковский иногда делал фильмы под Тарковского, а Феллини — феллиниевские), то есть не создать ничего нового. Бергман печально констатирует, что такой получилась у него «Осенняя соната», хотя и могла не быть, не должна была быть вторичной: замысел фильма содержал чувство, которое автор не сумел выявить до конца. «Я бурю скважину, но — или ломается бур, или я не отваживаюсь бурить достаточно глубоко. Либо у меня нет сил, либо я не понимаю, что надо бурить глубже. И тогда я вытаскиваю бур и говорю, что удовлетворен. Это недвусмысленный симптом творческого истощения, к тому же весьма опасный, ибо не вызывает боли». Но подобные холостые обороты для художника явление все-таки временное, они не могут служить причиной перманентного отчаяния.

Чувство безысходности, как видно, коренится глубже, в самих основах профессии, и следует за художником неотступно. Оно создает своего рода отрицательное напряжение, встречное напряжению творчества. Вот Бергман

«просто» слушает музыку: «Начало в высшей степени приятное, оно мне показалось красивым и трогательным. Но вдруг я понял, что *эта музыка похожа на мои фильмы...* Не могу сказать, что это плохая музыка, наоборот, она безупречна, прекрасна и трогательна и вдобавок исключительно изысканна в звуковом смысле. Но у меня есть сильное ощущение, что она поверхностна, что использует мысли, не продуманные до конца, прибегает к эффектам, которые немного превосходят ее возможности...»

(Именно таким — безупречным, прекрасным и трогательным и вдобавок изыскательно изысканным — показался мне когда-то фильм «Фанни и Александр», разрушивший совсем иное впечатление от литературной версии.)

Так возникает тема «блефа и трюков». Не терпящий поражений художник ставит задачу: «Найти дверь, за которой ни в коем случае не скрывается никаких тайн». Можно предположить здесь укор Стриндбергу с его притягательно-обманной дверью в «Игре снов», по сути откровенным муляжом, вокруг которого в пьесе разворачивается нарочитая интрига и за которым в конце концов вместо обещанной «разгадки загадки мира», как и следовало ожидать, не оказывается ничего. Бергман, не желая блефовать, предпочитает сразу исходить из того, что за дверью — за той, которую он выберет, — никаких тайн нет. Требуется лишь найти тому, что располагается «там», адекватное воплощение. Однако в этом таится противоречие, ловушка. Дверь за пределы доступного мира, получается, все-таки существует. Если художник рассчитывает открыть ее своими силами и заранее уверен, что все, что за ней, ему по плечу, — это опасное самомнение, недуг, убивающий творческую способность в зародыше. Или он надеется найти самый простой, заранее открытый для него ход? Но уже предполагаемая возможность существования других закрытых дверей все равно не позволит ему успокоиться и додумать мысль до конца (в этом настойчивом желании Бергмана мне видится еще одна страстная параллель с художественным пафосом Достоевского).

Бергману кажется, что театр и кино по своей природе не способны к правде: «...это фокусничанье, кривлянье! Актеры лицедействуют, а я побуждаю их к лицедейству... Я ощущаю растущую неприязнь к самому чуду перевоплощения... Зато за письменным столом чувствую приятную расслабленность. Я пишу ради собственного удовольствия, а не с точки зрения вечности».

Такого поворота следовало ждать: идеальный образ фильма и раньше настойчиво ассоциировался для Бергмана-режиссера с литературой, со «стихотворением», с приписываемой последнему особой властью над душами людей.

«Мне кажется, это — стихотворение, или выдумка, или назовите это как хотите. Оно обязывает к строгости, к тому, чтобы его слушали».

Литература, наряду с воспоминаниями детства, — первейший для Бергмана источник «снов», творческих импульсов. Художническая стихия вовлекла автора в мир кино как наиболее доступный, по его мнению, при тогдашней его литературной скованности. (Разумеется, путь Бергмана далеко не норма для страдающих немотой молодых художников, его выбору благоприятствовало счастливое стечение обстоятельств.) Но со временем оказывается, что Бергман способен сказать больше, чем показать: «Слова более многозначны, чем изображение». Углубление художественных задач требует иных возможностей. Кинематографический опыт помогает писать (уже не «словами», но снами-образами). Обратное не проходит: написанная проза не помогает создать фильм соответствующего ей уровня. Отсюда — отчаяние и все более яростные попытки отречься от кино:

«...Экранная версия получилась безжизненной, утратив беспечность оригинального текста.

Итак, я ставлю точку...»

Мы подозреваем, однако, что точка ставится преждевременно.

Только ли в негодных средствах дело?

Художнику (художнику вообще) мало просто расширить границы. Художник по природе своего дара устремлен к познанию, не признающему никаких границ. На этом пути его подводит немощный голос, то есть собственное ремесло, но не только. Даже изумив и восхитив публику плодами высшего напряжения своих творческих сил, художник, как правило, убеждается, что не сказал главного. По той простой причине, что не знал, о чем говорить. Не додумал мысль. Единственное, чего ему удалось достичь, — это еще более изысканным образом смастерить очередную наглухо закрытую дверь, в очередной раз посулив своим почитателям некие одному ему ведомые тайны, скрывающиеся за этой дверью. В экстазе постижения задверных истин он (видимо, не нарочно) обманывал окружающих фальшивыми намеками.

Теперь можно оценить брезгливость Бергмана, вспоминаявшего о своем детстве: взрослый обманщик оказывается ничуть не лучше малолетнего фантазера-лжеца. И при этом оба не несут никакой ответственности за свою невольную ложь.

Художника оправдывает лишь то, что он сам обманут — снами, в которых все двери открыты. Но это не оправдывает его творение.

Вместе с экстазом творчества уходит и вера в свой провидческий дар. Просматривая много времени спустя собственные труды, хочется «опорожнить кишечник».

Художник обречен на незнание. Следовательно, если он художник честный, каков Бергман, он обречен на бунт против поставленных ему пределов, в конечном итоге — на борьбу со своим призванием, с самим собой:

«Существовал единственный способ спастись от отчаяния и краха. Замолчать. За стеной молчания обрести ясность или, во всяком случае, попытаться сорвать еще имеющиеся возможности» (из записей к фильму «Персона»).

Ситуация давно и хорошо известная, из нее старается выпутаться каждое поколение художников. Около двух веков назад, например, родилась спасительная формула «романтической иронии». Искусство признавалось в своем бессилии отворить дверь, но не отказывалось от ее изображения, напротив — сама закрытость двери возводилась в принцип. Тайна за дверью становилась обязательной и священной.

Опыт иронии пошел впрок. Святыни детей, отвергавших отцовские заветы, всякий раз до удивления напоминали посмертные маски прежних святых, а истовость, с которой поклонялись новым кумирам, вызывала, в свою очередь, насмешки следующего поколения. Дверь Стриндберга — стрела в сторону романтиков с их слишком серьезной и ответственной иронией. Бергман на очередном витке повернется к Э.-Т.-А. Гофману (в «Фанни и Александре») — и все-таки не обойдется без наследственной «дверной» тяжды с занудой Стриндбергом, пытаюсь, как ему кажется, теперь уже окончательно распрощаться со всякой ответственностью художника.

В приступе художнического пессимизма он пишет на эту тему эссе, которое приведено в книге полностью.

«...если быть до конца откровенным, я воспринимаю искусство (не только киноискусство) как нечто несущественное.

...искусство свободно, бесстыдно, безответственно и, как сказано: движение интенсивно; почти лихорадочно и напоминает, как мне представляется, змеиную кожу, набитую муравьями. Сама змея давно мертва, съедена, лишена яда, но оболочка, наполненная суетливой жизнью, шевелится.

...Я пихаю других муравьев, мы выполняем колоссальную работу. Змеиная кожа шевелится. В этом, и только в этом, заключается *моя* истина. Я не требую, чтобы она становилась истиной для кого-то еще, и это, естественно, слабоватое утешение с точки зрения вечности. Но как основы для художественного творчества в ближайшие несколько лет этого совершенно достаточно по крайней мере для меня».

Добавить нечего, продолжать разговор бессмысленно. Бергман убийственно бесстыден по отношению к себе и к делу своей жизни.

Тут бы самое время завершить разговор благодарными словами о превосходной переводческой работе А. Афиногеновой, осмелившейся передать порусски язык, чуть ли не сладострастно избегающий контроля интеллекта (пользуюсь подсказкой автора), то есть не только смысл прямой авторской речи, но сложнейший образный мир великого художника. (В начале прошлого года, кстати сказать, «Новый мир» напечатал в переводе Афиногеновой бергмановские «Исповедальные беседы».) А также об издателях, оформивших и проиллюстрировавших книгу с подобающими тексту полнотой, вкусом и блеском: читая ее, мы чуть не на каждой странице вступаем в зрительный контакт с кинематографическими шедеврами Бергмана, сближаемся с его коллегами-персонажами, находим подтверждение и режиссерским открытиям, и отмеченной печатью гениальности игре актеров. Часто кажется, что зафиксированные на бумаге кадры оживают, начинают мерцать, приходят в экранное движение под магическим воздействием комментариев их создателя...

Но как-то не хочется прощаться с Бергманом в минуту дурного расположения его духа и заканчивать разговор об искусстве одного из крупнейших художников XX века на столь безысходной ноте. Не хочется расставаться и со своими представлениями, даже если они полны иллюзий. Наконец, не в нашей это власти — расправляться с вечностью...

Есть в книге Бергмана свидетельства о вечности, есть — и даны они не захандрившим теоретиком искусства, но живым художником, прозревшим в минуту вдохновения. Одно из самых, на мой взгляд, убедительных я хочу здесь привести и прошу прощения у читателя за вынужденно длинную цитату, хотя заранее уверен, что скучно не будет — все-таки это Бергман:

«Готовясь к съемкам „Причастия“, я на исходе зимы поехал осматривать церкви Уппланда. Обычно, взяв ключ у пономаря, я заходил внутрь и проводил там по многу часов, наблюдая за блуждающим светом и думая, чем мне закончить фильм. Все было написано и выверено, кроме конца.

Как-то рано утром в воскресенье я позвонил отцу и спросил, не хотел бы он составить мне компанию. Мать лежала в больнице с первым инфарктом, и отец жил в полном уединении. С руками и ногами у него стало еще хуже, он передвигался с помощью палки и ортопедической обуви, но благодаря самодисциплине и силе воли продолжал исполнять свои обязанности в дворцовом приходе. Ему было семьдесят пять лет.

Туманный день на исходе зимы, ярко белеет снег. Мы приехали заблаговременно в маленькую церквушку к северу от Уппсалы. Там на тесных скамьях уже сидели четверо прихожан. В преддверье перешептывались ризничий со сторожем. У органа суетилась женщина-органист. Перезвон колоколов замер над равниной, а священника все не было. В небе и на земле воцарилась тишина. Отец нетерпеливо заерзал, что-то бормоча. Через какое-то время со скользкого пригорка послышался шум мотора, хлопнула дверь, и по проходу, тяжело отдуваясь, заспешил священник. Дойдя до алтаря, он повернулся и оглядел паству покрасневшими глазами. Он был худой, длинноволосый, ухоженная борода едва прикрывала безвольный подбородок. Он кашлял, размахивая руками, точно лыжник, на затылке кучерявились волосы, лоб налился кровью. „Я болен. Температура около тридцати восьми, простуда, — проговорил священник, ища сочувствия в наших взглядах. — Я звонил настоятелю, он разрешил мне сократить богослужение. Поэтому за престольной службой и причастия не будет. Мы споем псалом, я прочитаю проповедь — как сумею, потом споем еще один псалом и на этом закончим. Сейчас я пройду в ризницу и переоденусь“. Он поклонился и в нерешительности замер, словно ожидая аплодисментов или по крайней мере знаков взаимопонимания. Не увидев никакой реакции, он исчез за тяжелой дверью.

Отец, возмущенный, начал приподниматься со скамьи. „Я обязан поговорить с этим типом. Пусти меня”. Он выбрался в проход и, прихрамывая, направился в ризницу, где состоялся короткий, но сердитый разговор.

Появившийся вскоре ризничий, смущенно улыбаясь, объявил, что состоится и запрестольная служба, и причащение. Пастору поможет его старший коллега...

Что до меня, то я обрел заключительную сцену для „Причастия” и правило, которому следовал и собираюсь следовать всегда: *ты обязан, невзирая ни на что, совершить свое богослужение*.

Слава Богу, устраивающий всех конец, кажется, найден...

Или это очередной, неведомо который по счету, самообман, плутовство «кишок», изголодавшихся по гармонии?

Сказано же где-то в рабочих дневниках Бергмана: «...она не говорит, отвергает собственный голос. Не хочет лгать».





---

---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН



## ЧЕТЫРЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОЭТА

*Из «Литературной коллекции»*

Семён Липкин — «Воля»; «Избранное»

**Я**вление, которому находилось место в причудливом СССР (а пожалуй и не в нём одном, в разных обществах разные тому причины): почти незаметно, «неслышно» существовали в поэзии незаурядные поэты — десятилетиями мало кому известные, оттого что не кидались служить режиму, как почти вся остальная поэтическая толпа.

Таковы были — и Семён Липкин, и Инна Лиснянская (впоследствии муж и жена).

Хотя Липкин был принят в Союз писателей ещё молодым человеком, и всего по нескольким разрозненным публикациям, не выпустив даже и сборника. Но потом несомненно спасая себя от советской казённой поэтической службы — ушёл в переводы: с калмыцкого, киргизского, кабардинского и других восточных языков. Затем он был военным корреспондентом, после войны продолжил переводческую работу, всё больше уходя в восточные темы и философию. По фронтовым впечатлениям 1941 года написал в 1963 весьма правдивую поэму «Техник-интендант», однако нечего было и думать её печатать. Всё же к концу 60-х, затем и в 70-х, сборники его стихов появлялись, а более полные — за границей, когда ему было уже за семьдесят.

Липкина — ещё бы не тяготило его изневольное общественное молчание. «Пусть лукавил ты с миром, лукавил с толпой, / Говори, почему ты лукавишь с собой? / Почему же всей правды, скажи, почему / Ты не выразишь даже себе самому?»; тот «Усталый облик правды голой, / Не сознающей наготы». Но ведь «строка моя произошла / От союза боли и любви». — «Дай мне белую боль сострадания, / Дай мне чёрные слёзы любви». — Однако годы замкнутости — они же и заземляют безнадёжностью: «Неужели мы пропали, / Я и ты, мой бедный стих, / Неужели мы попали / В комбинат глухонемых?»; «Кто может сказать России, / Что мы, только мы — живые, / Что действует храм?» — Но и после столького молчания «Как сладко лгать себе, что дни твои — / Ещё не жизнь, а ожиданье жизни».

Однако и над молчащим нависает тот же топор: «...Я, пугающийся тюрьмы... <...> Но грозят мне те самые люди, / Что отвергли закон человеческий». — «Тупо жду рокового я срока, / Только дума одна неотвязна: / Страх свой должен я спрятать глубоко, / И улыбка моя безобразна». — Тюремно-лагерно-ссылная тема многократно прорывается в его стихи, протягивается сквозь. То в одном, то в другом стихе — сочувствие к ссылным, сочувствие к энкам («Одна моя знакомая», «Похороны», «То да сё», «Тайга»). — «Это плачет сердце России, / Пятьдесят восьмая статья». — «На жмеринковском

перроне» обезумевшие от голода «куркули»: «Впвалку они лежали, / Ни встать, ни уйти не могли». Или о корейцах, сосланных из Приморья в Среднюю Азию. Пристально всматривается Липкин и в тех, кто творит, всю свою жизнь творил ГУЛАГ («Солдат революции», «Палач», «Нестор и Саррия»). И в цельную картину и при Хрущёве нетронутого ГУЛАГа. «Соликамск в августе 1962 года». (Меня поражает достоверность описанного, ибо месяцем раньше того вот таким же наблюдал я и Кизел, рядом, в соликамском же кусте лагерей.) — Однако и задумывается поэт: а «Что сделали бы жертвы при удаче? / Могли ли превратиться в палачей?».

Сочувствие Липкина к пострадавшим от режима — неоднократно и пронзительно расширяется на боль русской деревни: «Частушка» (как тайком бежали от раскулачивания — и за 5 тысяч вёрст в Азию), «Лунный свет» — как «Городские парнишки со шупами / Ищут спрятанный хлеб допоздна», а потом «Будет в красных теплушках бессонница, / Будут плакать, что правда крива...». А вот и деревня вымершая: «Деревеньку дьявол, что ль, пометил? / Утро здесь не возвещает петел, / И средь лип — ни всхлипов и ни снов, / Не звенит в коровнике подойник, / И молчит, как в саване покойник, / Длинный ряд пустых домов».

Это сердечное сочувствие к русской деревне распахивается у автора на всю Россию: «А если глубже вникнуть, / То в прели и в грязи / Здесь может свет возникнуть / Всея моей Руси». В 1942 пришлось Липкину катить в грузовике редакции через казацкие станицы, где со злорадством провозжали отступающих красных. « — А скажите, товарищ, / Может, вы из жидов? — / И вот что странно: именно тогда, / Когда ты увидел эту землю без власти, / Именно тогда, / Когда многолетняя покорность людей / Грозно сменилась тёмной враждебностью, — / Именно тогда ты впервые почувствовал, / Что эта земля — Россия, / И что ты — Россия, / И что ты без России — ничто», и хотелось «целовать неласковую казацкую землю...» — Так — автор достигает высоты уже выше национальной. Это продолжается ещё рядом сердечных стихов с православными сюжетами («Нищие в двадцать втором», «В поле за лесом», «На Истре», «Когда мне в городе родном») — и христианская тема естественно сливается с его религиозными размышлениями, с его «экуменическими мечтаниями». С русского Севера Липкин переносится в Новороссию («Южные церкви») — очень тепло: эти церкви «как мазанки синие», они «не блещут нарядом», а в них — «Лишь святость напева, / Лишь воздух душевности».

Липкин за свою жизнь немало поездил по просторам огромной страны — и повсюду с сочувствием вникал в местный колорит: не раз и не раз проявляет большую чуткость к обширному разноликому Востоку; много у него мотивов кавказских и среднеазиатских. С восточных языков переводил он никак не чужим сердцем.

При всём этом — не гаснет у Липкина и еврейская тема. Вот, приехал в Одессу — «И ничего я не знаю свежей, / Чем вопросительной речи певучесть, / Чем иронический смысл падежей». Вспомнит: «Иль это живопись Шагала — / Таинственная Каббала»; опишет («Комиссар») некоего Иосифа, в молодости служившего в ЧК, потом отсидевшего в лагерях; в картине валимой тайги, на лесоповале («казнь деревьев»), для автора сливаются и «жёсткая синева голодных русских деревень», и евреи, погибшие в Бабьем Яре. Тему еврейской Катастрофы он развивает несколько раз. С достойной скупой сдержанностью в «Вильнюсском подворьи». С огромной силой в «Золе»: «Я был остывшею золой / Без мысли, облика и речи», — сожжённый младенцем ещё во чреве матери, и вот, в потерянном сознании, ищет родное место: «А я шептал: „Меня сожгли. / Как мне добраться до Одессы?“» Очень сильно в «Моисее» — и как мастерски: в стихе всего лишь 12-строчном — 8 строк разгона нестерпимого напряжения, а на 9-й строке (пропорция «золотого сечения») — царственно-успокоительно вступает Бог. Да автор жаж-

дет, жаждет веры, но («Одесская синагога») — никак не докоснуться: «Я только лишь прохожий, / Но помоги мне, Боже, / О, помоги!» — Есть стихотворение о многозначительном маленьком племени «И» (все поняли — об Израиле, хотя есть версия, что Липкин писал о малом племени в Китае, доподлинно звавшемся «И»). Есть («Кочевой огонь») — с напряжённым духовным поиском национального осознания: «Какая нам задана участь? / Где будет покой от погонь? / Иль мы — кочевая горючесть, / Бесплотный и вечный огонь?» — Не раз текут в стихах Липкина библейские мотивы; а порой они трансформируются в евангельские: «Ужас пониманья проникает / В тёмную вещественность души / <...> Разве только нам карьер копали, / Разве только мы в него легли?» — а когда плакала Богородица о Сыне?

Стихи Липкина большей частью (не всегда) стянуты в стройность, как теперь уже редко пишут. Особенно чеканны, даже скульптурны его поэмы («Беседа на вершине счастья», «Литературное воспоминание», «Нестор и Саррия»). Добротная традиционность, даже как бы встывание в вечность. Стих плотен по составу слов, дыхание — без какого-либо напряжения. Использован пласт свежих, невымученных и неистрёпанных рифм (*Тургенев — сиренев, лиловь — любовь*). Метафорами нас не балует, а какие есть — все предельно ясные. «Ужели красок нужен табор, / Словесный карнавал затей? / Эпитетов или метафор / Искать ли горстку поновей? / О, если бы строки четыре / Я в завершительные дни / Так написал, чтоб в страшном мире / Молитвой сделались они...» Но уж сожмёт так сожмёт: «Ломовая латынь молдаван».

Вереница стихов его выдержана в эпическом высоком тоне. По сюжету, содержанию они — разного уровня (бывают и притуманены), — а всегда с душевной чистотой и прямоотой, всегда благородны. «Но разве может жить на земле человечество, / Если оно не досчитается хотя бы одного, / Даже самого малого племени?» — К животным ли: «Благосклонный не стал благородным, / Если с низким забыл он родство, / Он не вправе считаться свободным, / Если цепи на друге его». — К деревьям ли: «Растения поруганное право. / Враждуем с племенем лесным, / Чтоб делать книжки? Лагерные вышки? / Газовням, что ли, надобны дровишки? / Зачем деревья мы казним?» — «Тополей и засохших орешин, / Видно, тоже судьба не проста». — «Есть у деревьев, лиственных и хвойных, / Бесчисленные способы страдать / И нет ни одного, чтоб передать / Своё отчаянье...» («Молчашие»). К деревьям он особенно чуток («Чуть слышны растений голоса»), не только к породам их, то северным, то южным (сосна, акация, кипарис), но к характеру отдельных стволов! Да — вообще ко всему растущему, растительному. Он расслышивает «речь травы, / Которая сложней стихов и шахмат». Величественно: «Громовержащая вода!» А в пустыне — «Как будто эту гниlostную воду / Пьёшь из предвечного ведра». Различает характер отдельных морских волн; птиц ли, кузнечиков, былинки («Воскресное утро в лесу»). — Поэт ведёт «бессловесный разговор» с монадами, читает «клинопись в обличии растений», беседует «с живым иероглифом вещества».

Так мироощущение автора всё пропитано пантеизмом. И — как будто не доходит ни до одной религии, при глубоком интересе и сочувствии ко всем к ним. «Но жизнь моя была таинственна, / И жил я, странно понимая, / Что в мире существует истина / Зиждительная, неземная». — «Что даже человеческое горе / Есть праздник жизни, признак бытия»; «зерно прекрасного страданья».

Большинство стихов Липкина значительно по мысли, в поисках глубокой вещи, иные — из надмирной философии («Дао», «Время», «Обезьянник»: «Когда забудь начальных дней понятия...»). Характерно для него и чувство единства всего протяжённого человечества — единство с теми, кто жил и задолго прежде нас. «Но живущие и те, кто жили, — / Все мы рядом». — «Можно забыть и живущих, но мёртвых, но мёртвых / Можно ль забыть?» — «И тому не раз я удивлялся, / Как Ничто мы делим на года; / Ан-

гел в Апокалипсисе клялся, / Что исчезнет время навсегда». — Диалог Бога и дьявола на Эльбрусе — философская поэма, дуалистичная, очень странная; тут — никакого религиозного чувства не находим. А в других стихах («Беседа», «Две ночи») философское размышление поднимается в религиозное: «Но гул последнего Суда / Мы не забудем, не забудем».

Афористичны и запоминаются немало строк. «Распад сердец / Страшной, чем расщеплённый атом». — «Различать / Прямую мощь избитых истин / И кривды круглую печать». — «Только жизнь и есть возмездье, / А смерть есть ужас перед ним». — «Чтоб не погаснуть, вовремя умри». — «Добро — в тревожно-жгучей мысли, / Что мало сделал ты добра».

1995

### Инна Лиснянская — «Дожди и зеркала»

Сборник Лиснянской поражает, увлекает с первых же стихов. Всегда — напряжённое чувство, а если покой (редко) — то глубинный. Ничего искусственного, никакой позы — отсердечная искренность. Душа её дрожит, а стих — в свободном лёгком дыхании, и плотен, и безупречен поэтической формой. Не теряя естественности — интонация часто певучая. И чувства-то она передаёт лаконично, малыми деталями, иногда вторичными, третичными, исчезающими намёками, ничего прямо-грубо, как авторы нашего века ломаются *назвать*. «Лишь беглые взоры понятны». Стихи её — всегда короткие, и в них — законченная мысль, чувство, образ, а то и афористичные строки. За образами, за метафорами — нет никакой нарочитой погони, измышления их. Казалось бы: после Ахматовой и Цветаевой, после двух столь великих — как можно проложить свою самобытность, и притом быть значительной и украсить русскую поэзию? А Лиснянской — это удалось, и видно, что не по заданной программе, а — просто, само по себе, как льётся.

В массе стихов её — большой перевес любовной лирики и личного. Видно, много пришлось ей пережить и страстей с переменчивыми привязанностями, и разочарований, и душевной боли, и незастывающих ран. И всё это — она преодолевает неуклонной силой духа. «А письма, что горло мне перехватили, / Не левает, а пламенем перехвачу». — «И пробил час, и сердце опустело, / И совершенна эта пустота...». — «Царство тебе небесное. / Злая моя печаль». Среди множества её чарующих лирических стихов выделить хотя бы: «Всё мне открылось», «Эту женщину я знаю, как себя», «Над чёрной пропастью воды», «Ленивая беглая ласка», «В овраг мы спукались», «Цветные виденья былого». — Глубок перепад её чувств. «Рукой слезу останови, / Не бойся горестного знанья — / Проходит время для любви, / Приходит для воспоминанья». Но и так: «...Спи, бесстыдница, взгляд потупленный / Ты не встретишь в раю». — Или: «Бешеным смирением / Всю душу мне трясёт». А душе её «...только в огне дышалось, / Поэтому нет и меня». — «...Господи Боже, кому мои слёзы? / Господи Боже, кому я сама? / <...> Веткой берёзовой стать я готова, / Только не будет той милости мне». — «Мне стало тяжело запоминать, / Но забывать ещё мне тяжелее».

«Душеломен мотив» — пишет она о переживании любви, но из такого часто подымается осмысление жизни. Своей: «И нечем прикрыться, и некуда деться, / И всё-таки надо до смерти дожить...», «...Листья старятся с изнанки, / Люди изнутри». И людской: «У нищих прошу подаянья... / ...Подайте мне ваше терпенье / На паперти жизни стоять». Но и вселенской: «Подменяем мы воздушной связью / Нашу с небом жертвенную связь». А быть бы «Сестрой дождя, подругой снегопада / И знать, что между небом и землёй / Тебе других посредников не надо». — В мире «Задумано всё безупречно, / И тем эта жизнь хороша, / Что счастье, как сердце, невечно / И горем бессмертна душа». — «...Не бойтесь о твёрдое стукнуться, / А бойтесь

в пустотное вклиниться, — / Ведь как в этой жизни аукнется, / Так в будущей жизни откликнется». Смотрит на небо — и видится ей «В облако впаиванный крест»; и тянется она «Снова узнать и поверить, что судьбы / Дышат небесным дыханьем Твоим».

А с этим сознанием естественно соседствуют и размышления о самом творчестве: «Если меня не находят слова, / Лучше мне их не искать». — «Я за целебным ядом слова, / А ты, а ты почти готова / Отдать все лавры за шипы», — когда уже видно, что «И всей души движение, / Над смертью торжество — / Одно стихотворение, / Не более того».

Но вот судьба поэта в СССР: общественных и политических тем — Лиснянская не касается, хотя: «Я к времени привязана, / Как к конскому хвосту». И порой читаем: «Год арестантский грядёт / За раскулаченным годом...» — «Воспоминание о раскулаченном», «Набрань» — о сосланных на дальний малярский юг русских крестьянах, — «Много тюрем на Руси, / Господи, спаси». — Однако Лиснянская — подозрительно *молчит*, не годна к советской печатности, а ходят её стихи в самиздате, и это опасно. И, сходно с Липкиным, не раз прорывается у неё страх перед преследованиями: «Но чудится погоня / Все ночи напролёт. / Берёт мой след овчарка / На длинном поводке». — «...Я приготовилась к расправе / Над смуглой музой моей». Ей «Каторжанская / Мерещится тропа». — «...Я упаду лицом, / Когда конвойные / Прошьют меня свинцом», и «Обрусевшего / Христа на ней узрю». — «Пропажа рукописи»: «Страх мой гол, как сокол: / В чьих железных руках / То, что прятала в стол?» Испытывает она «Овечью дерзость и смиренность волчьё». И встаёт в душе сопротивление: «Не из тех я сестёр, / Что без крику — под нож, / Без слезы — на костёр». А через отчаяние достигается и свет: «И вдруг я забыла о страхе, / И горло, готовое к плахе, / Открыто и вольно поёт».

Уникально сочетаются в Лиснянской — русская и еврейская темы, так переливчато, что почти нельзя их разделить: в одном стихотворении, в соседних строках — и православная лампада и Исход, «правнучка Рахилева», «И орлу двуглавному / Прострелили грудь». А в «Заложнице»: «Ты обо мне не плачь, Рахиль, / В жилище ханаановом! / <...> Меня не вызволит отсель / Звезда шестиугольная. / Я в русский снег и в русский слог / Вросла — и нету выхода, — / Сама я отдалась в залог / От вдоха и до выдоха!» И: «...чужая страна мне снится, / А родная заснуть не даёт». — «...Я никуда не могу, никогда не уеду». — С самым глубоким переживанием пишет она стихи на русские темы — «Антонина», «Пожар на болоте»: «Имя Господа мы долго жгли / И сгорели сами. И, как знаменье, / Ливни милосердные сошли», — «...Каюсь на пространстве торфяном, / Низкий голос по России стелется...» — «Зато над землёю русскою / Твоя запоёт душа»; или «Молчат твои подвижники, / Затоптанная Русь! / Молчат твои мятежники, / Лежат в сырой земле», — и называет себя «их младшей сестрой». А само собою и еврейская тема выныривает не раз: «Бредит он вторую ночь / Печью газовой, / — Не пишись еврейкой, дочь, / Мне наказывал». И вот, пришло время — «Под небо Иерусалима / Моя устремилась родня...». — «Вам, друзья мои, вам, дорогие, / Улыбаюсь сквозь слёзы вослед: / Вы не бойтесь, друзья, ностальгии — / Есть Исход, эмиграции нет!» А сама — на ребре, на перевесе: «Для своего народа — инородка, / Для матери родной — чужая дочь». Хочет же: «...чтобы мать меня признала / И чтоб своей меня назвал народ».

1993

### Наум Коржавин — «Сплетения»

Наум Коржавин за политическое вольномыслие уже из студенчества был вышвырнут в 1947 в ссылку. В сибирской, потом в карагандинской ссылке обострились политические мысли его. Уже в последний год Сталина он,

предчувственно, рисует скорую свою встречу с Москвой: «Ты продашь всё спокойно: и совесть, и жизнь, и любовь. <...> Так живёшь ты, Москва! Лжёшь, клянёшься, насилуешь память...» Оттуда же размышляет он и над смертью Сталина. В тот момент у него ещё нет уверенного взгляда: «Я сам не знаю, злым иль добрым роком / Так много лет он был для наших дней». Решение тем трудней для Коржавина, что с ранних лет он сгорал в революционной романтике, разделяя уверенность, что нет людских жертв, которых бы не оправдывала революционная цель, — тип молодёжного мирочувствия, так характерный для довоенных лет. «Но я благодарен печальной Планиде / за то, что мы так, а не иначе жили».

Коржавин вернулся в Москву в середине 50-х, в потоке прощённых и реабилитированных, и настроения тех лет находим в поэме «Танька». Героиня её, вот, вернулась с Колымы седая, а даже и сейчас неукротимо-фанатичная. Автор пересматривает мелькавшие обстоятельства её жизни и неизменность настроений: «Комсомольская юная ярость <...> Презиравшая даже любовь, отрицавшая старость, <...> Без мебели всяких квартира, / Где нельзя отдыхать — можно только мечтать и гореть». «Дочкой правящей партии я вспоминаю тебя...» Там и борьба с оппозицией, и участие в раскулачивании. «Ты любовь отрицала для более полного счастья, / А была ль в твоей жизни хотя бы однажды любовь?» Была — но об арестованном своём возлюбленном, по требованию партийной совести, «Ты про всё рассказала задумчиво, скорбно и честно, / Глядя в хмурые лица ведущих дознание людей», — а потом о погибшем «в бараке на нарах проплакала целую ночь». Однако тон этой поэмы — не разоблачение нравов эпохи, а тёплый, понимающе-сочувственный, — и тут весь Коржавин. («Я не давать тепла не мог»; и, в споре с П. Коганом: «Я с детства полюбил овал / За то, что он такой законченный».)

Правда, к революционным злодеям проявлялся Коржавин и порезче. Для них «Куда спокойней раз поверить, / Чем жить и мыслить каждый день». — «Идиотизм крестьянской жизни / Хотелось им искоренить», — и вот «Ножам по живому телу / Они чертили свой чертёж», «им неспроста / Казалось мелким состраданье, / Изменой долгу — доброта». — «И романтик в эшелонах / Вёз на север мужиков», — всем сердцем отзывается городской поэт на крестьянское горе, как это было редко в советские годы! Но тут же автора пронизывает: «Я сам причастен. / Я это тоже одобрял». В 30-е годы он терзался гибелями революционеров-коммунистов — а о крестьянах? «А вот об этой — главной — крови / Всегда молчал. Её — прощал»: «эта кровь была чужою» — редчайший в советской литературе и советской жизни акт раскаяния.

А дальше? — едва оправясь от злоключений тюрьмы и ссылки — ступать на борьбу с общественной неправдой? Значит с самим советским режимом? Труден этот подъём к общественной смелости: «Я мешок потрохов! — / Так себя я теперь ощущаю. / В царстве лжи и греха / Я б восстал, я сказал бы: „Поспорим!“ / Но мои потроха / Протестуют... А я им покорен». Однако этот мягчайший человек — переступает свою боязнь: «Лучше встать и сказать, даже если тебя обезглавят». И, издав в СССР единственный и обкорнанный сборник стихов (1963), — Коржавин всё более перетекает в запретный самиздат, на грани 70-х становится нетерпим властям и при истинном душевном сопротивлении, не как тысячи охотливых эмигрантов тех годов, — уезжает за границу.

Усвоенный честный взгляд на происходящее и предпринятый общественный замах — погрузили Коржавина в собственно русскую тему, горячо принятую им к сердцу, он многократно это проявил: «Прости меня, прости, Россия, / За всё, что сделали с тобой / <...> За тех юнцов, что жить учили / Разумных взрослых мужиков». Углубляясь и в историческую российскую перспективу, откликается и на некрасовское: «А кони всё скачут и скачут. / А избы горят и горят». — Едва воротясь из ссылки, — видно, вскоре поехал

смотреть на дивный храм (прекрасный стих «Церковь Покрова на Нерли», 1954). И от души: «Я просто русским был поэтом / В года, доставшиеся мне». — А когда подступило расставание: «Мне расстаться с Тобой, / Как с собой, как с судьбою расстаться» («Родине»).

И такая преданность России — никак же не ослабляет страданий поэта от уничтожений, перенесенных евреями: «Дети в Освенциме» и вжитая сердцем «Поэма существования». Киевский мальчик, счастливо увезенный оттуда в начале войны, в этой поэме Коржавин естественно находит приём, не давшийся другим, кто писал о Бабьем Яре: он ведёт повествование — от себя же, расстрелянного там в свои 15 лет (что вполне могло с ним произойти). Плетётся процессия обречённых по улицам — а горожане смотрят молча с тротуаров, и многие несочувственно. «Нет, не гибель страшна, а дорога сквозь эти взгляды». И из этой наблюдающей толпы «злобно баба кричала»: «Так и надо вам, сволочи! Так вам, собаки, надо!..» — «не могла накричаться...». Но автор имеет проникновение подняться выше оглушающей обиды: а эту бабу — «кто её вытащил голодом [1932 года] в этот город, / Оторвал от земли, от себя, от понятных истин?» — «Если баба орёт, если люди молчат угрюмо, / Что-то помнят они...». — И — выше, выше: а — я сам?., в отрочестве ему было «жаль, что давно кулаков без меня разбили». А вот: «Здесь, в толпе, только я виновен. / Я один». Частице гонимой на смерть толпы — ему ли не понять судьбу еврейскую: «Есть такая судьба! — я теперь это в точности знаю. / Всё в ней — глупость и разум, нахальство и робость — вместе. / Отразилась на ней — темнота — и своя, и чужая. / И бесчестье — бесчестье других и своё бесчестье. / Есть такая судьба — самый центр неустройства земного...» Но вот — на обочине стоит «тонколицый эсэсовец». Он смотрит на обречённых с уничтожающей ненавистью — однако, однако, автор берётся и это понять: «он тоже живёт идеей. / У неё ж справедливость своя». Но и на такой высоте Коржавин не останавливается, идёт в обобщения выше: «Все — мешают [друг другу]. Все люди». А между тем: «Все мы связаны кровно», всё человечество. — «Мы ненавидим тех, чьи жмут нам горло пальцы, / А ненависть в ответ без пальцев душит нас». И это уже давно с несомненностью повело поэта к религиозной вере — и он уже который раз силится повести туда и читателя. В стихотворении «Последний язычник» (1970) предупреждает от «гордыни раздора с Богом». И зовёт: «Сознаться в слабости своей / И больше зря не спорить с Богом».

Стих Коржавина не отличается собранностью и отлитой формой и неэкономичен в строфах. Редкие стихи цельно-удачны, чаще — лишь отдельные двустушия или строки. Но всегда напряжённое содержание — политическое, историческое, философское — как бы и не нуждается в изощрённой стихотворной форме: оно и по себе достигает высоты, оно честно, умно, ответственно, и всё просвечено душевным теплом, сердечной чистотой автора, всё льётся от добрейшего сердца.

Любовной лирике уделено у Коржавина не много стихов, зато они пронизаны безграничным восхищением перед женщинами: «Руки! Руки! Ловить губами / Вас в полёте. И целовать! / Кожа тонкая. Шеи гнутся <...> / Сколько нежности! Задохнуться! / Только некому — женский цех...» («На швейной фабрике»). — Эта переполняющая мягкая нежность и поклонение, как известно, редко приносят мужчине успех у женщин, и это отражено в двух милых стихотворениях — «Песня, которой 1000 лет» и «Тем, кого я любил в юности». А вдумываясь в женскую суть: «Освободите женщину от мук, / И от судьбы. И женщины — не станет».

Коржавин и размышляет о поэзии в иных критических статьях и проявляет безошибочный вкус; да вот и, совсем молодым, как свежо говорит о Пушкине: «Как будто всё не открывал, а знал», «та пушкинская лёгкость, в которой тяжесть преодолена». — А многими годами позже духовно превзошёл интеллектуальное смятение в послесоветской поэзии, открылось ему яс-

ное зрение «На глубину бессвязных строк, / На мутных гениев поток, / Текущий из России. / Всё чувшь... Но знак глухой беды — / Подпольных гениев ряды, / Чьё знамя секс и тропы». Коржавин в публицистике высказывал горькие предупреждения этим самонадеянным литераторам (например, в 1983 в Милане, на литературном симпозиуме).

Из эпопеи Третьей эмиграции в Америке, и даже от тех немногих там голосов, в каких слышалось и какое-то сожаление от расставания с Россией, — ото всех от них исключительно, рельефно отличался Коржавин. Его душевное сотрясение от расставания с Россией — поражает своей силой, глубиной и долготелетней последовательностью.

Эту горечь он предчувствовал задолго вперёд. Ещё в 1962 в «Памяти Марины Цветаевой» он писал о русских эмигрантах: «Не с изгнанием свыкались, / Не страдали спесиво — / Просто так, задыхались / Вдалеке от России». А в 1972, уже на пороге невыносимого решения эмигрировать: «Иль впрямь я разлюбил свою страну? / Смерть без неё и с ней мне жизни нету». Первый же эмигрантский цикл своих стихов озаглавил: «Всё-таки жизнь»... Всё-таки... Однако внутри цикла: «Но умер там / И не воскресну здесь». — «Но каждый день / Встаю в чужой стране». — «Я, может быть, потом ещё вернусь, / Но то, что я покинул, — не вернётся». — «И вот — ушёл оттуда. / И не ушёл... Всё тех же судеб связь / Меня томит... И я другим — не буду» (1974).

В следующем цикле («Письмо в Москву»): «Я так забрался далеко / В глушь... В город Бостон». — «И вот живу за краем света, / В тот мир беспечный занесён, / Где редко требует поэта / К священной жертве Аполлон», «Поскольку трезво понимает: / Здесь этой жертвы не поймут». — «Странный сон... Длится жизнь... / А её уже в сущности нет»; «...Я уехал из жизни своей / ...Потому что побег — не победа...».

И уже в 1980 в примечательной поэме «Сплетения»: «...вновь тут за горло я взят. / Смешно за свободой являться / В чужую страну — в пятьдесят». — «Конец! Я своим тут не стану. / Всё будет, как было и есть. / Всё — в гибель... / И думать мне странно, / Что мог я родиться и здесь», «Где медленно я подышаю / В прекрасном своём далеке». — «На своём берегу», в России, «я б всё-таки, как-то, пожалуй, <...> выплыл... А так — не смогу. / А так — лишь отчаянье гложет». — Эту мысль, «что мог я родиться и здесь», — Коржавин весьма оригинально развивает: если б его дед, цадик, эмигрировал в Америку (путь его в поезде до Риги описан с иронической реминисценцией из Пастернака). И вот, гаданье: «...каким бы / Я вырос, родись бы я здесь. / <...> Молился б я Богу евреев, / К неизбранному лишь снисходя. / <...> О, Господи!.. Как это скучно! / И как с этим глохнет душа!» Или, напротив, поддался бы гордыне безбожия западного? «И в свой ненаполненный разум / Поверил, как в пик бытия. / И может быть, стал бы отменным / <...> Престижным саксесыфулмэном, / Спецом по обрывкам пустот. / Теснящим все признаки жизни / Плетеньем ненужных словес, / Без всяких марксизм-ленинизмов, / Сознание затмившим, как бес. / Агентом всемирной подмены / Всех смыслов, основ и начал...»

Но от этой Америки он естественно перебрасывается мыслью к подобным возможностям и в советской Москве (и как прозорливо! и как это в ближнем будущем вспомнилось, и смешалось воедино!): «Там тоже различные масти / Подмены души и ума, / И тот, что внушается властью, / И та, что родится сама. / И даже звучит дерзновенно... / В ней часто изысканность есть / И вызов... Но это — подмена. / И в общем, такая, как здесь. / Она и бежит, как известно, / Сюда, — „чтоб спастись от цепей“, / И бодро сплетается с местной / В удавку на шею моей». Нет! Душевные чистые задатки автора должны бы были взять верх и при американском жизненном жребии: «Вернулся б не к дедовской, может, / Но — к вере... Как сделал и там». Так,



в этом сравнении вариантных жизненных жребиев «И внятна связь судеб — своей и мира».

В раннеэмигрантском стихотворении-молитве (хотя и не названном прямо молитвой): «Пусть будет всё, чему нельзя не быть. / Лишь помоги мне дух мой укрепить». И снова взмывает русская тема, да с какой поразительной силой чувства: «Не страшно ль? Сбежав за границу, / Держась за последний причал, / Я рад, что мне вышло родиться / В стране, из которой сбежал. / Но всё — и причастие к небу, / И к правде пристрастье моё / <...> во мне от неё. / И счастлив я, — даже тоскуя, — / Что я не менял, как во сне, / Отчизны — одну на другую, / Равно безразличную мне. / А <...> резал ножом по живому, / Когда расставаться пришлось. / И здесь, в этой призрачной жизни, / Я б, верно, не выжил ни дня / Без дальней жестокой отчизны, / Наполнившей смыслом меня». «...И, может, Россия погибнет, / Не тем занята, чтоб спастись. <...> А если погибнет — не надо / Самой справедливости мне». В том, какова Россия сейчас, «В том нет уже даже безбожья — / Ленивый развал бытия. / Как пеплом, завалена ложью / Там поздняя мудрость твоя. / <...> И будут тебя ненавидеть / За всё, у чего ты в плену».

Так и сбилось. Вот эта поэма, да и другие места в стихах Коржавина — напоминают мне Некрасова: не только ритмикой, но — приёмом, манерой речи и мысли, через которые льётся напряжённое общественное и патриотическое чувство.

1996.

**Лия Владимировна — «Среди неназванных дорог»,  
«Переходы летящих мгновений» и др.**

С не менее острой тоской по оставленной России проявился и ещё один эмигрантский поэт — Лия Владимировна. Уехав в Израиль в 1973 году, — она вослед одно десятилетие и ещё почти другое жила в ошеломлённом, раздвоенном чувстве от перемены, от сделанного выбора: «...одна, без возвращения, / Вся в никуда и в никогда». Вот только что переживши «драмы прощаний и отъездов», тот миг роковой, когда «...уже отрывались колёса / От почти не моей земли», — в Израиле поперву: «Это — чудо: простясь, не расстаться, / Дух мой весел и сон мой здоров», но быстро что-то сламывается в душе: «И вот так, себя избегая, / Я встаю сегодня другая... / Окончателен выбор мой. / Синий зной, тишина сквозная, / Только я языка не знаю...» И разбирает «грусть бездомная, вековая...»; наплывает: «Проходим тропкой полевой, / Идём колючками, травой / Послушать пение кукушек... / Болотце в грохоте лягушек». Да нет же! там, позади, противная коммунальная квартира — «...Квартира, родина, рогожа...». — «...И где я в тюрьме не сидела, / Но тюрьма темнела во мне». — Нет, «Не обелить мне этих дней / Ни малодушием покорным, / Ни этим страхом, страхом чёрным, / Изнанкой памяти моей». Но и — не оторваться от того, прежнего: «...наборматывает что-то / Про дух лесной, про папоротник, мох... / <...> тёплым хлебом пахнет печь». — «И можно, прислонясь к коленям / И глядя в прошлое лицо, / Замкнуть старинное мгновение / В невозвратимое кольцо...» Конечно, тут — и многие воспоминанья о молодой отошедшей любви. «А там потянет снег девичества / И белый город к сердцу льнёт...» А тут «Изнурительно и безгласно / Догораю, как тает снег...». — «...Лишь песня, песня, ширь степная / В груди щемит...» — «Стужа пахнет свежескошенной травой, / Алы цветики восходят на снегу...» — «О, снега чувствовать тепло, / О нём тоскуя душным летом! / <...> А жить без снега тяжело». И «...Как боюсь, что от южного зноя / Пересохнут мои дневники!». Чудится: «...Из пальмы, жарю прибли-

той, / Закапал берёзовый сок. / <...> И под виноградной лозой — / Вдруг луг, сараюшка, плетни».

Мало в ком трагический узел эмиграции выражен так ярко. В тоске доходит автор даже до того, что московский двор — «Желаннейший из всех дворов». «...И пахли Русью, пахли Русью / Ступеньки, горница, подзор». — «...А над тихой Тивериадой / Небо в россыпях вековых»; «Но светлей генисаретских / Волн и воздуха вольней / Мир, явившийся из детских, / Нестерпимо синих дней». И для неё «...Ходит русская старина / Под библейскими облаками». — «...Тосковали они на другой стороне / По родной лебедятине, по серым кустам / Да по ивовым стрелчатым тонким листам». — «...На реке, на солнце, близ Тарусы, / Средь песков и ивняков...» — «..Бор дремучий — плохо ль? — вот квартира. / Бор пахучий, тишина...» — «...Зов кукушки — оклик издалёка — / Миги счастья отсчитал». 12 лет протомилась в эмиграции — и ещё рождается головокружный «Подмосковный июль» (1985) — «...Сенозарник и страдник! / Запах сена, одурь, жар .». И даже в европейской насыщенной поездке: «Будто, вжавшись в травы, / Дышит рядом Русь».

Но не одна лишь русская природа, не только память юности и любви, поэтесса и с большой зрелостью судит о России и русской судьбе: «О чём она безмолвно просит? / Каких нежданных ждёт вестей? / А безвременье косит, косит / Её израненных детей». — «Шла без страха на распяты / Эта странная страна». — «А где вчера светились купола — / Там ныне брань, и страх, и смрад безгласный». И уже не перечесать «...Всего, что, метя золотую пробой, / Россия в искупленье отдала».

Находя и в себе русский характер: «Оттого-то весело, когда / Пляшет перевёртышем беда!» — «Я не зря грозы просила: / Здравствуй, радостная сила / Разыгравшихся громов!» — в иных своих стихах Владимирова использует и русские фольклорные приёмы, и подражания народным песням, вводит и прямые православные мотивы: свеча, молитва, чудотворная икона, иконостас, верба, соборная прохлада, колокол... И («На Масличной горе») через «раннее колокольное пенье» — «Я тронута прикосновеньем / Таинственным — к себе самой». — «Снилось мне, что бабы голосили, / Снилось — от велика до мала / По тебе, умолкшая Россия, / Древние звенят колокола». Внутри самой России от русских поэтов — такую силу чувства к родине встретишь редко. «Хоть наг и бос — не безголос / Твой крестный ход, моя Россия! / Не в каждом воине — Христос, / Но в каждой матери — Мария».

А вот — «Свежий сумрак синагогальный, / Отчуждённый, горький и дальний / Мне на плечи еще не лёг». Однако Иерусалим: «Как он светел, как свят, как тревожен, / Этот город — как слёзы горят!» И в минуты изнемогающей тоски уравнивавшая себя: «Лишь этой веры не отдам, / Лишь этой верностью права: / Земля Израиля — вся храм, / Вся светом памяти жива».

А после 16 лет эмиграции побывав, наконец, в жадно желаемой Москве, заключила: «Тут дома все, лишь я одна не дома». Выбор жизни сделан.

Но в Лии Владимировой метание эмигрантской тоски — ещё и не главное. Несомненно — она значительный поэт, по видимости недооценённый. Почти нет у неё стихов, которые не задели бы сердца, не остановили внимания. Даже не назвать «уверенное владение стихом» — а просто стих всегда лёгок, мелодичен, нет никакой натуги в его построении. И нет подставки случайных слов, в выборе их всегда упругий смысл. Стихи её отприродно музыкальны, насыщены рифмами, усилены ещё и внутренними, рифмы — полноточны, никогда не изощрены, но и никогда не банальны. И строго организованные сложные формы, как сонеты и венки сонетов, или другие композиционные узоры у неё отлично слажены, как бы легко получаются сами, без усилия. Очень характерно, что она вовсе не нуждается в enjambements, переносах из строки в строку (да мало нуждается привлекать

для выразительности и тире, уверенная в самой связи слов), стих её льётся в классических рамках, а уж если вдруг перенос — так и выражает излом, бросок чувства: «А сердце — прочь, а сердце — за / Черту...»

Ощущение природы у Владимировой — большой полноты, остро отзывчивое на времена, месяцы года, она ловит «весомость солнечных мгновений», отдаётся переменчивости погоды и откликается на малые знаки произрастающего. С букетом красных маков в Ташкенте: «Это Азия бежала / Меж ладо-ней у меня».

Свободно и нередко она привлекает реминисценции известных мест из русских поэтов, тем ещё повышая волнение от своих стихов (иногда может переходить меру). Испытала она влияние Пастернака (например, в использовании прозаизмов городской лексики: «но покончив с этой канителью», «во всём этом виден изъян», «лето жмёт на всех парах», «и восхищенья не вызыва-вая»), Ахматовой (упивается размером «Поэмы без героя», однако не подра-жательна в нём, вполне самостоятельна: «Где другая шла до меня, / Та, ко-торая из неволи, / Из отчаянья, зла и боли / Свой выгранивала простор»), а может быть от Цветаевой — точнейшая датировка многих отдельных стихов? Но все эти влияния не покорили Владимирову, а только усилили её перо.

Сердечная интонация, колотящаяся через строки порывистость, рани-мость, переменчивость настроений составляет главное обаяние её стихов. Она вся несомна вихрями чувств, они сплетаются неожиданными нитями — а ни-где не создавая хаоса. И сохраняется мера недосказанности и смутного про-свечивания. Всех примеров здесь не привести.

Есть у Владимировой и прекрасные строки о самом стихотворчестве. «И снилось нездешнее стихотворенье, — / Ведь где-то оно существует, навер-но. / Лишь дай ему вздох, долгожданному звуку...» — «...Отдать бы, Госпо-ди, полцарства / Или полжизни — за строку!» — «И, будто бы издалека, / Звенит прерывисто и чисто / Ещё не слышная строка». — «И хлопчешь, и кружишь, как мать, / Над младенчески-хрупким стихом». А потом «Посто-янное расставанье / С тёплым пеплом черновиков». Зато, когда удача — «Светлым жаром горчайших строк / Лёгкий пепел в сердца стучится». — «...строчки строги, как природа», и «...румянясь и тяжелея, / Пахнут яблока-ми слова». А то «...я под тяжестью страницы / Клонюсь, одышливо дыша. / И всё труднее год от года / Мне высечь толику огня. Прочтёшь друзьям? — «И мнёт мой стих молчание друзей». — «О, это серое смиренье <...> / И зябкое стихотворенье, / Заброшенное на столе...»

А женщина, так живущая стихом и так владеющая им, о чём же будет и писать более всего? Стихи её и пронизаны игривостью, переменчивостью, оба-янием, страстью. Ожиданием, жадной встречи, призывом её, готовностью к ней: «Ах, сколько голов закружила / подолом зелёным, льняным!» — «И всё прошу я: — позови, / Судьбу, намеченную еле, / Согрей вниманием любви»; «Не сплю, мне вянуть суждено. / Я жду... / ...взволнуется окно...»; «И, в не-терпении порыва, / Лететь на каменное дно»; «Но, словно пашня, горькая ду-ша / Всё так же ненасытно просит влаги...»; «И пронзит меня, пронзит / Тай-ный зов тысячелетий». — «Напои-ка меня этой чёрной, / Обжигающей мед-ной водой!»; «Чтоб, как в объятья, заключить смущенье / В единственные, мо-жет быть, слова». — «Хоть о чём-нибудь спроси. / Хоть о чём-нибудь таком, / Что и вымолвить нельзя. / Я б ответила стихом». — «Ведь ты всё можешь, всё умеешь — / И погубить и уберечь»; «Как строчку ты меня читаешь: / К тебе иду». — «Своё дыхание пресечь, / С твоим навек дыханьем слиться!» — «Мы затеряемся друг в друге»; «Как много душевного покоя, / Как много августа во мне». — «[Огонь] горит — наперекор природе, / Без воздуха, без дыма, без меня...»; «Я вернусь... душа моя вернётся / Хоть верхом на помеле...»; «Вся своей доверяюсь приворотной / Горькой зелени в глазах!»; «Она — хранитель-ница, знаю... / А я — виновница огня!» — «Но ты промолвил (помню, по-мню!) / Два слова мне наедине, — / И сокрушённой, и бездомной, / И луче-

зарней стало мне!» — «Жизнь моя, черновик беспечный, / Над которым мне слёзы лить». — «...Тупым пером вскрывая вены...».

И при несложившейся жизни — остаётся же ещё простор мысли. Поэт нередко отликает его в отчётливых и даже лапидарных фразах: «И погубить и уберечь / Себя мы можем только сами». — «Рассудочности каменная ложь». — «Природа, музыки сестра! / Ей слов придумывать не надо». — «...У знания тревожные глаза: / В них вещая растерянность незнания». — «Как нас много, в веках знакомых, / Разминувшихся по пути». — «О, разум тёмный и окольный, / Не ты ль, вселенную творя, / Сходил с ума безбогомольно, / Иль зорю бил — без звонаря?..».

И — ещё много о своём внутреннем, всё безвозвратно углубляясь в одиночество, холод, седину, старость. «Я тень себя и тень встречаю». Повторяя блоковский мотив: «Так трудно быть ещё живой!», остаток жизни «заключу в свои глухие междометья». Однако, во спасение: «Я падаю... Но вижу Бога». «...Опять в потёмках грозových / Сияет луч, и я во власти / Неясных замыслов Твоих».

1996.



---

---

# О П Ы Т Ы

МАРИНА НОВИКОВА

\*

## «МЫ» И «Я»

**Д**ве книги, А. Гольдштейна и Н. Высоцкой<sup>1</sup>, порознь и сами по себе плотны, общительны, неординарны. Мы прочтем в первой из них о Маяковском и конструктивизме, о звездах фото- и киноискусства, о литературе поздних 30-х, о Тынянове, Олеше и об их анализаторе-катализаторе, подзабытой звезде советской антисоветчины А. Белинкове, о других звездах маленьких трагедий «застойного» мира-театра, о «ремигрантах» (так в частной беседе со мной были каламбурно обыграны эмигранты-репатрианты)... Во второй книге тоже густо от имен и событий, а температура ошибок равна не кипению — термоядерной реакции. Вся подмосковная история черной Америки да плюс еще вброшенная в котел сегодняшних социологических и литературно-критических дебатов о плюрализме и мультикультурности — вот ее материя, ее охват и захват.

Выбирать есть из чего. Я выбрала. Изо всей этой полифонии — только одну тему, одну... не скажешь «проблему», нет, — тоску и вопль. О соотношении «своего» и «чужого» сквозь призму «я» (автор, личность, изгой, трибун, человек...) и «мы» (раса, нация, народ, община, масса, толпа...).

Был такой одесский анекдот эпохи развитого «застоя». В ответ на очередной крик подпольной общественности приезжает в СССР группа экспертов по правам человека: проверить, как обстоят здесь дела с антисемитизмом. Среди других экспертов — негр. Эксперты, приземлившись в одесском аэропорту, подходят к ближайшему газетному киоску, и негр спрашивает: «У вас есть газеты на иврите?..» Старичок-еврей, из киоска: «Извиняюсь, нет...» — «А на идиш?..» — «Я сильно извиняюсь, но тоже нет...» Отходят. Старичок, глядя вдогонку негру, про себя: «Это ж надо, такое несчастье у человека! Мало того что он негр, так он еще и еврей»...

Две книги, о которых идет речь, в совокупности своей, в диалоге между собой как раз и представляют «такое несчастье». Одна — книга автора, сделавшего уже личный выбор: уехавшего на ближневосточную прародину. (Если только, как у многих восточноевропейских евреев, его этнической прародиной не была средневековая Хазария.) Оттуда (из Тель-Авива, не из Хазарии) автор итожит советскую тему, советскую литературу, советское культур-мышление — с генеалогическими экскурсами от Петра I; с типологическими параллелями к другим империям — Британии, Австро-Венгрии, Пруссии, Германии, Османской Порте; с многонациональными лирическими отступлениями (поскольку уезжал он из наливавшегося гроздьями антиармянского гнева Баку).

А в «отклик» этому «выклику» («выклик-отклик» — организующий принцип всякого негрятянского искусства, и даже действия, и даже повсе-

---

<sup>1</sup> Гольдштейн Александр. Расставание с Нарциссом. Опыты поминальной риторики. М., «Новое литературное обозрение», 1997, 448 стр.

Высоцка Н. О. На перехресті цивілізацій. Афро-американська драма як мультикультурний феномен. Київ, Київський державний лінгвістичний університет, 1997, 168 стр.

дневного поведения) на стол мой легла вторая книга. Которую можно тоже назвать опытами, но не «поминок», а рождения, не «риторики», а строго академического анализа черной драматургии США. Той литературы и того культур-мышления, какие отнюдь не собираются умирать — или быть сдвинутыми с исторической авансцены «новыми социальными реалиями» (как это сулят — быть может, преждевременно — мышлению советскому).

О. Тоффлер, футуролог редкостно цепкий и дальновидный для «квадратного», достаточно прямоугольно-ординарного интеллектуального стиля американской социологии, предсказывает Соединенным Штатам XXI века этновзрыв. Да такой, что взрыв этот, возможно, не столько потрясет, сколько разнесет американский мир. Афро-американцы, итало-американцы, латиноамериканцы, японо-американцы и далее, далее: иммиграционный конгломерат уплотняется. Отвердевает в этнические клановые кристаллы; где тихо, где громоносно самоидентифицируется и самоорганизуется; из количества переходит в качество, из демографии в «духографию». Так что скоро «американизму» предстоит, кажется, из универсума (чем он и кичился) превратиться то ли в мультиверсум (остроумное новообразование, уже гуляющее по статьям социологов США), то ли в обломки империи.

Совпадение двух книг на столе — факт случайный; диалог между ними — факт бытийный. Многое (если не все), что в книге А. Гольдштейна мучительно нащупывается, у негритянских писателей бросается в лицо Америке хлесткими, отточенными формулами. И наоборот: многое, что в первой книге выстроено (прочно ли, воздушно ли) в некую завершенную концепцию — духовную, культурную, историческую, — вздрагивает и рассыпается во второй книге дробью афро-американских барабанов, обращаясь в грозную незавершенность: магму, лаву, океаническую пульсацию прошлого-будущего.

Отдельно — «Расставание с Нарциссом» есть сочный плод позднего ума поздней, постсоветской, советологии. Книга учитывает уже по-татлински изощренные конструкции предшественников: генисо-вайлевско-добренковскую традицию отпевания России и СССР. Однако ею книга не ограничивается. Автор остался бы всего-навсего шеф-поваром цитатно-центонно-аллюзионных блюд, умником в придаточных предложениях и эрудитом в отсылках на отсылки, если бы не ожог Баку. Ожог репатриации-эмиграции. Новой эмиграции: не выпровожденной за дверь своей страной, а обратной, проводившей за дверь — в небытие или по меньшей мере в инобытие — саму страну. А это — не одно и то же.

В славянском языческом фольклоре был такой разряд мифологических существ: двоедушники. Полулюди-полунелюди. Полу-«нормальные» — полу-«другие». Душа их, согласно поверьям, покидает тело во сне, или в трансе, или в бурю — и улетает верхом на ветре в «другую» стихию либо оборачивается «другими» существами. В остальное время, днем, двоедушник живет, как все люди вокруг.

«Бывший наш» в Израиле. «Бывшие советские» в нынешнем «посттоталитарном», новодержавном пространстве. «Инородцы» в русской литературе и истории. «Иноамериканцы» в Америке... При всяческой разнице эпох, идеологий и прав человека типологически все это — двоедушники. Каких бы мировоззрений они ни придерживались «днем», в политизированно-социологизированной своей ипостаси (например, комиссаров в пыльных шлемах: их хватало не только среди евреев, или поляков, или латышей в Гражданскую войну, но и среди коммунистов-экстремистов-фундаменталистов черной Америки), — «ночью», на глубине, в них просыпается ужас и тяга Других...

У книги А. Гольдштейна странное композиционное кольцо. Она открывается ностальгией по Империи (большая буква принадлежит не мне — автору); она завершается ностальгией по Церкви. Эскапист СССР, автор оплакивает и СССР, и Венского монстра (кошмар Кафки и ярем раннего Рильке — такую, как теперь видится, комфортную Австро-Венгерскую империю), и

тяжкую длань империи Российской. Явный агностик, лишь бережно, легко намекающий на религиозность своих биографических сопутников, он взывает к самым крайним, самым сильным формам религиозности: иерархии, авторитету, экстазу, чуду. Их ищет, их мечтает воскресить в литературе.

Через океан ему отвечают (выклик-отклик...) не менее странные голоса. Проклинающие белую Америку как бесспорную империю, притом империю бесспорного зла. (Восплачьте и возрыдайте, американские демократы!) Как страну мертвого плоского языка, дряхлой холодной религии, механических апельсинов в человечьем обличье. Америку как фиаско всей евро-американской духовной эволюции и экзистенции. «Бесплодная земля». Но та земля, откуда практически никто из проклинателей не уезжает и не уедет.

Заканчивают же книгу голоса, гремящие уже не о равенстве, а о превосходстве черной Америки. В чем? В главном. В жизненной мощи. В космичности мироощущения. В органике ритмов — что мысли, что слова, что плоти. В телесно осязаемой корпоративности, коммунальности, «коммуности» — и в ножевой остроте экзистенциального чувства, перед которым духовные эксперименты современной Европы выглядят шевелением зомби. Трупная этика — так не то злорадно, не то брезгливо черные апологеты называют искусство абсурда, постмодерна, а хоть бы и экзистенциализма. Взявши вместе с тем на вооружение всю его виртуозную психотехнику и слововязь.

Диалог двух книг выявляет силу и слабость обеих позиций. И больше того: ставит напрямую друг перед другом — негра перед евреем, вольного орла демократа перед невольным орлом диссидентом, жизнь в иерархичной Системе перед жизнью в либерально-подпольной Внесистемности.

Все положительные (без иронии) писатели-герои А. Гольдштейна отталкиваются от тоталитарности, чтобы из последних жил тянуться к корпоративности. Коммунальные квартиры, пионерские отряды, детские коммуны, коллективные застолья, литературские посиделки, общие дворы (арбатские или бакинские), гомосексуальные братства, национальные сообщества, оппозиционные товарищества — Община может принимать вид разноликий. Но без Общины хана: это автор, в отличие от вайлегенисов, ощутил кожей и душой. Оттого на прародине ему, безобщинному, вольготно-беспринято, и скрыть этого он не в силах.

Для афро-американцев наличие Общины — исходная аксиома. Без Общины их просто нет. Приехать, к примеру, в Нью-Йорк для них — это приехать в черное гетто, а не на «белый» Бродвей или на «золотую» Уолл-стрит. Что не означает — ни «в рай», ни «в концлагерь». Для концлагеря в гетто слишком много толстух, эротики, блюзов, арбузов и джина; для рая... для рая не должно быть самого гетто.

А вот и второй вектор, объединяющий обе книги.

Весь (под полиэтиленовой сардонико-центонной упаковкой) одинокий стон А. Гольдштейна устремлен от идолов — к святыням. От безжизненного функционирования, с одной стороны, житейского бултыханья, с другой, — к Ритуалу. Без него — дыра бессмыслицы и неподлинности.

Для афро-американцев это также аксиоматично. Жизнь просто-напросто снизу доверху и есть Ритуал. Весьма точно мотивирует Н. Высоцкая легендарную супермузыкальность, «панритмичность» негритянского слова, жеста, чувства, бытия: их можно объяснить и не сугубо этнически. Звукоритм — основа Ритуала; Ритуал — основа Коллективного Сознания; Коллективное Сознание — основа человеческого сознания вообще (большие буквы на сей раз мои. — М. Н.). Ритм барабанов связует не только в пространстве, но и во времени, будя древних «Матерей» (Гёте) внутри нас.

Таково сходство. Различие в инструментарии, какой имеют в своем распоряжении персонажи двух книг (включая персонажа-повествователя «Рас-

ставания...»). В инструментарии телесном, душевном, духовном — и в самооценке его.

Начнем с духа. (Чего афро-американцы бы не сделали: при их-то доктрине синкретичного телесно-духовного Черного человека в отличие от разъятого человека Белого.) И все же — начнем с духа и духовности. Ну, во-первых, современная евро-американская — но и советская — «духовность», рядом с духом и великими духами-предками негров, немедленно обнаруживает отсутствие нормального верха: полноценной религиозности. В Европе была, да массово прошла; в Израиле (среди «бывших наших») массово еще не пришла; в США массово превратилась в благоприличие; в СССР массово мутировала в сторону «идеологии как религии». Не так в негритянской культуре. Афро-американцы обвенчали оргán с барабаном? Мессу с радением? Проповедь с заклинанием? Что да, то да. Иного и ожидать трудно от «религии рабов» — в самом буквальном трехсотлетнем смысле. Но «христианской эстетикой» или «христологией» они религию, по крайней мере, не сделали.

У автора «Расставания...» ситуация драматичней. Как и для большинства детей «оттепели», религия никогда не была для него, по-видимому, ни воздухом повседневности, ни — по контрасту с негритянской культурой — тем опорным столбом, к которому можно прижаться, когда нефигурально бьют до смерти со всех сторон. Только не стоит высокомерно относиться скупые, замечательно непоказные полустрочки-полумеждустрочья, какими просачивается сквозь текст книги «смутное влечение чего-то жаждущей души» (А. С. Пушкин), — не стоит относить их к «интеллигентской метафизике». Лучше бы нам вчувствоваться в состояние самого горестного и самого страшного двоедушника — человека, кому абсолютный верх как данность дарован не был, но без него искусство, литература (подозреваю — и жизнь) стали уже невыносимы. Ибо неистинны.

Подобное состояние — не просто бремя. И не просто повод к скрытой зависти, нежной печали: таков модус общения А. Гольдштейна с людьми и книгами, этим даром наделенными. Оно в чем-то и сила автора: сила личного устремления, личного самопреодоления. Сила, которой, понятным образом, лишены те, кто получил общинно-религиозно-ритуальное единодушие по наследству.

В сущности, книга А. Гольдштейна, развертывая совершенно иные проблемы интеллектуально, — бытийно, духовной фактурой своей отвечает на вопрос: почему высочайшая органика и всезахватывающая целостность архаического язычества оказалась во всемирной истории недостаточной для «вочеловечения человека». Ответ: ей недоставало свободы. Свободы как отсутствия готовых ритуализованных форм бытия. Свободы как риска — и реальности — ужасающего одиночества перед лицом вечности и Бога: встречи с Ним не в биоэнергетически заряженной массе «своих» (держашей и несущей тебя почти независимо от твоих усилий), а с глазу на глаз. Недрами твоего существа, которое призвано всё отдать, ничего уже не иметь, чтобы получить — найти! — всё.

Здесь же — ключ и к вопросу о национально-общинной идентификации личности.

Поучительно следить, как ненароком совпадают встревоженные диагнозы профессиональных американских социологов, цитируемых Н. Высоцкой, — и гипнотический трепет перед «чужой», палестинской, толпой, обволакивающей, втягивающей рассказчика в эпизоде иерусалимского базара у А. Гольдштейна. Интеллектуалы США бьют в набат: допуск «других» этнокультур в святая святых американского самосознания — в сферу общественных ценностей, идеалов, единых моральных императивов — расшатывает фундамент государства. Это первое; и второе: такой допуск противоречит внутренней установке самих «других» этногрупп. Ибо они-то никакому плюрализму для себя не признают. Ценности, в их традиции, могут быть только «своими» ценностями; прав, оправдан, жизнеспособен и вечен только «свой» народ.



То же самое, лишь на ощупь, спиной, плечами, затылком, ощущает в «чужом» окружении рассказчик «Расставания...». Застольные ритуалы общности там, в далеком Баку или в давней Москве, были прекрасны диалектикой: вибрацией свободы-вовлеченности, «я-внутри-мы». Но не «мы», переваривших всякое «я». «Чужая» масса давит, склеивает, даже физически мешает двигаться и дышать не тем только, что она чужая, а тем, что «я» автота в ее утробе уже нет. И быть не может.

Афро-американцы начинают переживать тот же синдром в противоположном направлении лишь с недавних пор. Черная Община оборачивается для современного негра перманентной самопроверкой: достаточно ли ты погружен в нее? Нет ли — пускай внутри тебя, не во внешнем социальном поведении — оглядки на Белого? Отдачи себя ему во власть? Звучат ли в тебе, не умолкая ни на миг, твои барабаны?

Но как тогда жить в многонациональной, мультикультурной, поликонфессиональной стране?

Позволю себе дерзость: предельно заострю — ради читателя — вопрос. Чего жаждет Черная Америка в максимуме, если бы (предположим) она могла все? А Русский Израиль? А Нерусская Россия? А Другая Литература — «ночная» тень литературы «дневной», «обычной», «общепринятой», не важно кем: коммунистами, фундаменталистами, национал-патриотами?

Неужели же только перемены мест? Чтобы последние стали первыми? Хорошо, стали, — а дальше что?

А дальше выяснится именно то, что не уяснили уже — испытали все эмигранты-репатрианты: двоедушники биографии и географии.

Переносятся из контекста в контекст, из одного культур-пространства в другое не тела. Не анкеты. Не тексты, не концепции, а души. Неизбежно двойственные по земным своим привязанностям: к культуре этнической, но и культуре территориальной. (Не двойственные — смены контекста не выдерживают, и носители их умирают.) Но если так, то и не могущие до конца рассториться ни «там», ни «тут». Вечные Агасферы.

Негры США никогда не смогут создать Черные Соединенные Штаты. И Американскую Африку — также. И уехать на прародину духовно — тоже. Русский Израиль не станет израильским Израилем. И не даст «земле обетованной» остаться такой же, какой она была до советско-постсоветского исхода. Нерусская Россия (не предрекаю — прогнозирую) будет с каждым годом все больше формировать и трансформировать Россию русскую и мироощущение русскости, ибо входит в него сама — конечно же, сама при этом преобразаясь. Другая Литература, вопреки упованиям автора «Расставания...», не отправится в помощники к новым, демократическим президентам и правительствам. (Та, что отправится, — сделается новым официозом.) Но и Агасферы не смогут беспрепятственно скитаться по просторам истории. (Равно как и не выдержат ее новейших гетто.)

То, чего ищет черная драма — но и белая политология США; триколорная новая Россия — но и бесфлаговая интеллигенция, — к чему стремятся раздавливаемые мировым хаосом атеисты, агностики и материалисты, но и верующие мировых религий, томящиеся по ее, религии, всеприсутствию в любом «быту», по духовности осязательной и преобразовательной, называлось когда-то очень немудряще: небо и почва. Общее небо и общая почва. Огромный купол, под которым места хватит всем — космического, метафизического места, а не одних лишь конституционных прав и конфессиональных гарантий. И гигантское основание прошлого, уходящего (о чем известно даже рациональным ученым-«древникам») в единые человеческие глубины: психические, генеалогические, культурологические.

Если там, высоко вверху и глубоко внизу, мы сумеем встретиться с нашими общими сверхчеловеческими (но не внечеловеческими и не бесчеловечными) целями и ценностями, мы не только выживем. (Выжить — сегодня — задача недостижимая, ежели она есть задача един-

ственная.) Мы преобразимся, мы воскреснем в новом качестве — все «я» и все «мы».

Что́ в этом качестве будет написано, сказано, спето, сыграно и в каких формах — дело тридевятое. Дело первейшее — понять и прочувствовать: без этого не будет ни риторики, ни драмы, ни ритуала, ни самого нашего существования. Мы тогда либо спрессуемся в коллективного человекозверя, либо разложимся на атомарные человекочастицы.

Две книги — два предостережения о том.

Симферополь.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА

\*

## Я САМЫЙ ОБАЯТЕЛЬНЫЙ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ

*Беспристрастные заметки о мужской прозе*

**О**бъяснимся: мужская проза и проза, написанная мужчиной, — это, по мнению автора данных заметок, не всегда одно и то же. Речь пойдет о конкретном способе создания текста.

Обычно критики пишут о женской прозе, принимая как само собой разумеющееся, что женщина в искусстве играет ту же роль, что и в обществе, — то есть по определению играет во втором составе (тут вспоминается, что у некоторых первобытных племен имеются мужской и женский языки). Самый разговор о мужской прозе может быть воспринят либо как неграмотная попытка вывести в небольшой работе какой-то общий знаменатель едва ли не для всей (созданной по преимуществу мужчинами) мировой литературы, либо как агрессия «нацмена», решившего оспорить фактическое неравенство возможностей (при теоретическом равенстве прав) всегда доступным «нацмену» демагогическим путем. Положение женщины-писательницы, если подумать, глупое. Хотя за слабым полом в последнее время и признаются некоторые духовные права «второго человечества», но проблемы и их художественное разрешение в текстах, создаваемых «вторыми», не могут все-таки претендовать на общезначимость. Иначе говоря, мужской язык литературы всеобщий, актуальный для всех, а женский — сугубо для внутреннего употребления. Потенциальная читательская аудитория сужается наполовину. На пространстве публикуемого (журналы, немногие сборники и некоммерческие книжные серии) «нацменам» отводится резервация, или квота. Все великолепно. Роль пишущего в литературе точно соответствует роли социальной — и можно подумать, что отношения искусства и действительности складываются у нас самым замечательным образом.

Автор данных заметок, нарвавшийся(аяся) со своим романом на фразу одного хорошего критика: «Что ж, по-видимому, и женщина человек», — имеет, конечно, личные причины разобраться в существе вопроса. И все-таки беспристрастность следует блюсти. Поэтому оставим в стороне плоды женского творческого труда: что-то доказывать на этом поле бесполезно, поскольку автор именно этого поля ягода. Кроме того, «женская проза» — это уже настолько усюгавшийся термин, то есть он так хорошо стоит, что полностью заслоняет различия между произведениями многочисленных «вторых». Обратимся к текстам, чьи создатели уж точно люди. Обратимся и посмотрим, всегда ли у писателей (в полном смысле этого слова) пол является лишь вторичным литературным признаком, не влияющим на основные качества текста.

Сразу увидим, что это не так. Пол — неотъемлемая составляющая личности, хоть творческой, хоть нет. Весь вопрос в соотношении автора и героя. Одни литераторы творят героев «из воздуха» и отдают им по частям самих

себя: переживания, впечатления, опыт. При этом отданное утрачивается: краски уходят из памяти в текст, реальное «схватывается» цементом придуманного и кажется уже небывшим. Герои, возникшие как служебные фигуры творческого первотолчка, как персонажи первой мимической сценки, постепенно наполняются авторскими мыслечувствами (в том числе и по поводу реальных, наблюдаемых в жизни, людей). Теперь если автор и видит в них себя, то видит со стороны; устанавливается дистанция, необходимая для свободной работы с образом. От кого эта свобода? От себя, любимого.

В другом варианте автор буквально не в силах расстаться с собой. Он всегда — герой своего романа. Каждое произведение строится вокруг его узнаваемой фигуры. «Это я, Эдичка!» — сказал однажды Эдуард Лимонов и до сих пор себе не изменил. Были, правда, попытки писать «крутую» беллетристику (пример — роман «Смерть современных героев»), но «крутизна» оборачивалась вялостью, поскольку произведение без Эдуарда состояло из одних второстепенных героев и полноценно развиваться не могло. Признаемся, что иногда читать Лимонова безумно интересно. Именно потому, что его произведения воспринимаются как документальные: такие отвязанные, «между нами, мальчиками», байки очевидца. Поскольку реален герой, то реальны и прочие персонажи — то есть каждый персонаж соотносится с конкретной персоной, чего автор зачастую и не скрывает. Интерес к роману почти как к газете: а как там «у них», в Европе и Америке? Что, действительно они такие цивилизованные и деловые? Да нет, свиньи вроде нас, отвечает Лимонов. И предъявляет читателю таких маргиналов, что многие провинциальные российские комплексы рассыпаются сами собой. Впрочем, «миддл-классовые» герои у Лимонова получают вообще уроды: авторская неприязнь превращает обывателя в пятно с отпечатком лимоновского пальца.

Автобиографические, а точнее, автопортретные произведения Лимонова, на взгляд автора данных заметок, являются показательными образчиками мужской прозы, о которой речь. Дело не в известных употреблении непечатной лексики: тут не художественная особенность, а скорее, товарный знак лимоновских текстов. (В этой области он, кстати, и не такой уж виртуоз: автор заметок знаком(а) с владельцем коммерческого киоска, таким даровитым самоучкой, который, как Мичурин, прививает к нескольким матерным корням плодоносное богатство русского языка.) Целью произведения является не столько создание некой образной структуры, сколько утверждение лично автора в качестве Мужчины С Большой Буквы. Мэна. Или, если угодно, Супермена.

Автор мужской прозы не смотрит на «себя — героя» со стороны: скорее, он смотрится в зеркало. «Генрих Супермен снова и снова клал оружие в карман пиджака и уходил в дальний угол квартиры. Оттуда он решительной походкой устремлялся прямо в зеркало. Подойдя к зеркалу над камином почти вплотную, он вырывал из кармана пистолет и, схватив его и другой рукой, беря на мушку воображаемую цель, вновь орал: „Холд ап!“» Данная цитата из романа Эдуарда Лимонова «Последние дни Супермена» может служить метафорой его же творческого процесса. Между прочим, зеркало — не такой простой партнер. Оно одновременно сковывает и намагничивает. Оно меняет «лево» и «право» и заключает человека в свою, собственной формы и качества, раму. Оно заставляет выбирать выражения лица (как заставляет выбирать выражения, пусть и нецензурные, создаваемый текст). В то же время зеркало — плохой портретист. Читатели Лимонова знают его амбиции и его обидчиков, знают его политические убеждения и его гардероб (что, как не костюмчик, показывает в первую очередь зеркало своему отражению?). Но того отстранения и сдвига, когда в художественной прозе рождается «я плюс нечто», зеркало не дает.

В любом произведении главному герою нужна оппозиция: так создается энергетика текста. У Лимонова в его невыдуманных историях все «оппозиционеры» (за исключением Владимира Жириновского), разумеется, женщи-

ны. Где, когда и как конкретно Лимонов их имел — про то читатель оповещен. Пусть завидует. Хотя для зависти основания есть не всегда: по ходу дела Супермену попадались и такие экспансивные экземпляры, что сам герой, при всей своей раскованности, вынужден был выступать перед ними в роли моралиста. Стремление утвердиться в качестве высококлассного партнера понижывает все творчество Лимонова. Вопрос, имеет ли данный комплекс отношение к литературе, можно, кажется, не задавать. Эдуард должен доказать на бумаге, черным по белому, свою мужскую состоятельность. Интересно, что эротические сцены у Лимонова, при их натурализме, всегда немного ненатуральны (может быть, потому, что происходящее перед зеркалом обычно носит характер репетиции). Так или иначе, обаятельный и привлекательный Супермен настолько утвердился в роли Первого Мужчины, что даже породил из своего ребра литературную Еву — писательницу Наталью Медведеву. Вот к чему приводят иногда мужские игры между жизнью и текстом!

Как же поступает автор мужской прозы со своими второстепенными персонажами-прототипами (все происходит, напомним, по эту сторону воображения)? По отношению к ним он выступает как писатель-таксидермист. Берется знаковый, убивается какой-нибудь тонко подмеченной подробностью, затем получившийся мертвый предмет плотно набивается авторскими рассуждениями и в таком виде выставляется на обозрение публики. Не только Лимонов занимается набивкой чучел: в этом имеет большую практику Валерий Исхаков, автор романа «Екатеринбург», не один год печатавшегося, выпуск за выпуском, в журнале «Урал». Большой роман полон исхаковских трофеев: и тот герой, и этот — похожи, просто как живые, вот только глаза стеклянные. Справедливости ради заметим, что Валерий Исхаков не является в чистом виде писателем мужской прозы (хотя по убеждениям, если кому интересно, последовательный мужской шовинист). Все-таки он прозаик с работающим воображением и поставленной рукой: в борьбе таланта с адреналином по очкам побеждает талант.

Вообще мужская проза — не всегда проза несостоятельная. Пример тому — романоповеть Юрия Малецкого «Любью», вошедшая в финальную шестерку премии Букера 1997 года. Здесь структура авторского «я» в принципе та же, что и у Эдуарда Лимонова: по каким-то тонким, интонационным признакам (не только, скажем, по отсылу к городу Самаре, откуда герой перебрался в Москву) в тексте ощущается, что между героем и автором минимальный зазор — если он существует вообще<sup>1</sup>. Посвящая произведение своей жене, автор считает нужным подчеркнуть, что все описанное имеет к его семейной жизни даже меньше отношения, чем можно себе представить, — но ведь эта знаменательная оговорка возникла не просто так, а из какой-то необходимости?

В отличие от Эдички, занятого самоутверждением и склоняющего зеркало к соучастию, герой Юрия Малецкого пытается честно с собой, непонятым и болящим, разобраться. «Отчетливо, с усилием, мысля в словах, чтобы не было недобора до дна...» Ковшик фразы вычерпывает душу, глухо, душе раздирающе скребет по дну, дно сладострастно чешется. Постепенно выясняется, что орудие автора — не ковшик, а решето. Понимание уходит между сцепленных слов, чувство, названное своим, казалось бы, словом (к примеру, любовь), — в слове отсутствует. Когда-то у героя была молодая провинциальная женщина, ныне называемая Та, — а теперь имеется венчанная московская жена, именуемая Эта. Та — неправильно-тонкая лицом, неправильного сложения, имеющая в своей не вполне человеческой анатомии что-то от музыкального инструмента; Эта — образец человеческой природы как таковой, эталон правильно-нейтральной красоты. Должно быть, Та изна-

<sup>1</sup> Ср. с анализом того же момента у Татьяны Касаткиной («В поисках утраченной реальности» — «Новый мир», 1997, № 3), которая как раз этот «зазор» считает решающим для выявления авторской позиции. (Примеч. ред.)

чально несла в себе пустоту и потому звучала; Эта, полная собою, не выдержала встрясок неустроенной во всех смыслах семейной жизни, содержимое замутилось, человек превратился в пациента психиатрической клиники. Когда-то Та втихую изменила герою с «самым наглым и жалким из самарских приятелей»: «Таккая болль!» Измена, не изжитая совместно (факт всплывает после развода, задним числом), плюс нежелание Этой хоть немного принимать супруга таким, каков он есть в действительности, — то есть принимать его цельно, — заставляют героя без конца разбираться в себе, черпать и черпать решето, разбивая свое отражение, надеясь наконец увидеть голое дно, где отражения уже не будет, а будет нечто несомненно настоящее — шершавая мокрая твердь. Но ничего не получается: всякая попытка заканчивается всего лишь рябью, версией себя, а поскольку в наличии «я» как бы первичное, реально-авторское, то и версия не имеет права на полноценное художественное развитие. Автор, не обозначив точки отстранения и опоры, не может сказать с уверенностью: да, это мой герой, он таков, каким я его создаю, и я несу за него полную меру художественной ответственности. Поскольку проблемы, решаемые автором, действительно для него большие, то романо повесть получилась пронзительно-искренней, надрывной; поскольку проблемы эти внелитературные (точнее, не перешедшие целиком в предмет литературы), то личная авторская борьба с собой напоминает мюнхгаузеновские усилия вытащить себя за волосы на сухое место.

Что же все-таки остается на журчащем, с бородой воды, решете? Остаются цельные грубые куски, упакованные смыслы: музыка, литература, историософия, имена, имена, имена... Варлам Шаламов, Роберт Плант, Игнатий Брянчанинов, Ницше, Пруст — и так далее, и так далее. Автор употребил все это и уложил в себе (отдельно анализируется, как именно употребил и уложил). Взаимодействие с Мировой Культурой (которая и является истинной и беззаконной возлюбленной героя романо повести «Любью») заключается еще и в писании собственных текстов: герой мужской прозы всегда писатель. В первых, потому, что автор действительно, «по жизни», пишет; во-вторых, это занятие само по себе является важной составляющей обаятельности и привлекательности. У Юрия Малецкого читательство-писательство, как ни крути, дает герою внутреннюю опору в диалоге с Этой и с Той. Кокетство «творческой натуры» здесь изживается за счет убийственной самоиронии, иногда не разбирающей цели и средств. Зато у Лимонова Эдуард, в некоторых романах так и именуемый Писателем, гордится призванием не меньше, чем армейскими штанами. А есть в нынешнем литературном раскладе еще один любопытный и очень показательный пример.

Живет в Екатеринбурге известный уральский писатель Андрей Матвеев. Пародийное сходство его с Юрием Малецким, отмеченное практически всеми, кто читал, простирается от малого до великого и наоборот. В романе Матвеева «Случайные имена» (первая часть опубликована в седьмом номере «Урала» за 1997 год, дальше — непредсказуемо) исследуется, по сути, та же проблема, что и в «Любью»: что такое литературное творчество — богоугодное дело или дьявольское наущение? Правда, исследование Андрея Матвеева — скорее светское занятие скучающего плейбоя: сам автор по поводу и без повода вставляет в свои тексты оговорки типа «но все это несущественно», «это не играет никакой роли» и подобные кокетливые замечания, призванные продемонстрировать, что автор так, походя, роняет бриллианты смысла и стиля на свои небрежно-блистательные страницы. Но вернемся к сходству. Не знаю почему, но оно проявляется и во внешности двух литераторов, и в любимых (чувствуется, что житейски-обиходных) словечках, и даже в кулинарных пристрастиях, коим Юрий Малецкий уделил в романо повести красочный абзац. Между прочим, в Юрии Малецком, наряду с Матвеевым, невнятно звучит еще и Владимир Яницкий, тоже разбирающий в себе посредством литературы конфликты веры и интеллекта, — а в Матвееве местами угадывается Эдичка, особенно там, где Матвеев хочет, но не может проде-

монстрировать читателю кондиции того, что он называет эвфемизмом «аппарат». Кто его знает, какие законы Менделя проявляются здесь; отметим лишь, что мужская проза как-то явственнее демонстрирует все эти перекрещенные писательские типажи.

Содержанием жизни и творчества Андрея Матвеева является творчество, поскольку оно является содержанием жизни его как писателя. Андрей Матвеев пишет свои тексты перед зеркалом — отсюда зыбкое плетение фразы и ощущение, будто она выводилась левой рукой. Матвеев пишет про то, как он пишет, и временами поднимает листок, чтобы увидеть его отражение вместе со своим задумчивым лицом: прямого, поюстороннего взгляда на текст автору недостаточно. «И последняя фраза не есть лишь попытка эстетически точно закруглить предыдущую главу», «...эти мои размышления не являются прозой, а могут рассматриваться всего лишь как технический элемент в создаваемой сложной и плотной ткани текста...», «и стоило бы автору быть менее искусным в построении сюжета...» — подобные самооценки показывают, что отражением текста автор доволен, доволен и отображаемым процессом (так, что даже позволяет себе поскромничать: «Не о себе говорю в данном случае», — хотя читатель-то понимает, что как раз о себе, о ком же еще?). Проза Андрея Матвеева местами таинственно затемняется анфиладами двойных и так далее скобок (фокусы зеркала, создающего из одного, скажем, дверного проема ложную глубину); местами процесс писания обретает «леворукое» неловкое кружение: «(тут я пропускаю одно слово)» — вместо него вставляя целых пять. В общем, все это очень красиво — тем более Матвеев любит отражаться в окружении красивых вещей. Фигурируют такие предметы, как «обоюдоострый кинжал с тяжелой, украшенной переливающимися драгоценными камнями рукоятью» и обсидиановый «трон»; из романа в роман кочует таинственная сущность, именуемая «мой кабинет». Андрей Матвеев не устает повторять, что его читатель должен быть умным. Это, вероятно, относится к прямому и непрямому цитированию, рассыпанному в тексте, а также к набору (более «подарочному», что ли, чем у Юрия Малецкого) упоминаемых имен. Но может, все-таки лучше умному читателю обратиться к первоисточникам? Читатель видит, между прочим, что Матвеев не бездарность, просто он никак не может пробиться через оболщания писательства к своему таланту.

Короче говоря, мужская проза — явление распространенное. Если автору данных заметок удалось хотя бы доказать, что явление существует, — цель беспристрастного высказывания можно считать достигнутой. Если кого обидела — ну, извините, бывает. В утешение персонам, обретающим бессмертие посредством мужской литературы, могу сказать: в прозе, создаваемой «вторыми», происходит все то же самое. Женская проза, обретающая иногда жанровые признаки коллективной жалобы, имеет место быть.

Екатеринбург.

---

АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ



## ДВЕ ЧАСОВНИ

**О**пытный книголюб знает: стихи или страницы лирической прозы, в принципе, можно читать с любого места, вовсе не обязательно от начала к концу.

Одно из свойств лирики заключается в том, что она ослабляет, а в пределе отменяет логико-временные ограничения, влияющие на авторскую свободу, а значит, и на читательское восприятие текста.

Лирика разрешает то, чего не допускает нормативная логика.

В отличие от линейности причинно-следственных отношений и односторонности физического времени, ассоциативные связи объемны, а время в лирическом стихотворении, поэтической прозе способно менять направление движения и даже останавливаться, как останавливается оно, например, в портрете или пейзаже, преображаясь в застывшее мгновение.

Иными словами, существуют два разных типа познания реальности — «логико-протяженное» и «ассоциативно-мгновенное». Первому отвечает поступательно-логическое движение по стреле времени, тогда как второму — развитие объемных ассоциаций, от течения времени не зависящих.

Когда-то пародист Минаев догадался записать фетовское «Шепот, робкое дыханье...», поменяв чередование стрóf на противоположное — от конца к началу. При этом, утверждал Минаев, по существу ничего не изменилось. Пародист почел это обстоятельство за недостаток: как, мол, ни крути строфы, как их ни тасуй, все подходит. Смешно! И странно...

На самом деле, конечно, «подходит» не все. Кое-что нарушается, и «обращенное» стихотворение все-таки не вполне совпадает с оригиналом. Однако различия такие тонкие, что «в первом приближении» ими можно пожертвовать. А в целом если оставаться в причинно-следственном мире сюжетного стихотворения или классического романа с направленностью физического времени действия из прошлого в будущее, то «обратимость» лирики, действительно, способна восприниматься как некая странность, «изъян». Вместе с тем он превращается в неоспоримое достоинство, едва лишь мы вспомним, что особенность лирической стихии как раз и состоит в упразднении или по крайней мере в ослаблении звеньев логико-временной цепочки.

Отнесемся к минаевской шутке всерьез. Подумаем: не служит ли обратимость или необратимость произведения тестом, позволяющим исследовать природу текста? Что ему присуще: логическая строгость или ассоциативная свобода? Временная направленность или независимость от времени? Не есть ли «обратное» чтение инструмент, выявляющий тип авторского мышления?

В качестве примера рассмотрим рассказ И. А. Бунина «Часовня». Начнем с аналитического прочтения рассказа «в прямом направлении», а затем перейдем к обращению текста. При этом будем следить за тем, сохранит ли он свой смысл, или стройность его нарушится. Иначе говоря, существует ли нет внутри рассказа смысловая устойчивость, независимая от направления те-



чения текста. Какую роль играет в нем физическое время: важно или не важно, что произошло раньше, а что потом?

Стало быть, рассмотрим не одну, а две «Часовни»: «прямую» и «обратную».

## ПРЯМОЕ ТЕЧЕНИЕ ТЕКСТА

### Название

#### (1) Часовня

Прежде всего: что такое — часовня? Не приблизительно, а точно. По Далю.

«**Часовня ж.** -венка, молитвенный дом, храмик без алтаря, где можно только служить часы (не литургию); отдельное маленькое строенье, или пристрой, с иконами и лампадой; часовни этого рода ставятся в виде памятника, или на распустьях, на родниках, или над престолом бывшей церкви».

В тех «культурных кодах», которые заповеданы современному человеку, часовня олицетворяет уединенность, отрешенность от мира, близость к Богу. Она создана для сокровенности и печали. Часовня — это час общения с вечным. Молитва Тому, чья жертвенность и кротость уподобили Его Агнцу Божьему. Часовня — час Овна.

Станем ли мы после этого утверждать, что дело не в названии? Именно в нем. Название — ключ. С его помощью мы отмыкаем дверь в рассказ.

### Синонимы судьбы

(2) *Летний жаркий день, в поле, за садом старой усадьбы, давно заброшенное кладбище, —*

Короткое пейзажное начало. День, поле, сад, усадьба, кладбище. День жаркий. Усадьба старая. Кладбище заброшенное. Первый контраст. Жар связан скорей с молодостью, чем со старостью. Одновременно открыт первый ряд состояний: *старая, заброшенное*. Нет, это не синонимы языка. Это — синонимы человеческой судьбы.

### Минорный ряд

(3) *бугры в высоких цветах и травах и одинокая, вся дико заросшая цветами и травами, крапивой и татарником, разрушающаяся кирпичная часовня.*

Продолжение эпитетов минорного ряда: *старая усадьба, заброшенное кладбище, одинокая, заросшая, разрушающаяся часовня.*

Она окружена *буграми* могил — не округлыми всхолмьями романтического сельского погоста, а грубыми «буграми».

Она дико заросла теми же цветами и травами, чья пышность погребла под собой безымянные уже могилы. Но, пожалуй, это не жизнь, торжествующая над смертью, а время, торжествующее над жизнью.

### Разбитое окно

(4) *Дети из усадьбы, сидя под часовней на корточках, зоркими глазами заглядывают в узкое и длинное разбитое окно на уровне земли.*

Завязка здесь. Дети и окно. Действие начинается отсюда. До сих пор была пейзажная экспозиция, а тут прямо одушевляется пространство, возникает позиция: дети перед окном.

Необычность окна в том, что смотреть в него можно лишь сидя на корточках. Окно узкое, длинное, *разбитое* (слово в строку минорного ряда), низкое.

Дети заглядывают в окно. Заглядывают — значит, робеют. Иначе бы просто глядели, а то и глазели. Заглядывают — значит, любопытно и вместе с тем страшновато, запретно. Страх как любопытно — вот формула того состояния, в котором пребывают дети. И хоть глаза у них зорки,

(5) *Там ничего не видно, оттуда только холодно дует. Везде светло и жарко, а там темно и холодно:*

В этот момент повествование негласно передается от взрослого рассказчика детям; может быть, тому же рассказчику, но когда он был маленьким и пережил то, о чем вспоминает. Так давнишнее превращается в нынешнее, воспоминание — в происходящее сейчас.

Появление детей изменяет стиль письма. Теперь оно предпочитает строиться по-детски (*холодно дует*), на полярных, как в сказке, контрастах: светло/темно, жарко/холодно. Противопоставления выделяют часовню из окружающего ее летнего дня уже не как храмик, они обособливают ее как физический предмет, не излучающий ни тепла, ни света, даже не отражающий их. Часовня — почерневший кусок льда среди обожженной солнцем травы, глыба из загробного мира. От нее стужей веет. И дети — у расколотой пластины ломкого, как лед, стекла.

Постепенно глаза их привыкают к темноте. Они начинают различать, что внутри часовни —

### Склеп

(6) *там, в железных ящиках, лежат какие-то дедушки и бабушки и еще какой-то дядя, который сам себя застрелил.*

Детский словарь пополняется. Не саркофаги проступают в темноте, а железные ящики. В них не пращурь, а какие-то дедушки и бабушки, не самоубийца, а дядя, который сам себя застрелил. Это язык рассказчика-ребенка. А железные ящики — знаки холода и тьмы.

### «Здесь» и «там»

Но страх не может удержать любопытства, наоборот, он лишь подстегивает его.

(7) *Все это очень интересно и удивительно: у нас тут солнце, цветы, травы, мухи, шмели, бабочки, мы можем играть, бегать, нам жутко, но и весело сидеть на корточках, а они всегда лежат там в темноте, как ночью, в толстых и холодных железных ящиках; дедушки и бабушки все старые, а дядя еще молодой...*

Этот отрывок целиком построен на перечислениях и контрастах, и все они (свет/тьма, зной/холод, свобода/плен, движение/неподвижность) — вариации главного противостояния: жизнь/смерть.

Мрак часовни и воспринимается детьми как «тот свет».

«Тот свет» есть запертая камнем тьма среди чистого поля.

Между «тем» и «этим» светом — разбитое стекло. Граница, защищенная только страхом.

Там — жутко, здесь — весело. А мы и здесь и — глазами — там, потому нам и жутко и весело. Мы можем убежать домой, забыть о часовне, но что-то не отпускает нас, и это «что-то» — необычайность мертвого мира. Холод, мрак, гробовая тишина. Мы можем проникнуть туда, но боимся, не входим. А вдруг с нами что-нибудь случится? Страшно. Страх не пускает нас внутрь, и это — благо, ведь разве догадаться нам о том, что если мы все-таки пересилим испуг, войдем и ничего не произойдет, то исчезнет тайна одинокой часовни, ибо этой тайной наделяем ее мы, она одухотворена нами, а с утратой тайны пропадут и наш страх, и наше веселье, ведь они — часть тайны. Главное — не пытаться ее разгадать, ограничиться признанием того, что *все это очень интересно и удивительно.*

### Тайна в тайне

Мы — читатели — втянуты в действие. Сейчас мы — дети. Часовня для нас — запретный плод. Однако любопытство сильнее запрета. Внутри большой тайны склепа есть еще одна загадка: почему среди старых дедушек и бабушек лежит молодой дядя? Говорят, он застрелился.

(8) — *А зачем он себя застрелил?*

— *Он был очень влюблен, а когда очень влюблен, всегда стреляют себя...*

Один ребенок отвечает другому. Ответ таков, что он не только не разгадывает тайну гибели молодого человека, а делает ее еще непонятней, еще загадочней. Оказывается, стреляются от любви. Почему? И что значит — *всегда*? Как это — *всегда*? Дядя один среди дедушек и бабушек, значит, все они не очень любили, если дожили до старости?..

Это взрослый понимает, что речь идет о неразделенной любви, но ведь сейчас рассказчик — ребенок, а потому и мы, читатели, обязаны перевоплотиться в детей.

Если семидесятилетний Бунин воплощается в себя семилетнего, то он тем самым предлагает и читателю сделать то же самое, чтобы сохранить взаимодействие, не выпасть из игры смысла, продлить правильность восприятия.

Ребенок «объяснил» поступок молодого дяди с позиции ребенка и поставил на этом точку. Ему все ясно. Но автор не хочет кончать рассказ этой детской сентенцией. Он снова воплощается в себя пишущего, и тогда детская точка в конце реплики становится неверным знаком. Стреляются не вообще всегда, когда влюблены, а при известных обстоятельствах. Известных взрослым и неведомых детям. Детскую точку Бунин продолжает взрослым многообразием. Такая многозначность, неуместная в реплике ребенка, служит нам сигналом к тому, что именно здесь автор совершает возврат к себе — человеку, прожившему жизнь.

### Фортка в вечность

(9) *В синем море неба островами стоят кое-где белые прекрасные облака, теплый ветер с поля несет сладкий запах цветущей ржи.*

Последний контраст с небытием часовни: прекрасные облака, запах цветущей ржи. И наконец итог, отпечаток состояния, фортка в вечность:

(10) *И чем жарче и радостней печет солнце, тем холоднее дует из тьмы, из окна.*

Все противоречия подытожены в проеме оконной рамы и выражены со всей полнотой и лаконизмом.

### Дата

(11) *2 июля 1944*

Рассказ написан 2 июля 1944 года. Происходящее в нем событие относится к семидесятым годам XIX века. Изложение между тем ведется в настоящем времени. Это значит, что временная дистанция не играет для автора никакой роли. Он связывает два физических времени, два пространства — свое русское детство и французскую старость — в едином тексте пережитого воспоминания. Он упраздняет все времена, кроме настоящего. Не происходило, а происходит. Исключение сделано только для дяди, который погиб раньше. А для читателей это означает, что и они, когда бы им ни довелось прочесть «Часовню», вовлекаются в непрерывное настоящее, которое есть не что иное, как вечность.

### ОБРАТНОЕ ТЕЧЕНИЕ ТЕКСТА

А теперь попросим прощения у Бунина и перепишем его рассказ в обратном порядке — от конца к началу, сохранив главки аналитического разбивания, не вполне соразмерные грамматическим предложениям. Сейчас наша цель — проследить, повлияет ли обратное течение текста на его смысл.

## Дата

(11) 2 июля 1944

Вынесение даты в начало рассказа подчеркивает ее важность. Памятуя о том, что Бунин родился в 1870 году, мы сразу узнаем: рассказ принадлежит перу человека умудренного, в какой-то мере является итоговым.

## Фортка в вечность

(10) *И чем жарче и радостней печет солнце, тем холоднее дует из тьмы, из окна.*

«Обратная» «Часовня» начинается окончательной авторской формулой: посюсторонний жар пропорционален потустороннему холоду. Вывод как бы «вводится» изначально.

Пока что непонятно, о какой *тьме* и о каком *окне* идет речь. Допустим, о «каких-то».

(9) *В синем море неба островами стоят кое-где белые прекрасные облака, теплый ветер с поля несет сладкий запах цветущей ржи.*

Пейзажная концовка стала живописным началом, однако смысл при этом несколько не пострадал. Это произошло оттого, что ощущение *летнего жаркого дня*, без обиняков названное в «прямой» «Часовне», косвенно возникает и в «обратной». Литературный пейзаж вообще, по-видимому, не обусловлен строгими логико-временными отношениями. Он — «ассоциативно-мгновенен».

## Тайна в тайне

(8) — *Он был очень влюблен, а когда очень влюблен, всегда стреляют себя...*

— *А зачем он себя застрелил?*

Диалог возникает из ниоткуда, точней — непосредственно из пейзажа. Логически он ничем не подготовлен. Он вырастает, как трава, там, где захотел. При этом вопрос предваряется ответом. Взрослые так не говорят. Зато дети — сколько угодно. («Дай ведерко, кулич слеплю». — «А зачем тебе ведерко?») Ребенок может и прозевать объяснение, и не ухватить его смысла. Ребенку требуется повтор. Разумеется, это уже не нормативная логика, а реальность человеческого общения. Но именно — реальность, далекая от искусственной выдумки.

## «Здесь» и «там»

(7) *Все это очень интересно и удивительно: у нас тут солнце, цветы, травы, мухи, шмели, бабочки, мы можем играть, бегать, нам жутко, но и весело сидеть на корточках, а они всегда лежат там в темноте, как ночью, в толстых и холодных железных ящиках; дедушки и бабушки все старые, а дядя еще молодой...*

Если принять догадку, что героями рассказа являются дети, то тогда понятно, что детям *интересно и удивительно*, на самом деле, *все*: их интересуют и любовь и смерть, и солнце и тьма, и живые цветы и железные саркофаги.

Естественность обратного течения текста опять-таки не вызывает сомнений.

## Склеп

(6) *там, в железных ящиках, лежат какие-то дедушки и бабушки и еще какой-то дядя, который сам себя застрелил.*

Новое, что мы узнаем из этого отрывка: молодой дядя — самоубийца. Прежде было не ясно, кто застрелился. А вот *дедушки и бабушки* совершенно излишний повтор, стилистический сбой. То, что в «прямой» «Часовне» было

пространственно раздвинуто и воспринималось как уточнение, в «обратной» сблизилось и стало тавтологией.

### Разбитое окно

(5) *Там ничего не видно, оттуда только холодно дует. Везде светло и жарко, а там темно и холодно:*

(4) *Дети из усадьбы, сидя под часовой на корточках, зоркими глазами заглядывают в узкое и длинное разбитое окно на уровне земли.*

Наконец таинственные собеседники и соглядатаи названы. Это — *дети из усадьбы*. Становится ясно, где они сидят, куда смотрят. Впервые возникает часовня. Но разве такая загадочность, такое продолжительное откладывание разгадки противоречат общему колориту рассказа? Скорей наоборот. Мистический реализм «Часовни» от этого, пожалуй, даже выигрывает.

### Минорный ряд

(3) — *бугры в высоких цветах и травах и одинокая, вся дико заросшая цветами и травами, крапивой и татарником, разрушающаяся кирпичная часовня.*

Авторское движение «снаружи — внутрь — наружу» в силу своей симметрии сохраняется и при инверсии текста. Просто элементы пейзажного обрамления меняются местами.

### Синонимы судьбы

(2) *Летний жаркий день, в поле, за садом старой усадьбы, давно заброшенное кладбище,*

Теперь известно точно, где стоит часовня. Однако, по существу, это не столь важно. Во всяком случае, вовсе не влияет на ее убедительность как философского знака в бунинской формуле жизни и смерти, с которой начинается «обратный» рассказ.

### Название

#### (1) Часовня

Из анализа прямого и обратного течения текста следует, что его обращение допустимо. Кроме одного указанного выше стилистического сбоя, оно не приводит к распаду формы рассказа. «Прямой» смысл последнего не утрачивается в обратном изложении, а мистическая окрашенность даже сгущается. Все это возможно потому, что перед нами не цепь последовательных событий, а фиксированный миг: дети у окна часовни — и все то, что они в этот миг видят снаружи и внутри.

Так лирическая ассоциативность мышления ускользает от нормативной логики: допускает свободу в расположении фрагментов текста друг относительно друга вплоть до их полной инверсии; снимает вопрос о зависимости содержания от физического времени. В рассказе время свернуто до одного-единственного мгновения, и это мгновение способно длиться уже как бы вне времени, приобщая нас к тому состоянию души, которое и предназначена вызывать часовня, — к ощущению вечности.



---

---

# РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

## ...НА КРАЙ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Наум Ним. Оставь надежду... или душу. М., «Совершенно секретно», 1997, 256 стр.

**Е**сли и говорит правду как бы наспех сработанная обложка этой книги, то одним — своим точным стремлением к черно-белому. Название издательства, как и слова, вынесенные на обложку, никак не предвещают того, что — внутри...

Писать о прочитанном — почти невозможно. Написать «о» -- предполагает дистанцию. Но именно ее, именно эту равновесную и спасительную дистанцию, обрести трудно.

Впрочем, внешнее определение всегда наготове: «лагерная проза». Солженицын, Шаламов... Ведь определено место действия, а отсюда — эмоциональный настрой и ожидаемые «гуманитарные» выводы...

Но тут что-то не так — или, во всяком случае, не так просто. Тут какая-то странная воронка... Какое-то цепляющее тебя движение, затаскивающее в страшный и безвыходный опыт.

«Звезда светлая и утренняя» — первая повесть<sup>1</sup> (хотя и стоит она второй, подчиняясь странному издательскому установлению: то, что объемнее, — напоследок, не всякий доберется...). Место события — неровный клочок вселенной, выхваченный натужно пытающимися раздвинуть тьму фонарями. И первая — почти физическая — эмоция: задержка дыхания. Предчувствие того, что, может быть, входить в этот мир не следует. Повесть начинается. И даже идет сначала в темпе реалистического повествования... чтобы позднее уйти в свободный полет. И только доле-тев до конца можно вернуться и вторым ходом понять, что тебя самого лихо завернуло в кульбит сюжета — и вытолкнуло в безвоздушное пространство. Едва спасся, едва не погиб вместе со Слепухиным — героем повести.

Событий, вместившихся в повесть, — на «Один день...»? на два...? Можно проверить свое чувство времени, пролистнув повесть еще раз. Первая сцена — в лагерном бараке, зеки смотрят телевизор, — вечер, наверное... Сцена последняя — несомненно утро, по всем признакам — утро. Утро несостоявшегося дня. А между ними — то ли ночь и сон, то ли безразмерная явь. Время в том мироздании, которое (будем надеяться) создало авторское воображение, отсутствует. И это первое условие его существования. Здесь нет начала и конца — здесь есть движение к смерти:

Следы этого проступают повсюду. Первый — в самом начале повести. Но заметит его только тот, кто дойдет до последней сцены. Она — пантомимически точно воспроизведет ту, с которой повесть начинается. Только в последний момент мы все увидим уже глазами Слепухина, а здесь, в начале, нам еще недоступно это зрение, нас лишь затронет предчувствием, что сцена фильма, показанного по телевизору, — сцена невероятного, нереального по всем меркам трезвой действительности побега зека из зоны — дальнее эхо конца.

Мир, расположившийся в зоре этих двух сцен, — чудовищен. В это понимание ты втягиваешься постепенно, следуя за цепким зрачком Слепухина, впервые входящего в барак:

«Хоть и не ожидал он никаких особенных хоромин, но против этого пристанища сразу вздыбилось все внутри, а знание, что это жилище почти на пять бесконечных лет, заставляло трепетать чуть ли не в агонии каждую жилочку.

---

<sup>1</sup> Я сознательно избегаю «разъяснений» этого названия, имеющего библейский корень (см. Откровение Иоанна Богослова). Этот ход повел бы по совсем другому пути.

Прямо перед ним тянулся узкий проход, чуть шире, чем в вагоне, а по бокам, как в том же вагоне, трехэтажные пальмы — одна к другой, парами, и грязные ноги, как и там — в проход, где-то вместо ног — неровные головы...

Все это гудело, шевелилось, воняло — жило настолько плотно и сцепленно, что требовалось невозможное усилие, чтобы вступить туда, в шебуршащееся колготенье; всем телом воспринималось упругое отталкивание этого шевелящегося, вонючего, гомонящего подобия жизни...»

Впрочем, пока тебе лишь сообщают, тебя лишь предупреждают, что это — подобие. «Подобие» здесь хоть и точное слово для сразу увиденного, но силой чувственного понимания еще не наполненное.

В повести пока различимы человеческие фигуры... Проказа, Долото, Квадрат, Савва, Малхаз, Петруха... О ком-то мы узнаем краем, только из чьего-то разговора. Кто-то успевает бросить несколько реплик — впрочем, этого оказывается достаточно, чтобы проявило себя главное: его место в точной иерархии тюремного пространства, как он закрепился в нем, какую нишу нашел, чтобы выжить. А о ком-то мы все понимаем, выслушав рассказанную им историю — какую-то одну, свою, сокровенную. И опять-таки — не случайное воспоминание, а точка, на которой закрепилась жизнь.

У каждого — история своя. Но у одного — космогоническая, одна на всех. Авторская гипотеза начала начал?.. Рассказывает ее Савва, персонаж одинокий, с мудрой дистанции оглядывающий происходящее:

«Начало всей этой мерзости... пожалуй, с самого сотворения мира идет. Значит, так, Бог там или еще кто, кого под Ним разумеют, соорудил человека совместно с ассистентом своим, тоже талантливым типом, но никак этот ассистент с шефом не могли договориться по главным своим вопросам, дьявол все ухмыляется, что шеф его чересчур уж прекраснодушен, что ли, не видит за своими ахами — охов. В общем, соорудили они человека для выяснения этих своих разборок... Человек для них — материал, сырье для сотворения всего остального, чего сам человек и сотворит, и вот что он сотворит, что у него получится — это и решит, кто прав в ихнем высоком споре. Такая, значит, лаборатория, эксперимент вроде бы...»

Кажется, все развивается традиционно... Разве что в интонации рассказчика что-то заставляет ждать подвоха, какого-то неожиданного неблагоприятного поворота...

«...Ну и ассистент — дьявол по-нашему — не мешает шефу творить человека, даже и помогает советами, чтобы человеку, значит, много сразу дать всего, чтобы он идеи своего создателя мог реализовать. Тот человеку душу сует, а ассистент и уточняет даже — необходимо, мол, по вашему, господин, образу и подобию, точь-в-точь, чтобы созидающая душа была. Тот в душу совесть вкладывает, чтобы она, значит, душу оберегала, сохраняла, а ассистент вьется: мало, мол, надо еще всунуть заманку награды за сохраненную душу, ну и так далее... Короче говоря, соорудили... Ведь сказка эта, что дьявол торгует потом души, чтобы господину своему предъявлять и доказывать, как низок человек и, значит, как ошибался в их споре господин, — сказка эта близка к истине, но — навыверт близка. Не вмешиваются они, наблюдают только... а цель-то одна... чтобы они там выяснили, кто у них прав, а кто — не очень, и потом новую себе игру придумали, уже без нас... В общем, души мы себе ампутуруем сами...»

Мир, который — создает? описывает? — Наум Ним, устроен для этого наилучшим, наиболее удачным образом. В нем способны длить существование только уродливые формы. Человеческая форма — деградирует, рассыпается, умирает. По сюжетному движению повести можно — шаг за шагом — восстановить этот точно прописанный авторский замысел: показать, что выхода из этого мира нет, инерция его вращения направлена только к разрушению человеческого... А еще — маячит догадка, что речь, может быть, и не о зоне вовсе, а о том, что территориально гораздо ближе... Просто в зоне процессы идут заметнее и быстрее...

И не просто быстрее, пожалуй даже — с ускорением. Читающий ощущает это ускорение на себе, физически достоверно. В какой-то момент с ним самим начинает что-то происходить. Автору, похоже, удастся не просто протащить читающе-

го через создаваемый им мир, но и ввергнуть его в странные телесно-ощутимые метаморфозы...

В повести есть событие, после которого как будто происходит некий слом, повествование начинает деформироваться.

Внешний наблюдатель, оставшийся где-то на периферии сознания, еще следит за фактической историей героя: Слепухин попадает — в свой черед — к приехавшему в зону с проверкой прокурору, решается лишь на мелкую жалобу (хоть на последнем пределе человеческого достоинства удержаться), отправлен в «подвал»... и далее по нисходящей, теряя силы к сопротивлению и приближаясь к последней, «петушиной», границе. Линия этого движения — к касте неприкасаемых, тех, кто прошел все степени насилия над собой, чье сопротивление сломлено... То, что проходит Слепухин, — это уже не путь, это — свободное падение, а скорее, расседоточение, распадение мира, собранного вокруг точки по имени «Слепухин».

Когда защищать и охранять уже нечего, когда исчезла собственная, только твоя, территория, когда (почти) исчезло и болезненное неблагополучие живого тела, претерпевшего уже все возможные истязания, — Слепухин обретает способность... жить в других телах. Он проникает в течение несложных мыслей службистов зоны, это странное обретенное им зрение различает детали интерьера их прошлой и нынешней жизни. И читатель перемещается по миру, населенному... слепухиными.

Знанием открываешь здесь, в общем-то, немного. Отвратительные бытовые истории, тусклое движение того, что и «человеческими мыслями» назвать-то не хочется... Униженность и бессмысленность человеческого положения. И отвратительная в своей незатейливости приспособляемость. Все эти охранники-солдатики-лейтенантики-прапорщики, заполняющие зону, — теперь тоже слепухины... Людское подобие. А на вершине этой уродливой пирамиды — хозяин зоны.

И все же... Аффект, почти шок, который производит этот текст, лежит не в пласте сюжета. Конструкция повести — искусно проведенное русло, по которому направляется какой-то мощный, вовлекающий в свое движение поток. Он передается через непредсказуемую и особую неустроенность языка, как будто всеми частями своими прилаживающегося к трудному объекту, пытаясь дать прикоснуться к нему — чувством. Именно какой-то странный внутренний настрой этого языка все время — фоном — сообщает тебе, что ты — в нечеловеческом месте, в смертельной зоне... Более умудренному литературным опытом, чем я, критику следовало бы, наверное, дать этой — абсолютно своеобразной — прозе особое имя. Скажем: «физиологическое письмо»...

Сила этого письма — органическая, бессознательная — затягивает читающего, заставляя пережить (не со-переживать, а именно — пережить) все оттенки мучающейся и умирающей жизни... Пройти до предела распада... Почувствовать отвратительные запахи ее гниения, свернуться в замороженный нечеловеческий комочек, быть не в силах обживать собственное тело, не мочь уже обустроить его чувствами и надеждами, а потом — слабо затрепетать в ожидании своей шлюмки с кипятком... и все... — потерять себя, превратившись в то неназываемое, что собрал в кучу, своим совком, шнырь...

Но за этим пределом в повести происходит еще одно событие — последнее смертное ускорение: попытка героя разрушить уничтоживший его мир. Мир, как он, похоже, догадывается, «созданный по его вине, сляпанный сумасшедшими уродцами-слепухиными»... Почти божественное усилие... По сюжету — это нелепоневообразимый побег из зоны, благодаря убийству охранника, «казенного уродца». По внутреннему же строю повести — это место свободы, где человека — уже ли, еще ли — нет. Есть только небесное и земное, которые никак не могут прийти к слиянию...

«На зону валил пушистыми хлопьями белейший снег. Он опускался непроглядным пыльным сугробом, и, может, даже не опускался, а наоборот — наполнявшаяся воздушными пузырьками свежая земля с тихим шипением поднималась к небу. Только вот вряд ли земля могла быть такой ослепительно чистой, значит, все же опускалось небо... Нет, скорее всего, белая пряжа снегопада сшивала землю и небо в одно, заштопывала эту вот рану, расковырянную здесь уродами-слепухиными, сшивала кошмарную прореху»...



Вообще напряжение повести таково, что умереть можно нешуточно. Вместе с пошедшим за своей светлой и утренней звездой — Слепухиным, пойманном охранником в зрачок автоматной мушки... Не знаю, входило ли это в планы автора.

Но все же ему точно удалось (будем надеяться, что именно таким великодушным и был его внутренний замысел) другое. Передать читающему энергию ненависти к неправильно устроенному миру. И тончайшую надежду, что все можно — и должно — устроить иначе, по-человечески.

Еще один сколок того же мира — вторая повесть книги «До петушиного крика». И снова сюжет — в охвате кольца. А внутри — тесное тюремное пространство. Тебя втягивает в него, ты научаешься языку этой жизни, пропускаешь сквозь себя ее грязную и плотную атмосферу, пытаешься обжить в ней свое место, не став ни жертвой, ни соучастником насилия... И снова летишь к последней смертной сцене...

Из последней сцены можно вынырнуть в первую, оказаться в первом сне Вадима, героя повести, пройти по точной линии сюжета — по нисходящей — до «петушиного состояния»... И снова оказаться в горящей ненавистью бездне. И вместе с «я», с внутренним рассказчиком, попасть в черный омут безумного Вадимова зрачка.

Солженицын, Шаламов... Да, повести Наума Нима в этом «тематическом» ряду. И внешних сходств-повторов наберется... В «Звезде...» иногда как будто проступает текст «Одного дня Ивана Денисовича»...

Вот только у Солженицына: «Засыпал Шухов вполне довольный. На дню у него выдалось сегодня много удач: в карцер не посадили... в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку... с ножевкой на шмоне не попался... и табачку купил. И не заболел, перемогся...» День, в котором довелось выжить. За последним пассажем солженицынской повести — сила еще не сломленной жизни. И перспектива у нее есть: три тысячи шестьсот пятьдесят три дня... У нимовского Слепухина такой перспективы нет. Его мир не может устоять на слабых опорах бытовых «удач дня». Линия жизни здесь — катастрофична.

Да и мир Шаламова — все же другой. «Колымские рассказы» собираются по деталям. Эта проза — строгое и лаконичное наблюдение. Отстраненная запись труда выживания... Тексты Шаламова проходишь в медленном ритме жизни и понимания.

Повести Наума Нима требуют другого режима чтения. Скорость здесь — максимальная. Его проза похожа скорее на запись состояний. Состояний унижения, смертных состояний... Это невозможный опыт. Но прошедший через него, его переживший, возможно, обретет другое зрение...

Елена ОЗНОБКИНА.

\*

## НОЧНАЯ ПРАВДА

Василь Быков. Два рассказа. — «Дружба народов», 1997, № 11.

**В** одном из интервью на вопрос о том, для кого он пишет, Василь Быков ответил: для тех, кто видит, думает, понимает. Таких всегда не много. Поэтому только появление его повестей именно в свое время и на своем месте — в «Новом мире» Твардовского, в зоне повышенного внимания власти и интеллигенции, — и сделало возможным тот спасительный резонанс, итогом которого явилось писательское имя В. Быкова.

В сегодняшней ситуации, лишенной и читательских, и властных ветров, что-то прибавить к имени почти невозможно. Быков, как и многие из его литературного поколения, оказался в положении, на мой взгляд, наиболее плодотворном для писателя — наедине с собой. В какой-то мере новые его рассказы и являются первым следствием этого уединения, открывая нам несколько иного Быкова.

Формальная принадлежность к разработчикам военной темы, на первых порах помогавшая выйти к читателю, вместе с тем несколько затеняла сущность писателя. В его произведениях мы находим не столько конкретную войну, ее чувственный опыт — об этом впечатляюще у В. Некрасова и В. Астафьева, Ю. Бондарева и К. Воробьева, — сколько человека на войне, его духовный опыт. Человека в той пограничной ситуации, когда он являет — и себе и миру — свою подлинную, ускользавшую ранее суть. Война для Быкова не столько противостояние двух народов-врагов, сколько до поры скрытое противостояние крайних человеческих типов: людей брюха и людей духа. Таких, как Рыбак и Сотников.

Главная коллизия писателя не между явными врагами, но между соратниками, товарищами по оружию. То есть для человека всегда большая проблема тот человек, который рядом. В сущности, обнаруживающаяся здесь полярность человеческих типов, малая война между индивидами и рождает в итоге войну большую — между нациями и государствами.

До Быкова в советской литературе никто на этой теме не сосредоточивался и на таких выводах — хотя бы и не явно, системой художественных образов — не настаивал. Ловлю себя на мысли, что слово «вывод» по отношению к Быкову несколько коробит слух. Уместно говорить о некотором снятии пелены, скрывающей суть вещей, о точной постановке вопроса, который не подразумевает однозначного ответа. Писатель заставлял задуматься. Он был один из немногих, кто методично взрылял хорошо утрамбованную полосу привычных представлений среднего советского человека. Можно сказать, что это была пограничная полоса, отделявшая идеологизированную систему ценностей от общечеловеческой.

Являясь писателем, извлекающим прежде всего смысл происходящего — всегда в соотношении с вечностью, — он невольно вытеснял саму фактуру военного материала на периферию повествования. Сухая, по-военному подтянутая, не балующая ни метафорами, ни лирическими отступлениями, проза Быкова стремительно вовлекала читателя в диалектику отношений, в противостояние мыслей и чувств, то есть в ту постоянную войну, которую человек ведет с миром и с самим собой.

И в этой войне вопрос о том, кто «хороший», а кто «плохой», остается для автора открытым. В отличие от Ларисы Шепитько, создателя киноверсии повести «Сотников», Быков как писатель не отваживается вершить моральный суд. Его герои — это прежде всего люди разные. Повесть с таким же успехом могла быть названа и «Рыбак».

Люди — разные. Очевидная, на первый взгляд, банальность этого утверждения скрывает, как и большинство банальностей, заботливо тычущих нас носом в очевидное, трагическую глубину. Именно наша разность стоит на пути к высокому человеческому единству, только и способному сохранить жизнь на Земле. Наши порывы к единству, к созданию менее катастрофического типа цивилизации постоянно разбиваются о нашу раздельность — личную, национальную, государственную, то и дело деградируя до суррогатного «армейского» единообразия.

Именно человеческая разность, особость, раздельность и становится объектом внимания в рассказе «Желтый песочек». Написан он на материале уже иной войны — необъявленной, которую вело государство против собственного народа. Сюжет рассказа прост и достаточно условен. 30-е годы. В одной машине везут на расстрел вора, чекиста, поэта, крестьянина, интеллигента из бывших, партийца. Фамилии кажутся ненужными. Лаконичными штрихами писатель намечает контуры характеров и судеб уже навсегда соединенных людей. Но каждый из них все еще поодиночке, сам по себе. Им нет дела друг до друга, каждый занят той несправедливостью, которая произошла с ним и так очевидна его внутреннему взору. Их обыденное сознание застигнуто врасплох непредсказуемым ходом событий, оно беспомощно катится по рельсам стереотипов.

Крестьянин-единоличник Автух никак не может понять, за что и почему он вырван из привычного круга забот, объявлен польским шпионом — и вот, как говорят, должен умереть. А вроде же все делал, как советовали опытные люди, — все подписывал. Но и «советчик», бывший чекист Сурвила, тоже здесь, и он тоже не верит, что обречен, и главное, в компании с теми, кого в свое время он отправлял

под пулю, даже не дожидаясь приговора, прямо в кабинете. Феликс Гром перебирает эпизоды своей литературной карьеры: когда он наконец понял, что надо писать, чтобы печатали и хвалили, о станках и трудовых подвигах; когда пожинал первые плоды казенной известности, — именно тогда вместо сияющих вершин славы оказался он здесь, с людьми, которые и стихов-то не читают.

Если Автух замкнут в кругу привычных крестьянских представлений, то чекист Сурвила — в сознании кастовой принадлежности; поэт — в сознании собственной исключительности; партиец Шестак — в своей верности партии и Сталину (он и умрет с его именем на устах). Интеллигент из дворян отделен от окружающих своей обреченностью, которую он ощутил еще после первой встречи с ЧК, и сейчас он даже чувствует облегчение: не надо прятаться, ловчить, таиться, можно быть самим собой, хотя бы перед концом. Только вор Зайковский, не смиряясь, напряженно ищет выход, но у него — сломана ключица, и, пожалуй, даже ему, побывавшему во многих переплетах, уже не вывернуться.

Герои представлены. Начинается действие. Машина застревает на лесной дороге. Начальник конвоя Костиков, нарушая устав, привлекает на помощь конвоируемых, начиная с самого безобидного — Автуха. В итоге вся команда, за исключением вора, активно толкает машину из грязи. Кончается бензин. За ним отправляют водителя. Обреченные возятся с машиной, которая должна доставить их к месту расстрела. Никто даже не думает о побеге. Они довольствуются тем общим делом, которое их заставили делать. Застрявшая машина начинает вырастать в символ государства, которому как зачарованные служат все. И правые и виноватые, и палачи и жертвы. Категорически отказывается только вор. Вероятно, Быков хотел подчеркнуть, что истина в большей степени принадлежит человеку асоциальному, не погруженному в общее безумие. То есть в какой-то мере человеку свободному. Остальные же реализуют свою разность лишь в служении единообразию, так и не сумев обрести единства, которое дало хотя бы свободу в смерти. Но нет у них потребности в свободе, они заключены в самих себе. В конце концов, они и умирают так же, как жили, — особняком. Бывший чекист требует себе отдельную яму — с этими он лежать не будет — и старательно копает ее. Этим людей соединил только желтый песочек. Так же примет он — не сегодня-завтра — и тело палача. Тем более, что и повод налицо: нарушение устава при конвоировании политических преступников. «В этой жизни все очень просто», — пытается заговорить помкоманданта судьбу, прикрыть то ужасное и неотвратимое, что ощутил он во время расстрела еще недавно дружно работавших вместе с ним людей, словно то краткое единство на разбитой дороге обещает и неотвратимую общность судьбы.

В водовороте истории и политики нет ни правых, ни виноватых — неосторожно пробужденный вулкан погребает под своими извержениями и тех, и этих. Человек — величина бесконечно малая и страдающая. Он лишен ясного сознания происходящего. В часы опасности склонен прятаться в самого себя, как моллюск в раковину. Крутые повороты истории не дают выбора — только палач или жертва. Это именно тот «ночной» опыт жизни, который всегда дополняет бездумную бодрость «дневного» существования, хотя до поры до времени активно выталкивается за границы сознания.

Время действия рассказа «Народные мстители», судя по «кукурузе», — 60-е годы. В деревне неожиданно появляется бывший чекист Усов, в свое время пересаженный чуть ли не половину ее жителей. Мужики решают судить палача своим судом. Краткая экспозиция, краткое знакомство с героями — и так же динамично развивающееся, захватывающее, как водоворот, действие. Проза Быкова в последние годы становится все более драматургичной. Я бы сказал, что возникает особый, быковский жанр — повесть-пьеса, пьеса-рассказ.

Концовка «Народных мстителей», более неожиданная, чем в предыдущем рассказе, примиряет своей достоверностью с некоторой заданностью и искусственностью завязки. Даже на хорошем подпитии мужики не отваживались свести счеты с бывшим чекистом. Если бы это касалось полиция, еще куда бы ни шло — это как народная добавка к санкционированному властью. Во всяком случае, на мой взгляд, проблема не столько вырастает из текста, как это происходило в лучших

вещах Быкова, сколько привносится в него. Это касается и рассказа «Желтый песочек», что выдает, пожалуй, наличие значительного заряда волонтаризма по отношению к упрямой действительности и стремления упростить последнюю, редуцировать, чтобы уместить в прокрустово ложе сегодняшнего понимания. А отсюда только шаг к вольному сочинительству на полях истории, когда ее кровь и боль станвятся всего лишь подручным материалом...

Иван-снайпер — в детстве ему так и не удалось поносить буденовку со звездой: забрали при обыске — организует акцию мщения. Но к финишу Иван — мертвецки пьян. Основательный мужик Савченко, отсидевший свой срок по доносу односельчанина, возвращается к утру в круг привычных забот: косить надо. Пьянчужка Дубчик, также из пострадавшей и сгинувшей семьи, — испарился. Только учитель Леплевский дождался чекиста Усова, который — грудь в орденах — выдал ему краткую сентенцию о том, что партия не ошибается. Интеллигент, как и положено, лишь фиксирует тупиковость порыва, которому они отдали целую ночь — правда, в основном за выпивкой и разговорами. То, что казалось таким ясным в состоянии алкогольной эйфории, утратило стройность и очевидность при свете дня. Кто прав, кто виноват? Читатель думает вместе с героем.

Очевидная ирония в названии рассказа «Народные мстители» несет добавочную информацию о самом авторе, возможно одном из наиболее закрытых современных писателей. Ирония выдает не только обиду за героев, но и разочарование в них, так же как и в народе вообще, — разочарование, которое чувствуется и в рассказе «Желтый песочек». Но, к счастью для него, народ всегда оказывается не таким, каким его желают видеть. Даже большие писатели. Потому и жив. Во всяком случае — пока. В то время как ночная правда сегодняшней жизни медленно оседает в подсознании истории.

У каждого дня — своя ночь.

Валерий ЛИПНЕВИЧ.



## СОЦИАЛЬНОЕ ВЕХОВСТВО ПЕТРА СТРУВЕ

П. Б. Струве. *Patriotica*. Политика, культура, религия, социализм. М., «Республика», 1997, 527 стр.

«*Patriotica*» — само заглавие вышедшего в Петербурге собрания избранных статей Петра Струве за 1905 — 1910 годы, ныне вот весьма кстати переизданных, эмблематично, симптоматично. Этот период жизнедеятельности Струве в «Марте Семнадцатого» у Солженицына характеризуется так: «...беспощадный грозный эмигрант герценовского размаха... Однако уже с первых дней свободы Пятого года — затаенный первый „веховец“ ещё не задуманных „Вех“, и уже с этих пор его жизнь была — вереница вызовов общественному мнению».

Скорее интуитивно почувствовав, чем до конца осознав тогда, какой пороховой погреб выкопала под Россией освободительная идеология, Струве начинает искать новую — основанную на культурно-исторической преемственности и здравом смысле. Этот горячий поиск и запечатлен в статьях «*Patriotica*», в них — срез времени, свежий и посегодня, когда все еще хватает коммунистов и демократов, всерьез полагающих прежнюю Россию «тюрьмой народов», а патриотизм — «последним прибежищем негодяев».

«...мы, — говорит Шингареву Струве у Солженицына, — гипнотизировали себя всё одной блистающей точкой. Мы с такой страстью... столько лет против правительства, будто главные интересы России в этой борьбе... мы только вели войну против власти, одну войну! ...Это порок нашего сознания: в собственной стране жить постоянно на мятежном положении... От правительства мы всегда требовали только безусловной капитуляции, ничего другого! ...Наш лозунг всегда был один: уходите прочь!»

Но это Струве 1917-го, уже понявший всю пагубу революционного доктринерства. А за десять лет до того — он в становлении этого понимания, и читатель «Patriotica» при том присутствует.

Новый язык, формулирующий новые представления, новое осмысление, формулирующее новый язык, даются не сразу — проторенной дорожкой бодрей шагается. «„Черносотенцы” попирают чужое право и топчут в грязь и заливают кровью всякие права» (в ноябре 1905-го!) — выговаривается просто. А вот это уже намного труднее: «Всего менее понятно, что хозяйственную дезорганизацию страны готовы как будто возвести в принцип социалисты. ...И наш долг сказать: в хаосе хозяйственной дезорганизации... сама идея социализма может быть на долгое время погублена». Язык заплетается, стоит лишь встать против общественного течения.

Но при этом все отчетливее оформляется мировоззрение Струве, которое много позднее его верный друг и ценитель С. Л. Франк определит как либеральный консерватизм: «Основная идея этого мировоззрения состоит в том, что гарантия свободы есть право, закон и что закон сам имеет свою основу в преданности исторической традиции, тогда как всякий разрыв традиции, всякая насильственная революция ведет к деспотизму»<sup>1</sup>. Сам же Струве в 1907 году «истинным либерализмом» называет тот, «который, опираясь на идеи дисциплины, долга и ответственности, видит венец общественности в свободном осуществлении человеческой солидарности», то есть пока еще либерализм Струве обходится без традиционно патриотической жилки. Почвенность подмешивается к нему позднее — по мере усиления любви к колориту отечественной традиции и осознания ее конструктивной для отечества ценности.

Но при всем том у Струве почти не было славянофильского, так сказать, мистицизма, в значительной степени немецкой выучки. Как зорко заметил тот же Франк, «Струве в истории русской политической мысли представляет редкий, совершенно оригинальный образец либерала-консерватора английского типа». В России же, как известно, идеологически учились, как правило, у немцев или французов.

Когда Струве в 1908 году стал рассуждать о природе государства и в связи с нею о государственных задачах России, за что сразу был обвинен Мережковским в «зоологическом патриотизме», он отвечал тому: «Я западник и потому — националист. Я западник и потому — государственный». И мистическую болтологию Мережковского о том, что не за горами время, «когда Россия вовлечет старый западный мир в свою „абсолютную” и „универсальную” революцию», диагностировал как «старую революционную перелицовку славянофильства и его мессианизма».

Читаешь в книге полемику Струве, отнюдь не только с Мережковским, но и многими другими подзабытыми ныне деятелями и газетчиками, — и лишней раз поражаешься: да сколько же «кратов истории», «полезных идиотов» и болтунов десятилетиями азартно трудились над разложением идейного сознания в нашем бедном отечестве. Это было легко, доходно и выгодно для репутации. Прежде чем погнубить физически, Россия уничтожалась ими морально. В течение столетия выстроилась и заполняла общественные поры враждебная державе идеология, позволявшая симпатизировать бомбисту и презирать добропорядочного государственного работника<sup>2</sup>. Так российское общество подписывало себе приговор, приведенный в исполнение последовательными отпрысками этого общества. (То же сознание, повторю, сохранилось в неприкосновенности у большинства советских историков и писателей, даже самых что ни есть просвещенных: просматриваемые в их трудах намеки на параллель между Третьим отделением и КГБ делали из них чуть ли не диссидентов и позволяли десятилетиями пребывать, так сказать, в оппозиционном комфорте.)

<sup>1</sup> В 1927 году Струве напоминает, что впервые формулу «„либеральный консерватизм” для России вычеканил» князь Вяземский — «и притом в применении не к кому иному, как к самому Пушкину» (см. мою рецензию на книгу эссе С. Л. Франка «„Русское мировоззрение” и свобода» — «Новый мир», 1997, № 10).

<sup>2</sup> «От самых неподходящих как будто людей, — замечает Лидия Гинзбург, — протягивались связующие нити, и не к каким-то там реформаторам, а прямо к бомбометателям».

Озираясь, оскальзываясь, Струве и «веховцы» осторожно ступили на путь переориентации общественного сознания, но благотворный процесс оборвала революционная катастрофа.

...Наше освободительное движение возникло и развивалось как часть мировой борьбы с абсолютизмом, отжившим политическим строем, больше не отвечающим религиозно-социальным представлениям человечества. Но объективно получается так, что целились в абсолютизм — попали в Россию. Мы «освобожились» в пользу конституции, республики, социализма, наконец, и мировой коммунистической революции, — наши радикалы оказались самыми радикальными в мире. Россия жила сразу с двумя сознаниями — средневековым и новейшим, и они, естественно, работали на разрыв.

Когда же было, однако, еще не поздно для разумного компромисса? Струве настолько верил в панацею конституции при монархии, что в 1918 году писал: «...Ульянов мог окончательно разрушить великую державу Российскую... потому что в 1730 году... Анна Иоанновна победила князя Дмитрия Михайловича Голицына». Объявлено торжественно, как наконец-то точный диагноз. Но в наши дни не менее Струве проникнутый отечественной историей и ее токами Солженицын возражает: «Никак не согласиться с распространённым мнением, что „кондиции“, предъявленные аристократами из Верховного Тайного совета Анне Иоанновне, были бы шагом к либерализации России: слишком мелка была эта княжеская впадка, и ввек не дойти бы и ей до народной толщи».

...После 1905 года Струве ведет публицистическую войну на два фронта: и с «революцией», и с «реакцией», не забывая — быть может, не всегда до конца искренне — колотить и премьер-министра Столыпина. Тот — по Струве — «по-молчалински отдал себя на послуги» («Наполеон на послугах у жалкого и мелкого легитимизма, который ведет страну через реакцию к крушению»), во всяком случае, «он свой недюжинный сильный характер разменял именно на это». То ли дело сам Струве — пошел тогда в кадеты. И спешил отмежеваться от скандального пассажи Гершензона из «Вех»: «Ужасная фраза Гершензона... она морально и политически неверна, потому что она исторически совершенно несообразна».

Напомним ее: «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, бояться его мы должны пуше всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной». Сказано, как бы теперь выразились, круто. Но прошло только десять лет — и «несообразная фраза» стала совершенно исторически сообразна: оказывается, именно «жалкий и мелкий легитимизм» один и ограждал русских политиков от «ярости народной», свои штыки направила она в их сторону (как раз штыками и закололи в больнице соратника Струве Андрея Ивановича Шингарева).

Струве не устает жаловаться на чрезвычайщину, на чрезмерность полиции<sup>3</sup>. Читаешь — и бежит холодок по коже: приди тогда к власти вместо Столыпина какое-нибудь благословленное Думой «ответственное министерство» или «правительство», которое начало б «гуманностью» и ею закончило, — революционные беспредельщики смели б в одночасье этот либеральный декорум. Какой была бы тогда диктатура, остается только гадать, точнее, содрогнуться: очевидно, первое время ею бы заправлял не Ленин, а Троцкий, главный герой «первой русской революции»; очевидно, что в не расшатанной войной России кровь террора хлестала бы еще пуше, чем после 1917-го, хотя, кажется, пуше некуда.

Какое крошечное политическое одиночество — даже Струве был Столыпину не товарищ, «между такими людьми, как г. Столыпин (да где же такие люди — во

<sup>3</sup> «...грубая неправда, разгуливающая по русской земле в образе палача... человеческая жизнь ликвидируется казенно-грубо, с удивительной простотой, от которой веет ужасом». Уже несколько десятилетий терроризм гулял по России, «человеческая жизнь ликвидировалась с удивительной простотой» революционерами — и кто тогда из наших присяжных гуманистов возвысил свой голос в защиту права? Только депутат Второй думы Сергей Булгаков. Вот почему сетования по поводу государственной «чрезвычайщины» выглядят недостаточно убедительно.

множественном числе? — Ю. К.), и мною целая пропасть», — отрекся Петр Бернгардович. А ведь сам находился в подобном же вакууме. «Справа» Меньшиков частит кадетом и называет «дурачком из подполья». «Слева» — стоило только заикнуться, что не надо *русскому* без остатка растворяться в *российском*, что напрасно «русская интеллигенция обесцвечивает себя в „российскую“», что «в тяжелых испытаниях последних лет вырастает наше национальное русское чувство... Не пристало нам хитрить с ним и прятать наше лицо», как его кадетский босс Милюков строго указал ему на движение «по наклонной плоскости эстетического национализма, быстро вырождающегося в настоящий племенной шовинизм».

Нет, определенно не даются русским людям солидарность, крепость единства; только Ленин сумел накачать стальную мышцу именно на размежевании, разделении.

Струве возмущается, когда вместо честной полемики на него пишут, как он метко выразился, «донесение в радикальный участок», но вот и сам в феврале 1908 года пишет такое же: «Для русской государственности, которая созидалась тысячу лет и простоят еще не пять и не десять лет (вот и ошибся в пророчестве. — Ю. К.), для которой свет клином не сошелся на г. Столыпине... г. Столыпин потому и не создал никакого настоящего успокоения и не дал стране устойчивого равновесия, основанного на правопорядке (то ли дело — сподвижники Струве через девять лет! — Ю. К.), что его управление страной есть сплошной компромисс с г. Дубровиным». Когда возникла эта традиция навешивать ярлыки шовиниста и черносотенца слева направо — до «бесконечности»? Как видим, в девятисотые годы она была уж в ходу всюду. (А после революции стала общим местом советского агитпропа и карательных органов.)

...Послефевральское фиаско освободительной идеологии, позорное политическое банкротство ее носителей, большевизм, активное сотрудничество с Белым движением, наконец, чужбина, естественно, углубили и уточнили мировоззрение Струве. Но, как говаривали в старину романисты, это уже другая история.

...«Статьи и очерки» — второй раздел рецензируемого нами издания (кстати, почему-то не обозначенный в Примечаниях, так что сразу не разберешь, где там кончаются пояснения к «Patriotica» и начинаются к следующей части книги — укор редактору). Увы, выбор материалов этого раздела, кажется, носит случайный и произвольный характер, никак твердо не мотивирован и мало что добавляет к уже известному. Да и вышеупомянутые Примечания составлены по принципу «что знаю — расскажу, а про остальное не спрашивайте». Есть, например, такое: «С. С. Уваров видел основы русской жизни и культуры в православии, самодержавии, народности». Спасибо за информацию. Зато тщетно искать комментариев к некрологу О. Я. Пергаменту (1909), так что смысл текста Струве остается неясен. И так повсеместно: объяснено и без того лежащее на поверхности, не глубже.

Одним словом, наследие Струве еще предстоит осваивать, сделан лишь первый робкий шаг, дело за следующим.

П. Б. Струве необходим нам как учитель и проводник в главном — принципиальном бескорыстии творческой и политической жизнедеятельности, независимом движении против, повторяю, течения общественной конъюнктуры и ее предрасудков (чьи рецидивы в «Patriotica», как я попытался показать, поучительны).

Публицистическая статья — вещь неблагодарная, однодневка. Тут выживает немного, но публицистика Струве выжила. И это потому, что, при всем его публицистическом темпераменте, политическая сиюминутность здесь, как и у Достоевского, имела точкой отсчета Высшую Истину. Ибо, писал Франк, «то, чему было подлинно посвящено его служение, было не каким-либо отвлеченным началом, а живой реальностью: это была *родина* и ее благо».

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

**ПУШКИН В ПРИЖИЗНЕННОЙ КРИТИКЕ. 1820 — 1827. СПб., 1996, 527 стр.**

Эта книга начинает новую серию «Пушкинская премьера», издаваемую Государственным Пушкинским театральным центром в Санкт-Петербурге. Издатели обещают, что каждая книга серии «будет открывать новые и неожиданные научные исторические и художественные аспекты пушкинского творчества», и первая книга этим обещаниям соответствует: она являет собою полный свод критической литературы о Пушкине за 1820 — 1827 годы и ликвидирует существенный пробел в пушкиноведении. До сих пор прижизненная критика о Пушкине была наиболее объемно представлена в первых трех частях собрания В. А. Зелинского «Русская критическая литература о произведениях А. С. Пушкина», подготовленного более ста лет назад, весьма неполного и во всех отношениях далекого от совершенства.

Составители нынешнего собрания скромно пишут, что оно «приближается к изданию В. А. Зелинского». На самом деле не «приближается», а, к нашей радости, решительно удаляется от него — по полноте, по проработанности источниковой базы, по уровню комментария (у Зелинского, впрочем, вовсе отсутствующего). Составители книги — В. Э. Вацуро, Е. А. Вильк, Е. А. Губко, С. В. Денисенко, О. Н. Золотова, Г. М. Иванова, Т. Е. Киселева, Е. О. Ларионова, Е. В. Лудилова, Т. М. Михайлова, Г. Е. Потапова, А. И. Рогова, С. Б. Федотова, А. В. Шаронова — приняли труд поистине титанический: они просмотрели все русские периодические издания, в которых печатались или могли печататься отклики на сочинения Пушкина, в результате чего выявили и включили в научный оборот ряд неучтенных текстов. Обширный научный комментарий к статьям высоко информативен, хотя и содержит кое-где оценочные пересказы, а также отдельные стилистические красоты типа «временпровождение» или «случайная простуда», что извинительно — при таком большом коллективе трудно добиться в комментарии единого уровня и стиля. Кроме всего прочего, книга может служить и справочником по рус-

ской периодике пушкинского времени: в приложении даются полезные сведения о газетах, журналах и альманахах, из которых извлечены публикуемые тексты.

В целом издание представляет собой нехарактерный для нашего времени пример высокой эдиционной культуры. Хочется надеяться, что оно будет продолжено — и тогда перед нами откроется полная картина восприятия Пушкина современниками — не всеми, конечно, современниками, а теми, которые выражали свое отношение к его творчеству в печатном слове. Что же говорит нам эта картина, на какие наводит размышления?

Главное, и сильное, впечатление от сквозного чтения собранных здесь статей и заметок состоит в том, что написаны они как будто совсем про другого поэта — более чем талантливом, почти сразу признанном первым поэтом России, — и все же не про того Пушкина, которого читали и читают в XX веке. Между теми оценками и нашим представлением о Пушкине пролегает бездна, он почти неузнаваем в этом зеркале. Современная Пушкину критика, планомерно — до определенного момента — возводившая его на вершину всероссийской славы, видела в нем прежде всего перелазгателя Байрона и новейших романтических течений, затем мастера блестящего поэтического слога, искусных описаний, живого и занимательного рассказа. Вообще «живость и занимательность» — это похвалы, которых Пушкин удостоивался наиболее часто. Показательно, что почти вся критика о Пушкине 1820 — 1827 годов посвящена разбору его поэм. Собрание стихотворений 1826 года осталось без рецензий, если не считать таковыми краткую аннотацию П. И. Шаликова и несколько восторженных слов в обозрении В. В. Измайлова. Собрание лирических стихотворений — предмет сложный для анализа, тут требуется от критика способность осмыслить в целом поэтический мир автора и определить его место в исторической перспективе литературного развития. Видимо, эта задача была непосильной для тогдашней критики. Первые главы «Онегина» также привели ее в некоторое недоумение, а зрелый Пушкин оказался и вовсе ей недоступен. Эта книга дает



нам возможность лишний раз убедиться в том, что гений существует только в большом времени; и хотя нам сегодня может казаться, что мы понимаем Пушкина, наверное, и у нас он далеко впереди.

Говоря о прижизненной критике, нельзя упускать из виду, что далеко не самые выдающиеся литераторы того времени выступали в печати по поводу пушкинских произведений. П. А. Вяземский — да, выступал, но В. А. Жуковский или Е. А. Баратынский не могли попасть в число авторов настоящего сборника, так что восприятие современников отражено в нем, конечно, не полностью. Была и другая, «внутренняя» критика, отчасти зафиксированная в переписке, дневниках, мемуарах, — она осложняет и обогащает картину. Но по поводу журнально-газетной критики придется согласиться с Пушкиным, не раз говорившим о ее низком уровне и качестве: «...меня лет 10 сряду хвалили Бог весть за что, а разругали за „Годунова“ и „Полтачу“». У нас критика, конечно, ниже даже и публики, не только самой литературы. Сердиться на нее можно, но доверять ей в чем бы то ни было — непростительная слабость» (М. П. Погодину, 11 июля 1832 года) или: «...охота являться перед публикою, которая Вас не понимает, чтоб четыре дурака ругали Вас потом шесть месяцев в своих журналах только что не по-матерну» (ему же, около 7 апреля 1834 года).

И все же эти критические тексты, собранные вместе, читаются с интересом, в особенности те полемические сюжеты, которые выстроены составителями вокруг «Руслана и Людмилы» и «Бахчисарайского фонтана». Ругали и хвалили тогда простодушно, горячо, с такой страстной любовью к литературе, которая сегодня, пожалуй, утрачена. Критика не бежала впереди паровоза, не была умнее литературы, вообще не была идеологической, оставаясь в своих скромных границах. В основном это была чисто художественная критика, подходившая к произведению с ожиданием прежде всего эстетических наслаждений. Пушкин в какой-то момент превысил порог такого восприятия. После Пушкина критика стала другой, потому что литература стала другой и формировала новые критические ожи-

дания. Сборник «Пушкин в прижизненной критике» демонстрирует косвенно, но красноречиво, что сделал Пушкин с русской литературой, мощью своего гения превратив изящную словесность в ту самую русскую классическую литературу, которая стала средоточием духовной и культурной жизни нации.

Ирина СУРАТ.

\*

**КРЫМСКИЙ АЛЬБОМ. Историко-краеведческий и литературно-художественный альманах. Феодосия — Москва, Издательский дом «Коктебель». Выпуск 1 — 1996, 2 — 1997.**

Выход в свет двух книжек «Крымского альбома» — явление в культурной жизни Крыма неординарное. Но чтобы согласиться с этим, необходимо хотя бы в общих чертах представить современный культурологический контекст полуострова.

Газетно-журнальный ажиотаж, развернувшийся сегодня в Крыму (194 газеты, 27 журналов, 4 альманаха), на первый взгляд, впечатляет, но и... настораживает. Так, вслед «Крымскому альбому» с подачи издательства «Таврия» появился «Симферопольский альбом». Глядишь, не сегодня-завтра возникнут ялтинский, бахчисарайский, керченский... Полное отсутствие общей издательской скоординированности — потому приходится растерянному читателю плутать в дебрях с похожими друг на друга вывесками: «Крымские пенаты», «Крымский музей», «Крымский архив», «Крымский контекст» и т. д. От одного только перечня с неизменной привязкой «крымский» путаница в голове. О газетах и говорить не стоит: там бессмысленная раздробленность еще пуще. И все это — на фоне социального, политического, экономического хаоса.

Справедливости ради стоит отметить, что все перечисленные выше издания каждое по-своему содержат любопытные историко-краеведческие, музейные, архивные материалы, что авторы их в большинстве случаев вполне профессиональны. Но вот парадокс: извлеченные из небытия рукописи при непродуманной стратегии и низкой издательской

культуре почти не доходят до широкого читателя, вновь возвращаясь на круги своя — в небытие. Скажут: выживает сильнейший. Я бы поправил — мудрейший! Так, безусловно мудрейшим среди литературно-художественных изданий Крыма оказался журнал Содружества русских, украинских, белорусских писателей «Брега Тавриды» (главный редактор А. Домбровский), созданный в 1991 году. У редакционной коллегии хватило прежде всего ума и такта, а не только денег, чтобы четко выстроить концепцию журнала, привлечь к работе перспективных авторов и медленно, но уверенно проводить в жизнь свою творческую линию. Сегодня «Брега Тавриды» — самый стабильный и популярный литературно-художественный журнал в Крыму.

...С появлением «Крымского альбома» наметился лидер и среди многочисленных историко-краеведческих изданий. Твердый переплет, офсетная финская бумага, золотое тиснение, элегантное художественное оформление поначалу даже насторожили: мы в Крыму приучены к полиграфической скромности. Но, слава Богу, «форма и содержание» в данном случае оказались в нерасторжимом единстве.

Благословляя альманах, Д. С. Лихачев определил его направление, обусловленное тем, что «Крым — это поразительный феномен русской культуры, основанный на культуре греческой, византийской, итальянской, татарской, болгарской... Тут русская культура оказалась в целом собирателем культур разных народов».

...На излете жизни поэт Борис Чичибабин (первый выпуск альманаха посвящен его памяти) вслед за академиком Лихачевым успел произнести напутственные слова: «Среди десятков и сотен каждый месяц появляющихся и пропадающих изданий оно («Крымский альбом». — В. К.) представляется мне особенным и единственным, потому что и тот уголок нашей, несмотря ни на что, общей родины, тот край, та земля — Восточный Крым, волошинская Киммерия, на которой оно возникло и которой посвящено, земля совершенно и воистину особенная и единственная»...

Сегодня отводить роль собирателя культур разных народов в Кры-

му русской культуре ох как нелегко! Костью в горле стала она для некоторых здешних политиканов.

Знал об этих подводных рифах и Дмитрий Лосев, издатель и редактор «Крымского альбома». Можно только позавидовать его целеустремленности, сочетающейся с деловитостью, умению сплотить вокруг альманаха замечательных специалистов — краеведов, ученых, литераторов, художников, не только крымских, но и российских. Участником совместной программы выступил московский журнал «Наше наследие», что значительно расширило поле действия, привлекло внимание общества. В редакционный совет вошли Аксенов, Лихачев, Енишерлов, Искандер, Купченко.

...В первом выпуске «Альбома» интересны изыскания доктора исторических наук Э. И. Соломоник о поэзии античного Крыма. О древней Тавриде писали во времена Гомера, о крымской земле упоминается в «Слове о полку Игореве». Но чьи стихи начертаны на здешних античных развалинах?

«Самая ранняя стихотворная надпись Херсонеса, — пишет Э. Соломоник, — была найдена в 1969 году в кладке оборонительной стены. Она относится к рубежу IV — III веков до нашей эры и впервые упоминает о деятельности врача в Крыму, прибывшего в Херсонес вместе с сыном с далекого острова Тенедос:

Сыну воздвиг своему,  
успошему Лесханориду,  
Эту гробницу отец,  
врач с Тенедоса Эвклес».

В Херсонесе и на Боспоре, считает исследователь, жили и творили поэты разных жанров. Одни писали для театра, другие создавали гимны, восхвалявшие богов и победителей на различных состязаниях, третьи — стихотворные эпитафии. Имена поэтов (за редкими исключениями) неизвестны.

Романовы и Крым — одна из «глав» альманаха. К 150-летию со дня рождения императора Александра III помещен материал искусствоведа А. Пальчиковой о царском дворце в Массандре. Архитектура второй половины прошлого века — до модерна — считается архитектурой безвременья. Нам еще предстоит раскрыть и оценить ее эстетические особенности.

Крым был для России и крестильной купелью, и Голгофой. О страшных годах гражданской войны в Крыму, о последней пристани белых воинов на родной земле — Графской в Севастополе, об уходе Врангелевского войска повествуют публикации В. Петрова («Последний оплот России»), Н. Николаенко («Рассеяны, но не расторгнуты»), М. Лезинского («Прощальные гудки над Графской пристанью»).

Венцом литературно-художественной части первого выпуска альманаха можно считать обнародуемый в полном объеме незавершенный роман Александра Грина «Недотрога». После смерти писателя были опубликованы отдельные его куски; «...собрав их впервые воедино, — пишет в своем предисловии Л. Варламова, — а также используя рукописные листы „Недотроги“, хранящиеся в фондах музея (до этого — не публиковавшиеся), мы получили возможность выстроить сюжетную линию в более-менее последовательном виде».

Несмотря на незавершенность повествования, впечатление велико, конфликт чисто гринковский: столкновение красоты и житейской пошлости.

*Волошиниана* пополнилась не публиковавшимися ранее воспоминаниями Леонида Домрачева (1912 — 1987), ценными еще и тем, что большое место в них уделено не только поэту, но и М. С. Волошиной, жене Максимилиана Александровича. (Воспоминания были написаны в 1977 году; публикуются с небольшими сокращениями.)

Есть в альманахе и современные поэты: Б. Чичибабин, В. Микушевич, М. Кабаков, Н. Турбина... Крымские мотивы их стихов достаточно легко, не нарушая гармонии, вписываются в основной корпус материалов — как всегда поэзия — придают изящество всему своду текстов альманаха.

В завершение читателю предстоит еще одно путешествие — на этот раз с французским славистом Жоржем Нива; отрывок из его книги «Крым. Путешествие в потерянную Россию» — это взгляд на Тавриду просвещенного европейца, знатока нашей культуры.

...Во втором выпуске «Альбома» хочется отметить воспоминания Ирины Медведевой-Томашевской «Синяя калитка» — об Ольге Леонардовне Книппер-Чеховой, чья дача в Гурзуфе нахо-

дилась по соседству с Томашевскими. (О самой Ирине Николаевне Медведевой-Томашевской, занимавшейся историей создания «Тихого Дона», не принадлежавшего, по ее мнению, перу Шолохова, проникновенно написал А. И. Солженицын в книге «Бодался теленок с дубом».)

180-летию со дня рождения И. К. Айвазовского посвящено несколько материалов второго выпуска, в частности интервью с М. С. Ровицкой «Моя тетька — Анна Айвазовская»: о гостеприимном доме Айвазовских, быте, судьбе жены художника, Анны Никитичны, в послереволюционные годы и во времена немецкой оккупации.

Множество удивительных подробностей из жизни мастера исторического пейзажа Константина Богаевского и поэта-переводчика Сергея Шервинского узнает читатель из их переписки 1925 — 1939 годов.

Историк Владимир Шавшин публикует на страницах альбома очерк о Балаклавском Георгиевском монастыре, его возникновении, расцвете и упадке. (29 ноября 1929 года Георгиевский монастырь был ликвидирован и передан курортному тресту; уникальный храм св. Георгия снесен, полностью уничтожены надгробия некрополя, часовня на могиле митрополита превращена в склад. И только в наши дни сделаны первые шаги по восстановлению величайшей святыни христианского Крыма.)

Я перечислил лишь немногие публикации в двух выпусках «Крымского альбома», но, думаю, и они дают представление о диапазоне издания, в котором, повторяю, литература, культурология и высокой пробы краеведение находятся в нерасторжимом единстве.

...Культура Крыма — с нами. У такой культуры не может не быть будущего. «Крымский альбом» — тому свидетельство.

**Владимир КОРОБОВ.**

Ялта.

*P. S.* Хотя автор рецензии и называет «мудрейшим» литературно-художественный журнал «Берега Тавриды», мы не можем не выразить своего недоумения по поводу публикации в нем «желтого», провокационного материала

Н. Винокурова-Васильчикова «Салон мадам Сохновской» (вып. 1, 1997) — о якобы имевшем место сотрудничестве с чекистами близкого друга адмирала Колчака А. В. Сафоновой-Тимиревой. Подобного рода клеветнический «компромат» пятнает не светлую память о выдающемся человеке, но культурный престиж Крыма.

Отдел публицистики.

\*

**СЫН ГИПЕРБОРЕИ. Книга о поэте. Омск, 1997, 167 стр.**

Книга омских филологов, составленная по материалам третьих Мартыновских чтений (Омск, 1995), являясь сборником трудов и исследований о поэте-земляке, воспринимается именно как книга. Девять авторов, работающих в разной стилистике, в разных жанрах (критические статьи, очерки, документальная повесть), создают у читателя объемный образ личности своего героя. Образ для многих неожиданный, далекий от устоявшегося. Мартынов как «ученик» великого англичанина Джона Милтона («Еловый рай» Н. Мисюрова) и Мартынов в ипостаси начинающего сибирского журналиста, способного «ради заметки в пятнадцать строк идти десяток километров» («Леонид Мартынов — журналист» Е. Петровой). А вот поэт — «молодой повеса», «жизнеоткрыватель» футуристической Москвы взбалмошных 30-х годов («Из ватаги омских озорников» И. Девятяровой). Тут же и литературоведческие статьи («Поля памяти» О. Кутминой, «Баллада о золотом легионе» В. Хомякова, «Река Тишина» С. Остудиной, «Гимн единству» И. Богданова).

Но сердцевиной книги является документальное повествование (повесть?) С. Поварцова «Вакасия поэта». Написанное по материалам архивов ФСБ (следственное дело писательской группы «Памир», обвинительное заключение № 122613), это произведение рассказывает о событиях весны 1932 года: аресте Мартынова, драматических перипетиях следствия по делу сибирских писателей-ориенталистов, высылке поэта в Вологду, о послесельной омской его жизни. Во весь рост — сам Ле-

онид Николаевич, его противостояние следователю Николаю Христофоровичу Шиварову («Христофорычу»), в дальнейшем — многочисленным бдительным омским «христофорычам» от литературы и партии. (Кстати сказать, Мартынов был первым поэтическим «подопечным» этого чекистского «рыцаря без страха и упрека», но не единственным: спустя пять лет «клиентами» Шиварова станут и Н. Клюев, и С. Клычков.) Основные места действия — внутренняя тюрьма Лубянки и Омск 1935 — 1937 годов. За скупыми строчками подлинных материалов допросов, документов, протоколов исподволь угадывается тревожная атмосфера страха и ожидания Большого Трора, царившая повсеместно. С. Поварцов пишет: «Сибирским литераторам крупно повезло. Будь они арестованы в 1930 году, их ждал бы неминуемый расстрел. На допросах они сознались во множестве смертных грехов. Действительно, их перечень пугающ: апология Колчака, антисемитизм „как составная часть фашизма“, проявление сибирского сепаратизма (хотя бы и в патриотической форме), своеобразный, хотя и не очень внятный ориентализм — этого вполне хватило бы для высшей меры наказания в тех конкретных исторических обстоятельствах... Не удивительно, что секретно-политический отдел ОГПУ квалифицировал сибирское литературное землячество как нелегальную контрреволюционную и антисоветскую организацию (статья 58-10 УК РСФСР. Антисоветская агитация)».

Что спасло в те нелегкие дни будущего лауреата Государственной премии РСФСР? Внутреннее достоинство интеллигента? Его величество Случай? Как бы то ни было, очевидно, что право на свою поэтическую Судьбу поэт Мартынов обрел не в кабинетной тиши и не в президиумах...

«Бывают / Такие периоды, / Когда к словопреньям не тянет / И кажется: в рот набери воды, / А глубже молчанье не станет...» — написал он вскоре после окончания Великой Отечественной... Обстоятельствам и причинам этого вынужденного девятилетнего молчания «сына Гипербореи» посвящен очерк И. Загатовой с символичным названием «Облава 1946». На дворе 1946-й. Только-только увидело свет злополучное поста-

новление о журналах «Звезда» и «Ленинград». В далеком Омске в срочном порядке ищут «своих» «Ахматовых» и «Зощенко». Как и следовало ожидать, выбор падает на наиболее талантливых, непохожих на других. В первую очередь — на Мартынова. В ход пущено все: огульная критика, подметные письма, разносы-разгромы на собраниях и секретариатах. Спешно формируется так называемое «общественное мнение». Перед поэтом как по команде закрываются двери редакций и издательств. Немногие устояли, отказавшись участвовать в травле поэта... Но те, кто нашел в себе мужество сделать это, были с опальным Мартыновым до конца! Поражает духовная сила и самого поэта, так и не «раскаявшегося» в своих «многочисленных ошибках и заблуждениях», и стоицизм его, пускай и немногочисленных, сторонников. «Облава 1946» интонационно и нравственно как бы продолжает начатый в «Вакансии поэта» С. Поварцовым разговор об ответственности человека перед собой и своим призванием

Андрей УГЛИЦКИХ.

\*

**АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ.** Русский дом. Книга-альбом. Бостон, 1997, 160 стр.

Довольно часто при упоминании о русской избе у многих возникает образ темной, грязной и тесной конуры, где живет впроголодь изнуренный заботами мужичок. Великий Суриков, например, умудрился ссыльного Меншикова втиснуть в такую клетку, что если бы тот встал в полный рост, то, подобно царевичу Гвидону, вышиб бы головой потолок. Суриковскую метафору можно понять и объяснить: человек как бы попал «из князи да в грязи». Но многочисленные порядные (от древнерусского «ряд» — договор), которые оставили неизвестными нам плотники XVI — XVIII веков, говорят о богатейшем разнообразии архитектурных приемов, повторяемости и неповторимости облика исчезнувших строений.

У русской избы почти полторы тысячи лет истории. Этот тип жилья, начав-

шийся с обыкновенной курной клетки, прошел много стадий развития, улучшался десятками крестьянских поколений и к началу нашего века достиг совершенства. «Славутный» плотник обладал неистощимым запасом строительного мастерства и разнообразил его бесконечно — с учетом, разумеется, того, что требовал заказчик: терем или «двужирную» (двухэтажную) избу, храм «о пяти главах» или скромную часовенку в лесу.

Несмотря на малые размеры (примерно 20 квадратных метров), жилая изба кажется широкой и светлой. Об умении расставлять мебель и домашние вещи так, чтобы при этом не скрадывать пространство, а, наоборот, высвободить его, писал когда-то великий американский зодчий Фрэнк Райт, покоренный русской избой. Но наш мужик уразумел это за несколько веков до Райта. Ведь суровый климат вынуждал его строить избу так, чтобы в зимнее время можно было работать не выходя на улицу — много двигаться, входить и выходить в другие помещения и все вещи и инструменты всегда иметь под рукой. Все было под боком, под одной крышей: и маленькая столярная мастерская, и многочисленные хлевы, подклетки, сараи, и огромная, как клубный зал, поветь с запасом сена на всю зиму.

Здесь, на повети, хозяева делали грабли, направляли косы, сбивали масло, плели корзины и рыбацкие сети, красили и сушили шерсть и дмоткань. А внизу — под двойным полом — находилась стойла для скота, и через специальные отверстия сено сбрасывали овцам, корове и лошади — кому сколько требовалось. Не дом, а маленькое предприятие по производству молока, мяса, масла и шерсти.

А жилая горница! Максимум разумного, отнюдь не развращающего комфорта, максимум уюта, тепла, света — оазис радости и веселья среди белой, на зиму замершей природы. Чтобы по-настоящему оценить такое жилье, нужно пожить в нем в сорокаградусный мороз или в сезон затяжных дождей. Дом прочно держит тепло, лишен духоты, сырости и сквозняков, пар не осаждается в нем, а впитывается смолистыми стенами и уходит наружу. Дом — еще одна оболочка человека, после одежды и кожи...

О русской избе написано немало вдохновенных строк, книг. Но «Русский дом» Александра Соболева, пожалуй, единственное на моей памяти издание, где плотник, писатель и искусствовед выступают в одном лице.

Родом с Соловецких островов, крестьянский сын, Соболев является самоучкой в полном смысле этого слова. Его предки строили когда-то Петербург, по всей России с топорами ходили, предлагая плотницкие услуги. Так что плотницкое дело у Соболева, как говорится, в генах.

В течение 80 — 90-х годов вместе с пятью друзьями он организует артель: построили они несколько больших домов на архангельском Севере, пятнадцатиметровый мост, восстановили деревянные конструкции храма XIII века (кирха «Юдиттен») в Калининграде, отреставрировали деревянную церковь на Урале — и все это своими руками, без всякой механизации. Можно долго перебирать, как разноцветный бисер, названия деревень и мест, где они поработали: Крутец, Золотица, Костаиха, Гигант, Грязь, Тимофеиха, Скородум... Соболев руководил реставрационными работами в Соловецком монастыре и доме-памятнике Сергея Есенина в Москве. Кроме того, много публиковался в московских журналах, а также прочитал ряд лекций в США об архитектуре русской деревни.

Автор книги изучал сруб как особый метод строительной культуры, как живой организм со своими формами, дыханием, своеобразием стилей и пропорций. Мимо чего, кстати говоря, с брезгливым равнодушием прошла русская светская культура XIX века, узрев в деревянном строении отсутствие фантазии, потому что оно не копировало рабски европейские образцы. Он изучал избу — колыбель предков — отнюдь не умозрительно, а непосредственно с топором в руках. Для этого ему пришлось искать старую форму топора и самому же выковывать его, пользуясь указаниями старинных порядных грамот. Но главное, Соболев решил возродить саму

методику работы народного мастера, образ его строительного мышления, пройти вместе со своим рукодельным предком по всем этапам домостроительства. Он и лес рубил для замены подгнивших венцов, и сам заготавливал бревесту, чтобы обеспечить гидроизоляцию кровли, и осваивал особую систему тески бревен, чтобы обезопасить их от преждевременного старения, и всегда думал о тех, «кто будет жить в этом доме, кому в нем будет удобно во всех отношениях. Иначе зачем?». И каждый раз писатель-плотник не уставал восхищаться, когда видел на русском Севере деревянные мавзолеи, дома-крепости с гордыми коньками на крышах, облезлые, но сохраняющие красоту и величие. И — испытывал чувство профессиональной зависти одновременно: нет, ему еще рано тягаться с предками.

...Несмотря на обилие серийных проектов домов для села, лучше избы пока ничего не придумано, утверждает автор. Правда, нельзя не согласиться с тем, что многие избяные помещения стали уже анахронизмом. Но это, как говорится, у дурных хозяев, там, где распалась семейная традиция и молодые уходят жить в города. Вместительные подполы, кладовки, чуланы, светелки нередко простаивают без всякой пользы, притягивая настороженные взоры пожарной инспекции. И все же не умерла еще русская изба, эта выверенная веками, обжитая и духовно наполненная простота. И, по всей видимости, не скоро еще умрет, хотя разговоры о том, каким быть сельскому жилью, не утихают по сей день.

Одно только удивляет в «Русском доме»: автор живет в Вене, книгу издал в Бостоне, а большую часть времени проводит в России, где ищет применения своим талантам. Для рук дела хватает, а вот что касается писательства... Что ж, это тоже один из парадоксов нынешней жизни. Как, впрочем, и то, что в дачном пригороде Вены появились настоящие русские печи в дубовых опечках, сложенные самим автором.

Олег ЛАРИН.

---

---

# ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

## ЧИТАТЕЛИ — О «НОВОМ МИРЕ»

*В декабрьском номере «Нового мира» за прошлый год было напечатано обращение главного редактора журнала Сергея Павловича Залыгина к читателям с просьбой письменно ответить на некоторые интересующие нас вопросы.*

*С какого года вы читаете наш журнал? Каким образом получаете «Новый мир»: по подписке, берете в библиотеке, покупаете в розницу, берете у знакомых? Какие новоярусские публикации 1997 года вам запомнились? Каких авторов, не печатающихся пока в нашем журнале, вы хотели бы видеть на его страницах? Считаете ли вы оптимальным нынешнее соотношение между художественной прозой, поэзией, публицистикой, архивными публикациями и литературной критикой в нашем журнале? Считаете ли вы достаточным разнообразие точек зрения, представленных у нас? Нравится ли вам традиционное полиграфическое оформление журнала или хочется увидеть его в новом облике? Каким вам представляется будущее «Нового мира» и других толстых литературных журналов в нашей стране?*

*Отклики на это обращение стали поступать незамедлительно. Огромная благодарность всем читателям, приславшим в редакцию свои ответы. Повторим еще раз: ваши мнения, замечания и предложения очень важны для нас. Пишите нам по адресу: 103806, ГСП, К-6, Малый Путинковский переулок, 1/2, редакция журнала «Новый мир». Не забудьте указать ваш возраст, образование, место жительства, специальность.*

Глубокоуважаемый Сергей Павлович!

Хочу поделиться своими впечатлениями о «Новом мире». Не думаю, правда, что выскажу глубокие мысли, но коль скоро всех своих читателей Вы пригласили к разговору, то что-то интересное для себя ожидаете от каждого из нас.

О себе. Мне 50 лет, окончил МФТИ, кандидат физико-математических наук, доцент. Работаю в вузе, преподаю физику. Жена — преподаватель музыки в музыкальном училище. Живем мы в городе Озерске (бывшем Челябинске-65), некогда секретном, а сейчас весьма известном. Живем в городе, который хотя и не является в традиционном смысле провинциальным, но где культурная жизнь весьма небогата. Поэтому толстые журналы для тех, кто продолжает интересоваться серьезной литературой, играют чрезвычайно важную роль. Я выписываю «Новый мир» уже 20 лет, с 1977 года, и каждая встреча с журналом — это маленький семейный праздник. В каждом номере для нас с женой есть что-то интересное, если не роман, то повесть или рассказ. С большим интересом читаем архивные публикации, мемуары. Разумеется, что самое-самое, на наш взгляд, следом за нами читают и наши друзья. Пытаюсь привить любовь к серьезному чтению и своим дочерям, но, честно говоря, не все номера они читают. Что касается содержания журнала, его оформления, то, мне кажется, они стали уже настолько традиционными, что какие-то перемены здесь просто не нужны. По крайней мере, я жду именно такой «Новый мир», который был всегда. О разнообразии точек зрения, представленных в «Новом мире», хочу сказать, что они достаточно разнообразны, если иметь в виду круг мнений, который представлен среди той части нашей интеллигенции, что читает «Новый мир». Вас читают те, кому дорога хорошая литература, дорога истина, а она одна, хотя путей к ней много. По существу, разнообразие мнений ваших авторов отражает разнообразие этих путей. Я бы совершенно не хотел видеть на ваших страницах экстремистов любого толка, как коммунистов, так и монархистов. У них свои журналы и свои читатели. Круг ваших читателей — это главным образом интеллигенция, чаще всего потомственная. Увы, судя по тиражу, этот круг чрезвычайно сузился, но хочу верить, что он начнет понемногу расти. Надеюсь, что наша интеллигенция не исчезнет, зарплату она начнет получать ежемесячно, а поэтому читатели у всех толстых журналов сохранятся.

Из публикаций этого года (последний, 12-й номер еще не прочел) — самое яркое впечатление от повести А. Азольского «Облдрамтеатр». Здесь все удалось автору: и точное описание быта той поры, нравов ее, яркие персонажи. К месту и детективный сюжет, дающий в несколько новом освещении постоянную тему Азольского — человек и бесчеловечная власть.

Очень интересными были все публикации из «Далекого близкого» и «Из наследия». Все интересно в публицистике. Вспоминая рассказы своих бабушки и прабабушки о дореволюционной жизни, событиях революции и Гражданской войны, последующих событиях и вижу, что оценка тех событий практически всей интеллигенцией была одной — катастрофа. Катастрофа в первую очередь для культуры. Разумеется, это весьма эмоциональная оценка, тем интересней было прочитать многие журнальные публикации, посвященные этой теме. Как мне кажется, много верных мыслей у Ю. Каграманова. С интересом читаю публикацию В. Шенталинского, хотя, как мне кажется, в последних его публикациях многовато «литературы» при том количестве фактического материала.

Об авторах, которые пока не печатались в «Новом мире», ничего определенного сказать не могу, но кое с кем из тех, кто печатались, но перестали, встретиться вновь хотелось бы. Один из таких авторов — Т. Толстая. Она как будто бы в Америке сейчас, но надо полагать, что-то пишет. Жаль, что не в «Новый мир».

Извините, но хотел бы высказать и одно критическое замечание, хотя никак не настаиваю на его справедливости. Мне кажется, что произведения иностранной литературы — не самое сильное место журнала. Я кроме «Нового мира» выписываю еще и «Иностранную литературу», и мне представляется, что ваши публикации произведений иностранной литературы мало что добавляют к тому, что публикуется в «Иностранке».

В заключение хочу сказать, что и дальше буду читать «Новый мир», на мой взгляд, это лучший из наших толстых журналов.

С уважением, ваш постоянный читатель

Лисицын Сергей Григорьевич.

Челябинская обл., г. Озерск-3.

---

Глубокоуважаемый г-н Главный редактор!

По Вашей просьбе отвечаю на вопросы, поставленные в № 12 за 1997 г.

1. Чтение журнала «Новый мир» в нашей семье стало традицией. У нас хранится номер журнала с началом романа «Не хлебом единым». Родители моей жены получали журнал по подписке в то время. Подписаться тогда было непросто. Мы продолжаем эту традицию и являемся подписчиками журнала. Сейчас журнал читают и наши дети. Поэтому следующие далее ответы на вопросы отражают мнение примерно десятка человек.

2. Из опубликованного в этом, 1997 г. почти единодушно называли: «Роман с простатитом» Александра Мелихова, «Б. Б. и др.» Анатолия Наймана, хотя мне самому запомнились: рассказы Андрея Волоса, «Иностранцы» Романа Солнцева, «Уроки правнука Вовки» Сергея Залыгина, а также «Двухчастные рассказы» Александра Солженицына (или это годом ранее?).

Почему нравится «Роман с простатитом», я не понимаю. Возможно, дело в броском названии. Сам я не люблю романы (да и повести), в которых преобладает автобиографический элемент. Это уж скорее «Очерки наших дней»: Паникин — о кооператоре, Мелихов — о «челноке», Варламов — о дачнике. Много примеряется на себя. Так, роман Наймана — это «до боли знакомая», но уже покрытая патиной прошлого жизнь в Ленинграде в 50-е и 60-е.

Вообще, сделав выбор до объяснения, мне теперь трудно ответить на вопрос: «Почему?» Волос — экзотика, Солцев — и у нас горела дача по сходным мотивам, «...правнук...» — примеряешь себя на роль деда, Солженицын — прием, противопоставление, он был в двух мирах... И во всех есть автобиографический элемент. Главное, наверное, то, что перечисленные произведения — хорошая проза,



но что такое «хорошая», сформулировать трудно. С одной стороны, это должно быть про меня, причем лучше про меня давнего, «того», минимум пятилетней давности, а с другой — экзотика, т. е. о людях (персонажах), решившихся на то, на что сам не решился, имеющих талант, волю, судьбу похожие, но другие, хотя и исходящие из той же точки. И чтоб можно было читать.

3 — 4. В связи с этим очень хорошо, что в редакции думают о соотношении прозы и публицистики. Долгие годы в журнале только и читали что публицистику, в самом широком смысле этого слова. Потом был период прозы, накопившейся за десятилетия. Теперь — нормальное время: публицистика — это достижение работников редакции, это вопрос выбора; а проза — это дело божественное, ненаписанное опубликовать нельзя.

Публицистика должна быть обращенной в будущее, в успех, а не наполняться стенаниями брошенной жены: «Любил, кормил и... бросил!» Таким даже воспоминания о том, как «бил», и те приятны. Стенания об отсутствии государственной поддержки здоровых мужиков (и баб) просто постыдны. «Не милостыню просить, а зарабатывать, т. е. быть нужными!» — вот, по-моему, лозунг дня.

Из конкретных авторов я бы назвал Е. Гайдара, его книга «В дни поражений и побед» вполне была бы достойна места в журнале. Не нужно бояться шпионских (Судоплатов), социологических (Кон), экономических (Бирман, Черниченко), демографических (Переведенцев), политических (Никонов) и других тем. Но писать должны люди и умные, и здравые. Важно не эпатировать, а сопоставлять.

5 — 6. Поэтому считаю, что публицистическую часть нужно расширить, а длинные романы сократить. Ведь все равно такие вещи, как Варламов, — чистая публицистика. Что касается разнообразия точек зрения, то нельзя давать журнальное место фанатикам и маргиналам. Это только отпугнет такого читателя, как я. Точка зрения таких людей должна быть дана в изложении объективных специалистов. Специалистов советую искать среди «соросовских профессоров», «соросовских учителей», в клубе «Что, где, когда», среди успешных политиков и бизнесменов.

7. Традиционность оформления, по-моему, одно из достоинств журнала... Бумага могла бы быть и лучше (понятно, что соответственно и цена возрастет).

8. Будущее «Нового мира» мне представляется в виде глубокого, умного, здравомыслящего журнала, не связанного с экстремистами. Наверное, это приведет к росту тиража, хотя самокупаемыми такие журналы не бывают...

О себе: мне 52 года, образование высшее, преподаю физику в вузе.

Искренне Ваш Эйдельман Евгений Давидович.

Санкт-Петербург.

#### Ответы на вопросы редакции «Нового мира»

1. Журнал читаю с начала 60-х годов. В то время журнал оказался любимейшим периодическим изданием научной интеллигенции и сохранился таковым до нынешних времен. В Обнинске в Институте медицинской радиологии его читал Тимофеев-Рессовский и все его ученики и близкие ему по духу люди. Я познакомился с журналом в семье Сокуровой — ученицы Тимофеева-Рессовского.

То же происходило и в научном центре, расположенном в Борке. Сюда Папанин собрал ученых, подвергшихся опале. Они создали имя институту. В Институте биологии внутренних вод АН СССР журнал пользовался особым успехом. Его выписывали крупнейшие ученые, решавшие проблемы экологии. Когда в 70-х годах в библиотеки поступило указание изъять некоторые номера, библиотекарь просто их спрятала и выдавала их тем, кому доверяла. Доверие и тяга к «Новому миру» зародилась во мне с 35 лет и, безусловно, сохранится во мне навсегда. Это устойчивое чувство к «Новому миру» сохранилось не только у меня, но и у моих учителей, профессоров С. М. Драчева (эколог), М. М. Камшилова (биолог, генетик), В. В. Ковальского (биогеохимик). И еще в кругу моих знакомых и в среде учеников моего отца, физиолога, ученика И. П. Павлова. После смерти Ивана Петровича его ученики продолжали поддерживать друг друга, и образовалась как бы ката-

комбная физиологическая школа, не соединившаяся с официальной, организовавшей объединенную сессию АН СССР и АМН СССР в 1950 г.

Иван Петрович легко переходил от единичного чисто физиологического факта к психологическому, социальному, политическому объяснению факта. Всеохватность мысли, концептуальность, широкая база некоторых статей «Нового мира» — его достоинство, отличает его от других журналов.

Поэтому пусть не покажется странным, что делу всех людей на две группы: читающих и не читающих «Новый мир». Действительно, чтение «Нового мира» требует от читателя нередко серьезной гуманитарной подготовки, порой энциклопедических знаний. Говорит человек: «Я читаю или я выписываю „Новый мир“» — и здесь почти вся его характеристика. Все больше слышишь, что журнал труден для чтения, но это беда не журнала, а читателей. «Новый мир» обязывает их подтягиваться к современным культурным и образовательным требованиям... Такая подготовка вообще-то необходима в современной жизни, кем бы ни стремился стать человек. Пусть найдется много несогласных со мною. Даже при несогласии большинства, огромного большинства, парадокс в том, что абсолютное меньшинство понимает причину наших бед — отсутствие общечеловеческой подготовки или, как писал Павлов Молотову в 1935 г., отсутствие в жизни «культурной красоты» и «культурного покоя» каждого человека.

2. Примерно в те же 60-е годы стал неизменным подписчиком журнала.

3. Меня привлекает в журнале его центральное требование к авторам: изложение концептуальных проблем человека и общества. В лучших статьях раздела критики и публицистики в разной мере присутствует философская проблема современности. Конечно, разные ее аспекты и в разных долях, пусть чаще всего в скрытых формах и в незавершенном виде, но столь сейчас необходимые.

Внимательно и не раз перечитываю Каграманова. Он умеет так разогнать свою мысль, что из подобранных им фактов образуется отчетливая картина общественного или геополитического процесса, целостная и завершенная.

Для «Нового мира» характерен переход одних и тех же проблем из года в год, из номера в номер. Поэтому о журнале правильнее судить не только по изданиям одного года, а за много лет, тогда более четко обозначаются его удачи и неудачи. В журнале есть статьи — они останутся классикой русского литературоведения, символами культуры и отечественной мысли (Лихачев, Солженицын). Для меня наиболее привлекательны статьи по истории и о судьбах русской культуры. Мысль С. Залыгина о том, что «у большого события нет границ» (1989, № 1), верна не только для писателя и художника. Она универсальна. Как она подходяща для описания событий и явлений в политике, в обществе, в науке, в человековедении. Самооткрытие — важнейший из процессов для каждого из нас, вне зависимости от возраста. Пока способен человек на самооткрытия, он живет прогрессивно, новаторски. Он силен как личность. Но авторы таких концептуальных статей, и в их числе С. Залыгин, сами же и ограничивают себя. Можно бы авторов оправдать и сказать, что не все в экологии, в человековедении понятно и известно. Но пусть не все понятно, пусть многое намечено лишь пунктирно и общественная жизнь в белых пятнах, но весь огромный пласт культуры прошлого, весь ход дел либералов-народников — это же какой гигантский и неповторимый опыт, и на них журнал опирается, но притянуть к решению проблем современности не всегда решается. Остается на уровне событий истории. Например, процесс становления у нас экологии в 50 — 70-е годы был столь мучителен и со столькими смертями, не только прямым физическим уничтожением, а с помощью шельмования, распространения клеветнических домыслов сопровождался он.

Так, даже совсем научная проблема самоочищения водоемов в институтах Минздрава СССР, АМН СССР и АН СССР оказалась под запретом. В то время проф. Сергей Михайлович Драчев завершил свою книгу «Борьба с загрязнением водоемов». Ее обсуждение в АМН СССР имело трагические последствия для него. Он ослеп. Слепой, уехал из Москвы в Борок и лишь там ее издал. Но нашли мерзкие характеры, поборники чистой науки в АН. Исподтишка они продолжали свою точашую работу. В итоге Сергей Михайлович скончался от инфаркта, но как много успел, уже слепой, вопреки всей разрушительной обстановке.

«Новому миру» безусловно удалось решение темы Чернобыля, но сколько еще трагедий в истории экологии, например трагедия Нечерноземья.

Борок находится на берегу Рыбинского водохранилища. С его берегов видны проблемы, ждущие решения: в их числе проклятая проблема Нечерноземья. Профессора Камшилов, Буторин, Мордухай-Болтовской, Кузин умерли не насильственной смертью. Только их «доброжелатели» ускорили их смерть отрицанием результатов их научных трудов, теперь относимых к классике наук о биосфере. Их убили отравленным словом. Такой опаснейшей наукой экология остается до сих пор. Ученые знают, что в ней таятся опаснейшие для авторов запретные отделы, и не прикасаются к ним. Оказывается, писатели могут их увидеть и разбудить общество раньше ученых.

4. Весьма привлекательна и завершена на страницах «Нового мира» тема «Пушкин и русская культура» (огромный труд И. Сураг).

5. Прозаик Михаил Кураев привлекает меня добросовестностью решения. Каждое его произведение многопланово, имеет историческую глубину, соединяет частное и общее. Как будто незамысловат сюжет повести «Золотуха по прозвищу Одышка», а какая твердая у него общеполитологическая основа. Как убедительно он соединил судьбы — мальчишескую и городскую, как проработаны добросовестно все детали характеров — личных и обобщенных, как точны приметы того времени. Как не боится он перебраться от эпизода школьной жизни к партийной жизни и обнаружить их схожесть. Здесь — мир, открытый только им, Кураевым.

6. Соотношение между всеми разделами журнала оптимально. Оно имеет значение больше для сотрудников редакции, чем для читателя: есть заслуживающие произведения — им больше места!

7. Полиграфическое оформление соответствует стилю всего издания.

На меня жена достаточно справедливо обижалась за то, что я не обратил ее внимание на статью Т. Чередниченко «„Время — деньги“ как культурный принцип» (1997, № 7). Когда мы вместе прочли эту статью, обсуждая абзац за абзацем, то убедились, насколько нова и философски глубока тема статьи. Ее легко распространить на все культурные явления жизни. Потерянное и обретенное время — его дает или отнимает у нас культура. Здесь — новый философский принцип жизни в рамках разных культур. Чередниченко спрессовала свои мысли в объеме атомного ядра, вот-вот готового к взрыву. Я не дал жене статью, подумав, что для ее прочтения нужна солидная гуманитарная подготовка. Но оказалось, что статья необходима людям совсем разным по образованности, что автор ухватила новое всеобщее явление, имеющее место во всех проявлениях культуры. Оказывается, культура способна дать нам неоценимый подарок — растянуть время, или нанести неощутимые, но непоправимые удары — отобрать время. Моя Даша сказала: «Чередниченко — великолепный философ новой формации», — и я с ней согласился. Для ее «Опытов» допустимо потратить значительную площадь журнала, ибо это уже новое мировоззрение, основанное на соединении культуры и физиологии восприятия времени...

8. Я сравниваю значение толстых журналов со значением Эрмитажа и Русского музея в Петербурге. Конечно, не в стоимостном выражении востребованных в них сокровищ, а в их нужности для общества, для государственности России. «Новый мир» — учебник для вузов, самостоятельное культурное явление для изучающих русскую литературу, проводник национальной традиции и политики в области истории, литературы, социологии и философии...

Я не ишу в журнале развлекательных произведений. Соединить увлекательность и фундаментальность можно. Это сделал Солженицын в «Круге первом». И все-таки я ишу в журнале интеллектуальную фундаментальность, обобщения от физиологии до политики типа павловских и бехтеревских.

С искренним пожеланием работникам редакции «Нового мира» большого будущего.

Владимир Синельников, 72 года,  
кандидат медицинских наук,

член физиологического общества РФ, Московского общества «Мемориал».

Мамонтовка, Пушкинский район Московской области.

---

---

# ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

## «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ» РАННЕЙ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ERIC NAIMAN. *Sex in Public: The Incarnation of Early Soviet Ideology*. Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1997, 307 p.

ЭРИК НАЙМАН. Секс в русле общественности. Воплощение ранней советской идеологии.

В огромном большинстве своем книги о России, выходящие на Западе, не нужны в России (и, соответственно, работы российских специалистов по Западу — на Западе). Они находятся в собственной культурной ситуации: книги, например, о Франции в России или о России в Америке связаны с Россией (в первом случае) и с Америкой (во втором) куда больше, чем с предметом изложения. Это верно для любой страны. Есть, впрочем, книги — их немного, — выделяющиеся из общего потока. Они нужны и там и здесь. Они конвертируемы, как конвертируема всякая реальная ценность. Если появляется несколько таких книг в год, его можно считать урожайным. Дело здесь в том, что Бахтин называл «серьезностью вопросов» к другой культуре, и в методологической продуктивности подхода к ней.

Когда речь идет о культуре советской, мы неизбежно соприкасаемся с проблематикой власти, и далее — насилия, наконец, с проблемой сексуальности. Известно, впрочем, что славистика отстает сегодня в производстве идей от других областей гуманитарного знания. Методологическая нищета славистики объясняется просто: в Советском Союзе — засилием идеологии; на Западе — советологии (той же идеологии, лишь с обратным знаком). Когда противостояние завершилось, славистика оказалась в руинах: постструктурализм был усвоен основной массой славистов как господствующая мода, очередная идеология. Эта методологическая поверхностность породила горы литературы, которая обречена на вторичность: в ней не производятся идеи, но подхватываются уже отработанные.

Фон этот следует иметь в виду, чтобы понять: наука начинается там, где тема (вне зависимости от того, насколько она модна в данный момент) превращается в проблему. Проблема всегда начинается с ревизии. В этом смысле книга Наймана — образец «ревизионистского» чтения советской культурной истории. Готовый канон традиционного чтения (распространенный на Западе в кругах левых интеллектуалов и в советском и постсоветском интеллигентском сознании) сводится к тому, что эпоха 20-х годов (а точнее, эпоха нэпа) была «золотым веком» советской культуры — эпохой не только экономического, но и эстетического плюрализма (сам автор называет этот взгляд на период нэпа «мифом толерантности и ренессанса»). Здесь учитываются, как показывает Найман, лишь внешние моменты (частная торговля, книжный рынок, борьба литературных групп и т. п.). Остается, однако, огромное культурное поле массового «политического бессознательного», сфера идеологического дискурса, которая и определяет глубинные принципы «производства идеологии» в литературе прежде всего. Обычной и малопродуктивной сегодня «критике идеологии» автор противопоставляет *интерпретацию идеологии*.

Поскольку же идеология всегда запечатлена в текстах и, соответственно, только через них может быть понята, в анализе «поэтики идеологии» 20-х годов Найман идет от стратегии постмодернистского чтения ранней советской культуры.

Свою задачу автор видит в том, чтобы, войдя в дискурс нэпа, «представить исторически обоснованное чтение идеологического письма советского коммунизма». «Идеологическое письмо» включает в себя литературу, которая становится главным рычагом контроля над личной жизнью. «Дискурс сексуальности», убежден

автор, «может восприниматься как символическая стенограмма... ментальности, производящей утопические тексты». В утопии же он видит вовсе не то, что традиционно принято было видеть в «революционных мечтаниях». «Утопизм, — пишет Найман, — есть отрицание культуры... он манифестирует глубокое разочарование в господствующих социальных институтах, ценностях и моделях мышления» и происходит от «страстного отрицания реальности». Поэтому, полагает автор, «исследование „утопической культуры“ может стать историей того, как культура, одержимая самоочищением, борется в определенный исторический период за то, чтобы подавить (и переписать) свои основные метонимические тревоги». К числу основных «тревог» такого рода и относится проблема сексуальности.

В сексуальности, или, на языке 20-х годов, в «половом вопросе» и способах его социальной презентации, автор видит путь к пониманию узловой проблемы советской культуры — проблемы террора. «Чтобы понять природу „сексуального“ дискурса 1920-х годов, необходимо прежде всего осознать, что для партии и комсомола область „пола“ была в той же мере *средством* контроля, в какой она была *целью* такого контроля». Как же осуществлялась эта «стратегия власти»? Как было сказано в книге, посредством превращения «тайного» в слово, в дискурс, ибо «секс становится идеологически более приемлемым, когда он выходит из темноты приватности на свет публичного дискурса».

В книге много места уделено тому, что принято называть «социальным контекстом» бытования литературы, в частности анализу дискуссий о «половом вопросе»; эти дискуссии эпохи нэпа, убежден Найман, «должны быть прочитаны как занимающие центральное место в процессе коллективной манипуляции молодежью». Именно здесь образовывалась та «дискурсивная цепь, которая связывала... первое поколение коммунистической молодежи в тугой узел идеологического сообщества».

Приводящиеся в книге материалы (в том числе и архивные, и многочисленные свидетельства провинциальной литературной жизни) обсуждений наиболее «скандальных» литературных произведений 20-х годов убеждают в том, что формирование этой «цепи» шло по определенной траектории: это был «процесс, в котором дискуссия вначале эротизировалась с тем, чтобы впоследствии быть более эффективно политизированной». Здесь действовала, как показывает Найман, своего рода спираль, и «литература и критика совместно играли ведущую роль в ее раскручивании. Установилась следующая модель: автор публиковал художественное произведение, которое возбуждало похотливый (prurient) интерес молодежи и предполагало дискуссию вокруг „проблем пола“. Сразу затем следовала вспышка критических писем или статей, провоцируя вокруг публикации „диспуты“ и редакционные комментарии. Практически все участники дебатов были сфокусированы на проблеме сексуальных „эксцессов“. Вначале писатели описывали разложение в комсомольской среде, затем критики либо осуждали их за „очернение“, либо, согласившись с ними, сетовали на „разоблаченную“ писателями развращенность молодежи. Комсомольские писатели не предпринимали никакой попытки в позитивном плане показать, как *должна быть* устроена половая жизнь, и очень мало внимания уделяли более широкому вопросу половых ролей в обществе. Вместо этого обе „стороны“ нападали на „развращенность“ в почти одних и тех же выражениях. Реальный объект обсуждения — разрушение автономности „личной жизни“ — как бы подменялся уже тем, что „проблема пола“ становилась „предметом“ бесконечных дискуссий».

За этой «тактикой» просматривается более широкая проблема советской культуры: того, что не вербализовано, что погружено в молчание, здесь не существует. Потому такую важность приобретают «дискурсивные практики» советской культуры: язык — это контроль, и шире — важнейшее слагаемое тоталитарности. Перед нами, таким образом, вырисовывается некая общая «стратегия власти»: «Вместо того, чтобы отделиться от неконтролируемой, глубоко личной реальности, партия и комсомол предпочли в 1920-е годы подчинить личность контролю, превратив молчание в дискурс, а лекционные залы, аудитории и залы суда... в своего рода „выставку“... Побег из этой идеологической и дискурсивной паутины был самым ужасным из того, что могла бы совершить личность».

Это экзистенциальное измерение дает материалу, рассматриваемому в книге, новое освещение. Предлагаемая здесь историко-литературная концепция сводится к тому, что еще до революции (прежде всего усилиями русских философов — от Федорова и Соловьева до Бердяева и Розанова) формируется «коллективное тело», которое оказалось близким как массовой литературе (Арцыбашев), так и элитарной (поэтизация насилия в футуризме, у Маяковского). Стоит, впрочем, заметить, что здесь было бы не менее уместным рассмотрение марксистской критики «литературного разложения» в межреволюционные годы (В. Воровский и другие) с ее агрессивным неприятием «сексуальной распушенности», прокламируемой буржуазной культурой.

В эпоху военного коммунизма эта «коллективная телесность» обретает новую форму — риторики насилия. Происходит «сексуализация социального дискурса», чему свидетельством «Голый год», «Смертельное манит» и «Мать сыра-земля» Пильняка (Найман убедительно показывает наличие связи между Пильняком и Арцыбашевым), а образ «красного террора» все определеннее трансформируется в образ террора сексуального (жаль только, что автор не обратился за материалом к прозе Бабеля и Артема Веселого, у которых подобная трансформация наиболее очевидна). Процесс этот наблюдается как в «попутнической» литературе, так и в Пролеткульте: «Поэзия рабочего удара» А. К. Гастева, поэзия Ивана Доронина, Павла Бессалько, Павла Арского запечатлели эту новую жизнь «коллективного тела». Найман, однако, не ограничивается собственно литературой, привлекая к рассмотрению огромный материал — от манифестов идеологов Пролеткульта до теории новой биологии Энчмена и «Коллективной рефлексологии» Бехтерева с их культом антииндивидуализма и коллективности.

В дискурсе нэпа, полагает Найман, произошел синтез, с одной стороны, пролеткультовского радикального утопизма, восходящего к утопическим фантазиям Федорова и Соловьева, с другой — материализованных картин хаоса и насилия, замешанных Пильняком у Розанова и символистов. На этом перекрестке возник культурный парадокс: военный коммунизм и Гражданская война предстали в виде «золотого века» — эпохи единства, тогда как нэп — в виде «развала», распада прежней идеологической однородности. Тоска по войне продуцировала своего рода «дискурс кастрации» (так называет Найман постулируемый в это время партийно-комсомольский аскетизм). Если военный коммунизм порождает «коллективное тело», утверждая «мужское начало» (через культ насилия), то нэп породил «бесчленное тело». Произошел переход от мужского начала (Гражданская война) к женскому (нэп), описываемый здесь как «процесс усечения членов». «Коллективное тело в нэпе разложилось, — пишет Найман, — его части развалились в риторике эпохи. Страх этого фигуративного разложения не только стимулировал атаки на частную жизнь, но также вел к росту дискурсивной динамики», культура стремилась «собрать коллективное тело вновь в анатомическом театре публичного обсуждения».

Советские 20-е годы имеют две контристория литературы. В одной были Фадеев, Фурманов, Серафимович; в другой — Бабель, Пильняк, Замятин. Но, несомненно, массовый интерес к этим авторам был несопоставим с интересом к той популярной литературе, которая оказывается в центре внимания Наймана. 1926-й и 1927-й стали годами наибольшего читательского интереса к литературе такого рода — «Без черемухи» Пантелеймона Романова, «Луна с правой стороны...» Сергея Малашкينا, «Собачий переулок» Льва Гумилевского. Здесь же, впрочем, анализируются «Зойкина квартира» Михаила Булгакова, «Хочу ребенка!» Сергея Третьякова, «Мы» Евгения Замятина, «Машины и волки» Пильняка, «Цемент» Гладкова, стихи Александра Жарова, рассказы Александры Коллонтай и Андрея Платонова, фильмы Абрама Роома, Трауберга и Козинцева... Рисуемая Найманом картина культуры нэпа действительно максимально объемна и пестра.

Найман находит удивительно точный образ, в котором эта картина приобретает некую гомогенность. Это то, что названо в книге «готикой нэпа». Риторика самоконтроля и дисциплины приобретает в «готике» (понимаемой здесь не только как жанровый канон, но и как идеология) неожиданное и проясняющее истолкование. Ведь в центре «готического события» стоит насилие или угроза насилия. Отсюда — продуцируемая готическим романом жуть подсознания, фантазий, страхов.

Оригинально и глубоко читаются сквозь этот «магический кристалл» Гумилевский или Гладков. Главное, что предложила в этом смысле литература эпохи нэпа читателю, — «никогда не быть „одиноким“, но всегда — лицом к лицу с единственным, враждебным и могущественным „Другим“, с классовым врагом или с собственными материальными и сексуальными желаниями. Готическая модель предоставила советской идеологии эпохи нэпа апробированный образец для выражения озабоченности относительно того, как быть вместе, оставаясь одиноким». Стоит только сожалеть, что из этой цепи идеологических дебатов выпали такие характерные явления пореволюционной эпохи, как рапповская «теория живого человека», спор о подсознательном, в центре которого оказались А. Воронский и Вяч. Полонский (последний цитируется только в связи с непосредственным обсуждением проблем буржуазной и новой сексуальности).

Заключительная часть книги посвящена, так сказать, «выходу литературы в жизнь» — страшной истории, происшедшей в Чубаровском переулке, когда сорок комсомольцев изнасиловали девушку. Это «коллективное изнасилование и утопическое желание» (так назван соответствующий раздел книги) Найман не только «расследует» с приведением стенограмм суда, многочисленных свидетельств, откликов печати и т. д., но осмысливает как результат «воплощения ранней советской идеологии»: «Изнасилование в Чубаровском переулке необходимо осознать не только как жуткую проекцию социального желания, но также на более очевидном уровне как материализацию „реального мира“, так, как он был часто представлен в советской литературе: „делаж“ одинокой женщины группой комсомольцев... Сад Сан-Гали (где произошло преступление. — *Е. Д.*) был искаженной проекцией пролетарского Эдема эпохи военного коммунизма. Увидев свои собственные „детские“ фантазии представленными в Чубаровском переулке, советская идеология с отвращением от них отшатнулась».

Но, пожалуй, наиболее захватывающим сюжетом книги Наймана является настоящая методологическая драма, разворачивающаяся на ее страницах. По охвату и глубине проработки материала — это добротное позитивистское исследование. По стратегии интерпретации этого материала, избилующей фукианскими метафорами, — постмодернистский текст. В этом «споре» побеждает все же сильнейший. Им и является несомненный интерес автора к материалу и к исследуемой эпохе. Именно материал микширует слишком вольные иногда интерпретации, пережимы, останавливая автора в моменты опасности, остерегая от столь соблазнительной попытки превращения идеологии в мифологию.

Прошли ли 20-е годы бесследно для советского массового сознания (и бессознательного)? «Основная предпосылка этой книги, — пишет автор во введении, — состоит в том, что не только слова и лозунги были „вбиты в головы масс“, но также образы и жанры», а заканчивает знаменательной констатацией: «Уровень страха в повседневной советской культуре был в 1930-е годы, вероятно, выше, чем в какой бы то ни было другой период русской истории, но этот страх был не идеологическим — он фокусировался более на личной безопасности, чем на исторической легитимности».

Однако понимание природы «символического страха» и природы террора, порождаемого самим распространением этого страха в обществе, как показывает книга Наймана, невозможно без понимания его истоков: «Наше понимание террора в „реальной“ жизни — террора, который протекает в основном вне идеологического дискурса... террора, который кладет на плаху личность... будет по необходимости неполным до тех пор, пока мы не проникнем в глубину дискурсивного террора, предшествовавшего ему».

Если верно, что избавление от страха происходит путем его «рационализации» и «проговаривания», книга Наймана может быть воспринята как один из первых и потому показательных «психоаналитических сеансов», где вчерашнему советскому человеку рассказывается о жизни его бессознательного намного больше, чем ему до сих пор было известно.

Евгений ДОБРЕНКО.

Иллинойс (США).

---

---

# БИБЛИОГРАФИЯ

## КНИЖНАЯ ПОЛКА



**Алая камелия.** Японская лирика «веселых кварталов». Перевод с японского, предисловие и комментарии Александра Долина. СПб., «Гиперион», 1997, 160 стр., 3000 экз.

Городская эпикурейская поэзия Японии эпохи Эдо (начало XVII — середина XIX века).

**Виктор Астафьев.** Собрание сочинений. В 15-ти томах. Красноярск, «Офсет», 1997, 10 000 экз.

Том 8. Ода русскому огороду. Паруна. Зрячий посох. 352 стр.

Том 9. Печальный детектив. Рассказы. 448 стр.

**Андрей Белый.** Собрание сочинений. Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака. Общая редакция, составление В. М. Пискунова. М., «Республика», 1997, 543 стр., 5000 экз.

**Борис Виан.** Пена дней. Роман, новеллы. Перевод с французского Л. Лунгиной и других. М., «Локид», 1997, 342 стр., 10 100 экз.

**Борис Виан.** Собрание сочинений. Пена дней. Роман. Перевод с французского В. Лапицкого. Осень в Пекине. Роман. Перевод с французского М. Аннинской. Мурашки. Рассказы. Составление, вступительная статья В. Лапицкого. М., «Симпозиум», 1997, 544 стр., 8000 экз.

Борис Виан (1920 — 1959) — французский писатель и драматург, чье творчество считается одним из высших достижений послевоенного французского авангарда.

**Гюнтер Грасс.** Собрание сочинений в четырех томах. Перевод с немецкого. Составитель Е. А. Кацева. Предисловие И. В. Млечиной. Харьков, «Фолио», 1997, 3000 экз.

Том первый. Жестяной барабан. Роман. Перевод С. Фридлянд. 654 стр.

Том второй. Собачьи годы. Перевод М. Рудницкого. 717 стр.

Том третий. Кошки-мышки. Повесть. Перевод Н. Манн. Под местным наркозом. Роман. Перевод С. Апта. Из дневника улитки. Перевод Е. Кацевой и Е. Михелевич. О периодах застоя в прогрессе. Вариации на тему гравюры по меди Альбрехта Дюрера «Melencolia 1». Перевод Е. Михелевич. 605 стр.

Том четвертый. Встреча в Тельgte. Повесть. Перевод Ю. Архипова. Голорожденные, или Немцы вымирают. Перевод И. Розанова. Крик жерлянки. Повесть. Перевод В. Хлебникова. Рассказы. Перевод С. Фридлянд. Поэзия. Публицистика. 591 стр.

**Николай Коляда.** «Персидская сирень» и другие пьесы. Екатеринбург, Банк культурной информации. Каменск-Уральский, «Калан», 1997, 464 стр., 10 000 экз.

**Станислав Лем.** Возвращение со звезд. Глас Господа. Романы. Абсолютная пустота. Рассказы. Верный робот. Телевизионная пьеса. Перевод с польского Е. Вайсброта, Р. Нудельмана, А. Громовой и других. М., «Текст», 1997, 496 стр., 20 000 экз.

**Станислав Лем.** Магелланово облако. Непобедимый. Романы. Перевод с польского. М., «ЭКМО», 1997, 496 стр., 20 000 экз.

**Станислав Лем.** Осмотр на месте. Мир на земле. Романы. Формула Лимфатера. Рассказ. Лунная ночь. Радиопьеса. Перевод с польского К. Душенко, И. Левшина, В. Ковалевского. М., «Текст», «ЭКМО», 1997, 512 стр., 20 000 экз.



**Станислав Лем.** Рассказы о пилоте Пирксе. Расследование. Роман. Перевод С. Ларина и других. М., «Текст», «ЭКСМО», 1997, 528 стр., 20 000 экз.

**Дмитрий Липскеров.** Пространство Готлиба. Роман. М., «ВАГРИУС», 1997, 351 стр., 3000 экз.

**Эдгар По.** Собрание сочинений. В 3-х томах. М., ИПО «Полигран», 1997, 4000 экз.

Том 1. Убийство на улице Морг. Сборник. Перевод Р. Гальпериной и других. 352 стр.

Том 2. Падение дома Ашеров. Сборник. Перевод с английского Н. Галь и других. 288 стр.

Том 3. Приключения Артура Гордона Пима. Сборник. Перевод Г. Злобина и других. 352 стр.

**Дина Рубина.** Ангел конвойный. М., «Межибож», 1997, 352 стр., 1000 экз.

В новый сборник Д. Рубиной вошли известные читателю повести «На Верхней Масловке», «Во вратах твоих», «Камера наезжает» и рассказы «Один интеллигент уселся на дороге» и «Яблоки из сада Шлицбутера».

**Алексей Слаповский.** Анкета. Тайнопись открытым текстом. Из цикла «Общедоступный песенник». Рассказы. СПб., «Курс», 1997, 5000 экз.

См. рецензию на журнальную публикацию повести — «Новый мир», 1998, № 2.

**Татьяна Толстая.** Любишь — не любишь. Рассказы. М., «Оникс», 1997, 384 стр., 15 000 экз.

Свод наиболее известных рассказов писательницы. Предисловие Вл. Новикова названо «Наедине с вечностью».

**А. К. Толстой.** Драматическая трилогия. М., «Сирин», 1997, 528 стр., 10 000 экз.

**У. Фолкнер.** Дикie пальмы. Ход конем. Перевод с английского Г. А. Крылова, М. И. Беккер. СПб., Гуманитарное агентство «Академический проект», 1997, 432 стр., 7000 экз.

**Б. Ямпольский.** Арбат, режимная улица. М., «ВАГРИУС», 1997, 431 стр., 10 000 экз.



**Блаженный Августин.** Творения. М., «Православный паломник», 1997, 536 стр.

**Жорж Батай.** Внутренний опыт. Перевод с французского, послесловие и комментарии С. Л. Фокина. СПб., «Аксиома», «Мифрил», 1997, 336 стр.

Впервые на русском языке работа, входившая в качестве первой части в главный труд философа «Сумма атеологии» (1954). Впервые издана в 1943 году, для перевода использована редакция 1954 года.

**Древнерусское искусство.** Русь. Византия. Балканы. XIII век. Ответственный редактор О. Э. Этингоф. СПб., «Дмитрий Булавин», 1997, 488 стр.

**А. А. Кизеветтер.** На рубеже двух столетий. Воспоминания 1881 — 1914. Вступительная статья и комментарии М. Г. Вандалковской. М., «Искусство», 1997, 1500 экз.

Воспоминания Александра Александровича Кизеветтера (1866 — 1933) — русского историка, государственного деятеля и публициста, отправленного в 1922 году в эмиграцию.

**Московский пушкинист.** IV. Ежегодный сборник. Составление, научная редакция: В. С. Непомнящий. М., «Наследие», 1997, 440 стр., 1500 экз.

Статьи М. Ф. Мурьянова, Н. В. Перцова, О. Я. Поволоцкой, Д. Н. Медриша, И. З. Сураг, В. М. Есипова, С. А. Небольсина, Т. М. Глушковой и других.

**Борис Парамонов.** Конец стиля. М., «Аграф», «Алетейя», 1997, 464 стр., 3000 экз.

Сборник статей разных лет известного публициста и культуролога. Четыре раздела: «Конец стиля» (начинается статьей о постмодернизме), «К пониманию Запада», «Три смерти» (о культурном значении смертей Чехова, Чапека и Цветаевой) и раздел «Разное». Отдельно напечатаны статьи о маркизе де Кюстине и «Портрет еврея» (об И. Эренбурге).

**В. В. Розанов.** Когда начальство вышло... Собрание сочинений. Составление П. П. Апрышко, А. Н. Николокина. М., «Республика», 1997, 672 стр., 5000 экз.

**А. Садецкий.** Открытое слово. Высказывания М. М. Бахтина в свете его «металингвистической теории». М., Издательство РГГУ, 1997, 167 стр., 1000 экз.

**Жан-Поль Сартр.** Ситуации. Антология литературно-критической мысли. Составление и предисловие С. Великовского. М., «Ладомир», 1998, 431 стр., 2000 экз.

В сборник вошла работа «Что такое литература», статьи и эссе о Мориакке, Фолкнере, Камю, Н. Саррот, Маларме, Брехте и других. Тексты сопровождаются предисловием Мишеля Конта «Ситуация Сартра — литературного критика в 1947 году».

**Н. А. Сиддаловский.** История Санкт-Петербурга в преданиях и легендах. СПб., «Норинт», 1997, 360 стр., 10 000 экз.

**Борис Соколов.** Три жизни Михаила Булгакова. М., «Эллис Лак», 1997, 432 стр., 11 000 экз.

Монография литературоведа, специалиста по творчеству Булгакова. Три периода жизни писателя: первый — до 1919 года, жизнь молодого врача, пробующего себя в литературе; второй — 20-е годы, жизнь профессионального писателя и драматурга, и третий — 30-е годы, жизнь театрального чиновника, пишущего «в стол» «Мастера и Маргариту».

Составитель **Сергей Костырко.**

## ПЕРИОДИКА



*«Арион», «Вопросы литературы», «День литературы», «Дружба народов», «Журнал практического психолога», «Журналист», «Звезда», «Знамя», «Знание — сила», «Известия», «Иностранная литература», «Коммерсант-Daily», «Континент», «Кулиса НГ», «Литература в школе», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературное обозрение», «Мир Паустовского», «Митин журнал», «Москва», «Московский Церковный вестник», «Наш современник», «Нева», «Неделя», «Независимая газета», «Новая Юность», «Новое литературное обозрение», «Общая газета», «Октябрь», «Преображение», «Радуга», «Речитатив», «Русская мысль», «Русский Телеграф», «Труд», «Юность»*

**Федор Абрамов.** Неужели по этому пути идти всему человечеству? Предисловие и публикация Л. Крутиковой-Абрамовой. — «Наш современник», 1997, № 12.

Записи о поездке в Америку в 1977 году. Заметки и наброски к очерку «Об Америке».

См. также публикацию Людмилы Крутиковой-Абрамовой «Федор Абрамов и христианство» («Нева», 1997, № 10) — о том, что в детстве будущий писатель хотел походить на местного святого — праведного отрока Артемия Веркольского, и, «будучи коммунистом, Абрамов остался верен христианским нормам поведения».

**Кирилл Анкудинов.** Каприз против истерики. Опыт аналитического исследования стихотворения. — «Октябрь», 1997, № 12.

Сопоставление хрестоматийных стихотворений «ТВС» и «За гремучую доблесть грядущих веков...»: у Багрицкого — «истерика», у Мандельштама — «каприз», у обоих — «абсурд».

**Юрий Арабов.** Подложное имя. О метафизике псевдонимов. — «Новая Юность», № 22-23 (1997, № 1-2).

Из книги «Механика судеб» (М., 1997). О том, как опасно менять свое имя. На примере Джона Леннона, превратившегося в Джона Оно Леннона.

См. об этой книге рецензию Татьяны Касаткиной в следующем номере «Нового мира».

**Дмитрий Бавильский.** Чтение карты на ощупь. — «Митин журнал». Главный редактор Дмитрий Волчек. Тираж 500 экз. Санкт-Петербург, 1997, № 55.

Пьеса — предыстория «Вишневого сада». Раневская, Аня, лакей Яша и другие собираются в Россию, парижский вокзал, поезд. С участием А. П. Чехова (в буквальном смысле: Чехов — их дорожный попутчик). Раневская: «А еще я хотела бы называться Фаиной...»

См. в этом же номере содержание «Митинога журнала» за 1991 — 1997 годы (с № 51 по 55).

**Григорий Бакланов.** Подводя итоги. Главы из книги. — «Знамя», 1997, № 11. Мемуары. Лакшин. Залыгин. Солженицын. Жигулин.

**Дмитрий Балашов.** Ведьма. Рассказ. — «День литературы», 1997, № 6, декабрь. Динамичная, густо написанная эротическая новелла.

**Георгий Балл.** Васта Трубкина и Марк Кляус. Плач. — «Знамя», 1997, № 11.

Голоса русской деревни, расположенной на территории Литвы. «Плач» датирован 1962 — 1997 годами.

См. также короткие рассказы Г. Балла в «Новом мире» (1998, № 2).

**Анна Баркова.** «Жить можно только с огромной верой в себя и с огромной любовью к себе...». Вступительная статья П. Куприяновского. Публикация П. Куприяновского и Т. Моревой. — «Вопросы литературы», 1997, № 6 (ноябрь — декабрь).

Семь писем 1922 — 1975 годов поэтессы, узницы ГУЛАГа Анны Александровны Барковой (1901 — 1976) к ее подруге Клавдии Ивановне Соколовой (1900 — 1984).

Рядом напечатаны пять писем А. Барковой 1957 — 1967 годов к известной пушкинистке Татьяне Григорьевне Цявловской (1897 — 1978). Письма печатаются по автографам РГАЛИ (вступительная заметка и публикация О. Переверзева).

**Андрей Битов.** Писателю необходимо состояние истерики. Беседу вела Ольга Хрусталева. — «Коммерсант-Daily», 1997, № 207, 29 ноября.

В связи с завершением на телеканале «Культура» съемок пилотной программы «Уроки Армении» — первой передачи нового телецикла Андрея Битова «Путешествие по империи». Цитата: «Текст — это особое состояние слова, где каждое слово связано с каждым. Если пишешь медленно, связь пропадает. А ежели отстреливаешь, то получается. Поэтому нужно такое состояние истерики, которое заменяет вдохновение, а иногда вдохновением и является».

**Владимир Блеклов.** Юбилей и заговор. Беседу вел Николай Соловьев. — «Литературная Россия», 1997, № 47, 21 ноября.

Бывший военный летчик В. Блеклов излагает свою теорию о том, что Император лично приказал застрелить Пушкина. Цитата: «Николай I, сохранив четырехгодичный интервал „царственной линии“ „Пиковой дамы“, найдя через графа Нессельроде чрезвычайно меткого стрелка Дантеса, занявшего, кстати, первое место при стрельбе влет по голубям, организует дуэль Дантеса с Пушкиным именно 27 января 1837 года. Организует с тем, чтобы Пушкин, через ранение в нижнюю часть тела, умер именно 28 января, то есть в день смерти Павла I...» Кто-то из великих сказал: против глупости даже боги бессильны.

**Н. А. Богомолов.** Гумилев и оккультизм: продолжение темы. — «Новое литературное обозрение», № 26 (1997).

Оккультизм начала века и творчество Гумилева. Блаватская. Влияние Г.-Р. Хаггарда, чьи книги поэт знал с детства.

В этом же номере напечатан указатель публикаций «Нового литературного обозрения» (с № 11 по 25).

**Владимир Бондаренко.** Плебейская проза Сергея Довлатова. — «Наш современник», 1997, № 12.

Статья также вошла в книгу В. Бондаренко «День литературы. Взгляд на русскую словесность последнего года» (М., «Палей», 1997).

См. также публикацию Сергея Шабалина «Американская сага Сергея Довлатова. В гостях у вдовы известного писателя» («Труд», 1997, № 232, 16 декабря), в частности — о клиническом алкоголизме прозаика.

См. также короткий мемуар Александра Гениса в «Литературной газете» (1997, № 51-52, 24 декабря).

**Дмитрий Быков.** Случай Рассадина. — «Кулиса НГ». Приложение к «Независимой газете», 1997, № 2, декабрь.

Фельетон Дмитрия Быкова о Станиславе Рассадине содержит много интересных наблюдений, много справедливых и столько же несправедливых суждений, но тон... Образчики стиля: «Мысли на копейку, наблюдений на алтын — а наш Стародум (название рассадинской колонки в «Новой газете». — А. В.) раздражается филиппикой на полполосы!»; «писк происходит от ущемленного самолюбия, а самолюбие Станислава Борисовича ущемляют все на свете»; «в общем, еще годик такой деятельности Станислава Борисовича на ниве отечественной словесности — и я полюблю Бориса Кузьминского». Тон, конечно, хамский, но какая *пассионарность!*..

**Светлана Василенко.** Красные фламинго. Фрагменты из романа. — «Радуга». Литературно-художественный и публицистический альманах Союза писателей Эстонии. Таллинн, 1997, № 2 (апрель — июнь).

Две главы нового романа. В качестве предисловия напечатана статья Ларисы Ванеевой о творчестве Светланы Василенко.

В этом же номере «Радуги» с предисловием Ларисы Ванеевой печатается и повесть Владислава Отрошенко «Тайна жалонёрского искусства, или Разоблачение д-ра Казина», а также рассказ самой Ванеевой «Такую не знаю» (с автопредисловием).

**Елена Волкова.** Варлам Шаламов: поединок слова с абсурдом. — «Вопросы литературы», 1997, № 6 (ноябрь — декабрь).

Перенос акцента с содержания на форму — своеобразную эстетику Варлама Шаламова. Ритм прозаического повествования. Елене Волковой также принадлежит статья о поэзии Шаламова («Человек», 1997, № 1).

**Рената Гальцева.** Выключить телевизор можно было и при прежнем режиме. — «Московский Церковный вестник». Газета Московского Патриархата. Тираж 10 000 экз. 1997, № 11-12.

Темпераментная, как все выступления Р. Гальцевой, но и аргументированная статья против скандально известного фильма Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа», *неблагодарно* показанного в ноябре 1997 года на НТВ вопреки просьбам Патриарха Алексия II.

**Сергей Гандлевский.** «В поэзии есть бабья мудрость...». Беседу вел Сергей Юров. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1997, № 4200, 4 — 10 декабря.

Поэт и так повышенно чувствителен, «его дополнительно мучить не надо»; ему, «чтобы осуществиться, совсем не обязательно греметь кандалами». Еще цитата: «Будучи спокойным патриотом, я пожелал бы России лет 200 — 300 пожить смиренной Бельгией (да кто ж ей даст?! — А. В.)». Тут же — новые стихотворения. Эти же четыре стихотворения напечатаны в журнале «Знамя» (1997, № 11).

О поэзии Сергея Гандлевского см. статью Глеба Шульпякова «Сюжет Питера Брейгеля» («Арион», 1997, № 3).

**М. Л. Гаспаров.** Из разговоров С. С. Аверинцева. — «Новое литературное обозрение», № 27 (1997).

К 60-летию С. С. Аверинцева. «Это не стенограммы, а конспекты». Аверинцев говорит: «На своих предшественников я смотрю снизу вверх и поэтому вынужден быть резким, так как не могу быть снисходительным». Еще цитата: «Современной контркультуре кажется, что 60-е годы были временем молодых, а нам, современникам, казалось, что это было время оттаявших пятидесятилетних». Тут же напечатана статья Ольги Седаковой об Аверинцеве «Рассуждение о методе». Тут же фотография: Аверинцев, Седакова и Папа Римский.

**Георгий Гачев.** Германский мир и ум глазами русского. По рассказу Николая Лескова «Железная воля». — «Вопросы литературы», 1997, № 6 (ноябрь — декабрь).

Фрагмент авторской панорамы «Национальные образы мира» («Национальные образы мира», М., 1988; «Русская Дума», М., 1991; «Русский Эрос», М., 1994; «Космо-Психо-Логос», М., 1995; «Америка в сравнении с Россией и Славянством», М., 1997). Готовится том, посвященный Германии.

**Александр Генис.** Поле чудес. Виктор Пелевин. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1997, № 12.

Десятая из бесед А. Гениса о «новой словесности», опубликованных «Звездой» в 1997 году. Напомню о предыдущих девяти: «Курган соцреализма» (№ 2), «Правда дурака. Андрей Синявский» (№ 3), «Прикосновение Мидаса. Владимир Маканин» (№ 4), «Пейзаж зазеркалья. Андрей Битов» (№ 5), «Благая весть. Венедикт Ерофеев» (№ 6), «Сад камней. Сергей Довлатов» (№ 7), «Горизонт свободы. Саша Соколов» (№ 8), «Рисунок на полях. Татьяна Толстая» (№ 9), «Чуэнь и жидо. Владимир Сорокин» (№ 10).

Сокращенный вариант этого цикла существует в виде одной статьи А. Гениса «Обживая хаос. Русская литература в конце XX века» («Континент», № 94).

«...Говорить друг с другом, как с собой...». Глеб Семенов и Тамара Хмельницкая. Переписка 1962 — 1965 гг. Публикация, вступительная заметка и примечания Е. Кумпан. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1997, № 12.

Ленинградский поэт в Москве: «Чувствую, как мне будет трудно. Печататься уж ладно, — показывать будет некому! Стихов как вида искусства здесь (среди пишущей братии) не признают. Недаром даже у интеллигенции — в кумирах Коржавин и Корнилов...» (из письма Глеба Семенова к Тамаре Хмельницкой в Ленинград от 16 января 1965 года). В одном из примечаний публикатор и комментатор писем Елена Кумпан приводит такой лю-

бопытный «сюжет» в пересказе Глеба Семенова: «На одном из заседаний начальства СП РСФСР за круглым столом кто-то со скуки стал обшаривать свои карманы и вдруг вытащил маленькое карманное издание „Доктора Живаго“. Книжка пошла со столу, и раздались комментарии — А у меня есть большое, американское... А у меня подарочное, швейцарское, что ли... и т. д. У каждого оказалось в собственности заграничное издание романа. Трудно не вспомнить, что в 1960 году Кирилл Косцинский отправился в лагерь на пять лет за хранение американского издания „Доктора Живаго“...»

**Александр Гольдштейн.** «От премии не откажусь». Беседу вел Александр Волынкин. — «Независимая газета», 1997, № 232, 9 декабря.

Тель-авивский житель, лауреат Малого Букера и Антибукера, критик и эссеист А. Гольдштейн о том, что ему было бы интересно написать о людях искусства, связанных с русской националистической и евразийской идеологией, таких, как Галковский и Дугин. «Но написать о них я хочу в несколько ином, внеидеологическом плане. В плане личного знакомства, переходящего в физиологическую плоскость (хотя я и не знаком лично ни с тем, ни с другим). Я чувствую за всем этим психофизиологический национальный субстрат: национальное, переходящее в плоскость физиологии... Еще я с удовольствием написал бы о Курехине, который недостаточно, на мой взгляд, осмыслен как последний русский вагнерианец, стремившийся к синтезу искусства и политики. Когда говорят, что его фашизм последних лет был либо игрой, либо ужасным заблуждением, это не так. Именно такой тип искусства требует радикальной политики.»

**Эльвира Горюхина.** Путешествия учительницы на Кавказ. — «Дружба народов», 1997, № 10, 11, 12.

Три очерка. Рискованные путешествия по «горячим точкам». Кондорское ущелье, Чечня, Карабах.

**Иван Громов.** На перекрестке времени. Повесть. Предисловие и публикация Василия Голованова. — «Новая Юность», № 24 (1997, № 3).

Небольшая повесть 1954 года, написанная автором за несколько месяцев до смерти. История одного московского дома и его жильцов, рассказанная от лица... самого московского дома. По выражению публикатора, Иван Иванович Громов — «несостоявшийся талант», всю жизнь борющийся со своим истинным призванием.

В ближайших номерах «Новый мир» предполагает напечатать рецензию Вл. Славецкого на это странное произведение, которое, по ощущению критика, может оказаться мистификацией. А может, и нет.

**Игорь Данилевский.** Загадки «Русской земли». — «Знание — сила», 1997, № 11.

Смысл выражения «Русская земля» со временем менялся, и весьма существенно. «Русских земель» было много. Киев как Новый Иерусалим.

**Даниил Данин.** Дневник одного года, или Монолог-67. Отрывок. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1997, № 12.

Отрывок, «по техническим причинам» выпавший из основной публикации дневников Д. Данина в «Звезде» (1997, № 4, 5, 6). Публикуется «по просьбе автора». Среди прочего: «Зримо стареет Виктор Некрасов. В его облике появилась несчастливая. Стало видно, что он — писатель несчастливой судьбы. И видно, что денег нет. Но еще виднее другое: он сознает, что его прекрасная репутация вольнолюбца далеко обогнала его творчество и дела. Представляю, как он постоянно примеряет свой рост по Солженицыну и томится этим сравнением». К этой записи от 3 июля 1967 года идет «Добавление 80 г.»: «Год назад мы встретились в майском Париже. Он постарел, естественно, еще больше. Но в нем появилась истинная счастливость. Созданный для сочувственного глазения на мир, он зажил наконец желанной жизнью. И больше не примеривается к С. — даже внутренне враждует с ним, как прирожденный и убежденный западник. Как-то он тихо сказал мне на ухо: „Понимаешь, я не люблю Христа!“...»

**Е. Добренко.** Нашествие слов. Дмитрий Пригов и конец советской литературы. — «Вопросы литературы», 1997, № 6 (ноябрь — декабрь).

Концептуализм и соцарт не являются больше сюжетами «литературной критики»; Пригов, как и Софронов, стал персонажем «истории литературы». Пригов — последний советский писатель.

**Александр Долинин.** Загадка недописанного романа. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1997, № 12.

О последнем, незавершенном произведении русского писателя В. Сирина. Остались два фрагмента: «Solus Rex» и «Ultima Thule». Далее американский прозаик В. Набоков писал уже на английском.

**Джон Донн: портрет на фоне эпохи.** — «Литературное обозрение». Журнал художественной литературы, критики и библиографии. Главный редактор Виктор Куллэ. 1997, № 5.

В подборку, посвященную поэтам-елизаветинцам, вошли следующие материалы: элгии Джона Донна в переводах В. Л. Топорова; статья А. Нестерова «К последнему пределу. Джон Донн: портрет на фоне эпохи»; молитвы, увещевания и медитации Джона Донна «Взывая на краю» в переводах А. Нестерова; «Проповедь» Джона Донна в переводе А. Курт; статья Т.-С. Элиота «Поэты-метафизики»; статья Григория Кружкова «„Аромат“ Джона Донна и нюх лорда Берли»; русскоязычная библиография Джона Донна, составленная А. Нестеровым; статья А. Нестерова «Игра о сэре Уолтере Рэли...»; стихи сэра Уолтера Рэли в переводах Г. Кружкова; эссе Г. Кружкова «Притча об олене» и его же стихотворение «Жизнь открывается снова».

**Борис Дубин.** Уроки безъязычия. — «Знание — сила», 1997, № 11.

Проблема всеобщей работы по извлечению опыта из пережитого страной в XX веке. Необходимые условия: сообщество, которое этот опыт извлекает, осмысляет и предъявляет «большому обществу»; специально организованная сфера публичности, в которой становятся возможны общие дискуссии; наконец, восприимчивость общественного сознания к новым идеям. Среди прочего: «Ровный гул нормальной и регулярной работы налаженного механизма — очень важная, незаменимая вещь. Скажем, была такая чисто российская, потому — советская форма взаимодействия людей, мыслей и текстов, как толстый журнал... Вроде бы на их месте должны были объявиться какие-то маленькие групповые журналы, постепенно выходящие из своего группового подполья на более широкий уровень... Но тиражи толстых журналов снизились до тиражей маленьких, а маленькие не несут в себе новых программ».

**Норман Дуглас.** Южный ветер. Главы из романа. Предисловие и перевод с английского Сергея Ильина. — «Новая Юность», № 25 (1997, № 4).

«Южный ветер» (1917) — первый из трех романов Нормана Дугласа (1868 — 1952), принесший автору мировую славу и переиздающийся до сих пор. «Мое поколение выросло на „Южном ветре“», — написал однажды Грэхем Грин.

**Борис Екимов.** На земле живем... — «День литературы», 1997, № 6, декабрь.

Встреча с читателями после вручения премии «Москва-Пенне». Среди прочего писатель, постоянный автор «Нового мира», говорит о том, что все его герои — из жизни: «...они настолько реальные — до обиды, до боли, до скандалов на моей родине».

**Иван Есаулов.** История русской литературы и революционно-демократическая мифология. — «Литература в школе». Научно-методический журнал. Основан в августе 1914 года. Главный редактор Н. Л. Крупина. 1997, № 7.

О необходимости преодолеть не только советскую схему истории русской литературы, но всю «прогрессивную», сложившуюся в XIX веке, полностью находящуюся в пределах «левого мифа», схему развития русской словесности.

**Александр Жолковский.** Книга книг Пастернака. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1997, № 12.

К 75-летию книги «Сестра моя — жизнь», третьей по порядку, но первой, принесшей Пастернаку настоящее признание. Исследователь считает, что внимание к «иудейско-христианской» теме позволяет пролить неожиданный свет не только на самую суть третьей книги поэта, но и на весь его жизненный и творческий «текст».

**Знамя Плюс.** 97/98. Рекламный выпуск. 3000 экз.

Специальный дополнительный номер журнала «Знамя», изданный ограниченным тиражом при финансовой поддержке соросовского Института «Открытое общество», включает в себя наиболее интересные с точки зрения редакции публикации 1997 года, статьи, неизменно отражавшиеся в новомирской рубрике «Периодика». В частности — рассказ Фазиля Искандера «Думающий о России и американец», «Разговоры с Юрием Домбровским» Теодора Вульфовича, переписка Бориса Пастернака с Элен Пельтье-Замойской и др.

**Андрей Зорин.** Идеология «православия — самодержавия — народности»: опыт реконструкции. Неизвестный автограф меморандума С. С. Уварова Николаю I. — «Новое литературное обозрение», № 26 (1997).

Черновик письма С. С. Уварова Николаю I, датированный мартом 1832 года (обнаружен М. М. Шевченко). Самое раннее упоминание пресловутой «триады» — за полтора года до подачи официального доклада Императору. Уваров как «просвещенный консерватор». Тут же печатается само письмо: по-французски и в русском переводе.

**Тимур Зульфикаров.** Алый цыган! Малиновый конь! Умиравший поэт! Прощайте... Поэма. — «Юность», 1997, № 11.

Поэма в прозе. Лес восклицательных знаков! Реки отточий...

**Владимир Иваницкий.** Архетипы успеха и русская сказка. — «Знание — сила», 1997, № 8, 10, 11.

Путешествие по пространству русской сказки. Три сценария успеха: мужской, медиаторный, женский.

**Алексей Иванов.** Зеленый лимон. Повесть. — «Знамя», 1997, № 11.

Повесть с моралью. О том, как «новый бедный» случайно ухватил миллион долларов. Мораль: не в деньгах счастье.

**Всеволод Иванов.** «Во время войны приходит пробуждение...». Ташкентский дневник. 1942. Вступление Вяч. Вс. Иванова. Публикация, подготовка текста и примечания Елены Папковой-Ивановой. — «Октябрь», 1997, № 12.

Дневники Всеволода Иванова охватывают большой период — с предвоенных лет до шестидесятых годов. В настоящей публикации отражено время ташкентской эвакуации. События на фронте: сводки, домыслы, слухи. Писатели в тылу. «Как жаль, что все это нельзя изобразить в романе. Петров разбился — упал у Миллерова подстреленный немцами самолет. Янко Купала умер, бросившись в пролет лестницы гостиницы „Москва“. Цветаева повесилась! Тренев, Федин, Пастернак, я и другие объявлены дезертирами. Хорошенький цветник» (запись от 7 июля 1942 года). Тут же: «Читал логику Розанова „О понимании“. Великолепнейший русский язык, а в системе, как и у большинства современных философов, — радость строительства системы. Когда в будущем философы научатся говорить в диктограф (да и диктографы подешевеют), системы будут совсем необъятны» (запись от 25 — 27 июля 1942 года).

**В. Кардин.** Загадки Кремля и секреты писательского ремесла. — «Знамя», 1997, № 11.

Памфлет о бестселлере Эд. Радзинского «Сталин»: технология триллера, очевидные ошибки... Попутно выясняется: Кардин Сталина только ненавидит (почти как В. Кожинова), а Радзинскому он еще и интересен. Поэтому биографию Сталина написал Радзинский, а не Кардин.

**Анатолий Ким.** В облаках. Рассказ. — «Знамя», 1997, № 11.

См. также в журнале «Юность» (1997, № 11) стихи и рисунки — новые грани дарования известного прозаика.

**Вадим Кожинов.** Была ли духовная жизнь? — «Москва», 1997, № 12.

Отклик на жизнеописание А. Ф. Лосева, созданное А. А. Тахо-Годи (М., 1997, серия «ЖЗЛ»). Духовная жизнь в России 20 — 80-х годов *была*, доказательством этого является «не только творчество Лосева и Бахтина как таковое, но и тот факт, что они шли своими самостоятельными путями, творя многогранное богатство русской мысли XX века».

**Николай Коняев.** Ангел Родины. Повесть о посмертной судьбе Николая Рубцова. — «Наш современник», 1997, № 12.

«Светлая, подлинно русская поэзия Рубцова в самом прямом смысле противостояла сатанинской идеологии шестидесятничества... И в этом смысле убийство Рубцова можно считать, конечно же, спланированным. Другое дело, что планировал его не какой-то хитроумный масон и тем более не сама Дербина, а тот темный сатанинский дух, что подчинял себе и титулованных гонителей русской культуры и православия, и эстрадных поэтов, и молоденькую, потянувшуюся к московским болотным огням девушку».

**Лев Копелев.** Поэт с берегов Рейна. — «Независимая газета», 1997, № 236, 17 декабря.

К 200-летию со дня рождения Генриха Гейне. Отрывок из книги Льва Копелева (1912 — 1997) «Генрих Гейне: поэт с берегов Рейна», вышедшей в Германии на немецком языке. Над русским вариантом книги Копелев работал до самых последних дней жизни.

**Сергей Костырко.** Никто не будет читать с экрана «Красное Колесо». История одного литературного сайта. — «Русский Телеграф», 1997, № 57, 5 декабря.

Об электронном дайджесте журнала «Новый мир» (см. «Журнальный зал» в «Русском клубе» на страницах сайта «Агама в Интернет» по адресу [www.agama.com](http://www.agama.com)) рассказывает один из активных участников проекта, осуществление которого оказалось возможным *благодаря*, а отнюдь не вопреки будто бы «враждебным культуре» реалиям современного компьютеризированного мира.

**Юрий Красавин.** Провинциальные страсти. Повесть. — «Москва», 1997, № 12.

Писатель в провинции. Жить не на что. Пытается создать историю города Новая Корчева. Бюрократические мьпарства.

См. также очерк Юрия Красавина «Новая Корчева. Провинциальные зарисовки» («Новый мир», 1997, № 2).

**Марина Кудимова.** Живое — это мертвое. Некромир в произведениях Людмилы Петрушевской. — Книжное обозрение «Ех libris НГ», 1997, № 20, декабрь.

Большая статья, на всю газетную полосу. «Оргиастичность прозы Петрушевской ничуть не противоречит танатологичности...» Лучшее в статье — неожиданное, но вполне уместное воспоминание о полузабытой ныне, но от этого не менее замечательной книге Федора Решетникова «Подлиповцы».

**Станислав Куняев.** Терновый венец. — «Наш современник», 1997, № 12.

Статья о поэзии Ярослава Смелякова.

**Диакон Андрей Кураев.** Нетерпимость как право на мысль. — «Москва», 1997, № 12.

О том, с чего начинался и к чему пришел экуменизм. Диалог религий превратился в религию диалога. «Редуцировать всю свою жизнь к одному чувству терпимости — это насилие и просто извращение... Признать свободу совести — мой гражданский долг. Но отстаивать единственность церковной веры — мой христианский долг».

**Семен Ласкин.** Роман со странностями. — «Звезда», 1997, № 12.

Роман о драматической жизни художницы Веры Михайловны Ермолаевой. В свое время сменила Шагала на посту руководителя Витебской художественной школы, была близка к Казимиру Малевичу. Ходила на костылях. Арестована в 1934 году, погибла в лагере где-то близ Аральского моря. Под «странностями» романа имеются в виду диалоги автора с покойной художницей — через посредство таинственных «контактеров». Писатель настаивает, что это не метафора.

**Станислав Лем.** «Если человек верует, я могу лишить его веры». Беседу вел Константин Душенко. — «Неделя», 1997, № 44, 1 — 7 декабря.

О космосе, науке, компьютерах, христианстве, свободе слова и проч. «Я порнографии нигде не вижу, потому что не ищю ее. А кто не ищет, тот не найдет». Станислав Лем — твердый сторонник смертной казни. Представляют интерес его замечания о том, что массовая культура — не наркотик, а скорее анальгетик, обезболивающее средство, а также о том, что колонизация Марса невозможна, там можно было бы, потратив огромные средства, построить разве что космический ГУЛАГ — «но, скажите мне, для кого?». Кстати, слова, вынесенные в заголовок беседы, искажают мысль Лема, хоть и атеиста. Цитирую: «Я держусь правила „Блаженны верующие“. Если человек верует, я ничего не могу ему дать, я могу только лишить его веры. А вера — сама по себе ценность». Почувствуйте разницу.

**Александр Морозов.** Чужие письма. Этопья. — «Знамя», 1997, № 11.

Повесть 1968 года о человеческой *пошлости*, не напечатанная в свое время в «Новом мире», да и в других литературных журналах. Жанр «этопья» расшифровывается автором как «правдоподобные речи вымышленного лица».

**Андрей Немзер.** Из тени в свет перелетая. — «Известия», 1997, № 244, 26 декабря.

На вопрос: «А было ли что-то стоящее в толстых литературных журналах в этом году?» — критик радостно отвечает: было. В частности, отмечены новомирские публикации Анатолия Азольского, Валерия Исакова, Анатолия Наймана, Ирины Полянской, Галины Щербаковой.

**Валентин Непомнящий.** Феномен Пушкина. Интервью взяла Зоя Светова. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, № 4199, 27 ноября — 3 декабря.

Среди прочего о том, что смешно день 6 июня объявлять национальным праздником (есть такие предложения); власть правильно чувствует, что Пушкин аккумулирует в себе национальную духовность, но не дай Бог, если Пушкин официально станет «национальной идеей».

**Андрей Никонов.** Стукну земля. Еще одно слово о «Слове». — «Знание — сила», 1997, № 11.

Специалист-сейсмолог читает «Слово о полку Игореве». Побег Игоря из плена и... крымское землетрясение 1185 года.

**Владимир Новиков.** Пресстиция. Стеб и вранье вместо литературной критики. — «Литературная газета», 1997, № 51-52, 24 декабря.

Стеб как стиль и как общее место. Стебовая журналистика в прессе съела литературную критику. Персонажи: Татьяна Щербина, Константин Кедров, Вячеслав Курицын.

**Регина Нойхель.** Мечты и кошмары. О телесном и сексуальном в постсоветской женской прозе. — «Преображение». Русский феминистический журнал. Издаётся с 1993 года. Главный редактор Нина Габриэлян. Тираж 1000 экз. 1996, № 4.

Преподаватель Тюбингенского университета (Германия) использует творчество Людмилы Петрушевской, Виктории Токаревой, Светланы Василенко и других как материал для



такого рода выводов: «Описание телесного и сексуального в творчестве русских писательниц отражает, без сомнения, „грубое, натуральное состояние общества, прошедшего свое развитие лишь в форме технических, инструментальных преобразований” — холодный, технически бесстрастный, молчаливый „византийский” вариант репрессивной десублимации, который, как известно, в наши дни вступает в открытый и фатальный союз со своим болтливым, гедонистическим западным „партнером”, приверженным к конкурсам красоты и порнографии...»

**Булат Окуджава.** Все еще впереди. — «Мир Паустовского». Культурно-просветительный и литературно-художественный журнал. Литературный музей-центр К. Г. Паустовского. Издаётся с 1992 года. Главный редактор Галина Корнилова. Тираж 3000 экз. 1998, № 11-12.

Эссе об известном альманахе «Тарусские страницы» (Калужское издательство, 1961), автором которого был и Окуджава. Видимо, одна из последних его работ, датированная мартом 1997 года. Написана специально для журнала «Мир Паустовского».

Весь номер этого красивого издания посвящен Тарусе. Печатаются статьи К. Паустовского «За красоту родной земли», «Письмо из Тарусы», «Пока не поздно», «Судьба маленького города»; партийные документы, связанные с крамольными «Тарусскими страницами»; воспоминания Галины Корниловой, Наума Коржавина; «тарусские» тексты Юрия Казакова, Бориса Балтера, Аркадия Штейнберга, Ариадны Эфрон, Александра Ревича, Федора Поленова и другие материалы.

**М. В. Осорина.** Чем привлекательна свалка. — «Журнал практического психолога». Главный редактор А. Г. Лидерс. Тираж 1900 экз. 1997, № 5.

Ликбез для родителей: свалка-помойка и чем она хороша. Глава из книги «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых». Доцент факультета психологии СПбГУ Мария Владимировна Осорина — единственный в России психолог, разработавший и читающий студентам учебный курс «Детская субкультура». В № 6 того же журнала напечатана статья М. В. Осориной «„Черная простыня летит по городу”, или Зачем дети рассказывают страшные истории» — о потаенных жанрах детского фольклора.

**Борис Парамонов.** Потомки Достоевского. — «Звезда», Санкт-Петербург, 1997, 12.

Достоевский перестает ощущаться учителем, потому что «исчез главный объект критики Достоевского — проект так называемого окончательного устройства, пресловутый хрустальный дворец, оказавшийся колоссальной тюрьмой». Тут же о всемирной отзывчивости русского человека. Горбачев — человек из «лаборатории» Достоевского. «Горбачев опьянел и закурился, как на радении на хлыстовском „корабле”. Ему захотелось слиться с миром в дионисийском хороводе. Уступки миру, которые сделал Горбачев, были чем угодно, только не политикой. Говорят, что Маргарет Тэтчер схватилась за голову, узнав, что Горбачев согласился на объединение Германии за просто так... На Западе, однако, живут люди, не слишком склонные ни к дионисийскому опьянению, ни к францисканскому любвеобилию, и достаточно скоро новая Россия получила ответ на свои призывы к братству: проект расширения НАТО на Восток».

В текущем году «Новый мир» намерен отрецензировать книгу Б. Парамонова «Конец стиля» (М., 1997), включающую в себя многие эссе, опубликованные под рубрикой «Философский комментарий» в журнале «Звезда».

**Портрет в зеркалах. Вальтер Беньямин.** Составление и предисловие Бориса Дубина. — «Иностранная литература», 1997, № 12.

О немецком писателе, эссеисте Вальтере Беньямине (Walter Benjamin; 1892 — 1940). В подборку вошли следующие материалы: Вальтер Беньямин, «Центральный парк» (перевод с немецкого Александра Ярина); Ханна Арендт, «Вальтер Беньямин» (перевод с английского Бориса Дубина); Морис Бланшо, «О переводе» (перевод с французского Бориса Дубина); Гершом Шолем, «Вальтер Беньямин и его ангел» (перевод с немецкого Наталии Зоркой).

**Олег Постнов.** Ночные повести Валерьяна Сомова. — «Нева», Санкт-Петербург, 1997, № 10.

Проза новосибирского филолога. О наших днях. Стилизованная под «Повести Белкина».

**Премия России.** — «Литературная Россия», 1998, № 1-2.

Русский биографический институт, Союз писателей России и Агентство «Сократ» учредили ежегодные литературные премии России — одну Большую (12 тысяч долларов) и четыре Малые (по 2 тысячи долларов). Конкурсную комиссию возглавляет генеральный директор Русского биографического института С. Рыбас. 24 декабря 1997 года комиссия вынесла решение. Большую российскую литературную премию 1997 года присудили Дмитрию Балашову (Новгород) за роман «Святая Русь», завершающий цикл романов «Государя

Московские». Малые российские литературные премии получили Светлана Сырнева (Вятка), Николай Шипилов (Московская обл.), Валентин Распутин (Иркутск), Виталий Третьяков (Москва) и Юрий Козлов (Москва).

**Валентина Рогова.** Бег Александра Дранкова. — «Независимая газета», 1997, № 236, 17 декабря.

Даты рождения и смерти отечественного кинодельца Александра Осиповича Дранкова неизвестны. Конкурент Ханжонкова. После революции — *бег*, Константинополь, США. Будто бы это он придумал те самые *тараканы бега*. В энциклопедиях не значится.

**Михаил Рошин.** 100 %. — «Литературная газета», 1997, № 49, 3 декабря.

Взволнованный отклик известного драматурга и прозаика на поэтическую книгу Веры Павловой «Небесное животное» (М., «Золотой век», 1997). 100 % — это значит «стоцентная женщина и стопроцентный поэт». От себя добавлю: «стоцентная женщина» — это с точки зрения мужчины, а вот что скажут феминистки?

**Анна Саакянц.** Священная ревность. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1997, с № 4200 по 4202.

К 105-летию со дня рождения Марины Цветаевой и к 85-летию со дня рождения Ариадны Эфрон. Публикуя материнское наследие, дочь... писала за мать стихотворные строки, пропущенные слова (приводятся примеры «соавторства» в новомирской публикации поэмы «Егорушка»), сочиняла «в интересах дела» ложные цитаты из ее будто бы писем, додумывала факты биографии. «В 60-е годы она предложила журналу „Литературная Армения“ написать очерк о встрече в Париже Марины Цветаевой с Аветиком Исаакяном. И написала блестяще эссе „Самофракийская победа“. И только позже, через несколько лет, призналась мне, что встречу Исаакяна с Цветаевой в Лувре „под сенью“ Ники Самофракийской она полностью выдумала».

**Андрей Савельев.** Потерянный опыт Кавказской войны. — «Москва», 1997, № 12.

Критический разбор распространенных представлений о завоевательном характере Кавказской войны XIX века и соответственно национально-освободительном характере борьбы горских народов с Россией. «В Чеченской войне, как оказалось, потеряли опыт Кавказской войны».

**Ирина Савкина.** Говори, Мария! Заметки о современной женской прозе. — «Преображение». Русский феминистический журнал. 1996, № 4.

Для петрозаводского кандидата филологических наук, преподающего русскую литературу в университете г. Тампере (Финляндия), как и для других авторов феминистического журнала «Преображение», не существует *плохой* женской литературы.

**Нина Садур.** Девочка ночью. Повесть. — «Преображение». Русский феминистический журнал. 1996, № 4.

Повесть 1981 года. Девочка. Ночь. Снег.

**Александр Секацкий.** Шпион и разведчик: инструменты философии. — «Митин журнал», Санкт-Петербург, 1997, № 55.

Разведчик/шпион как пример «несчастливого сознания, пребывающего в абсолютной разорванности» (Гегель). Все мы — шпионы. Феноменология шпионажа. Хайдеггер. Фуко. Сам автор (род. в 1959) представлен редакцией как «петербургский философ».

**Леонид Ситко.** Средь неведомых равнин. Из книги воспоминаний. — «Знамя», 1997, № 11.

Бутырская тюрьма 1948 года. Степлаг. Инталия. Главы из мемуарной книги «Где мой ветер?». См. в «Русской мысли» (1997, № 4201, 11 — 17 декабря) рецензию Бориса Вайля «Записки неисправимого романтика» на эту книгу.

См. также воспоминания Л. Ситко «Дубровлаг при Хрущеве» («Новый мир», 1997, № 10), получившие новомирскую премию по итогам минувшего года.

**Владимир Славецкий.** Новый эссеизм. — «День литературы», 1997, № 6, декабрь.

О прозе Петра Паламарчука и в связи с ней. Наше «культурное время» (90-е годы) как эпоха эссеистического комментаторства или комментаторской эссеистики. Духовные искания возвращаются в виде отреставрированных храмов и откомментированных текстов, но не *мировоззрения*.

См. также новую прозу Петра Паламарчука «Клоака Максима, она же Четвертый Рим» («Юность», 1997, № 12). История строительства, разрушения и восстановления храма Христа Спасителя; история рождения и гибели московского издательства «Третий Рим» (сиречь

«Столица?»); а также: Италия, Бельгия, Владимир Максимов, НТС, КГБ и др. Со скабрзными эпизодами, оживляющими повествование.

**Б. В. Соколов.** Письмо в редакцию. — «Новое литературное обозрение», № 27 (1997).

Создатель так называемой «Булгаковской энциклопедии» (М., 1997) спорит с критическим отзывом трех племянниц Михаила Булгакова — И. Л. Карум, В. М. Светлаевой и Е. А. Земской — об этой «энциклопедии» (см. их письмо в «Новом литературном обозрении», № 25). В частности, он пишет: «Я уверен, что ничего постыдного нет в том, что достоянием читателей и исследователей становятся данные о самых интимных подробностях жизни писателей и их окружения. Ведь без этих подробностей часто нельзя понять смысл тех или иных произведений или объяснить давно известные биографические факты». Что же это за литературные произведения, *смысла* которых *нельзя понять* без знания *самых* интимных подробностей жизни писателя? Коли они и есть в природе, то, верно, не стоят нашего внимания. Б. В. Соколову устало и убедительно отвечает А. Рейтблат.

**Роман Солнцев.** ЦБ. Роман. — «Нева», Санкт-Петербург, 1997, № 10, 11.

О наших днях. О людях, контуженных реформами. ЦБ — ценная бумага.

**Дмитрий Стахов.** Ночь в конце века. Рассказы. — «Дружба народов», 1997, № 12.

«История околдованного портретом Долгозвяги Предыбайлова», «История ужасных превращений Вити Трясоумова», «История руки Крыкова и страданий Выросткевича» — утрированно-фантастические рассказы о «новой русской» жизни. С ведьмами, вампирами, невероятной трансплантацией органов и волшебной переменой пола туда и обратно.

**Борис Тарасов.** Лев Толстой — читатель Блеза Паскаля. — «Вопросы литературы», 1997, № 6 (ноябрь — декабрь).

О влиянии французского мыслителя на Льва Толстого. Однако автор известной биографии Паскаля («ЖЗЛ», 1979, 1982) позволил себе высказать нелицеприятные суждения о религиозных исканиях яснополянского старца. Скажем, такие: «Конечно же, как глубокий мыслитель, Толстой должен был хорошо чувствовать и понимать, что гордость составляет главную преграду между Богом и его душой, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать и что лишь смиренномудрый подвиг воли через постоянное очищение сердца, покаяние, любовь и совершенствование в святости дает ключ к тем самым „тайнам“, которые недоступны пылливому разуму и рассудочным доводам». И вот эта мягкая, корректная (даже чересчур «политкорректная») фраза сопровождается специальной редакционной сноской о том, что редакция мнение автора не разделяет. Значит ли это, что редакция «Вопросов литературы» разделяет все прочие мнения всех авторов этого номера? А других номеров? И самое загадочное: *чего и кого* испугались?

**А. Т. Твардовский, М. И. Твардовская.** Несгоревшие письма. Предисловие, публикация и примечания к письмам М. И. Белкиной. Послесловие В. А. Твардовской. Комментарии О. А. Твардовской. — «Знамя», 1997, № 11.

Письма А. Т. Твардовского и М. И. Твардовской 1930 — 1935 годов к А. К. Тарасенкову.

**Тема: Крым.** — «Новая Юность», № 25 (1997, № 4).

Крым — сквозная тема эссе Александра Люсого «Рождение и смерть крымской метафизики, или Семен Бобров», Владимира Микушевича «Отродье кошки и кобылы», Владимира Березина «Метафора Крыма», Алексея Саганя «Живущее здесь чудо» и Рустама Рахматуллина «Скажи сезам».

**Эмиль Годэ.** Пограничье. Роман. Перевела с эстонского Вера Рубер. — «Дружба народов», 1997, № 12.

Роман эстонского прозаика, уже переведенный на множество языков.

**Виктория Токарева.** «Я пишу все лучше и лучше». Беседу вела Анна Мартовицкая. — «Журналист». Еженедельная газета. 1997, № 9, 27 ноября.

Трогательная цитата: «...а на Западе говорят, что я пишу все лучше и лучше...»

«Журналист» — печатный орган факультета журналистики МГУ. С цветными иллюстрациями. Данный номер газеты целиком подготовлен студентами второго курса, начинающими культурологами и критиками. Тут же напечатаны интервью с Дмитрием Быковым, материалы о претендентах на премию Букера, рецензии на фильмы Дэвида Линча «Lost Highway», Павла Чухрая «Вор» и другие материалы.

**Николай Толстой.** Американец. — «Новая Юность», № 22-23 (1997, № 1-2).

Николай Дмитриевич Толстой-Милославский — о знаменитом Федоре Толстом «Американце». Отрывок из монографии «Толстые. Двадцать четыре поколения на фоне русской истории. 1353 — 1983» (Лондон, 1983).

**Елена Трофимова.** Русский постмодернизм: аксиология поэзии Нины Искренко. — «Преображение». Русский феминистический журнал. 1996, № 4.

О том, что смерть помешала ей стать феминисткой. К счастью, статья не только об этом.

«Филологическая школа». 40 лет. — «Литературное обозрение», 1997, № 5.

В подборку, посвященную «филологической школе», полулегендарному литературному сообществу конца 50 — 60-х годов (Л. Лосев, В. Уфлянд, М. Еремин и другие), вошли следующие материалы: статья Михаила Айзенберга «Литература за одним столом»; воспоминания Владимира Уфлянда «Пятидесятый шестидесятник»; статья Анатолия Наймана «О Михаиле Еремине»; стихотворения Михаила Еремина 1957 — 1997 годов; стихотворения А. Кондратова (1937 — 1993) с предисловием Владимира Уфлянда «Александр Кондратов, классический авангардист»; стихотворения Сергея Кулле (1936 — 1984) с предисловием Маргариты Разумовской; статья Людмилы Зубовой «„Поэтическая филология” Льва Лосева»; статья Виктора Кулле «„Филологическая школа”. Приглашение к библиографии» и сама эта библиография.

**Сергей Чупринин.** Литература и Россия: размолвка или прощание навсегда? Обращение главного редактора журнала «Знамя» к народу. — «Общая газета», 1997, № 49, 11 — 17 декабря.

В частности, о том, что тиражи отдельных изданий «серьезных» романов редко-редко возвышаются над тиражами литературных журналов. «Поэтому говорить, мне кажется, и говорить внятно, следует не о кризисе литературных журналов, а о тотальной потере интереса современного российского образованного сословия к современной российской литературе. Когда новый роман даровитого и даже, как уверяют, модного сочинителя выходит тем же тиражом „для специалистов”, что и монография о судьбах фламандской драматургии XVIII века, к падению журнальной популярности относишься уже не как к личной проблеме традиционных „толстяков”, но как к индикатору общей бедственности».

**Евгений Шварц.** Стихотворения. — «Речитатив». Автор концепции и создатель журнала Андрей Крыжановский. Главный редактор Михаил Дейнека. Номер издан на средства семьи А. Крыжановского. Тираж 3000 экз. Санкт-Петербург, 1997, № 1.

К 100-летию Е. Л. Шварца. Стихотворения 20 — 40-х годов. Поэма «Страшный суд» (1946 — 1947). Статья Евгения Биневиича «Поэт Евгений Шварц».

В этом же номере поэтического журнала «Речитатив» напечатаны полемическая статья Наталии Крыжановской «Поверим поэту», оспаривающая многие положения статьи Марины Кудимовой «Подселенец» («Континент», № 87) о жизни и творчестве поэта Андрея Крыжановского; и несколько его неопубликованных стихотворений; а также древнеегипетская повесть «Красноречивый поселенин» в переводе Ивана Рака; в рубрике «Вторая муза» — стихотворения известных фантастов Михаила Успенского и Евгения Лукина; поэма Виктора Сосноры «Возвращение к морю» и стихотворения других современных поэтов.

В № 2 «Речитатива» за 1997 год напечатаны рассказы Андрея Крыжановского, «Литературные портреты» Гийома Аполлинера (перевод М. Яснова), «Советы молодым литераторам» Шарля Бодлера (перевод Л. Цивьяна) и другие материалы. Следующий номер журнала обещан только во второй половине 1998 года.

**Михаил Ямпольский.** Ленин провозглашает Советскую власть. Заметки о дискурсе основания. — «Новое литературное обозрение», № 26 (1997).

Одна из особенностей Октябрьской революции — отсутствие «основополагающего символического документа, принятие которого оформляло бы эту революцию идеологически и придавало ей легитимность». Этот факт, по мнению автора, чрезвычайно существен «для сложившейся в СССР системы репрезентации власти».

Рядом, под общим заголовком «Дискурс революции», напечатаны фрагмент из книги Ханны Арент «О революции» (1963, перевод В. В. Библихина) и исследование Филиппа Роже «Кровавый человек: семиотическая находка Марата» (1986, перевод Е. Е. Дмитриевой).

**Ольга Кузнецова.** Литературные страницы в Интернете. — «Русский Телеграф», 1998, № 9, 23 января.

Адреса для литературно ориентированных пользователей Интернета. С аннотациями. Адреса привожу, подробные аннотации опускаю.

**VadVad.** <http://www.screen.ru/vad-vad> (журнал «Комментарии», «Антология русского палиндрома» и др.);

**ART-Перепбур.** <http://www./art.spb.ru> (питерская проза и поэзия);

**Лягушатник.** <http://www.nevalink.ru/~art/frog> (питерский журнал поэзии хокку);

**Вавилон.** <http://www.vavilon.ru> («Литературная жизнь Москвы», «Антология современной русской литературы в Интернете»);

**Литературное кафе.** <http://www.tema.ru/rrr/litkafe> (беседы с известными писателями, тексты);

**РИСК.** <http://www.vmt.com/gayrussia/risk2/risk2.htm> (электронная версия журнала, посвященного гей-культуре);

**Маленький мир Лады Даниловой.** <http://www.geocities.com/FashionAvenue/1305> (частная коллекция подборок поэзии и прозы);

**Русский журнал.** <http://www.russ.ru> (электронная версия журнала «Пушкин»);

**Журнальный зал. Обозрение С. К.** [http://www.agama.com/r\\_club/journals/default.htm](http://www.agama.com/r_club/journals/default.htm) (дайджест текущей газетной критики);

**Пекарня лимериков.** <http://kulichki.rambler.ru/limeriki/lim.cgi> (интерактивная «сериатура», в данном случае лимерики).



### Лауреаты премий литературных журналов за 1997 год (Продолжение. Начало в № 3)

#### «ЗНАМЯ»

**Татьяна Бек** — за цикл стихотворений «В произвольном порядке» (№ 9) — премия за глубокий анализ современной действительности, назначенная СП «Фокус-Центр» и «РосИнцентр»;

**Анастасия Гостева** — за повесть «Дочь самурая» (№ 9) — премия за дебют, назначенная ЗАО «Компания „Бюджет“»;

**Фазиль Искандер** — за диалог «Думающий о России и американец» (№ 9) — премия за произведение, утверждающее либеральные ценности, назначенная ЗАО «Компания „Бюджет“»;

**Евгений Пастернак и Елена Пастернак** — за публикацию переписки Бориса Пастернака с Элен Пельтье-Замойской (№ 1) — премия за произведение, утверждающее ценности открытого общества, назначенная доктором Аугусто Лопес-Кларосом;

**Нина Садур** — за повесть «Немец» (№ 6) — премия за глубокий анализ современной действительности, назначенная СП «Фокус-Центр» и «РосИнцентр»;

**Михаил Синельников** — за стихотворение «Ваганьковское армянское кладбище» (№ 8) — премия «Глобус» за произведение, способствующее сближению народов и культур, назначенная ВГБИЛ им. М. И. Рудомино;

**Семен Файбисович** — за повесть «Дядя Адик / Uncle Dick» (№ 2) и эссе «Москва как поле боя истории и мифа» (№ 8) — премия за произведение, утверждающее идеалы патриотизма, назначенная Советом по внешней и оборонной политике;

**Николай Шмелев** — за мемуары «Curriculum vitae» (№ 8) — премия за произведение, вызвавшее повышенный читательский интерес, назначенная издательством «Книжная палата»;

**Александр Эткинд** — за статью «The American Connection, или Что делал Рахметов, пока не стал Шатовым» (№ 1) — премия по номинации «Критика», назначенная СП «Фокус-Центр» и «РосИнцентр»;

#### «МОСКВА»

**Юрий Воробьевский** — за статьи из цикла «Конспирология»: «Творцы серой расы» (№ 7) и «Визит рыцаря мести» (№ 8);

**Анатолий Гребнев** — за цикл стихов «Заповедная тишина» (№ 10);

**Валерий Гришковец** — за циклы стихов «Ночная птица» (№ 5) и «Мы вернулись в поруганный храм...» (№ 10);

**Георгий Давыдов** — за рассказы «Тихая пристань» и «Северные письма» (№ 9);

**Петр Краснов** — за рассказ «Свет ниоткуда» (№ 8);

**Диакон Андрей Кураев** — за статью «Нетерпимость как право на мысль» (№ 12);

**Ирина Медведева, Татьяна Шишова** — за статьи «Ложная альтернатива» (№ 4) и «Отказ от идеалов» (№ 11);

**Александр Панарин** — за статьи «Похищение России» (№ 1) и «В каком мире нам предстоит жить?» (№ 10);

**Михаил Пробатов** — за рассказ «Все было правильно» (№ 5);

**Юрий Самарин** — за рассказ «Новый Вий» (№ 11).

**«ЮНОСТЬ»**

**Леонид Бородин** — за эссе «Инстинкт памяти» (№ 4) — *премия имени Варлама Шаламова*;

**Ольга Вельдина** — за цикл статей и интервью в 1997 году — *премия имени Бориса Полевого*;

**Геннадий Головин** — за повесть «Паранормальный Фарафонтон» (№ 2) — *премия имени Валентина Катаева*;

**Виктор Грибачев** — за цикл проблемных статей в 1997 году — *премия имени Бориса Полевого*;

**Анатолий Ким** — за цикл рассказов (№ 7) — *премия имени Валентина Катаева*;

**Евгений Носов** — за рассказ «Яблочный Спас» (№ 6) — *премия имени Валентина Катаева*;

**Владимир Орлов** — за роман «Шеврикука, или Любовь к привидению» (№ 5, 6) — *премия имени Валентина Катаева*;

**Петр Паламарчук** — за повесть «Клоака Максима» (№ 12) — *премия имени Валентина Катаева*;

**Ольга Рычкова** — за цикл стихов (№ 2) — *премия имени Владимира Соколова*;

**Александр Хабаров** — за цикл стихов (№ 5) — *премия имени Владимира Соколова*;

**Геннадий Хохряков** — за очерк «Россия на кругах своих» (№ 4) — *премия имени Бориса Полевого*;

**Ян Шанли** — за цикл стихов (№ 4) — *премия имени Владимира Соколова*;



ДАТА: 31 марта (12 апреля) — 175 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича Островского (1823 — 1886).

Составитель **Андрей Василевский**.



**ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»**

*Апрель*

**5 лет назад** — в № 4 за 1993 год напечатано «Ответное слово» Александра Солженицына на присуждении литературной награды Американского национального клуба искусств.

**10 лет назад** — в № 4 за 1988 год напечатано предисловие Владимира Набокова к «Герою нашего времени».

**30 лет назад** — в № 4 за 1968 год напечатан роман Натали Саррот «Золотые плоды».

**70 лет назад** — в № 4 за 1928 год напечатан «Юный Фауст» — седьмое звено романа Михаила Пришвина «Кашеева цепь».

# «НОВЫЙ МИР» В *INTERNET*

САЙТ «АГАМА В ИНТЕРНЕТ»  
АДРЕС: [WWW.AGAMA.COM](http://WWW.AGAMA.COM)



«РУССКИЙ КЛУБ»



«ЖУРНАЛЬНЫЙ ЗАЛ»



«НОВЫЙ МИР»

электронные дайджесты свежих номеров:

содержание номера

фрагменты прозы и публицистики

стихотворения

рецензии

библиография

## ***УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!***

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

---

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в АО «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

---

*Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novu Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.*



## SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Sergei Preobrazhensky, Olga Dmitrieva, Yelena Nikolayevskaya, Yelena Yelagina and Vyacheslav Kupriyanov.

We are publishing the narrative «The Poet» by Fazil Iskander, short stories by Sergei Zalygin, Lyudmila Ulitskaya and Yevgeny Shklovsky, as well as the travel prose work «Into the Skies for a Good Fortune...» by Oleg Zhdan.

The section «Essays of Nowadays» presents the essay «The Russian Mouth» by Tatyana Bratkova.

In the section «Far Nearness» we are publishing the memoirs by Yekaterina Krasheninnikova about well-known Russian pianist Maria Yudina furnished with a preface by Yevgeny Pasternak, as well as a letter by Maria Yudina to Yekaterina Krasheninnikova with an afterword by Anatoly Kuznetsov.

The section «Art World» presents the article «Listening to Silence» by Sergei Yakovlev about books and films by Ingmar Bergman.

The section «Writer's Diary» contains the article «The Four Poets of Nowadays» by Alexander Solzhenitsyn.

In the section «Literary Criticism» we are publishing the article «The Two Chaples» by Alexei Smirnov about a short story by Ivan Bunin, and the one by Olga Slavnikova about the modern «male» prose.

The issue also presents our traditional sections «Les Essais», «Reviews», «Editor's Mail», «Foreign Books about Russia» and «Bibliography».

---

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

**Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.**

**Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности многочисленных одноименных компаний в Москве и за ее пределами.**

---

**Главный редактор С. П. Залыгин**

**Редакционная коллегия: М. В. Бутов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Р. Т. Киреев (зам. главного редактора),**

**С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)**

**Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, Д. А. Гранин, А. А. Ким, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова**

---

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88, отдел публицистики — 229-25-83, для справок — 200-08-29. Факс: 200-08-29.

Электронная почта: [nmir@deol.ru](mailto:nmir@deol.ru)

---

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

---

Сдано в набор 20.12.97 г. Подписано к печати 24.02.98 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага кн.-журн. Высокая печать.

Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.

---

**Тираж 15 220 экз. Зак. 4120. Цена договорная.**

---

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»  
Управления делами Президента Российской Федерации.

103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

---

Доступ к Internet и Электронной почте предоставлен фирмой  
Data Express Corporation, тел. (095) 932-76-47, WWW: <http://www.deol.ru>

## В 1998 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

- АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Лопушок (роман);  
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Веселый солдат (повесть);  
 АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);  
 В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);  
 ЮРИЙ БУЙДА. Живем всего два раза (рассказы);  
 МИХАИЛ БУТОВ. Свобода (роман);  
 РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);  
 СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);  
 ЯН ГОЛЬЦМАН. Пустынные песни (повесть);  
 ДАНИИЛ ГРАНИН. Вечера с Петром Великим (роман);  
 ИГОРЬ ДЕДКОВ. Обессоленное время (из дневниковых записей 1975 — 1980 годов);  
 МАРИНА ДУРНОВО, с участием ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА. Мой муж Даниил Хармс (воспоминания);  
 БОРИС ЕКИМОВ. Очерки и рассказы;  
 НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ. Письма;  
 АНАТОЛИЙ КИМ. Стена (повесть);  
 ОЛЕГ ЛАРИН. Блудное лето (сцены из захолустной жизни);  
 ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;  
 АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Нам целый мир чужбина (роман);  
 ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Чернильный ангел (повесть);  
 МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);  
 ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Один в зеркале (роман);  
 А. СОЛЖЕНИЦЫН. Главы из книги «Угодило зернышко промеж двух жерновов. (Очерки изгнания)»;  
 ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Москва — Калуга — Лос-Анджелос (повесть);  
 СВЯЩЕННИК ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ. Изречения Дарьи (записки, 1908 — 1911 гг.);  
 ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ. Серебряный век на Лубянке;  
 ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Актриса и милиционер (повесть);  
 ЮЛИУ ЭДЛИС. Аноним (роман);

а также романы, повести, рассказы АЛЕКСЕЯ ВАРЛАМОВА, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, МАРКА КОСТРОВА, МИХАИЛА КУРАЕВА, ИРИНЫ ПОЛЯНСКОЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, ДИНЫ РУБИНОЙ, стихи АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА, статьи, эссе СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, ИРИНЫ СУРАТ и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ  
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**